

Витамины Семин

НАГРУДНЫЙ
ЗНАК
"OST"

Виташи Семин

НАГРУДНЫЙ
ЗНАК
„ОСТ”

Романы

Ростов-на-Дону
Ростовское книжное издательство
1991

Семина В. Н.

С 30 **Нагрудный знак «ОСТ»:** Романы.— Ростов
н/Д: Кн. изд-во, 1991.— 448 с.

Второй том прозы Виталия Семина включает главную книгу его жизни роман «Нагрудный знак «ОСТ» — суровое и честное, наполненное трагизмом повествование о страшных годах каторги в гитлеровских арбайтслAGERЯХ, куда будущий писатель был угнан в 1942 году шестнадцатилетним подростком. В том также вошла первая часть незаконченного романа «Плотина», являющаяся прямым продолжением «Нагрудного знака «ОСТ».

С $\frac{4700000000-027}{M156(03) - 91}$ без объявл.

ББК 84(2)7

ISBN 5-7509-0149-1

- © «Нагрудный знак «ОСТ».
Молодая гвардия, 1976
- © «Плотина».
Молодая гвардия, 1982

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «OST»



1

Здание было трехэтажным, бывшее фабричное здание с цементными, приспособленными под тачечные колеса полами, с большой колоннообразной печкой посредине помещений, которые раньше были фабричными цехами. Печек у нас таких не делают, похожи они на увеличенную во много раз буржуйку, известную по кинофильмам о гражданской войне. Никаких приспособлений для приготовления пищи в такой печке нет — только поддувало и колосники, на которых горит кокс. Печка поражает экономичностью: малое количество кокса сильно разогревает ее, а огромное железное тело, выложенное изнутри кирпичом, как термос, долго сохраняет тепло. От этой печки идут длинные коленчатые дымогарные трубы, выводящие газ через окно. Они идут над двухъярусными койками, подвешенные на толстой железной проволоке к специальным потолочным кронштейнам. И эти выкрашенные черной огнеупорной краской трубы, и низкий над койками потолок, и сами каторжные койки, деревянные или железные, собранные из некрашенных стандартных деталей, придают всему помещению неправдоподобный, невыносимый вид. Живут в таких помещениях от ста до двухсот человек — койки здесь двух-, а к задней стене и трехэтажные. На каждой койке по бумажному матрацу, набитому соломой, и по бумажной подушке, тоже набитой соломой. На каждую койку полагается по два одеяла: одно вместо простыни, другое — чтобы укрываться. Одеяла стертые и сплюснутые от долгого употребления. И все это — деревянные койки, отдаленно напоминающие ряды грубо сколоченных люлек, и бумажные матрацы, и пол, и потолок, и сам воздух —

серого цвета, цвета соломенной трухи, которой набиты подушки и матрацы. Лампочек на весь зал три: у входа, над столом и у печи, вокруг которой небольшое, свободное от коек пространство. Лампочки слабые, свет от них тоже серый, соломенный и тоже, кажется, пахнет соломенной трухой.

Столов на все это помещение два. Они сбиты, как сбивают столы для летних временных кухонь — обструганные доски, ножки накрест и длинная перекладина между ними. За столы могут сразу сесть человек тридцать, но столы всегда пусты. Едят, спят, сидят на койках.

Когда ложатся спать, все слышат у себя под щекой скрипение соломенной трухи и запах, идущий от этой старой, пыльной, перетертой соломы, — запах голода, фабрики и казармы.

Еще очень силен в здании запах дезинфекции — карболки и дымящейся извести. Тот, кто поднимается из уборной, долго и в запахе собственной одежды, и в запахе одеяла, и в запахе матраца, и в воздухе, который выдыхает сам, слышит карболку и известь. И если у него есть сигарета, он переждет, прежде чем закурить, иначе и табак будет пахнуть только известью и карболкой. Когда кто-то умирает, его сносят вниз, в умывалку, которая расположена рядом с уборной, и постепенно этот мутный запах приобретает для всех живущих здесь ужасное значение. Значение это с запахом извести и карболки связывается надолго. И жутко бывает спускаться ночью в уборную, даже если рядом, в умывалке, никто не лежит.

В уборной всю ночь горят синие маскировочные лампочки, и синий этот подвальный свет тоже связывается с плотным и ядовитым запахом гашеной извести и карболки.

В уборную жутковато спускаться еще и потому, что как раз у входа в подвал, на первом этаже, — вахтшуба, полицейская комната. Не то чтобы полицейские мешали спускаться в уборную или в умывалку, но лучше не попадайся часто им на глаза, чтобы не запомнили и не выделили тебя. Никого еще не запоминали и не выделяли для чего-нибудь хорошего.

Почти круглосуточно в глазах у тех, кто живет здесь, то яркий, то тусклый электрический свет. Утром поднимаются при электрическом свете, бегут в подвал оправиться и умыться, а затем еще раз спускаются туда же для пересчета. Прежде чем выпустить партию людей на улицу, их пересчитывают в умывалке.

На работу по городу идут в темноте, работают в цехах, где днем и ночью горит свет, в лагерь возвращаются в темноте. И те, кто работает в ночной, тоже почти не видят дневного света. В лагерь их пригоняют в утренние сумерки, когда в помещении еще не выключено электричество, а синие маскировочные шторы не подняты. Ночники и не торопятся поднимать шторы — вернее всего прямо после работы лечь спать. Но многие выстраиваются в очередь к вахтштубе, там Гришка-старшина делит хлебные пайки; тем, кто носит заливку, режет буханку на четверых, всем остальным — на пятерых. В очередь с утра становятся те, у кого большая пайка, и самые голодные и малодушные. Очередь стоит во всю длину коридора и еще выходит на лестничную площадку. В этой очереди никто не лезет вперед, никто не просит, чтобы его пропустили. Каждый держится своего места — боится вспугнуть судьбу. Полезешь, а тебе выпадет маленькая пайка.

Около очереди слоняются колеблющиеся, делающие вид, что они в умывалку или из умывалки. Но колеблющиеся никогда не выдерживают. Становятся в очередь.

В коридоре и на лестничной площадке горят электрические лампочки, и получающие пайку встречаются с Гришкой-старшиной на грани электрического и дневного света: в вахтштубе уже день, шторы подняты и комната проветривается от электричества. Если взглянуть в раздаточное окно за Гришкину спину, можно увидеть полицейских, сидящих в утренних вольных позах, в расстегнутых мундирах. Однако с полицейскими не следует встречаться даже глазами. Поэтому получивший пайку тотчас ныряет назад, в коридор, в свою пахнущую соломой электрическую муть, поднимается по лестнице наверх, задерживается на минуту у стола, где сравнивает свою пайку с пайками других, и идет к себе в коечную темноту. Там он съезживается, ссутуливается, шуршит матрацем — прячет остаток пайки. Остаток пайки кладут не в шкафчик, а под матрац или под подушку. Впрочем, у тех, кто получает пайки с утра, хлеб под подушкой не лежит. Пайка под матрацем — плохой сон.

Ощущение, что дневной свет связан с опасностью, вырабатывается очень скоро. Даже на заводе при переходе из цеха в цех могут остановить и спросить, что ты тут делаешь. У лагерника есть место на заводе и в самом лагере, и поэтому он привыкает к тому, что даже днем в воздухе должна быть электрическая пыль, электрический

осадов и глаз его должен постоянно чувствовать электрическое утомление, электрическую тоску. Даже у окошка лагернику днем приходится бывать очень редко. В цехах окна наверху, под крышей, в лагерь приходишь в темноте. А почные в лагере спят. Или лежат у себя на койках. Они встают уже тогда, когда в зале опять зажигают электричество, собираются у печки, которую кто-то из дневальных должен вот-вот разжечь перед приходом дневных, и ждут, пока погонят в умывалку на построение.

В лагере не живут. Лагерь — продолжение фабрики. На фабрике человек работает, а потом его отправляют сюда, чтобы он опять подготовился к работе. И он получает и съедает пайку, и лежит на койке, и лелеет безумную, бесконечно растравляемую надежду где-то добыть окурков и содрогнуться, втянув в легкие табачный дым.

Из недели в неделю, из месяца в месяц солома в матраце под ним перетирается и начинает просеиваться сквозь шпагатные переплетения матрачного мешка, подушка становится совсем плоской, солома в ней и в матраце давно уже не шуршит, когда пытаешься ее взбить, а скользко скрипит. Если вытянуть из матраца кусочек соломины, видно, как нищенски, как страшно она за это время изменилась — утратила свой желтый, соломенный цвет, сплюснулась, стала по-пороховому хрупкой и бумажно истончилась. В недрах этой пороховой соломы живут кусающиеся насекомые, они свободно проходят сквозь дырчатые переплетения матраца и подушки и свободно возвращаются назад. Поймать их нет никакой возможности, просто лежишь на кусающемся, колющемся матраце, на подушке, которая жжет щеку. Набитый свежей соломой матрацный мешок поднимался выше боковых досок койки, теперь, сплюснутый, он значительно ниже их, и именно поэтому койка похожа на люльку с оградительными стенками. Перетертая, сплюснутая солома распределилась в матраце неравномерно: где-то она еще есть, а где-то лежишь прямо на коечных досках.

От нестираных одеял пахнет фабрикой, литейкой, эфиром, карболкой, а от одежды по утрам зябко и голодно тянет соломой и грязными одеялами. И когда лагерников выгоняют на улицу, все яркие городские краски, которые они видят по дороге на фабрику — кузова автомобилей, окрашенные в непривычные рекламные красный и желтый цвета, отполированная, почти голубая брусчатка мостовой, витрины булочных, — все им кажется заносчивым, вызывающим, как военный немецкий мундир.

А серость лагерная и серость фабричная сливаются, и, только когда над городом завоет сирена, у лагерника появляется нерасчетливая, самоуничтожительная надежда на бомбу прямо сюда. Но город небольшой и самолеты летят мимо. А короткую бунтовскую вспышку в нашем лагере я помню еще и потому, что к нам ворвались жандармы, и как же они красочно выглядели в своих зеленых шинелях и в высоких пробковых шлемах с короткими лакированными козырьками в нашем сером, воняющем соломой и дезинфекцией воздухе!

Жандармы выгоняли нас в воскресенье на работу, и я запомнил их при дневном свете. Воскресенья мне вообще запомнились долгим дневным светом — по воскресеньям нас выгоняли разгружать вагоны и делать какую-нибудь уличную работу.

2

В этот арбайтслагерь меня приводили дважды. В пересыльном колючая проволока была натянута на фарфоровые чайечки изоляторов высокого напряжения, и на этот фабричный лагерь у меня были надежды. Но, когда нас привезли сюда, здесь уже стояли эти койки, собранные из стандартных деталей, и некрашеное дерево и крашеное железо успели потемнеть и залосниться от прикосновений и дезинфекций. На лестничной площадке было темновато оттого, что это была лестничная площадка, а в залах — потому, что окна загорожены двух- и трехъярусными койками, и вообще весь воздух в залах был загорожен и вытеснен этими койками. Полы были сырыми, потому что их недавно подмели и помыли, но в цемент втерлось и, должно быть, ежегодно втиралось столько грязи, что и полы казались залакированными, замасленными серой несмываемой пленкой. И стены были затерты — их подпирали спинами, терлись о них плечами и локтями. Пахло кирзой, одеялами, соломой, потом, дыханием людей, у которых больной желудок, и кислый этот запах можно было уничтожить, лишь уничтожив весь барак. Сам воздух здесь был серым оттого, что его задышали, оттого, что он побывал в слишком многих легких. Я все это знал по пересыльному: и эту барачную тесноту, и это перегороженное койками пространство, и деревянные стояки коек, и железные стояки, сваренные из тонких труб, сваренные грубо, толстыми швами на стыках, напоминающие о фабрике или о заборе, и доски или железные сетки над

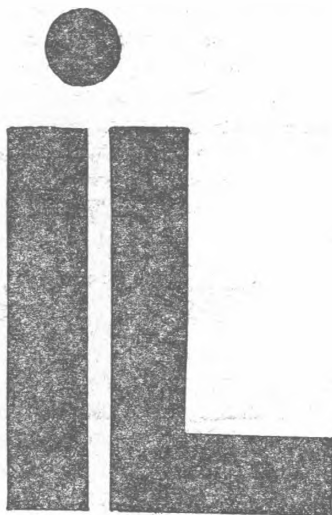
головами тех, кто лежит на первом ярусе, тоже напоминающие фабрику и ограду, и то чувство обмирания, смущения и раздражения, которое испытывает человек, вдруг попадая в помещение, где у него надолго будет несколько десятков соседей, на глазах которых теперь придется одеваться и раздеваться, говорить или молчать, есть и стараться выкроить минуту одиночества, когда ночью, в темноте, твоя ячейка, выделенная потолком верхнего яруса и четырьмя стояками — в голове и ногах, — наконец-то отделится от таких же ячеек и ты будешь один лежать, и думать, и стонать, но стонать мысленно, про себя, с закрытыми глазами, потому что, если ты застонешь вслух, твое одиночество тут же разрушится и кто-нибудь крикнет тебе: «Заткнись! Гоните его!» И все заворочаются, заскрипят матрацами, сетками, в воздухе запахнет соломенной трухой, сыплющейся из матрацев, и кто-то закурит папиросу из махорки, и все повернутся и молча (сорок второй год!) будут следить, как кто-то в темноте то поднесет огонь ко рту, то опустит руку вниз.

Воздух только в этом фабричном лагере был застойнее, чем в пересыльном. Привезли нас днем, но никто из ночников не поднялся, чтобы посмотреть на нас. И матрац, который мне дали, был чей-то, и солома, когда я развязал мешок, потекла из него бледно-желтыми бляшками, посыпалась трухой и едва присыпала булыжник двора. Кто-то долго лежал на этой койке.

Когда мне показали эту тупиковую койку, я никак не мог решиться ее занять. Моя одежда давно замялась на полу товарного вагона, на нарах пересыльных лагерей, в тесноте и жаре дезинфекционных камер, приобрела бесформенность, цвет и ворсистость одежды лагерника. Ни в одном городе я не мог бы теперь сойти за обыкновенного прохожего. Но в тот момент я чувствовал на себе домашние брюки и рубашку, отцовское пальто и цеплялся за это чувство. Это было совсем детское чувство, я это, конечно, понимал, но не за что было цепляться, а мне было всего пятнадцать лет. Потом я, как и все, занял койку, поставил в банный шкафчик из прессованного картона свой чемодан — и это была новая ступень отчаяния. А когда нас погнали на лагерный двор набивать матрацы, это уже был тупик. И я помню это место позади лагерного здания, помню ржавые обрезки трубы, проволоку и еще какие-то железки, оставшиеся с того времени, когда здесь была фабрика, помню лагерного полицейского в черной форме, помню русского в серой лагерной спецовке — он вышел

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Попытка побега»



Точка красного цвета,
буквы черного цвета

вместе с нами, чтобы сжечь старую солому и показать нам, откуда надо брать новую. Он был хуже одет для улицы, чем мы, и вообще хуже переносил уличный воздух. Помню ужаснувшую меня жалкую какую-то близость между этим лагерником и полицейским — близость старожилов, принимающих новичков. Помню двух французов в коричневой форме, в коричневых пилотках, они тоже сжигали какой-то мусор, были хмуры, в нашу сторону не смотрели, и я принял их за полицейских. Но мне сказали, что это французы военнопленные, и я заметил потемневшие от слюны окурки, прилипшие к их нижним губам, — немцы так не присасывают сигареты. И еще многое я помню из того, что, казалось, проходило где-то сбоку, но потрясало меня. Я понимал, что любое мое нормальное желание здесь бессмысленно, а хотелось именно, чтобы кто-то пожалел или заметил меня. Я мешкал, и на меня сразу же замахнулся полицейский, а старый лагерник буднично сказал: «Давай, давай, а то побьет!»

3

Теперь-то я знаю, что это был пустяковый, детский побег. В шесть утра мы с Валькой-ростовским ушли из колонны, которую гнали на фабрику, а часам к семи вечера оба оказались в одном и том же полицейском участке. Когда меня туда привели, Валька уже сидел там и плакал, а дежурный жандарм, посмотревший на меня из-под зажженной настольной лампы, рассматривал Валькины фотографии. Он мирно мне кивнул, но ни о чем не спрашивал — не говорил по-русски, а мы не знали по-немецки. Он подождал, пока мы с Валькой переговорим, и догадался: «Камрад?» И Валька согласно кивал: «Камрад, камрад!» Тогда жандарм достал из стола бумажник, а из бумажника вытряхнул на Валькины фотографии ржавую железку, расстегнул китель и показал шрам — место, куда ударил его этот русский осколок. «Харьков!» — сказал он. Он, конечно, разговаривал с нами потому, что у него на дежурстве было время, говорил он с нами сверху вниз, как взрослый с младшими, как немец с русскими, видел он нас в первый раз и должен был куда-то отправить, но и в эти несколько минут он хотел, чтобы мы поняли его и ему посочувствовали. Валька плакал, а я ждал, когда нас начнут бить. То, что жандарм был добродушен, не успокаивало, а еще больше пугало меня. Сейчас придет кто-то постарше, и этот добродушный

человек застегнет китель и будет бить нас сильнее и страшнее, чем если бы он сразу взялся за дело.

Однако пришел полицейский помладше чином и повел нас в подвал. При полицейском дежурный жандарм не то чтобы посуровел — устал с нами объясняться, спрятал в ящик Валькины фотографии, а на Валькины просьбы сказал: «Нахгер»¹, — и поторопил: идите! И мы пошли за полицейским, который шел впереди и зажигал перед собой в подвальном коридоре свет. Кажется, полицейский понимал, что должны испытывать подростки, впервые спускающиеся в такой подвал. Он шел впереди свободно и не оглядывался. А открыв дверь камеры, подождал, пока мы пройдем, и показал на довольно широкий топчан, покрытый одеялом: вдвоем ляжете. Он собирался запереть нас, а Валька назвал его паном, протянул ему немецкую марку, просил сигареты. Валька раздражал полицейского, он отстранился от денег, однако достал из пачки сигарету, протянул Вальке. «На двоих!» — кивнул он на меня. И опять была заминка: полицейский хотел закрыть дверь, а Валька просил огня и, уступая еще раз, полицейский дал Вальке прикурить, показал жестом, что все это запрещено, что курить надо тайно, а дым рассеивать, запер дверь и ушел.

Свет он потушил, и мы остались в темноте. Рыданиями Валька надрывал мне душу, и мы с ним поругались. Если бы я был один, я тоже плакал бы, но плакать с кем-то или при ком-то я не мог. Валька плакал из-за фотографий, он и полицейскому пытался объяснить: «Это мои последние фотографии». Фотографии были семейные — Валька с отцом, матерью и сестрами, — я понимал его, но думал, что у нас скоро будут причины поважнее, чтобы плакать. Так мы с ним сидели в темноте. Валька курил сигарету, которую он, несмотря на рыдания, сумел выпросить, и никак не мог решиться передать ее мне.

Свет зажегся утром. Дверь открыл тот же полицейский и велел собираться. Одет он был для улицы, я это сразу заметил: на нем были длинная зеленая шинель и высокая каска с коротким лакированным козырьком. Он привел нас на трамвайную остановку, и минут сорок мы с ним ехали на задней площадке прицепного вагона. Трамвай этот был междугородным, и, когда я понял, что ехать предстояло далеко, меня немного отпустило — пока не приехали и не пришли, бить не будут. Немцы о чем-то спрашивали

¹ «Потом».

полицейского, иногда грозили нам, но, в общем, трамвай был чистый, пассажиров немного, и все они говорили кондуктору «битте», и у меня стало появляться такое чувство, что везет нас взрослый человек, а мы ведь подростки, вчерашние дети, и потому плохого он нам не сделает.

Однако, когда мы вышли из трамвая, страх вернулся. Полицейский на минуту замешкался с нами у входа в большое здание, как будто хотел сказать: «Подождите», — но потом велел идти за ним. Вестибюль был широкий, безлюдный, с широкой лестницей, накрытой ковровой дорожкой. Может быть, ковровой дорожки и не было, но от этой лестницы у меня осталось ощущение покоя, надежды и великолепия. Мы поднялись за полицейским на второй этаж, он постучал в закрытое фанеркой окошко, оттуда, как из кассы кинотеатра, выглянул человек, взял у полицейского бумагу и сказал ему что-то осуждающее, указывая на нас. Полицейский ответил, и мы вновь вышли на улицу. И тут я понял, почему полицейский замешкался, когда вводил нас в это здание: мы не с этой стороны должны были в него входить. Теперь мы стояли у ворот, из которых только что выехал грузовик, и я сразу догадался, что это за ворота и что за подворотня, хотя никогда еще таких не видел. Эту подворотню и со двора и с улицы заперало двое металлических ворот, они были так плотно подогнаны к сводам, что в камере, которая образовалась между ними, и днем должна была быть темнота. И своды у этой подворотни были особенными, и цвет этих сводов. И человек, который закрывал ворота за грузовиком, так громко шутил и смеялся, что сразу было понятно, куда нас привели. Он не пустил нас в ворота, а вызвал другого человека, и тот тоже шутил и смеялся, когда читал бумагу, которую ему дал полицейский.

Мы вошли во двор, в котором ничего не было, кроме цементной гладкости, серости и пустоты, и остановились перед новой глухой подворотней. И опять была пара ворот, и опять усилившееся ощущение цементной гладкости, пустоты и тщательно подметенного асфальта. На этом асфальте, наверно, никогда не было мусора, но его все-таки подметали — видны были даже следы метлы. Так мы прошли два или три двора, а в саму тюрьму попали из небольшого дворика. Полицейский позвонил, открылась дверь, за которой был длинный и узкий цементный коридор, запертый двумя решетками — внутренней и на-

ружной, дублирующей глухую дверь. Тот, что открыл нам дверь, стоял за наружной решеткой и сквозь решетку взял у полицейского бумагу. Мне показалось, что они знакомы — тот, за решеткой, шутил, а полицейский что-то отвечал ему и смущался. Потом полицейский забрал свою бумагу и ушел, не взглянув на нас, а нас с Валькой впервые в тюрьме заметили, открыли нам решетку и повели по коридору внутрь. Нас привели в канцелярию и велели вывернуть карманы.

Эту минуту я ждал давно. В полиции нас не обыскивали, Валька сам показывал дежурному жандарму свои фотографии, и утром их ему вернули. Теперь он опять достал всю пачку и зарыдал. А для меня начинался страх, от которого я мог бы давно избавиться, но почему-то не избавился: во внутреннем кармане моего пальто рукояткой вниз, чтобы не пропороть карман, лежал самодельный кинжал с узким и длинным острием. Все, что мы доставали из карманов, надо было укладывать в ящички — Вальке в Валькин, мне в мой. Я выворачивал брючные и пиджачные карманы — тянул время. Положил в ящик три лагерные хлебные пайки. В карманах они нагрелись, обмялись и крошились, когда я тянул их. Рядом с пайками я положил жестяную коробочку из-под зубного порошка, в которой у меня было немного сахара. И еще у меня был кусок глиняного мыла в истлевшей обертке. Все это, собираясь бежать, я выменял на вещи, которые нельзя было надеть на себя (надел я две пары кальсон и две рубашки, чтобы можно было ночевать на земле). Еще у меня было девять марок, я их тоже положил в ящик. Больше доставать было нечего, и, повернувшись так, чтобы меня мог видеть только переводчик — на него я и рассчитывал! — я быстро сунул нож в ящик. Но переводчик, увидев кинжал, чему-то обрадовался, схватил его и воткнул в дно ящика. Воткнутый в плотную фанерную дощечку, нож покачивался, а переводчик, откинувшись на стуле, смотрел на него и смеялся. К нам поворачивались все, кто был в канцелярии, и я видел, как меняется у них выражение лиц.

Но тут кто-то вошел и поторопил нас. Переводчик выдернул кинжал, бросил его в ящик, ящички сунул в огромный стенной шкаф и повел нас на дезинфекцию. Я боялся дезинфекции потому, что непереносимые побои в банном пару и дыму были унижительнее обычных побоев, но и чувствовал облегчение потому, что меня уводили из канцелярии, где теперь лежал мой кинжал, который

я провез и пронес так далеко.

Я выточил его из нашего штыка. И сейчас было видно, что кинжал этот был граненым, вороненого цвета, хотя и просветленный напильником. Мы, ребята, искали оружие. Принесли на чердак нашего дома два ящика мин, зарыли во дворе винтовку. Искали мы пистолеты, но пистолетов не было. И я снял с винтовки штык и укоротил его. Работал я не меньше месяца, загнал несколько напильников — сталь на штыке была очень крепкой. Тут я должен вот что сказать: о том, что я собираюсь бежать, знал весь лагерь. Я не мог об этом не говорить, как Валька не мог не плакать, когда у него отбирали фотографии. Один раз даже Гришка-старшина меня спросил: «Это ты собираешься бежать?» Гришка был настоящим уголовником. Перед войной он вышел из нашей тюрьмы, а вот теперь в Германии делил хлебные пайки. У него были сытое лицо и бледная кожа: от работы он сумел освободиться, но на улицу его не пускали. Выпуклые глаза его обладали каким-то особым выражением остекленения — никогда нельзя было понять, замечает он тебя или не замечает. С минуту он рассматривал мое барахло, которое я менял на хлеб, потом глаза его остекленели, он постоял, не замечая меня, думая о чем-то своем, и ушел.

Мои вещи — брюки, нижнюю рубашку (с полотенцем, простыней, чемоданом и всем тем, чего я не мог взять с собой, в придачу) — за три пайки купил семейный дядька с третьего этажа. Он же за мой нож — и о ноже знали в лагере — предлагал две пайки. «Зачем он тебе? — уговаривал он меня. — А я дома буду свиней колоть. Меня всегда звали колоть — рука у меня такая. А нож только для этого и годится». Он долго меня умолачивал — немного уговаривал, немного грозил, — очень ему нравился мой кинжал. Но больше всего меня пугало непонятное презрение этого дядьки и его уверенность, что мне кинжал ни к чему. Это был третий дядька, и он мне показывал, что он третий, что ему предстоит долгая жизнь, а мне и кинжал, и чемодан, и те вещи, которые я на себе унесу, «ни к чему».

В канцелярии переводчик отдал нам наш хлеб. «Он вам здесь понадобится», — пообещал он. Тотчас что-то сказал немцам и засмеялся. «Перевел то, что сказал нам», — подумал я. У Вальки было две пайки. Он шел и ел их, запихивался хлебом, чтобы его опять не отняли, а я стыдился того, что он делает, и думал, что Валька ничего не стесняется — плачет, жрет хлеб, выпрашивает сигареты —

и всегда, в общем, делает то, что выгоднее сделать в эту минуту.

В предбаннике перед маленькой — на две или три кабинки — душевой нас раздели догола и еще раз обыскали: прощупали подкладку, вывернули карманы. Одежду унесли, а нас передали парикмахеру. Переводчик вышел, а парикмахер показал мне первому на табурет. Я был голым, держал в руках три пайки хлеба, а он показывал на табурет так, будто я был одетым и сам пришел к нему в парикмахерскую. Он вел машинку от лба к затылку, а я ежился от ожидания. В тюремном предбаннике был кафель, он выглядел прохладным и сухим. Чувствовалось, что сегодня нас первых привели сюда. Горело две лампочки: одна в самом предбаннике, другая в душевой. На стене предбанника никелем блестел прибор, регулирующий напор воды и ее температуру, что-то вроде рулевого колеса под манометром и термометром. Точно такой прибор, только больших размеров, я видел в фабричной душевой. Парикмахер был в белом халате, и обращался он со мной не просто вежливо, а с искательством — я это сразу почувствовал, потому что не вежливости ждал. Парикмахер был немец и заключенный, но даже о том, что он немец, я догадался не сразу: стараясь не вызвать мгновенного отчуждения, он объяснялся жестами. «М-м?» — мычал он и наклонял мне голову. Или показывал, что хорошо меня стрижет. Стричь наголо — это стричь наголо, и ничего больше. Я опасался этой вежливости, но о том, что парикмахер — немец и заключенный, догадался только тогда, когда он, оглянувшись на дверь, предложил мне поменять хлеб на сигареты. Времени на размышление, судя по выражению его глаз, у меня не было — кто-то должен был сюда войти. Я кивнул. Немец был заключенным, следовательно, товарищем, камрадом — это сидело во мне крепко. Я давно ждал знака, случая, чтобы связаться с подпольем. А кроме того, я еще не умел отказывать тем, кто меня вот так просил. Немец взял пайку и сунул ее под халат, потом сунул туда же вторую, а третью я задержал рукой. Мне было стыдно, что я удерживаю третий кусок хлеба — может, он пойдет в тюремное подполье, — но парикмахер не настаивал. Взгляд его остекленел, как взгляд Гришки-старшины, когда тот перестал мною интересоваться. Только что он меня в чем-то убеждал, показывал, что он мне потом — все равно в тюрьме сидеть! — передаст сигареты и баланду, а теперь лицо его выражало только облегчение. Такую

смену выражений я давно заметил у блатных — вот он чего-то добивается, клянется, называет тебя другом, а вот забрал, почти отнял то, что ему нужно, и все! Сразу теряет к тебе интерес. С самого начала я этого боялся, а вот не удержался, не смог.

Парикмахер проследил, чтобы мы с Валькой намазали дезинфекционной жидкостью голову, подмышки, и отправил нас под душ. Но задержаться под душем не дал. Едва я пристроился под струей, как она прекратилась. Валька стал просить еще, и банщик-парикмахер, объясняя, что это почему-то нельзя, запрещено, включил на несколько секунд холодную воду. Голые и полуобмывшиеся, мы сидели в предбаннике, ждали, когда нам дадут одежду. Парикмахер сметал волосы, и я ему сказал:

— А сигареты?

Он сунул мне что-то завернутое в папиросную бумагу.

— Одну за две пайки!

Он оглянулся на дверь и приложил палец к губам, а я осторожно, чтобы почувствовать табак, размял сигарету. Это была не сигарета. В папиросной бумаге была вата.

Принесли наши вещи, вошел переводчик, и парикмахер сказал мне быстро:

— Прима табак!

В лагере я испытывал чувство, которое и с голодом не сравнишь, — мне нужен был старший. И пусть бы посылал меня: «Сбегай туда, принеси то». Лишь бы он однажды сказал: «Будем переходить в новый барак — ляжешь рядом». За это «ляжешь рядом» я бы вдребезги разбился. И про эту дурацкую сигарету я подумал: может, это особая проникотиненная вата, немцы — мастера на всякие эрзацы. И снова я натягивал на себя кальсоны, рубашки — одежду нам принесли и бросили на пол, а мы доставали ее из этой продезинфицированной кучи и надевали, еще теплую и чем-то воняющую, на себя.

И опять переводчик повел нас за собой. Он шел, аккуратно цокая подковками по металлическим ступеням, пересмеиваясь с охранниками, которые стояли на каждом этаже. Такого здания мне не приходилось видеть. Мы спускались на дно колодца по лестницам-трапам, навешанным на одну жилую стену. Противоположная кирпичная стена была глухой. Двери камер выходили на лестничные площадки, а между лестничными площадками и кирпичной стеной — она была даже не оштукатурена — было пустое пространство. Оно-то и образовывало колодец.

Откуда-то проникал дневной свет, он смешивался с электрическим, и электрический пересиливал. Свет почти не отбрасывал теней, потому что печему было отбрасывать тени. Лестницы мне запомнились черными, металлическими. Оттого, что они были навесными, под ними очень чувствовались глубина и пустота. Я уже так давно начал валяться на полу товарного вагона, на лагерных нарах, так давно замаял и испачкал свою одежду (я ведь и работал в тех же брюках и в том же пальто), что почти физически ощущал тюремную чистоту. Нас должны были запереть в одной из камер, и я даже хотел, чтобы нас заперли и оставили одних. Из тюрьмы на работу не гоняют, и поэтому тюрьма не казалась мне страшнее лагеря. Правда, я и опасался остаться в одиночестве, потому что был голоден. Третью пайку я съел, чтобы и ее не отняли. Как и Валька, я с самого начала в тюрьме тревожился за свой хлеб. Но три пайки создавали ощущение защищенности. Я их чувствовал у себя под рукой и мог думать, что одну съем сегодня, а у меня еще останется целых две. Ради этого я шел на риск, голодал, переносил сроки — оттягивал время, когда я эти пайки начну есть. Теперь, без хлеба, я был совсем один в этой тюрьме. Даже страх перед побоями не отвлекал меня. И вот глазами, уже привыкшими искать хоть что-то похожее на пищу, я смотрел на сквозящие металлические ступени, на серую жилую стену, на красный кирпич глухой (оттого, что стена не оштукатурена, казалось, что ты как бы на улице) и чувствовал, что в этой чистоте нет еды. Я смотрел на веселого переводчика и удивлялся — что он ест! Вот эта мысль, что в Германии и для немцев мало еды, меня очень занимала.

Мы спустились ниже надземных этажей тюрьмы, и я понял, что камеры с окнами не для нас. Под самой нижней навесной лестницей, на дне колодца, переводчик щелкнул выключателем и привел нас к низенькой двери. Он открыл дверь, и я увидел за ней темноту.

— Принимайте повсеньких! — весело крикнул он.

Из темноты сказали:

— Некуда.

— Давай, давай, — подтолкнул нас переводчик.

И я вошел вслед за Валькой. Темнота была не абсолютной — в камере горела очень слабая лампочка, просто тлел электрический волосок. Рядом со мной — потому что все здесь было рядом — стояла параша, похожая на термос, в котором в лагере носили баланду. С нар предупреждающе сказали:

— Камера на четверых, а лежат двенадцать.

— Некуда их! — сказал кто-то раздраженный. — Пусть стучат, пусть зовут переводчика!

Кто-то пожалей нас:

— Изобьют, и все.

Но раздраженный сказал без всякой жалости:

— В тюрьму сами приходят!

Валька всхлипывал, и его в конце концов позвали. А мне сказали:

— Садись на парашу.

Не помню уж, сколько я простоял, пока на нарах не начали двигаться, шевелиться, и я втиснулся в эту грудку пиджаков и пальто, от которых мне запахло чем-то родственным. Лежали на досках, под голову пристраивали шапку, кулак или предплечье. Как только я устроился, нас спросили — давно собирались:

— Закурить не пронесли?

Я показал сигарету, которую мне дал парикмахер, сказал, как ее получил.

— Может, проникотиненная вата?

На сигарету приподнялись все. Кто-то, к моему удивлению — всех ведь обыскивали! — протянул мне затлевший трут. Сигарета не сразу загорелась, потом вата вспыхнула, и легкие резануло. Я хотел выбросить, но у меня взяли ее из рук, и кто-то раскуривал ее и раскуривал: когда вата вспыхивала, дул на нее, а потом опять осторожно тянул — надеялся, что откуда-нибудь начнется никотин.

— Да брось ты ее, — сказали ему. — И так воздуха нет!

Только в лагере я увидел людей, вот так безумно тянущихся к табачному дыму, все время озабоченных поисками травы, окурков, навоза — бог знает чего, что можно завернуть в бумагу и курить.

Валька спросил:

— Бить будут?

И тот же раздраженный, к которому я не мог присмотреться в темноте, сказал:

— А ты куда пришел?

Иногда казалось, что уже ночь, но отбоя все не было и все так же бесконечно тлел электрический волосок. Уже переговорили все дневные разговоры, и каждый лежал со своим голодом, и конца этому не было. Но все-таки, когда этого совсем уже перестали ждать, электрический волосок потускнел, наступила темнота и кто-то с облегчением сказал:

— Отбой.

Ему ответили:

— Еще день прошел.

Опять двигались, теснились, разом поворачивались с боку на бок, а когда все замолчали, заговорили двое. Это были взрослые мужчины, и они ругали себя за то, что они здесь.

— Вот не понимали! — говорил один.

И это «не понимали» относилось не только к войне, а ко всей жизни. И этого он не понимал, и того — всего, короче говоря, не понимал. И что лучше сдохнуть, чем попасть в плен, и что борщ когда-то надоедал.

— Я шофером работал, — говорил он. — Зайдешь в буфет, возьмешь сто пятьдесят, пива и пять пирожков «собачья радость». Дураки были!

Голос у него был ясный, не стесненный камерой или темнотой. Товарищ вторил ему сдержаннее. Оба были призывного возраста, и я догадался, что они беглые военнопленные. Должно быть, не я один об этом сразу же догадался.

— Спрашивает, — говорил о переводчике тот, который шофером работал. — «Где цивильное пальто взял? Украл?» Я говорю: «Немка подарила. Я ж, пока ты меня не бил, красивый был». Смеется. Веселый! В глаза посмотришь — как человек!

Я уже много раз видел таких веселых переводчиков (чаще всего это были именно переводчики). Они улыбались, как будто все понимали или как будто улыбкой своей заранее заигрывали с обстоятельствами, которые могли поменяться. Должно быть, где-то у этих людей тлело представление о том, что называют нормальными человеческими отношениями. И свой природный, естественный, что ли, предел, который никак не соответствовал их нынешнему положению властителей жизни и смерти, они тоже ощущали. Они десятки раз переходили его, но ощущение предела от этого не стиралось. Может быть, им это даже нравилось — внутренняя жизнь их от этого делалась богаче.

— Говорит: «Отправим назад в лагерь. Тебя там ждут». Я спрашиваю: «Зачем так далеко? Все равно убивать будете».

Он произнес это так, будто не в первый раз об этом рассказывал. Сказал и сам к своим словам прислушался.

Второй соглашался:

— Зайдешь в столовую, на первое суп или щи, на

второе гуляш. Картошку в сторону, мясо выберешь...

На нарах стало свободнее — они сели. Я слышал, как они дышали в темноте над нами. Только эти двое поднимались с нар без опасения. Мы получали передышку, тут же заполняли освободившееся место, но, когда они ложились, все с готовностью теснились и сжимались опять.

— Дураки были! — сказал тот, который говорил о поразивших меня пирожках «собачья радость».

Я уже видел в лагере людей, у которых представление о счастье сжимается до самых жалких размеров: маргарин, сигарета, день на больничном листе. Появляется свой азарт: украсть картошки, игра в карты. Неимоверно вырастает значение вещей, в обычное время совершенно незаметных. Собственным здоровьем гордятся, как заслугой, доходяг ругают. Объясняется это, видимо, грубостью инстинкта самосохранения, оправдывается же брезгливостью, которую у здорового человека вызывает доходяга. «Ты когда умывался?!» — кричат ему. А умываться в лагере непросто. Подниматься надо рано, значит, недосыпать. Умывальник не отапливается, в умывальнике толкотня. Дневальный орет: «Вставай!» Дневальному перед работой надо подмести, убедиться, что все койки заправлены, а то придет проверяющий полицай, разговаривать не станет: опрокинет шкафчики, перевернет стол, повалит двухэтажные койки — убирайте как следует! К дневальному присоединяются те, кто характером пожестче. А к ним постепенно и те, кто и здоровьем послабее и характером помягче, кому жаль доходягу, кто сам по этой грани ходит. Им удивительно: они-то встали, умылись (так умываются дети, когда родители не смотрят: мазнули щеки холодной водой, вытерлись, а граница серой неумытой кожи изо дня в день становится все явственнее), койку заправили, ушли от унижения, а этот лежит, и ничто его не сдвинет с места. Человек пренебрегает и вашим гневом и гневом полицаев¹. Тех, кто не боится полицаев, лагерное общественное мнение ставит очень высоко. Но для доходяги это, пожалуй, еще и усугубляющее обстоятельство. Его равнодушие к собственной жизни растравляет соседей. «Да шевелись! — кричат ему. — Из-за тебя все пострадают!» В конце концов, никому не хочется, чтобы его шкафчик опрокинули. У кого-то там в миске вчерашня баланда. Но и это не заставляет доходягу

¹ Лагерная охрана из немцев.

шевелиться. Собой пожертвовать — единственный способ для него насолить обидчикам... Нет, никто в лагере не хочет выглядеть доходягой. Вот и говорить стараются бодро. Я знал уже многие оттенки такой лагерной бодрости. Но у того военнопленного, который говорил о пирожках «собачья радость», голос был ясный, не измененный, я это очень хорошо чувствовал.

Потом я десятки раз слышал такие разговоры. Главная мука здесь была в том, что когда-то им не хватило знания. А то, что они знали сейчас, никаким другим путем узнать было невозможно. То есть они и раньше слышали и читали, но не то чтобы не верили, а поверить было невозможно. Надо было стать другим человеком. Все дело было в немыслимой полноте этого знания. Они не стыдились того, что попали в плен, — испуленно жалели, что когда-то выпустили из рук оружие. На фронте они дрались не хуже других и попали в плен, как обычные люди, которые, сделав все, что в их силах, остановились перед неизбежной и, главное, по-видимому, бессмысленной потерей жизни. Но в том-то и дело, что все потом было страшнее смерти. И не жизнь им было жалко, ее и так не было. Жалко им было знания. Они и ценили сейчас себя как людей, которые знают. Они считали, что знанию этому нет цены. Кому-то на фронте сейчас не хватает его, а у них его так много, что они наделили бы им всех. Они и бежали потому, что хотели сохранить это знание и принести его на фронт.

И еще в их разговорах была знакомая мне лагерная мука — они переигрывали поступки, которые уже нельзя было переиграть: «Если бы...»

Они ждали ночи, чтобы вот так обругать себя и выговориться. Им никто не мешал, никто не пристраивался к их разговору. А я лежал и чувствовал одно: я во всем виноват, иначе не был бы здесь, на дне этой тюрьмы. Я думал о том, что упустил: должен был бежать — не бежал, собирался рискнуть — не рискнул. Я один знал, сколько раз все это упустил. Из того, что я не сделал, складывалась совсем другая жизнь. Каждую ночь я ее складывал заново. Все время возвращался к одному и тому же — один несовершенный поступок складывал с другим. Уходил с отцом на фронт (он не брал меня, но я его уговаривал), пристраивался к последней части, оставившей наш город. Я не придумывал себе эти поступки, которых я не совершил. Они жили в моей памяти. Когда-то они обожгли меня: надо прыгнуть из вагона — конвоир

отвернулся, поезд тянет на подъем и лес близко. Но минута прошла, лес ушел в сторону, и конвоир смотрит. Я с места не двинулся, никто ничего не заметил, а я отравлен тем, чего не сделал. И вся эта отравка жила теперь во мне. Теперь я прыгал на ходу из вагона, бежал к лесу, добегал, находил партизан и опять возвращался к тому моменту, когда я должен был прыгнуть, и заново представлял себе, как я это делаю еще лучше, чем в первый раз. Бегу петляя или, наоборот, остаюсь лежать в канаве и жду, пока пройдет эшелон. Я улучшал свои несостоявшиеся побег, задышался, радовался, мстил и чувствовал, как отравляет меня это бесплодное жжение мысли. Но остановиться было невозможно потому, что, как только я останавливался, я слышал спертую темноту камеры, кислый запах своего грязного пальто, которое я старался натянуть на голову. Ночами мне казалось, что уже тогда, когда я не делал того, что должен был сделать, я предчувствовал, знал, куда это меня приведет. И я ненавидел себя и думал: так тебе и надо! А потом думал совсем по-другому: если бы я знал! Это тоже была одна из неотступнейших мыслей. Об одном я почему-то не думал — не улучшал свой настоящий побег, не думал: «Надо было свернуть на эту, а не на другую дорогу...»

Еще я жалел маму, думал, что не слушал ее, раздражал, когда отца взяли в армию.

За ночь никто не поднялся к параше, боялись, что назад не втиснутся. В камере стало холодно, мы сдавливали друг друга, как в толпе, и, как вчера вечером, в темноте затлел электрический волосок — то ли ночь прошла, то ли его просто так зажгли. Потом на двери грянул железом замок, и веселый переводчик крикнул:

— Выходи!

Вчера, когда я переступил порог камеры, я думал, что не дождусь этой минуты, а вот теперь выходить не хотелось.

— Выходи! Уборка! — будто сообщая нам что-то радостное, кричал переводчик, и мы стали выбираться.

В темноте я как будто бы перезнакомился со своими соседями, узнавал их по голосу, по тому, с какого места на нарах этот голос раздавался. А вот теперь нам почему-то было неудобно смотреть друг на друга.

Как здесь было светло и какая высокая неоштукатуренная стена была над нами! Переводчик привел с собой двух немцев заключенных, они принесли ведра и швабры. По тюрьме шел утренний уборочный сквозняк. Меня била

дрожь, и я сказал соседу, что моя одежда, как сито, стала пропускать холод.

— Это от дезинфекции, — объяснил сосед, а раздражительный сказал:

— Ночевали баран и козел на улице. Баран — здоровый же! — ночь прохрапел, а утром встряхнулся и говорит: «Ну и мороз!» А козел заблеял: «Он еще с вечера...»

Козел — это, конечно, я. Мне хотелось понравиться раздражительному, но по дну колодца тянул сквозняк и вверх по тюремному колодцу тянул сквозняк, и я никак не мог унять или изгнать из себя дрожь. Раздражительному надо было обязательно ответить. Если ты позволяешь, чтобы тебя безответно назвали козлом, жди, сразу же назовут еще как-нибудь похуже. Но раздражительный уже отвернулся, а нас с Валькой погнали выносить парашу. Я хотел заупрямиться — так это и принял: назвали козлом и сразу же неси парашу, — но немец уборщик подмигнул:

— Ком, ком...

И я подхватил бак за ручку. Немец уборщик зашел с нами в туалет, прикрыл дверь и показал, чтобы мы не торопились:

— Лангзам, лангзам¹.

И мы втроем простояли минут пятнадцать. В туалете было чисто, глаз отдыхал на белом кафеле, дверь отделяла нас от остальной тюрьмы.

Потом мыли коридор и камеру. Воду надо было лить прямо на нары, и я подумал: как же теперь лежать на мокрых досках? Однако после уборки повели нас не в камеру, а в прогулочный дворик. Тюрьма продолжала меня поражать — выход во дворик был из нашего подвального этажа. Нас провели цементным коридором на дно цементного квадратного колодца, вырытого в тюремном дворе. Стены колодца были отвесными. Несколько минут нам дали походить от стены к стене, а потом заперли в коридоре. Это был вентиляционный ход. Со двора в тюрьму по нему тянул сильный сквозняк — двери, запиравшие нас со двора и из тюрьмы, были решетчатыми.

Ни в полиции, ни в тюрьме нас с Валькой не кормили. В свой самый первый лагерный день я отказался от баланды. Меня предупредили:

— Баланду не будешь жрать — не жилец. Хлеб раз в сутки.

¹ — Помалу, помалу.

Но я не мог планировать свою лагерную жизнь так надолго.

Баланда забалтывалась какой-то химической мукой. Бумажные мешки с этой мукой были свалены в открытом фабричном помещении, ее не охраняли — муку некому было красть, ее нельзя было есть. Гришкин хлеб тоже был каким-то техническим, из отбросов пивного производства, бурачного вкуса и жженого цвета. Но что-то хлебное в нем все-таки оставалось, и вся моя жизнь сосредоточилась на очереди к Гришкиному раздаточному окну. Это была очередь, в которой каждый голодный дожидался истощения, а каждый истощенный — крайнего истощения.

Какой голод в тюрьме, я понял, когда немец парикмахер польстился на мои бурачные «русские» пайки.

Утром немцы заключенные принесли нам четырнадцать белых эмалированных кружек (вернее, цилиндров — на кружках не было ручек) с пустым тепловатым кофе и по скибке хлеба тонкой машинной резки. Немцы узнавали кого-то, кивали мужчинам-военнопленным. Присутствие переводчика их как будто бы не очень стесняло. Хлеб нельзя было жевать — это мгновенно закончилось бы, его нужно было посасывать, не забывая при этом о других, чтобы не покончить с хлебом раньше, чем соседи. Смотреть на то, как едят другие, было бы невыносимо.

От кофе я отказался — вода эта, настоящая на жженой древесной коре, была горька и противна. Мне сказали:

— Согреешься!

Этого я еще не знал и не поверил, что теплой или даже горячей водой можно согреться.

Немцы разносчики, возвращаясь после обхода камер, забирали кружки и выливали недопитый кофе в ведро. Они ушли, а переводчик на минуту задержался и бросил нам сквозь решетку зажженную сигарету. Я видел, как он доставал и прикуривал ее, почувствовал, что в камере ждали этого, и понял, что переводчик не в первый раз так делает.

Эта сигарета и то, как немцы разносчики кивали нашим мужчинам-военнопленным, волновало меня. Мне казалось, что все это знаки тайной подпольной жизни тюрьмы.

Сигарета упала рядом со мной, но я не нагнулся за ней. Валька жадно схватил ее и затянулся так, что, обнажая табак, сгорела немецкая трассирующая бумага. Но и Валька что-то понял, он протянул сигарету мужчине, который ночью говорил об удививших меня пирожках «собачья радость», и жалостно попросил:

— Оставишь?

Мужчина держал сигарету столбиком, чтобы все видели, как много Валька сжег. Окурок обошел человек шесть, и каждого Валька жалостно просил:

— Ну, хоть на затяжечку!

Последнему, шестому, он сказал:

— Выбрасывать будешь, кинь сюда.

И тот, отрывая окурки от потрескавшихся губ, сбросил его на цементный пол рядом с Валькой. Валька попытался поднять этот пепел и огонь, но он распался у него в руках. Тогда Валька стал на колени и тщательно выдул пепел и табачные крошки за решетку и пальцем растер следы на полу. Если попрошайничаешь, надо и услуживать.

Днем, надувая звуком, распирая тюрьму, загудела сирена воздушной тревоги. Мы оживились, стали прислушиваться. Но в тюрьме было тихо, и я подумал, что тишине этой может быть и десять, и двадцать лет. Потом торжествующе гудел отбой.

Говорили мало. Кто-то вспомнил, что с месяц назад отсюда брали на лимонадную фабрику бутылки мыть. Людей этих уже нет, их куда-то отправили, но лимонад они пили.

— На сахарине? — спросил Валька.

И раздражительный, дивясь его глупости, сказал:

— На меду!

А меня поразила сама мысль: из тюрьмы — на фабрику.

— А жили где? — спросил я.

— В тюрьме. Отсюда брали, сюда привозили.

Этого я все-таки не мог освоить, но спрашивать дальше не стал, постеснялся.

В обед опять появились больничной белизны эмалированные цилиндры с розовой водой и жидким осадком из свеклы и капусты на дне. Принимая из рук немца баланду, я думал, как же он меня узнает, если парикмахер что-нибудь с ним передаст. И никто меня не осмелел, когда я потом в камере рассказал о своих затруднениях. В тюрьме я быстро проходил путь к крайнему истощению, и надежды у меня стали появляться самые фантастические.

Вечером опять были те же эмалированные цилиндры с кофе и такой же, как утром, кусочек хлеба. Теперь мы ждали, чтобы нас перевели на ночь в камеру. Весь день я мерз в вентиляционном коридоре и уже не старался согреться — сидел, не двигаясь, на цементном полу.

— Ты бы отвел нас в камеру, — сказал переводчику

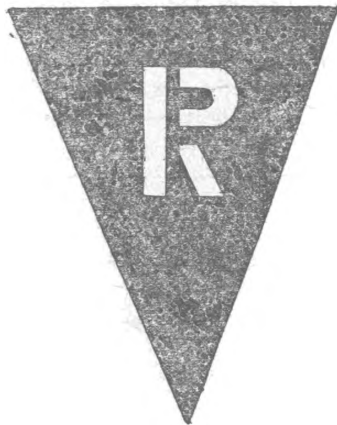
мужчина, который шофером работал.

И переводчик погрозил ему пальцем и заулыбался игриво, как будто его просили о чем-то запретном. В камеру он отвел нас часа через три после ужина. И темнота, и замкнутые каменные стены, и тлеющий электрический волосок, и согревающая теснота, и, главное, деревянные нары — все мне показалось теплым и уютным. Когда на двери камеры загремел засов и еще что-то звякнуло, я почувствовал, что меня отпустило: днем не вызвали на допрос, теперь до утра не тронут. Нары были еще сыроваты, но мы согревались теснотой. А ночью, после отбоя, опять заговорили те же мужчины. Они кляли себя за то, что они здесь, вспоминали, какая еда была до войны, и было в упорстве, с которым они говорили о еде, что-то большое, бредовое, и мне хотелось крикнуть им, чтобы они замолчали, заткнулись наконец, оставили нас в покое, дали мне подумать о своем, потому что, пока они говорили о еде, думать о своем было невозможно. Но я не мог им так крикнуть. Я уважал их за взрослость, за то, что они бежали из лагеря военнопленных — их даже немцы разносчики выделяли, а они-то всякого навидались, — и лежал молча.

И раздражительного я уважал. За выражение бодливости, безжалостности и независимости на смуглом коротконосом лице. За то, что не в первый раз бежит, за то, что побывал в лагерях Эссена и Дюссельдорфа и еще в двух-трех больших немецких городах. За то, что не искал, как я, к кому бы присоединиться, а держался самостоятельно. И на вопросы отвечал без страха, не темнил, как другие. В эту тюрьму его привезли из Франции. Такой предприимчивости и смелости я и представить себе не мог. Бежать в страну, в которой никто слова твоего не поймет, — о таком пути на фронт или к партизанам я тогда услышал впервые. В сорок четвертом году в развалинах разбомбленного Эссена было много русских. Полиция устраивала на них облавы и расстреливала на месте. Но этот был первым, которого я увидел. Правая рука у него была короткопалой — на пальцах не хватало фаланг, будто их разом обрубили. От этого она будто стала только ухватистой и быстрее. И улыбка у него была мгновенной, быстрой и уверенной, как его короткопалая рука. Улыбнулся — и сразу же опять выражение замкнутости и бодливости на смуглом лице. И ощущение после его улыбки такое — то ли он тебе улыбнулся, то ли пригрозил. Переводчик как-то на него накричал. Раздражительный посмотрел на него по своему и то ли улыбнулся, то ли зубы показал.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

политического заключенного из Советского Союза



**Фон красный,
буква белая.**

— Кукиша я тебе не могу соорудить,— сказал он.— Пальцев не хватает.

Мы все замерли, а раздражительный, все так же улыбаясь, смотрел на переводчика. Несколько секунд это длилось или несколько минут, не могу сказать. Но, когда переводчик первым отвел глаза и, будто ища у нас сочувствия, укоризненно покачал головой, раздражительный был совершенно спокоен. Будто это опасная игра не потребовала от него напряжения.

— Танкист? — спросил, указывая на обрубленные пальцы, тот, кто шофером работал. И раздражительный ответил ему своей улыбкой. В камере он один мог вдруг развеселиться. Правда, веселость стекала с него быстро. Расслабился человек, но зорко следит за вами. После стычки с переводчиком кто-то попытался продолжить шутку:

— Покажи кукиш!

Раздражительный улыбнулся, даже обрубками своими пошевелил, но так взглянул на шутника, что шутку никто уже не повторял.

Когда переводчик бросил в камеру сигарету, мужчины-военнопленные окурок передали раздражительному. Он сказал:

— Не курю.

За окурком следили все, и все ждали, что его передадут раздражительному. Но он сказал: «Не курю»,— и это можно было понимать как угодно.

Вечером тот, кто передавал окурок, заговорил обиженно о том, что вот есть люди, которые не хуже других лагерную баланду едят, а воображают о себе бог весть что.

Раздражительный даже не посмотрел в его сторону. Вообще в камере он был как бы сам по себе, не набивался в компанию к военнопленным и разговоров о еде не поддерживал. Он был сосредоточен на том, что было за пределами камеры. Я чувствовал, что он не мог бы вести такие разговоры, как мужчины-военнопленные: чего-то раньше не знал, а теперь знает все. Он и раньше знал, и теперь знает. Окажись он на минуту за пределами тюрьмы, он тут же сделает то, на что все время нацелен. В вагоне, в толпе, в бараке я уже привык выделять для себя таких людей, старался держаться к ним поближе, стремился поступать, как они. Но они не замечали меня, выбирали себе других напарников.

Слишком настойчиво тереться возле них было опасно. Они могли обидеть, были безжалостны даже к тем,

кто выражал им явную симпатию.

— Убери ноги! Сто лет не мыл.

Будто тут можно, когда хочешь, пойти в баню.

Но у них было главное — они не удивлялись, не теряли энергию и в каждый момент знали, что делать.

Существовали, оказывается, какие-то правила для людей, попавших в наше положение. Кто-то до нас попадал в эти лагеря, в эту тюрьму, в эту камеру. Я бы ничего не знал об этих правилах, если бы не такие, как раздражительный. Всегда в вагоне, в бараке, в камере находился кто-то, кто эти правила знал лучше других. Кто этот человек, выяснялось очень скоро, хотя и в бараке, и в вагоне оказывались люди, не знавшие друг друга. Просто не я один искал, на кого бы опереться. Не всегда такой человек отыскивался с первого раза. В камере самыми авторитетными я вначале посчитал мужчин-военнопленных. И только потом почувствовал, что раздражительный сильнее их. Он ничего им не говорил, но я видел, что он осуждает их за разговоры о еде. Он не перемигивался с немцами разносчиками, как мужчины-военнопленные, а, не глядя и на переводчика, и на немцев разносчиков, брал изуродованными пальцами эмалированный цилиндр, ставил его на цементный пол, доставал ложку, вытирал ее, и было видно, что обрубленные пальцы все-таки затрудняют его. В вентиляционном коридоре, куда нам приносили баланду, было тесно, но все старательно освобождали место на полу для цилиндра с баландой раздражительного. К немцам разносчикам он подходил последним, не заглядывал в бак, не тянулся за эмалированной кружкой, а ждал, когда ему подадут, и был глух к шуточкам переводчика о баланде, которую тот называл «щи», «борщ», «суп». Он не заговаривал с немцами, не поднимал на них глаза, но во всем, что он делал, как морщился, как неохотно поднимался с нар или пола, был ясно виден вызов.

— Чего лезть на рожон? — сказал тот из военнопленных, который был посдержаннее.

И я тоже со страхом ждал, чем это кончится. Боялся, что немцы его избыют, сломают и он уже не сможет так себя вести. И в эшелоне, и в пересыльном лагере мне уже случалось видеть, как избивали и ломали тех, кто лез на рожон. И они потом уходили в тень, переставали утверждать правила поведения в лагере, потому что эти правила можно утверждать только собственным поведением. Сам я не лез на рожон потому, что не чувствовал у себя

сил для этого. И, конечно, мне хотелось, чтобы стычка произошла и чтобы раздражительный вышел победителем, потому что недоказанный вызов — я уже понимал это — недорого стоит. Однако прорвалось не совсем так, как я ожидал. В тот день раздражительный, как всегда, подошел за баландой последним. И всего-то он сделал — чуть позже встал, чуть медленней подошел, чуть ленивей, чем надо, протянул руку за кружкой. Но повторялось это каждый день, и немцы следили за ним. Они тоже готовились. Немец разносчик выругался: «Свинья», — колыхнул половником и налил баланду в кружку. Раздражительный взглянул на него со своей улыбочкой.

— Ты что же, гад, налил?

Немец вспыхнул — уловил интонацию, — о чем-то спросил переводчика. Переводчик кивнул. Бак разделял раздражительного и разносчика. Немец был в фартуке, в синем тюремном комбинезоне, лицо его покраснело. Он замахнулся алюминиевым половником, а раздражительный приготовился плеснуть в него баландой. В глазах раздражительного не было страха, напротив, в них появилась странная веселость. И только побледнели пальцы, сжимавшие эмалированный цилиндр. Переводчик с видимым интересом ждал. Немец разносчик отклонился, а раздражительный вылил баланду в парашу. Переводчик побледнел. Валька сказал:

— Лучше бы мне отдал.

У меня тоже была минута отчаяния, когда я увидел погибающую еду. Немец разносчик сказал что-то злобное и наставительное. Похоже, что он был полностью удовлетворен. Больше того, получилось даже лучше, чем он ожидал. Он захлопнул крышку термоса, захватил ее зажимами — и все это демонстративно, громко. С шумом захлопнули нашу решетку, закрыли ее на замок. Переводчик, опять словно обращаясь к нам за сочувствием, показал на голову — сумасшедший! И немцы ушли.

Я видел, что отчаяние, которое у меня вызвала погибающая еда, затронуло всех. Валька спешно допивал из кружки свою жидкую баланду. Кто-то еще поторопился. Но остальные ждали. За выходку раздражительного надо было расплачиваться всем. И не все этого хотели. Теперь мы смотрели на мужчин-военнопленных.

— Из-за чего сыр-бор? — спросил тот, кто шофером работал.

— Гнилая картошка, что ли, — сказал раздражительный.

— Да там все гнилое, — сказал военнопленный. Он с сожалением посмотрел в свою кружку, поболтал, отпил еще, прикинул, столько осталось, и сказал нам:

— Сливайте!

Но раздражительный закрыл его кружку рукой. От баланды он отказался.

Смысл такого ежедневного опасного, изнурительного и, по-видимому, не достигающего никакой цели самоутверждения я понял потом, но и тогда я был полностью на стороне раздражительного. О Германии он говорил так, будто это и не Германия вовсе. Будто не на каждом шагу здесь немцы, русскому и ступить нельзя. Я бы разбился для него в лепешку, если бы он сказал мне: «Ляжешь рядом». Всюду пошел бы за ним, но шансов у меня не было. Он обижал Вальку и покрикивал на меня, сдвигал с места, которое ему понравилось, и вообще словно ревновал нас, сопляков, к тюрьме, в которую мы, по его мнению, попали без достаточных для этого оснований.

Еще в камере были четверо пацанов лет по шестнадцати-семнадцати, к которым мне хотелось прибиться. Но они держались замкнуто, на вопросы отвечали односложно и даже между собой старались не очень разговаривать. Они тоже откуда-то бежали и, судя по всему, старались держаться вместе, чтобы опять, как только представится возможность, бежать. План у них был такой: забраться в воинский эшелон, который шел на восток, и продержаться без еды неделю или больше, пока эшелон не пересечет границу. Это был и наш с Валькой план — забраться в какой-нибудь вагон с военной или строительной техникой и сидеть там, пока не привезет.

Вопрос был в том, как найти такой эшелон, как найти станцию, на которой он стоит, как пройти на эту станцию и еще многое в таком же роде. Но тут уж мы просто полагались на счастье.

Но и прибиться к пацанам у меня было мало шансов. Что я мог им предложить? Ни физической силы, необходимой в таких предприятиях, ни выносливости, ни просто общительного характера.

И еще я думал, что мне страшно не повезло на мои пятнадцать лет. Я был высоким и тощим. «Цу лянг, абер цу дюн»¹, — сказал врач в пересыльном лагере. Этот мой очевидный недостаток силы при высоком росте был почему-то всем несимпатичен. И я все время перенапря-

¹ «Длинный, но тощий».

гался: брал больше, чем мог понести, старался казаться храбрее, чем был на самом деле. Будь я на год или два старше и сильнее, думал я, все было бы по-другому.

В воскресенье нас на весь день оставили в камере. Утреннего хлеба в воскресенье не полагалось. Зато в обед в наших эмалированных кружках-цилиндрах нам дали немного чисто сваренной картошки. Картошку принесли в термосе-параше, мы видели его цинковую внутренность и следили за тем, как немец-заключенный брал парующую картошку черпачком, высыпал ее в кружку, а кружку стряхивал, чтобы убедиться, что картошка как раз покрывает дно. Кружку он передавал напарнику, и тот поливал картошку ложкой соуса-концентрата.

Никто не хотел брать первую кружку. Казалось, что немец только первую порцию положил так скупо.

Больше на воскресенье ничего не полагалось.

Прошло дней десять, а переводчик ни разу не называл ни Валькину, ни мою фамилию. Ни в камере, ни в коридоре он нас не замечал. По-моему, он нас даже забыл, потому что, когда он все-таки пришел за нами и выкликнул Валькину фамилию, он некоторое время ждал, кто на нее откликнется. Вальку повели первым, а я изо всех сил старался приготовиться, справиться с лихорадкой, но чувствовал, что времени у меня совсем нет. Мне попадало вдогон, в толпе, на пересчете — специально меня еще не били.

Когда Валька вернулся, я увидел его распухшую, как будто вывернутую губу. Он всхлипывал и осторожно пробовал ее нижней губой. Брюки его были мокрыми — его били, и он обмочился. На ладонь он сплевывал розовую слюну и трогал ее пальцем.

Раздражительный подмигнул мне и пошевелил обрубленными пальцами — мол, и похуже боль бывает.

Повели меня. Я шел за переводчиком и от голода, страха и отвычки никак не мог подняться по лестничным ступеням. В канцелярии я перешагнул порог и остановился. Но, видно, это место было чем-то неудобным для немцев, и переводчик показал мне:

— Стань сюда.

Я стал. Переводчик усаживался за стол, два других немца сидели за своими столами, о чем-то говорили, а меня едва взглянули. Потом один из них слегка повернулся ко мне.

— Если ты будешь говорить неправду, — сказал переводчик, — тебя будут бить.

Я видел, как в таких случаях поступают блатные пацаны, чтобы отвести или уменьшить побои, они начинают всхлипывать, плакать в голос, притворно кричать, едва на них замахнутся. Унижен тот, кто одурачен, считают они. И вдвойне дурак тот, кто просто дает себя избить и не пытается от этого как-то уйти.

Я хочу сказать, что эта мысль пришла и мне. Я бы всхлипнул, если бы умел. Но у меня все равно не получилось бы. Да и сама эта мысль была страшной и противней, чем ожидание побоев.

— Откуда бежали? — спросил переводчик.

Я не знал, на кого важнее смотреть, на переводчика или на немца, повернувшегося ко мне. Я боялся совершить оплошность.

— Не знаю.

Я сказал, что в Германии недавно и плохо запоминаю немецкие названия.

— Не знает немецкого языка, — сказал переводчик немцу.

В канцелярии пахло комнатой: комнатным теплом, стенами, деревянными полами, дневным светом, проходившим сквозь оконные стекла. Я уже привык к подвальному или коридорному тюремному освещению, довольно сильному, но безжизненному. К электрическому свету, отраженному от голых плоскостей, от цементного пола и крашенных в серое стен.

— А где работали? На фабрике? Что делали?

Я сказал, что работали в литейном цеху, возили тачки. «Литейный цех» переводчик не понял, несколько раз переспрашивал, примерялся к этим словам. Наконец перевел немцу:

— Делали мины.

— Почему бежали?

— Тяжело было, — сказал я и сразу же подумал, что совершил оплошность, что после этого ответа — «Тебя зачем сюда привезли?!» — меня и начнут бить. Но переводчик ровным голосом перевел:

— Тяжело.

Он не очень-то говорил по-русски, но и немецкие фразы его были совсем просты. Я сам мог бы так объясниться.

Они помолчали, а второй немец, который за весь разговор ни разу не поднимал на меня глаз, теперь взглянул мельком.

Переводчик сказал:

— Работа тяжелая? Кормили хорошо?

Я стал рассказывать, и мне показалось, что переводчик слушал с каким-то интересом, что-то к чему-то примерял.

Но тут второй немец, даже не задев меня взглядом, повернулся к переводчику и сказал ему что-то.

— Иди в камеру, — сказал мне переводчик.

И вот тут-то я и почувствовал по-настоящему, как в канцелярии пахнет обыкновенной комнатой, столами, бумагами, комнатным воздухом. Как на стульях за столами сидят эти три немца. Переводчик поднялся, чтобы отвести меня, и я еще подумал, что он меня ударит, но он прошел к двери. Теперь я знал, что произошло с Валькой — он весь был так сосредоточен на страхе, на ожидании, что все остальное у него расслабилось. И со мной бы это могло произойти, и я бы ничего не почувствовал.

Я спускался за переводчиком на дно тюремного колодца и думал, что о кинжале меня еще не спросили.

Ночью я, как всегда, проснулся от холода, от тесноты, оттого, что затекла рука. Ноги кто-то придавил, но теснота уже не согревала. Надо было встать к параше, но и это было невозможно — назад я бы не втиснулся. Спасение было в том, чтобы поскорее задремать, но сон рассеивался. Его вытесняло привычное отчаяние, особенно острое в момент пробуждения. Дашь ему себя захватить, больше не заснешь. Я еще сопротивлялся, но в камере разговаривали, кто-то даже засмеялся, и я прислушался.

— Я ему говорю: «Тише ты! Я сам боюсь!»

Говорил раздражительный. Он рассказывал, как бежал из лагеря, ночевал в мусорном ящике на вокзальной площади, а его случайно обнаружил во время обхода железнодорожный жандарм. Жандарма раздражительный схватил за горло, тот закричал, а раздражительный ему сказал: «Да тише ты, я сам боюсь!»

— Ты все-таки поосторожнее, — сказал тот из военнопленных, который шофером работал. — Все свои, но не дай бог...

Они завздохали, а я подумал: разговорились все-таки. Сошлись. То все держались отчужденно, а теперь легли рядом.

Раздражительный сказал с силой:

— Думаешь, им интересно, кто я, кто ты? Видел, какой переводчик? Я по-немецки лучше говорю, чем он по-русски. И везде такие переводчики — я их уже повидал. Если из немцев, по-русски десять слов знает. Если русский какой-нибудь придурок, по-немецки лыка не вяжет. Если бы им нужен был ты или я, разве у них такие переводчики

были? Ты знаешь, что с нами сделают?

— А ты?

— Знаю! Пацанам как повезет. А нас в концентрационный лагерь. А там больше трех месяцев редко кто выдерживает.

И он стал рассказывать, как встречают новичков в концентрационном лагере.

— Понял? — сказал он. — В тюрьме и не бьют особенно, и не допрашивают. Бить будут в концентрационном. Там этим специально занимаются. Здесь тебя без еды выдерживают. Чтоб не то что бежать — ходить не мог. А в концлагере все только бегом. Думаешь, тут от тебя признания ждут? Если бы ты и захотел признаться, вам бы третий переводчик понадобился. Они не признания твоего ждут, а разрядки, куда тебя послать. У них система! Я, ты, он, они — всем одно и то же... С признанием или без... Не об этом надо думать. Бояться уже поздно. Тут надо зубами...

Они перешли на шепот, а я думал, что наблюдения раздражительного совпадают с моими. В лагере, из которого я бежал, переводчиком был Гришка-старшина.

И еще несколько дней нас держали в камере и в вентиляционном коридоре, а потом — «Быстрее, быстрее!» — погнали наверх, в канцелярию, собираться. Четырех пацанов, державшихся вместе, Вальку, меня и еще троих куда-то увозили. В канцелярии переводчик доставал из шкафа ящички с нашими вещами и ставил их на стол. Я поразился — все в ящичке было цело. Я сунул в карман свои девять марок, коробочку с сахаром, мыло в истлевшей и налипшей бумажной обертке и — была ни была! — свой кинжал. Нас было много в канцелярии, и я как будто бы сумел это сделать незаметно. Но сразу же мне стало страшно. И, пока мы шли по тюрьме, переходили сквозь подворотни внутренних дворов, садились в машину, ожидали, пока разогреется газогенераторная печка этого грузовика, я думал, что вот-вот нас перед выходом из тюрьмы в последний раз обыщут.

Все мы были возбуждены, начиналось что-то новое. Кто-то сказал:

— Долго нас они и не собирались держать. Одежду оставили.

В камере тоже говорили об этом. Не выдали тюремные спецовки — долго держать не собираются. Но в камере просто ни во что не веришь. А тут мы уже сидели в грузовике, и газогенераторная печка его заставляла

рычать разогревавшийся мотор. В кузов заглянул немец, пересчитал нас еще раз, и грузовик вошел в подворотню. Тут в кузов к нам снова заглянули, и мы выехали в город.

Кто-то пожалел:

— А этих мужиков, наверное, в концлагерь.

Кузов грузовика был открытым, в кабине сидели шофер и какой-то штатский немец, который принимал нас в тюрьме, и мы думали, что нас-то, наверно, не в концлагерь везут. А мужчины остались в этом ледяном вентиляционном коридоре, в голодной камере с тлеющим электрическим волоском, со своими безумными уже разговорами о еде. Голод они переносили тяжелее всех нас, да и в тюрьме сидели дольше.

Везли нас булыжными окраинными улицами мимо фабричных заборов и ворот. И мы гадали: может быть, сюда или вон туда, подальше.

Грузовик въехал в обычные фабричные ворота. Двор был не очень большой, мощный булыжником, на булыжнике лежало в штабелях резанное по одинаковой длине железо: уголковое, металлические арматурные стержни, полосовое. Широкие цеховые двери были открыты, и в цеховой темноте нам из грузовика был виден крюк мостового крана. Крюк был массивный, и я подумал: неужели сюда? Работа голодная, железная!

Немец, принявший нас в тюрьме, скомандовал. Мы спрыгнули, открыли задний борт и стали грузить железо, которое нашему немцу отсчитывал фабричный немец в рабочей спецовке. Мы догадались: везут нас в другое место, а по дороге и грузовик и нас используют. От голода и слабости мы страшно испачкались и устали. Потом мы уселись на железо, и грузовик тронулся.

Город остался позади, и в дороге мне почудилось что-то знакомое. И даже эти газогенераторные печки по бокам широкой кабины, делавшие грузовик присадистым, непривычно широким и медлительным, я как будто видел не в первый раз. И в немце, принимавшем нас в тюрьме, я стал находить что-то знакомое. Я еще надеялся, но грузовик въехал в первые улицы городка, и я узнал дорогу, по которой нас гоняли из лагеря на фабрику, узнал магазинную вывеску с изображением желтой булки. Я нагнулся в кузове, чтобы меня не увидели, может быть, грузовик все-таки проедет городок насквозь. А когда машина остановилась и я выглянул, мы уже стояли перед лагерным зданием.

Чем лагерный двор отличается от соседних дворов? Тот же булыжник, тот же приготовленный к вывозу шлак от печей, те же царапины на штукатурке. Просто лагерные так долго и так пристально разглядывают, что на булыжниках и штукатурке остаются следы от взглядов. И от моего взгляда здесь уже был след — на этой трехэтажной бывшей фабрике с решетками на окнах, с дверью, которую специально заузили, когда готовили здание для русских.

— Э-э! Лос!¹ — сказали нам, и я догадался, что надо выгружать железо.

Недолгая эта работа, однако, скоро перестала нас защищать, и полиция повели нас в лагерное здание. Я ждал, когда у входа в вахштубу нас с Валькой схватят, но вели прямо на второй этаж.

Я сразу увидел свою койку — она была первой во втором ряду от стены.

Полицей велел нам разобрать стопку красных штампованных мисок, которые ждали нас на столе.

— Суп, — сказал он, — ны?

Когда мы поднимались, я видел в коридоре термосы, в которых привозят с фабрики баланду ночникам и больным. По натекам на краях термосов мы догадывались, какую баланду привезли.

За баландой на фабрику Гришка отправлял двух желающих. А привозили термосы в двуколке с высокими колесами, которой управлял француз-военнопленный. По простоватому и даже придурковатому крестьянскому лицу этого француза было понятно, почему немцы доверили ему лошадь с двуколкой и почему выпускают его ездить по городу без конвоира.

Опорожненные уже термосы гремели, когда Гришка их наклонял. Помятые их края были в наплывах из тростниковой муки. Алюминиевый половник-мерка не выгребал снизу — был для этого широковат, — и Гришка легко брал многоведерный термос в руки и сливал из него остатки в тот же половник. Он обращался с термосами как человек, совершенно не заинтересованный. Мою миску взял так же слепо, как и миски других. Два человека, которые привезли баланду, стояли в стороне — ждали, когда Гришка отдаст им пустые термосы. Они, конечно,

¹ — Давай!

надеялись, что Гришка что-то оставит им за работу. Но Гришка, не обращая на них внимания, выливал все. Этим двум останется только налипшая слизь по бокам и на дне. Они ее выскребут; вылизут, а термосы вымоют и снесут к дверям.

Несмотря на голод, в лагере было мало добровольцев на такую работу. И эти двое стояли в стороне, ели Гришку глазами и тотчас унесли термосы, как только Гришка с грохотом поставил их на пол.

Мы сидели за столом, когда на второй этаж пришли Гришка и полицаи.

— Гриша, матрацы, — сказал полицаи.

Теперь новички окончательно догадались, кто такой Гришка, и этот момент узнавания Гришке был неприятен. Выпуклые глаза его остекленели. Он никогда без нужды не выходил из своей раздаточной и пайки выдавал молча, не отвечая здоровающимся. И сейчас он повернулся к нам спиной.

— Матрацы набивать.

Я двинулся со всеми, но у самых дверей Гришка сказал:

— А ты, семьсот шестьдесят третий, на свою койку.

Ни я, ни Валька до сих пор не сказали ребятам, в какой лагерь нас привезли. Была безумная, детская надежда, что нас не узнают. Теперь скрывать было нечего. Валька пошел к себе, а я сел на свою койку. Сидеть было неудобно. Боковые доски высоко поднялись над сплюснутым матрацем, резали ноги. И вообще все, что когда-то было в этой койке мое, все, что от меня на нее перешло — на соломенную подушку, матрац и одеяло, — за эти десять дней выветрилось полностью. За эти десять дней она простыла. От одеял пахло холодом и фабрикой, от тонкого матраца, от досок под ним тянуло холодом цементного лагерного пола.

Никто за это время не пытался мою койку занять, она стояла на самом виду. Ни от полицаев, ни от Гришки, ни просто от любопытных на ней не укроешься.

С койки мне была видна лестничная площадка — по лагерным правилам дверь нельзя было закрыть.

Я сидел в пальто. Из глубины кочных рядов на деревянных подошвах мимо меня прошел ночник. Чтобы не прерывать сна, он кутался с головой в одеяло. Он кладал своими колодками вниз, потом зацокал, поднимаясь наверх. Я прилег на койку, но он увидел меня.

— Чекай, чекай! — сказал он. — Але ж ты утик! Шо

ж с тобой зроблят?

Ко мне подходили еще. Подошел глупый, шумный, добрый Стасик, постоянно надувающийся от крикливой храбрости. Даже лагерь не научил его говорить тише. Глаза у него навывкате, и выражение такое, будто он их таращит, прежде чем закричать погромче: «Убьют тебя? Да?»

Я был как раз в том возрасте, когда потребность в любви и доверии во мне была особенно сильна. Лагерь страшно обострил эту потребность. Оторванность от дома превращала ее в сильнейшее страдание. Я, конечно, знал, как важно быть независимым, но все равно привязывался к тем, кто был поближе. Несколько довольно жестоких уроков оставило в моей памяти след, но не сделало осторожнее — слишком много лихорадочного нетерпения было в моей потребности. Я уже сам считал ее слабостью, догадывался, что из-за нее такие, как раздражительный, не берут меня в товарищи, придумывал себе самостоятельное выражение лица, по которому узнаются люди мужественные, но ничего у меня не получалось. Кое-какой опыт у меня уже был. Я мог уже заранее догадаться, какие неприятности принесет мне моя очередная торопливая привязанность, но и это не останавливало меня. Иначе тоска по дому задушила бы меня. Тоске по дому, любви к матери уже некуда было разрастаться, но росли они стремительно, а вместе с ними росло чувство вины, которую, казалось, невозможно искупить. Это было, как у тех мужчин в тюрьме, чувство, которое трудно выразить или, вернее, исчерпать словами. Здесь не было жизни, а жизнь была там. И смысл жизни был там. Теперь он казался предельно ясным. И в этой ясности вся моя прошлая жизнь казалась недостойной, и, как те мужчины в тюрьме, я казнил себя: «Какой я был дурак!»

Среди моих мгновенных привязанностей были и такие, которые возвышали меня. Люди эти часто не замечали меня совсем и, уж конечно, ничего не знали о моей привязанности. Но это не мешало мне хранить им верность, пока мы были в одном вагоне, в одном лагере, и держать их в памяти, когда лагерные обстоятельства разводили нас. В эшелоне это был Юрка-ростовский — красивый, остроумный, открытый парень лет семнадцати-восемнадцати. Товарищ звал его Юроном. Лицо товарища мне не запомнилось, время совсем стерло его, а Юрон в памяти моей день ото дня делался красивее, остроумнее, храбрее. Я мечтал с ним встретиться и рассказать, как

догадался, что они с товарищем собираются бежать. Это было совсем не трудно, мысль эта была у всех, к тому же они почти не замечали меня, а я не выпускал их из поля зрения. Дважды я набирался смелости, чтобы попроситься с ними, но мысль, что я таким образом посягну на чужую тайну, удерживала меня. К тому же каждый раз я встречал неузнающий, непонимающий взгляд. На следующий день после того, как бежали они, я тоже убежал, но был задержан станционным полицаем, как отставший от эшелона.

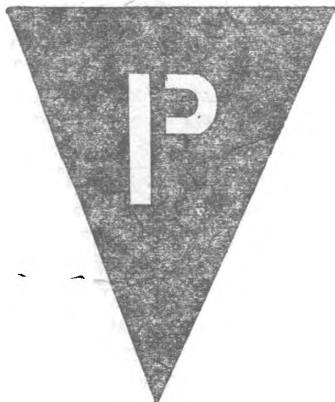
Потом был Гришка по кличке Часовщик из пересыльного лагеря. Он ударил замахнувшегося на него полицая и долго отбивался, когда немцы надели на него. Был Федя из Минска, который испортил себе ногу — неизвестным мне способом посадил на нее устрашающую язву. Добивался, чтобы его отправили домой. Не работал, острил: «Врач спросит, какая нога болит». — «Вот эта!» — и он изо всех сил топал больной ногой.

Теперь это был раздражительный. Он вытеснил или очень сильно потеснил всех остальных. Я вспоминал его словечки, быструю улыбку, решительность, хватистую руку с обрубленными пальцами, его ежеминутную готовность к сопротивлению. Вспоминал несколько уроков, которые он, сам о том не думая, дал мне: баланду, вылитую в парашу, его безжалостность к себе и ко всем остальным: «В тюрьму сами приходят!» То, что он отчетливо представлял себе свою судьбу — концентрационный лагерь, в котором редко кто три месяца выдерживает. Я жалел, что меня забрали из тюрьмы, я мог бы еще быть с ним, и — кто знает! — может быть, он сказал бы мне однажды: «Ложись рядом!» Мысли о раздражительном были отвлекающими и укрепляющими. Я специально сосредоточивался на них. В лагере нас с Валькой должны были избить, и я искал то, что помогло бы мне справиться с ожиданием и хоть как-то обрести душевное равновесие. Я уже знал, что здесь, где боль и голод постоянны, самое первое условие самоуважения — не жалеть себя. Топнуть больной ногой и засмеяться: «Вот эта!» Иногда мне думалось, что я чему-то научился, но сейчас я чувствовал, что боюсь боли и унижения.

И еще было одно, в чем я угадывал силу раздражительного и за что уважал его: он не хитрил мыслью сам с собой, не фантазировал, как я или даже мужчины-военнопленные. Он точно знал, что ему предстоит, и даже в мыслях своих не позволял себе от этого уклоняться.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

политического заключенного из Польши



**Фон красный,
буква белая.**

А я хитрил мыслью сам с собой, открывал дорогу фантастическим надеждам, искал фантастические выходы. Надеялся, как все мы тогда, на какой-то воздушный десант.

...С благодушным, уже привычным мне покровительственным интересом подошел Петька-маленький. Не только франтоватая спецовка, но сама кожа его была чиста потому, что он работал в хорошо освещенном воздухе механического цеха. Петька был из тех людей, которых в лагере замечаешь прежде всего. Его любимое место — лестничная площадка между первым и вторым этажами. Отсюда можно заметить полицая, выходящего из вахтшубы. Здесь Петька перехватывал женщин с третьего, семейного этажа. Идешь по лестнице в уборную — Петька-маленький стоит, опершись спиной о стену. Поднимаешься — и поза та же и улыбочка. И еще тебе посветит золотым зубом. И женщина от него не отходит, стоит спиной к проходящим. Блеск золотого зуба Петька-маленький по своему желанию то усиливает, то ослабляет. То это холодноватый металлический блеск, то масляный. Если полицай захватит Петьку с женщиной, Петька-маленький умильно посветит ему своим золотым зубом. Сам потом об этом расскажет, покажет, как улыбнулся, как сказал: «Герр Альтенфельд, герр Клемериус». И в рассказе этом будет важно и то, что Петька точно знает, как зовут полицейских, и то, что сами полицейские знают, как его зовут и какая кличка прибавляется в лагере к его имени.

На втором этаже у нас жили несколько поляков. Составленные в ряд банные шкафчики из прессованного картона отделяли наши койки от двухэтажных коек поляков. Поляки за своими шкафчиками держались обособленно и даже к печке выходили редко. Пайки они получали у Гришки, образуя свою маленькую очередь. Хлеба они получали больше, и чуть весомей у них была недельная пайка маргарина.

На «русской» половине почти не было здоровых мужчин призывного возраста, большинство подростков и совсем пожилых. Петька-маленький был исключением. Ему было лет девятнадцать-двадцать. Он любил сидеть у поляков потому, что всякий закуток в лагере сам собой становился привилегированным, и еще потому, что поляки были взрослыми мужчинами. Разговаривал он с ними на смеси польского и немецкого, но чувствовалось, что ни польского, ни немецкого Петька не знает. Только зубом масляно светит.

Однажды и я решил заглянуть за польские шкафчики. Петька был там.

— Тебе чего здесь? — спросил он меня с такой мгновенной неприязнью, будто давно проникся ко мне отвращением и наконец дождался, чтобы высказать его мне. Меня поразила эта мгновенная и будто бескорыстная враждебность: получалось, Петька защищал поляков от моего вторжения. А я ведь и рискнул сюда войти потому, что увидел Петьку-маленького. Я привык судить о нем по его постоянной ласковой улыбочке.

Увидев, что я замаялся, Петька двинулся ко мне с выражением непреклонной враждебной готовности. Я был «малолеткой», и Петька ожидал от меня послушания. Я бы и ушел, но теперь это было невозможно. Я сделал шаг вперед и по тому, как меня залихорадило, по тому, как перестал видеть боковым зрением, почувствовал неизбежность драки.

— Иди отсюда! — сказал Петька, а я, опасаясь, что он сейчас меня ударит, схватил его за голову. Я гнул его к полу, а он быстро тыкал снизу меня кулаком. Я сильнее гнул его навстречу этим тычкам. Мы распались, и на Петькино лицо постепенно вернулась улыбочка. Он покраснелся, ни одной царапины на нем не было. А мой глаз затягивало. Это озлобило меня, сделало отчаянным. Петька, конечно, был старше и сильнее, но мой высокий рост делал мое поражение смешным. Я сел на табурет, с которого, когда началась драка, встал поляк, и старался скрыть, что запыхался и ноги мои подрагивают. Новую драку я не начинал, но показывал, что не уйду. Ко мне вернулось боковое зрение. Я следил за Петькой и с непонятным самому себе разочарованием видел польские койки и шкафчики. Все было, как у нас: те же двухэтажные нары, те же банные шкафчики, тот же цементный пол и серый соломенный казарменный свет. Только еще более сумрачный — дальше от окон и лампочки.

Стыд, который я испытывал с самого начала этой сцены, становился все сильнее, и, высидев несколько минут, я ушел.

От сочувствия, которое вызывал мой синяк, я старался всячески укрыться. А кто-то сказал осуждающе:

— Бей свой своего, чтобы чужой и духу боялся.

И смысл этой поговорки впервые открылся мне. Мне тогда вообще впервые открывался смысл многих поговорок, которые до этого нераскрытыми зацеплялись в памяти. И моему еще детскому сознанию смысл этот казался

старинным, темным, как тени на иконах, которые мне иногда приходилось видеть в домах у пожилых людей, наших родственников. Это было не то, что я хотел бы узнавать.

А Петька-маленький на следующий день улыбнулся мне, будто между нами ничего не произошло. Он и сегодня масляно посветил мне своим зубом.

— А я думал, вас не поймают, надо и себе попробовать убежать.

Он лицемерил. Брюки своей франтовой спецовки он разглаживал под матрацем — укладывал их туда на ночь. Я тоже как-то уложил брюки на ночь под матрац — вынул еще более измятыми. Не всякий таким способом может разглаживать брюки. Для этого надо спокойно спать.

Но сейчас Петька меня не интересовал. Он это и сам видел. Вернулись с набитыми соломой матрацами ребята. Их вел тот самый полицейский, который раздавал нам миски. Он по-прежнему был настроен благодушно, что-то советовал или объяснял.

— Ну? — говорил он.

На цементный пол натрусилась солома, Гришка показал ребятам, где веники.

От койки я отходил только для того, чтобы посмотреть, не занят ли шкафчик, в котором у меня когда-то стояла миска. Я боялся отойти. Когда Гришка донесет и за мной придут, надо быть на месте, чтобы не гонялись, не искали, не распалили себя. Но к ребятам я подошел. Вслед за мной пришел и Петька-маленький, сияя своим золотым зубом. В лагере так можно проверить, уважают ли тебя. Подошел, а разговаривающие не замолчали, не уставились вопросительно — значит, ты свой. Вообще-то только уверенный в полном к себе уважении рискнет без приглашения подойти к тем, кто сгруппировался для разговора. В лагере все на виду, уединиться тут можно только вот так — повернувшись спинами к остальным. Да и тайны-то есть только у деятельных и уважаемых. Какие тайны у остальных? И сладко, конечно, подойти хотя бы только для того, чтобы ощутить себя принятым, своим. Меня всегда одолевал соблазн подойти к разговаривающим. Но я редко решался. И вот теперь у меня своя тайна.

Петька подошел для того, чтобы показать новичкам, что он уважаемый человек, что для него нет в лагере тайных разговоров. Зуб его сиял нестерпимо, но я молчал, а парни смотрели отчужденно. Пришлось ему уйти.

Я хотел рассказать ребятам, на какие работы их могут погнать. Они слушали, но отчуждение в глазах не проходило.

5

Каждая новая работа в Германии была для меня ступенью ужасного. До того, как мы с Валькой решились на побег, я прошел две такие ступени: работу в подземелье и в литейном цеху. В первый же лагерный день меня погнали к подножию холма, в глубину которого уходили два широких входа. Из подземной темноты этих ходов шли рельсы узкоколейки и обрывались на краю выброшенной породы. Такие рельсы укладываются секциями. Эти секции — рельсы, привинченные к железным шпалам — привозят на место и складывают штабелями. А тут уже были поворотные круги, ответвления, на которых вагонетки могли расходиться, — целый комбинат, который, казалось, работает годы. Казалось, такую гору породы можно добывать и вывезти из-под земли за целую рабочую эпоху. И было страшно, что все это сделано четырьмя русскими и двумя поляками за два месяца.

Рельсы были старыми, вагонетки — погнутыми и грохочущими. Железные рельсы прогнулись оттого, что их много раз укладывали на неровный грунт, вагонетки — потому, что падали с горы отвальной породы (мы сами их часто сбрасывали нарочно). Камень, железо рельсов и шпал — все было в сырой и скользкой глиняной смазке. И все вокруг от этого подземельного камня, связанного подземной глиной, было сырым, желтоватым и скользким. С потолка сочилось и капало, но разбухший от сырости, от подземного тумана воздух был неподвижен, и, когда мы с холода входили сюда, на мгновение казалось, что в подземелье тепло.

Работать надо было «до чистой стены», а косые слоистые камен-выходы пода очень чувствовались лопатой. Лопата срывалась, не шла и в самый последний момент оказывалась пустой. И хоть бы ловкости прибавлялось от четырнадцатичасовой работы! Бьешься с этой лопатой, упираешь ее в живот, а она становится все тяжелей. Наконец вагонетка полна, мы упираемся в нее изо всех сил — надо сдвинуть ее с места и вкатить на взгорок. Тяжело, но какая-то перемена. Развернули вагонетку на ржавом поворотном круге, довели, сдерживая, до обрыва, опрокинули, вычистили лопатой налипшее и катим пустую

назад. И это опять перемена в нашем тяжелом дне. На дожде мы промокли, и в который раз переход под землю покажется нам переходом в тепло. В первый же день я узнал, что перемены тяжелого — все наши возможности.

— Шеп, шеп¹ — подгоняет нас фюарбайтер Пауль.

Он стоит за нашими спинами. Но страшно даже не это. Страшно то, что куча породы с этой стороны вагонетки, где работает мой напарник Андрий, убывает быстрее, чем с моей. Андрию лет двадцать, он глуховат. Голову держит набок и смотрит уклоняющимся, смущающимся взглядом. Этот смущающийся, уклоняющийся взгляд мне долго был ненавистен. Андрий вытягивал меня в гонку, которой мне было не выдержать и минуты. Шеп, шеп — относилось только ко мне.

— Выслуживаешься, гад! — говорил я ему в отчаянии.

Но он не слышал и не замечал, что я ему говорю. Я видел его уклоняющийся взгляд и думал, что он притворяется глухим. Однажды Пауль ударил меня, и Андрий понял. Сказал мне своим гнусавым голосом, которого он сам не слышал:

— Я не могу не работать.

И показал на подземелье и на все вокруг. Сказал с отчаянием. Взгляд его стал еще более уклоняющимся. Он действительно был будто приспособлен к этой лопате с короткой ручкой, будто всю жизнь работал ею в этой темноте и тесноте, так точно упирали ее в породу, так ловко подхватывал на колени, не цепляя рукояткой стену. Даже большие куски породы он брал не руками, как я, а тоже подхватывал их на лопату и, откидываясь назад, бросал в вагонетку. Он стал теперь, когда Пауль уходил, работать с моей стороны. Должно быть, в детстве Андрия дразнили за глухоту и гнусавость. Ему и сейчас требовались большие усилия, чтобы произнести слово. Молча он мне показывал, чтобы я посторонился, и куча породы, в которую я беспорядочно тыкал лопатой, начинала ровно убывать, а пол перед нею очищался. Но Пауль был пронизателен и почти сразу же засек нас. С тех пор жизнь моя в подземелье стала еще страшней.

Фюарбайтер — всего лишь старый рабочий. Все немцы-рабочие на фабрике и в подземелье ходили в спецовках. Пауля мы узнавали по светлому пальто. В сером подземном тумане, тускло освещенном как бы отсыревшим электричеством, появлялось медлительное светлое пят-

¹ — Давай лопатой!

но — это, стараясь не поскользнуться, не сбить себе ногу и не выпачкаться, шел к нам Пауль. Медлительность его была еще и от болезненности. Пауль не мог работать физически. У него был туберкулез, кожа на выступающих скулах и висках была пергаментной и потной, а смотрел он на нас так беспокойно и подозрительно, словно знал, что мы все ждем его смерти. Он хвастал, что мог бы не работать совсем, но трудится добровольно. Мою физическую слабость и непригодность он оценил сразу, и его «шеп, шеп!» я слышал постоянно. Прежде чем подойти к нам, он подолгу стоял за поворотом подземелья — слушал, как часто ударяется порода о металлические борта вагонетки. На слух определял, с каким усердием мы работаем и кто кидает чаще, Андрий или я. Он специально, я думаю, разъярял себя, чтобы подойти кричащим и грозным. Пытался из-за вагонетки достать меня кулаком или ткнуть палкой. Потом стоял за нашими спинами в светлом пальто и кашне, которые, конечно, не грели его, дышал подземным туманом. Этот подземный туман должен был убивать его, но он не уходил. При нас он старался не обнаружить свою физическую слабость — не кашлял, не задыхался. Но через некоторое время подземная сырость так пропитывала и раздражала его воспаленные легкие, что, стоя на месте, он начинал часто дышать, откашливаться и булькать. В эти минуты он становился особенно злобным и придирчивым. Часто вытирал лоб платком, как будто туман, набившийся в его легкие, проступал сквозь кожу. Эта потливость на холоде поражала меня. Я долго не мог понять, как это можно потеть в этой ледяной сырости. Потом мне объяснили, что Пауль болен. Сам я досмотрелся, что нелепое в этой постоянной рабочей грязи светлое пальто Пауля уже старо, покрыто пятнами, которые, наверно, тщательно выводились авиационным бензином. И я неожиданно понял — неожиданно, потому что я уже не мог думать о немцах как о людях, — что Пауль — бедный и жалкий человек. Это не сделало его ближе, напротив, я стал испытывать к нему гадливость. Я видел, что в ярость он приходит так же часто, как и смущается. Раздражительность Пауля постоянно подогревалась его слабостью. Гадливость обострила мою мстительную пронизательность. Этот невысокий, смертельно больной человек из маленького немецкого городка не только с самоубийственной страстью выполнял свой долг — следил за тем, чтобы мы не уклонялись от работы, — но и страдал оттого, что мы видим его бедность

и слабость. В этой войне, где убивали так много людей, даже наши лагерные шансы были выше, чем его. Мне казалось, что я мог точно указать момент, когда лицо Пауля серело от этой мысли. О болезнях я тогда еще мало знал, и потливость Пауля на холоде продолжала меня поражать. Когда он стоял за нашими спинами, мне казалось, что потливым, болезненным становится сам туман в подземелье.

Но все же в подземелье было два входа, на поверхности работал компрессор, и Пауль вынужден был ходить туда.

Во втором ходе подземелья работал земляк Андрия Володя. Оба были белорусами. Володя был года на три моложе Андрия. И Андрий ходил за ним, как нянька. В лагере их нары были рядом, Андрий все время стремился что-то понести за Володю, брал у него из рук миску и говорил с какой-то материнской интонацией своим гнусавым голосом: «Давай я понесу». И взгляд его при этом становился уклоняющимся и смущенным. Самоотверженная привязанность его была так заметна, что о ней знал весь лагерь. Все видели, как Андрий стирал Володину рубашку, штопал его брюки. Он умел сапожничать и шить, и Володина одежда всегда была в неплохом состоянии. Они были совсем разными. Володя — городской, Андрий — деревенский. Володя любил жить на виду, Андрий в лагере не вставал со своей койки. Сидел он там под ярусом второго этажа нар, и голова его всегда была наклонена над каким-нибудь шитьем. Они почти разговаривали мало. Чтобы Андрий услышал, надо было кричать, и, если кричали тихо, в глазах его не появлялось понимание. Если кричавший был ему неприятен, неинтересен или если Андрий подозревал, что его дразнят, он мотал головой и уходил. Володе часто приходилось кричать ему два раза. Он предупреждал соседей:

— Сейчас с Андреем буду говорить.

Андрий догадывался об этом по смеющемуся Володиному лицу, по тому, что соседи к чему-то приоткрываются. Взгляд его становился смущенным, лицо выражало усилие и страдание. Он кивал, краснел, показывал, что понял, и протягивал Володе ложку или еще что-то. А Володя смеялся и кричал:

— Андрей, ты же не понял!

Все смеялись. Володя кричал еще раз. Я завидовал Володе и осуждал его за эти шуточные предательства, за то, что он заставлял всех смеяться над Андрием. Осуждал его за то, что он мог взять у него кусок хлеба и еще показать всем:

— Андрей дал!

Он не сразу привык к Андриевой привязанности, но потом сам стал давать ему рубашки.

— Андрей, постирай!

Или протягивал прохудившиеся носки.

— Заштопай!

Он все-таки немного стеснялся и потому пошучивал. Андрий же никогда не стеснялся обнаруживать свою любовь к Володе. И в этом тоже было что-то материнское, какая-то уверенность, что все должны Володю любить. Володины кружка, ложка и миска хранились в Андриевом шкафчике. Если кто-нибудь просил у Андрия миску, он говорил:

— Занята.

— А эта? — упрекали его, показывая на Володину. Взгляд Андрия становился уклоняющимся, и гнусаво, с выражением значительности и безнадежности он отказывал:

— Это Володина.

Выпросить у Андрия какую-нибудь Володину вещь хотя бы на минуту было невозможно.

Надо было видеть, с какими извинениями, с каким смущением Андрий возвращал Володе постиранные рубашки, заштопанные носки.

— Мыло не стирает, — гнусаво говорил он. — Я поло-
скал...

Будто боялся, что Володя в следующий раз не доверит ему свою рубашку.

Андрием он называл себя сам. Когда мы с ним познакомились, я переспросил.

— Андрей? — прокричал я ему.

— Андрий, — поправил он меня.

И все в лагере уважали это его желание называться Андрием, и только Володя, не обращая на это внимания, звал его Андреем.

Володя был худ, как все в лагере, но здоров. И здоровьем своим он был обязан Андрию. И еще, пожалуй, своему легкому характеру. Он был парень лихой, и у лагерных блатных — их у нас было несколько человек — появились к нему какие-то счеты. Они пришли как-то к Володиной койке что-то выяснять. Андрия они, конечно, в счет не брали. Да он и не мог слышать, о чем они говорили. Как всегда, он сидел на койке, склонившись над работой. Но как раз в тот момент, когда разговор стал горячим, он вытащил доску из нар. И сразу повернул дело так, как даже, наверно, Володя не хотел. Ни такой ярости, ни такой

силы, ни, главное, такой решительности блатные от Андрия не ждали. Они убегали от него в межкочные ряды и на лестничную площадку, поближе к полицейским.

А когда однажды Пауль замахнулся на Володю, Андрий, который был при этом, так перехватил лопату, что пергаментное лицо Пауля почернело.

— Ну ты, сумасшедший! — отступил он.

В подземелье работали два поляка: Бронислав и Стефан. Стефан, коренастый, волосатый, непривычно для лагеря круглолицый человек, хорошо говорил по-русски. На работе у нас с ним были прекрасные отношения. Когда за фабричной проходной мы объединялись, чтобы идти к себе в подземелье, Стефан подходил к нам, здороваясь, говорил о «проклятом холоде», о «проклятых немцах», о «проклятой темноте». Для того чтобы обругать немцев, ему не хватало русских слов, он переходил на польский язык. Потом мы выясняли, как называются по-польски лопата, кирка, отбойный молоток, и удивлялись тому, что в польском языке так много шипящих звуков. Стефан охотно называл нам польские слова, в которых особенно много шипящих, учил правильно их произносить.

На работе мы покрывали друг друга. Но в лагере Стефан скучнел, вся бойкость его, готовность к разговору исчезали. Он не выходил из-за своих польских шкафчиков, а если мы встречались в умывалке и кто-то из нас с ним заговаривал, он отвечал по-польски, и разговор сам собой угасал.

— Не хочет при своих разговаривать с нами, — сказал я Володе.

— Ага, — засмеялся он.

Бронислав был тихим душевнобольным. У него светлые волосы, красивое продолговатое лицо с тонким носом. Меня тянуло к нему. В глазах его была постоянная тихая доброта. К этой доброте меня и тянуло. Но была она какая-то ни на чем не сосредоточенная, и взгляд его как бы не доходил до того, на кого он был направлен. И если Брониславу долго и внимательно смотрели в глаза, стараясь заставить его на чем-то сосредоточиться, Бронислав вдруг усмеялся, виновато опускал голову, произнося при этом что-то невнятное. И никогда нельзя было заставить его повторить ясней эту невнятицу. Стефан опекал его, но иногда, желая позабавить нас, он показывал нам, какие глупые у немцев военные команды. Он кричал:

— Бронислав, штильгештан!

Бронислав сдвигал каблуки и застывал в стойке

«смирно». Оказывается, он когда-то служил в немецкой армии.

— Ауген рехтс! Ауген линкс! — командовал Стефан, и Бронислав старательно выворачивал свои голубые рассеянные глаза — «равнялся направо», «равнялся налево». Но сколько-нибудь долго удержать его в этой позе нельзя. Он тотчас расслаблялся, «стойка» расплывалась, теряла необходимую для комического эффекта строгость, и Стефан командовал:

— Музыку!

Бронислав доставал из кармана губную гармонику и, скашивая на нее свои добрые глаза, извлекал несколько неясных музыкальных тактов. Эти звуки пробуждали в нас голод, о котором мы не подозревали, — голод на музыку, мы просили Бронислава сыграть еще, но звуки так и не складывались в мелодию.

Стефан говорил:

— Бронислав умеет по-английски, по-французски, по-итальянски. О! Бронислав бардзо цивилизованный. Интеллигент!

И Бронислав послушно произносил тихим голосом:

— Манже, фюме, — а потом ломаную немецко-итальянскую фразу, которую мы все, конечно, знали: — Никс манчжаре, никс фумаре, никс лаураре.

Все смеялись, и уже каждый командовал:

— Бронислав! Штильгештан! Ауген рехтс! Ауген линкс! Музыку, Бронислав.

Бронислав подчинялся не всем. Кого-то он просто не замечал. Но Володю выделял. Володе нравилось командовать. Бронислав быстро утомлялся и как будто начинал понимать, что над ним смеются. Пробормотав свою невнятицу, он уходил от нас, а Володя его задерживал:

— Пожалуйста, Бронислав...

— Оставь человека! — говорил я.

Но Володя смеялся.

— Да он ничего не понимает!

Бронислав был единственным поляком, который часто выходил из-за шкафчиков на нашу половину. Несколько шагов он делал быстро, как будто у него была важная цель, но потом неожиданно останавливался напротив какой-нибудь группы разговаривающих, опирался спиной о коленный столик, принимал какую-то вольную, не лагерную позу — руки выжидательно скрещивал на груди, ногу ставил перед ногой — и выражение у него было такое, будто он пришел сюда с сюрпризом. Его, конечно, сразу

замечали. Отмечали его вольную позу, его рассеянную улыбку, здоровались с ним:

— Бронислав! Как живешь? Расскажи что-нибудь, Бронислав!

Он отвечал улыбкой, бормотал свою невнятицу. А кто-то с польской половины раздраженно кричал:

— Бронислав!

Не меняя позы и не оборачиваясь в ту сторону, он отвечал:

— Цо?

И, так как на лице его ничего не менялось, казалось, что это не он сам отвечает, а что-то внутри него само откликается на знакомый голос. Это «цо?» поражало меня. Было в этом звуке что-то птичье, что-то женское.

Я заговаривал с Брониславом, но он не узнавал меня, не выделял среди других. Подходил Володя, и его просили:

— Володя, скажи ему, пусть сыграет.

Володя смеялся.

— Музыку, Бронислав!

На лице Бронислава отражалось сильное беспокойство. Просьба была ему неприятна, но не выполнить ее он почему-то не мог. Он произносил свою невнятицу, пытаясь объяснить что-то необъяснимое, но потом доставал свою губную гармонику, извлекал несколько звуков и опять что-то объяснял.

Иногда казалось, что звуки вот-вот сложатся в мелодию, что Брониславу нужно сделать какое-то совсем ничтожное усилие, чтобы они сложились, что Брониславу нужно помочь преодолеть темное упрямство его больного разума. И все покрикивали, требовали, старались решительностью голоса пробудить в Брониславе волю.

— Музыку, Бронислав!

Володя смеялся, но обязательно находился кто-то раздражительный и недоверчивый, считавший Бронислава симулянтом. Для себя небось играет. Зачем иначе постоянно носит с собой гармонику?

С музыкой, однако, ничего не получалось, и Володя начинал командовать:

— Штильгештан! Ауген рехтс! Ауген линкс!

Снисходительно улыбаясь, Бронислав выполнял команды. Но тут Бронислава уводил высокий поляк, которого звали немецким именем Вальтер. Вальтера я считал старшим на польской половине. Он был там самым высоким, и разговаривал он увереннее и громче всех. Одевался он всегда хорошо, будто, отправляясь в Герма-

нию, захватил чемодан с новой одеждой.

Вальтер ругался и уводил Бронислава, а я говорил Володе:

— Зачем ты это делаешь? Слышишь, как ругается?

— Да? Ну и что? — отвечал Володя так-беззаботно, что я и сам начинал думать: «Ну и что?»

Бронислав, однако, действительно знал французский — я видел, как он говорил с французами. И по-немецки понимал и говорил. И лопатой он работал столько же, сколько и все, и в вагонетку впрягался. Но Паулю все время казалось, что он симулирует. Он отталкивал его, сам в своем светлом пальто брался за вагонетку — показывал, как надо толкать. Он тут же задыхался, на желтых пергаментных щеках появлялись пятна, виски покрывались потом, аккуратное кашне выбивалось. Он и нас пытался натравить на Бронислава: вы за него работаете! Когда он его пинал, Бронислав вздрагивал, как будто не мог понять, откуда исходит боль, лопотал свою невнятицу, на секунду убистрял свои шаги, но потом опять казался вялым, безмускульным, идущим за вагонеткой, а не толкающим ее. И Пауль опять пинал его. От злобы Пауль закашливался, бледнел, и это останавливало его. Он уходил, чтобы успокоиться и набраться сил. Я догадывался, что Пауля поощряет и даже соблазняет полная беззащитность Бронислава. Но и с нами он воевал не на жизнь, а на смерть. У нас было немного возможностей останавливать работу, но те, что были, мы, конечно, использовали. Сбрасывали вагонетку с горы отвальной породы, как будто не могли удержать ее, когда опрокидывали гондолу. Вагонетка и сама могла опрокинуться, ее надо было страховать бревном, вставленным в раму. Эти бревна с изодранной корой, в скользкой глиняной смазке лежали тут же. Мы вставляли их в раму, с криком опрокидывали гондолу и следили за Володей — он подавал сигнал. Если вагонетка не шла сама, мы ее подталкивали теми же страховочными бревнами и с криком отскакивали в сторону. У Андрия при этом лицо делалось смущенным, он наклонял по-своему голову, будто не одобрял нас, считал наши поступки детскими. Вагонетка катилась глубоко вниз, грохотала, перекатываясь через гондолу, но никогда не ломалась. И рама, и колеса, и оси, и сама гондола — все в ней было тяжелым и прочным. Я не помню ни одного случая, чтобы Пауль при этом обвинил нас в саботаже. Он называл нас ленивыми собаками, но, должно быть, считал, что мы не станем нарочно идти на

такой каторжный труд — вагонетку вытягивать наверх приходилось нам самим. Теперь надо было брать те же самые страховочные бревна, бежать вниз, освободить гондолу от тяжелой липкой породы, которая так и не высыпалась вся, пока вагонетка катилась, ставить ее на колеса и по крутому откосу, по щебню, по камням, едущим вниз на глиняной смазке, тащить ее наверх. Не одобрявший нас Андрей яростно действовал страховочным бревном. Этого человека возбуждала сама работа. Кроме того, ему всегда хотелось взять на себя Володину долю. Час или два, ссаживая ноги на скользких камнях, сбивая руки, торгуясь с Паулем, который в своем светлом пальто следил за нами с вершины отвальной горы, требуя у него помощи, мы вытаскивали вагонетку наверх, счищали с нее глину (с себя мы ее счистить уже не могли), ставили ее на рельсы и катили в подземелье. Понятно, что некоторое время мы сами остерегались упустить вагонетку вниз. Но в конце концов опять подходил такой момент, мы все чувствовали его приближение, потому что ведь перемены тяжелого — это были все наши возможности. Володя лихо подмигивал, и вагонетка летела. Глядя ей вслед, слушая, как она лениво перекатыется через гондолу, глухо грохочет разболтанным, измазанным глиной железом, мы испытывали мгновенное торжество. Может быть, мы бы опрокидывали ее реже, если бы в Володиной лихости не было безоглядности. Он загорался вдруг, вспыхивал и в эту минуту совершенно не думал о последствиях, как бы ни были они близки. Или смеялся:

— Все равно Андрей вытянет!

Я завидовал Володиной храбрости. Она всегда была при нем. Это было видно по его быстрой улыбке, по тому, как он, не приседая и не балансируя, спускался по крутому откосу отвальной породы, по тому, как он разговаривал с Паулем. Даже кожа у него была такой смуглой, какой она, как мне почему-то тогда казалось, должна быть у храброго человека. И никогда Володе не надо было ждать, пока у него наберется достаточно храбрости, чтобы что-то сделать. Он сам не знал за мгновение до этого, что она его заставит сделать. Поэтому рядом с ним всегда потягивало опасностью. Он мог за спиной Пауля оборвать электрический провод, ударить киркой по шлангу от компрессора. Володина смелость, заставлявшая волноваться Андрия, утомляла и меня. Мне казалось, что вовсе не обязательно рвать провод за спиной у Пауля. Я не мог так хорошо управлять мускулами своего лица, так мгновенно

принимать удивленное и независимое выражение. Но рядом с Володей было и легко, потому что лицо его могло быть серьезным или веселым, но я никогда не видел на нем того ужасного, несправедливого гнева, с которым иногда усталые, раздраженные люди в лагере отстаивают свое место, свою койку или какое-нибудь другое свое право.

Конечно, я бы полностью подчинился Володе, если бы он захотел. Но он оставлял мне всю мою свободу. Должно быть, он хорошо видел эту мою пацанячью готовность и посмеивался, когда я спрашивал у него, как мне поступить:

— Твое дело. Я за тебя не отвечаю.

Я тяжело переживал его понимающую улыбку. Я ведь предлагал ему свою любовь и верность, а он от них отказывался. Он и об Андрии говорил:

— Никто его не заставляет. Он сам, — и улыбался той же улыбкой.

Мне бы оценить эту его улыбку — в лагере были люди, от которых приходилось отстаивать свою независимость. Но я обижался. И за Андриа обижался. О нем Володя не должен был говорить: «Это он сам».

Андрий принес ему заштопанные носки, а кто-то удивился:

— Он тебе должен, что ли?

Глухой Андрий не слышал. Лицо его выражало обычное унылое беспокойство, угодил ли он Володе, и я подумал, как было бы ужасно, если бы он догадался, о чем говорит Володя. Конечно, Володя не хотел, чтобы Андрий услышал, но улыбался он своей обычно смелой улыбкой, будто готов был то же самое прокричать громко, чтобы Андрий услышал и подтвердил. Тогда я почувствовал, что слова «твое дело», «ты сам» могут быть не только тяжелы, но жестоки и несправедливы.

...Раза два нам удавалось портить компрессор, иногда он останавливался сам, и тогда Пауль выгонял нас мостить дорогу к подземелью. Работа тяжелая, и была она неприятна тем, что ждала нас всегда. Стоял ли компрессор или случалась другая заминка, нас гнали мостить дорогу. Шла она круто вверх от входа в подземелье. Мостили ее грубо, высыпая щебень и камень на глинистую, раскисавшую под частыми осенними дождями поверхность горы. Щебень возили в одноколесной железной заводской тачке. Колесо у тачки маленькое, приспособленное к цеховому цементному или асфальтовому полу. По грубому щебню, по сырой глине оно, естественно, не

катилося, тачку тащили волоком. Андрий брал ее за ручки, а я, Володя, Бронислав или кто-нибудь другой впрягались в специальные тяжи и выволакивали ее наверх. Пауль давал нам урок — насыпать щебня от «этого» до «этого». Он мог даже уйти — когда возвращался, было видно, сколько мы успели насыпать. Сыпали, конечно, впритруску, но сырая глина тотчас топила тонкий слой щебня, на поверхности он почти не держался. В одну из заминок, когда заглох компрессор, Пауль поставил к тачке Андрия, Володю, Бронислава и меня. Отмерил урок, пригрозил: «Смотрите!» — а сам куда-то ушел за помощью. Конец смены был близок, мы выволокли одну тачку и остановились, не высыпая из нее щебня, — кто-нибудь появится, и мы сразу ее опрокинем, будто продолжаем работу. Никто не показывался; Пауль как будто надолго ушел. Володя присел на тачку, пристроился рядом и я. И только Андрий что-то подравнивал лопатой, притаптывал, притрамбовывал — готовил колею для тачки.

— Все, Андрий, — крикнул ему Володя, — все! Отдыхай!

Андрий услышал, но продолжал возиться.

— Ничего, ничего, — сказал он Володе своим извиняющимся гнусавым голосом, — сиди.

Однако услышал Володю и Бронислав. Он стоял, держась за тяж, ждал, что нужно будет делать дальше. Теперь он вопросительно повернулся к Володе, и тот успокаивающе сказал:

— Все, Бронислав, все. Никс лаураре, — и засмеялся.

Бронислав бросил тяж и пошел вниз.

— Эй, Бронислав! — крикнул Володя.

Но Бронислав пробормотал свою невнятицу и не обернулся. Он спустился ко входу в подземелье, подобрал там свою лопату и понес ее в сарайчик для инструмента, в котором хранились лопаты, кирки, отбойные молотки, свернутые в кольца резиновые шланги, — решил, что работа кончена. Это все осложняло. Вернется Пауль, сразу все поймет.

— Авось обойдется, — сказал Володя.

Пауль зашел с той стороны, откуда его не ждали. Увидел нас сидящими на тачке и бежал к нам, грозя рукояткой от короткой шахтерской лопаты. Я хорошо знал, сколько весит эта плотная, отполированная рабочими ладонями палка. Пауль бежал сверху, но лицо его было потным. В этот момент обычно мирный Андрий перехватил лопату, а Володя подтолкнул меня.

— Скажи, что Бронислав ушел, а мы без него не можем. Сумасшедший же, ничего ему не будет...

Он сообразил, когда казалось, уже не было никакого выхода, а главное, обрадовал меня доверием. Я эту радость успел ощутить, она отчаянным восторгом вспыхнула во мне. Такие дела Володя чаще всего брал на себя, а теперь я должен был выйти вперед, остановить Пауля, принять первый удар — значит, Володя поверил, что есть у меня для этого силы. Но и смущение охватило меня: Бронислава нельзя было называть, сумасшедший он или не сумасшедший...

Я шагнул вперед, а Пауль отшвырнул меня и несколько мгновений, тяжело дыша, смотрел на Андриеву лопату, на Володю, на меня, как будто пересчитывал нас. А потом бросился вниз. Он настиг Бронислава, когда тот выходил из сарайчика для инструментов. Мы услышали заячий какой-то вскрик. Глаза хотелось закрыть, такой это был удар. Бронислав и невнятицу свою бормотал тихо, и, если ему случалось говорить связные слова, он их произносил голосом тихим и благожелательным, а теперь и от боли вскрикивал тихо, будто боялся нарушить приличия. Визжал Пауль. Видно было, что он не остановится, что каждым ударом он стремится до чего-то добраться и визжит оттого, что это ему не удастся. Бронислав вскрикивал и поворачивался, намеревался бежать и останавливался, едва сделав несколько шагов. И тут Володя побежал, за ним Андрий и я. Это была не мысль, не чувство. Это было под ногтями, в позвоночнике, в ослепших глазах — убить! Я увидел, как Пауль вдруг отбросил палку и побежал. Расстояние между нами было довольно большое, а он закрывал голову руками, и крик его был слышен, когда он уже скрылся из наших глаз.

Мы подбежали к Брониславу, Володя попытался его ощупать, но тот отстранялся, и я впервые разобрал его невнятицу.

— Дай покоуй! — говорил он и что-то объяснял или оправдывался. Должно быть, он точно так же смотрел на Пауля своими голубыми добрыми глазами, в которых таял, никак не мог истаять мутноватый осадок непонимания и неузнавания. Шапку он Володе не давал снять, и Володя скомандовал:

— Штильгештан! Ауген рехтс!

Провел ладонью по его потным спутанным волосам и засмеялся.

— Цел!

Заботы, которые миновали, Володя забывал так быстро, как будто засыпал их. Проснется — и ничего не помнит. Вот-вот потребует: «Бронислав, музыку!» Только что он бежал впереди нас, я видел, как смело, не оскальзаясь, находили место на скользкой горе его худые жилистые ноги, а теперь посмеивался, словно не он подтолкнул всю эту историю.

— Надо было удержать Бронислава! — крикнул я ему. Он удивился, потом потемнел.

— Я ему нянька? — и спросил меня: — Своя голова есть? — и еще что-то сказал о тех, кто путается под ногами, липнет, без кого было бы гораздо лучше.

Он подошел к подземелью, и Андрий, виновато оглянувшись на меня — мол, что я могу сделать, Володя зовет! — двинулся за ним. Я и минуты не выдержал, поплелся за ними. Лучше умереть, чем оставаться одному.

Володя и Андрий покатали пустую, медленно погромыхающую железом вагонетку. Я пристроился сбоку. Руку положил на обросший цементировавшейся массой загнутый борт и то наступал на шпалы, то обходил их.

— Эй, Бронислав! — позвал Володя.

Он думал о тех, у кого «своей головы» нет. И это, конечно, его, а не нас с Андрием испугался Пауль. Я тянулся рукой за вагонеткой, был рад, что меня не прегоняли (Володя мог бы сказать: «Четверо на пустую вагонетку — никто не поверит. Найди себе что-нибудь другое»), но ожидание опасности, которую вот-вот должен был привести за собой Пауль, Володина нравота, соединенная с обычной его ловкостью, в которой, как я чувствовал, мне нет места, раскаяние и неумение все это выразить заставляли меня спорить:

— И с велосипедом ничего бы не было, если бы Андрий послушал.

— Не было б, не было б, — сказал Володя, — и ничего бы не было.

Неделю назад у фабричной проходной я увидел Володю, который гоня велосипед по слишком узкой для такой быстрой езды площадке. Андрий с плаксивым выражением лица пытался его остановить, а Володя, пугая его, направлял на него велосипед. Велосипед был рабочий, тусклый, запыленный. Обычно немцы оставляли свои машины перед проходной, а этот почему-то оказался здесь. Подходили на пересчет французы-военнопленные в пилотках, которые я раньше считал испанскими, в шинелях и плащах цвета мокрой глины в нашем подземелье.

Французы собирались группами, смотрели на Володю, говорили: «О!» — смеялись. Этих людей в нездешнего цвета мундирах я вначале считал вспомогательными войсками каких-то немецких союзников. Французскую речь я не слышал. Опыта, который и не знающему язык позволяет на слух определить, на каком языке говорят, у меня не было. Мундиры их были не новы, но как раз такую одежду и должны были носить вспомогательные войска. И запах их сигарет, в которых у них не было недостатка, был непривычен, как цвет их мундиров, как звук их речи, которую они самолюбиво не стремились сделать понятнее для немцев или для нас, как их манера курить, не вынимая сигарету изо рта, не сбивая пепел, не похожая на все, что я видел до сих пор. Огонек у губ, а не жжет. Бумага обуглилась, но не сторела — огонь прошел по сердцевине сигареты. Привычка почихивать, посапывать, покуривать, а не затягиваться жадно. В речи их, когда они обращались к немцам, не было слышно немецких слов. Даже поторапливая конвоира, чтобы он не держал их у проходной, а вел скорее в лагерь, они кричали что-то вроде:

— Але, але!

А на его недовольный выкрик отвечали длинной фразой, в которой он мог бы уловить только рассудительно-ироническую интонацию и восклицание: «О-у!»

Я и посчитал этих несильного сложения людей солдатами вспомогательных войск немецких союзников потому, что они держались независимо. Правда, в первые же лагерные дни я узнал, что давление на их независимость в десять раз слабее, чем на нашу. С многоступенчатостью этого давления знакомишься в первый же день: в фабричной столовой, у Гришкиного раздаточного окна, на работе. Самая грязная балагда и самая грязная работа — наши. У поляков чуть больше хлеба и сигарет. Разница измеряется граммами. Важны не граммы — важна разница. Возникали в лагере неясности: куда, например, отнести прибалтов? Однако тут же каждому отводилась его ступень. Чем чище балагда, тем легче работа и мягче обращение. Французов обедать водили в немецкую столовую, и суп им наливали из немецкого котла. Но, конечно, независимо они держались не только потому, что это им давалось легче. Немцы еще стояли у наших границ, еще невероятная толща времени отделяла меня от того, что произошло потом, а они уже были здесь. Я был еще дома, их судьба была для меня в двух газетных

строчках, в неясных газетных снимках, еще я мог поверить во все что угодно, но только не в то, что окажусь с ними в одном месте, а они уже работали на этой фабрике. Страна их была разбита, плен стал бессрочным, новые пленные с востока должны были только укреплять их в этой мысли, но они держались независимо и не шли на союз с немцами, хотя немцы теперь воевали с нами, а их склоняли к союзу и сотрудничеству. А ведь враг склоняет пленного к сотрудничеству не только хорошим, но и дурным обращением с ним. Лагерные помещения французов были в точности похожи на наши. Те же стандартные койки в два яруса, то же отсутствие воздуха, тот же соломенный запах.

Но, как бы то ни было, их ощущение опасности отличалось от нашего. Поэтому они посмеивались или осуждали Володю, когда он направлял велосипед на Андрия, а сам Андрий, который, должно быть, никогда не ездил на велосипеде и потому панически боялся его, не отступал, а вновь и вновь пытался остановить Володю и уговаривал его плаксиво:

— Володя, побьют!

Володя пролетал мимо, едва не ударив Андрия, делал разворот, как будто бы для того, чтобы поскорее опять его напугать. Я тоже было сунулся на помощь Андрию, но Володя так грозно на меня прикрикнул, так яростно направил на меня велосипед, что я тут же отскочил.

Володе кричали:

— С ума сошел!

То, что это перестало быть игрой, почувствовали даже французы. Из их толпы тоже что-то крикнули предупреждающее Володе. Но было уже поздно. Прибежали охранники и лагерные полицейские, стащили Володю с велосипеда и поволокли в вахтерку. Он выгибался, волочился, загребал ногами. В дверь его долго не могли втолкнуть. Он упирался в притолоку, хватался за ручку двери. Его отрывали, а он хватался опять. Казалось, странное опьянение его не прошло, и он просто не чувствует боли. Кто-то крикнул поощряюще:

— С одним не могут справиться!

Кричали что-то и французы. Сбежались еще полицейские. Нас потеснили и дверь наконец захлопнули.

Минут через десять Володю выпустили. Он остановился у порога вахтерки, нагнулся, почистил брюки. Андрий бросился к нему.

— Били?

Володя крикнул ему в ухо:

— Нет, Андрий, не били!

Андрий поверил, а увидев, что все смеются, сказал растерянно, гнусаво:

— Били! Обманываешь.

А мне запомнилось Володино пьяное, глухое лицо, когда он, рискуя кого-то сшибить и расшибиться, летел на велосипеде, спешил накататься, пока не схватят. А ведь день у него прошел обычно, и он, конечно, сам не знал, что, увидев оставленный у проходной немецкий велосипед, так опьянеет именно потому, что велосипед относился к числу предметов недоступных, запретных.

Об этом я заговорил с Володей, а он мне ответил:

— Будешь много думать, ногу сломаешь.

Радваться как будто было нечему, но я был доволен, что он разговаривал со мной.

— Почему? — спросил я, хотя уже знал, какой будет ответ.

— Под ноги некогда смотреть.

Еще в лагере говорили: «Будешь думать, вши заведутся».

Вшей действительно было много. Все в лагере думали, тосковали, тоску называли думами, мыслями, так что эту легенду ни опровергнуть, ни доказать было нельзя.

Когда на горе показался Пауль с двумя фабричными охранниками, мы вкатили вагонетку на поворотный круг и стали ее с криками разворачивать. Форма у охранников была поскромнее, чем у лагерных полицейских, и дел они с нами почти не имели. Утром принимали по счету и открывали заводские ворота. Мы разворачивали вагонетку, а они остановились на краю мощеной дорожки — не хотели ступать в грязь. Пауль забежал вперед, но они колебались. Володя сразу уловил эту заминку. Он задрал спецовочную куртку Бронислава, показал ссадины на его голой спине. Бронислав вырвался, глаза его были стыдливо опущены.

Важно было удержать охранников на мощеной дорожке. Ступают в грязь, испачкают ботинки, озлобятся — нам придется плохо.

— Он сумасшедший! — сказал Володя.

Все-таки до вагонетки, за которую мы, показывая усердие, держались, по глине, по грязи было далеко.

— Лагерполицай! — сказал один из охранников. Пообещал передать нас лагерной полиции.

Они ушли, медленно ступая в гору, выбирая места посуше.

С этого дня Пауль стал осторожно ходить по подземелью. Из темноты было видно, как он мешкал у входа, будто не решался подставить свое светлое пальто струйкам грунтовой воды. Пауль привыкал к подземной электрической полутемноте. Выстукивал короткой шахтерской киркой деревянные стояки, онасливо смотрел на потолок. Под тяжестью камня, которым набивались пазухи между потолочными досками и каменным потолком туннеля (если рухнет глыба, она сядет на каменную подушку, а не ударит с размаху о доски), под действием сырости потолочные доски заворсились и прогнулись. Там всегда шуршало и потрескивало — вода сдвигала камни, гравий, они просеивались, оседали, находили щели в деревянном потолке. Если присмотреться к стыкам в досках, можно было заметить это мертвое движение, наметить камни, которые вот-вот упадут. Пауль толкал их рукояткой кирки — обрушивал вниз. Мы видели, как светлое качающееся пятно медленно приближается к нам. Оглянешься, когда подойдет, усмехнется. Сам признает разницу между тем, как подходил раньше и как подходит теперь. Дня два не придирался совсем, а потом с новой осторожной повадкой опять стал замахиваться. Многие я понял в Пауле: смену настроений, удовольствие, когда ему удастся напугать или ударить, ухмылочку, с которой он отступает. Замахнулся, а в ответ приподняли лопату, он и отступил, ухмыльнулся. Заметил я, что на его пальто отчетливее стали проступать пятна, вытравленные авиационным бензином. Одного я не мог понять — где он заряжается своей злобностью! Неужели у себя дома, где он снимает свое светлое пальто, вешает его на плечики, где ему бензином выводят пятна. Жил он где-то рядом, на обеденный перерыв ходил домой. И чем лучше я разбирался в его намерениях и настроениях, тем меньше понимал в чем-то главном, постоянном. Иногда после особенно сильного приступа кашля он мог на несколько минут подобреть. Глаза его тускнели, на серой пергаментной коже проступали горячечные пятна, он смотрел на свой носовой платок, вытирал им губы и произносил:

— А-а! Алес шайзе!

Однажды даже поручил мне переписать фамилии всех работавших на участке. В школе у нас был немецкий, какие-то навыки я имел и в ответ на его вопрос: «Канст ду дойч шрайбен?»¹ — кивнул. Он должен был смерть

¹ «Пишешь по-немецки?»

увидеть во время своего приступа — такое необычное и даже невозможное было это предложение. Я видел, какое изумление вызывал у немцев, когда просил их назвать свою фамилию. Ни одной немецкой фамилии я не сумел правильно записать. Я передавал бумагу немцам и видел, с каким усилием они писали сами. Так и вернул этот составленный разными корявыми почерками список Паулю. Я ждал какого-то развития этих минут доброты и широты, их какого-то естественного продолжения. Но в глазах Пауля опять появлялся стерегущий блеск, опять начинались тычки и замахивания.

— Сдохни! — говорил ему Володя.

Когда Пауль выбирал меня, Володя усмехался и как бы освобождал мне место: «Ну-ка, покажи, на что ты способен!» Пауль это тоже улавливал и становился особенно настойчив, а я поднимал лопату настолько, чтобы была видна угроза, но чтобы нельзя было придраться. Однако удерживаться на одном и том же уровне было невозможно. Ожидание очередной стычки истощало меня. Было вообще удивительно, что Пауль принял правила какой-то игры. Лагерная полиция в любой момент могла поломать всякую игру. Больной, задыхающийся от кашля человек что-то доказывал себе и нам. А в его ухмылочке было напоминание — она у него появилась после того, как он едва не убил Бронислава. Я различал его настроение по затрудненному дыханию, по молчанию за нашими спинами. А голос его вызывал у меня приступ слепоты, приступ ненависти — то самое чувство в позвоночнике, под ногтями, с которым мы бежали выручать Бронислава. Я бы с наслаждением поджег себя, если бы тело мое было из взрывчатки, чтобы избавиться от этого невыносимого давления, чтобы взорвать все вокруг. Но я был слаб, и руки мои едва справлялись с лопатой.

Пауль уходил, и я поражался: что это было? Это был не я. Так должна себя чувствовать бомба за секунду перед взрывом. Сам я не мог в себе этого вызвать. Это приходило и уходило вместе с Паулем.

В один из тех дней я увидел Пауля в форме штурмовика. В воскресенье нас выгнали на лагерный двор и построили в три шеренги. С самого утра что-то готовилось. Никого не вывели на работу, за баландой никого не отправили. Выгоняли всех: женщин с семейного этажа, больных, Гришку. Его тоже поставили в шеренгу. А когда он замешкался, ударили. Так полицаи в важную минуту проводили черту между собой и всеми русскими.

Потом, взглядываясь в наши лица, вдоль шеренг прошел невысокий плотный человек в штатском костюме. Его сопровождали два гестаповца в черном. Гестаповцы, плоские, подтянутые, смотрели равнодушно, они никого не искали. Искал штатский. Кого-то он должен был узнать. Штатский был русским. Он медленно шел вдоль первой шеренги, потом вошел в коридор между первой и второй, и я увидел, какое у него красное, смущенное и стерегущее лицо. Он смотрел на нас, а мы, несколько сот человек, смотрели на него. На нем были немецкий жилетный костюм, немецкая рубашка, немецкий галстук — и вообще все немецкое. Даже цвет кожи у него как будто стал немецким — щеки его сделались веснушчато-розовыми оттого, что он ел немецкие продукты. Мешковатость, поношенность костюма отличали его от новеньких гестаповцев. И лицо его было смущенным как будто бы потому, что он давно уже увидел, пока нас выгоняли, строили, что того, кого он ищет, среди нас нет, но должен был теперь пройти вдоль шеренг под нашими взглядами — сделать свою работу. Я навсегда запомнил темноту его зрачков, когда он поравнялся со мной. Бояться мне как будто было нечего, но я боялся, вдруг укажет, вдруг в чем-то уличит, с кем-то спутает. Мне даже казалось, что он готов спутать — в смущении его была опасная податливость, он видел, что того, кого ему нужно, среди нас нет, но не решил, можно ли это сказать гестаповцам. Оттого, что лицо его было смущенным, казалось, улыbnись ему или подмигни, и он тотчас ответит тебе. Однако, когда он поравнялся со мной, я понял, что он как бы и не видит меня. Что он как бы слеп от напряжения, которое он сейчас испытывает, такая разница была между равнодушными лицами гестаповцев и его лицом. И, однако, лицо его менялось в зависимости от того, на кого он в этот момент смотрел. Оно тотчас же отозвалось большим смущением, когда он встретился глазами с Володей. И вообще отзывалось большим смущением, когда он встречался глазами с теми, кого я привык считать в лагере смелыми и уважаемыми людьми. Так Пауль бил Бронислава, пинал меня, замахивался на Андрия, но редко кричал на Володю и обходил в подземелье мрачного Стефана.

Закончив обход шеренг, человек в штатском костюме отошел к группе полицаев. Лицо его оттаяло, смущение сменилось высокомерным, гневным раздражением, появилось даже какое-то вдохновение, когда он, напрягая голос, кричал на нас. При малейшей возможности он произносил

слова по-немецки. С особым кокетливым раскатом. Твердым окончанием в слове «лагерь», раскатистым «р» в «концентрационный» он отстранялся от нас, показывал гестаповцам и полицаям, как он старается. Так говорили все лагерные переводчики из русских, которых я уже встречал. Но такого мы еще не видели. Этот был не из пленных, не из вывезенных недавно, это был старый эмигрант. Веснушчато-розовый цвет кожи, как и немецкий жилетный костюм, он носил давно. Но все же было видно, что и немецкий костюм, и цвет кожи, и даже немецкий язык — все чужое. Под высокомерием нет силы. Да и высокомерие полицейско-немецкое, попошенное, не свое. И в чем-то он зависел от нас, что-то его с нами связывало. Какая-то тоненькая ниточка, которой он при всем желании не мог порвать.

Он не сливался с черной группой лагерных полицейских. Все полицейские сегодня были в темных макинтошах, черных лакированных сапогах. В обычные дни они одевались пестрее. В галифе, обтягивающих ноги значительно выше колен, они выглядели непривычно тонконогими, голенастыми. Это была парадная форма, напоминавшая гестаповскую. С утра еще по их режуще белым воротничкам, по черным галстукам, по всей их скрипуче новой одежде, по голосам, которые сделались выше и тоньше, будто полицейские сразу брали самый угрожающий тон, можно было догадаться о том, что готовится нечто опасное. Гришка, которого выгнали из его комнатки в общее помещение, ничего не знал. И вот теперь этот веснушчато-розовый, поношенный объяснял. Концентрационный лагерь, расстрел на месте он обещал тем, кто во время тревоги огнем, миганием электрических фонариков наводит самолеты, тем, кто помогает парашютистам и диверсантам, кто их укрывает, кто саботирует, оказывает неповиновение, покушается на лагерный режим и фабричную дисциплину. Он объявил, что сегодня в лагере будет обыск. Нам сейчас предстоит вернуться в помещения, открыть шкафчики и быть на своих местах. Таков порядок.

Теперь стало понятно, зачем здесь гестаповцы и множество людей в ярко-коричневой форме штурмовиков. Парадная форма, ярко-красные нарукавные повязки со свастикой тоже, должно быть, волновали штурмовиков. В их голосах, когда они переговаривались, мы легко улавливали особую полицейскую пронзительность. Лагерные полицейские чувствовали себя экзаменуемыми. Экзаменаторами были гестаповцы и штурмовики.

Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют «опа». Опа — дед, старик, старина, отец. Почтительно-фамильярное слово, с которым на улице можно обратиться к старому человеку. Впервые я услышал его в пересыльном лагере. Так называли лагерных полицейских. В пересыльном женщин отделяли от мужчин, формировали партии по возрастам, отрывали друг от друга тех, кто хотел быть вместе. Здесь все обрушивалось разом: потеря близких, голодный, на крайнее истощение, паек, оскорбление гнусной баландой. Кончались бессистемные эшелонные замахивания, начинались избиения систематические. Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били они не только специальным инструментом для избиения — гумой, резиновой палкой, — но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое *выворачивающая душу ненависть*. Душа выворачивалась именно тем обстоятельством, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей детской ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты: пожилой человек, интеллигентный человек, человек в белом халате — врач, или, как все мы в детстве называем врачей, доктор. Одно из самых ярких первых впечатлений в Германии: нас гонят по улице небольшого рурского городка. Только что мы носили мебель в какое-то здание, и полицейские, сопровождающие нас, даже довольны нами. По тротуару идут две нарядные молодые женщины с нарядными детьми. Дети кидают в нас камни, и я жду, когда женщины или полицейские остановят их. Но ни полицейские, ни женщины не говорят детям ни слова.

И еще поражает и *выворачивает душу*: идет сорок второй год, немцы воюют в далеких чужих землях, война к ним иногда прилетает на самолетах. Рурские городки стоят целые. Целы новый асфальт и булыжник старинных мостовых, целы витрины многочисленных маленьких и крупных магазинов. Откуда же эта энергия слепой, не выбирающей в нашей толпе ни старших, ни младших ненависти? Ведь нельзя же просто так с утра, как чашкой кофе, заряжаться ненавистью. Это ведь не будничное чувство. А между тем энергией своей, последовательностью, организованностью и каким-то всеобщим будничным распространением эта обращенная на нас жестокость и поражает. И еще странно — есть в этой жестокости

парадность, форменность, официальность и частная инициатива. Полицейская, гестаповская форма или штатский костюм — все равно. Есть в ней и интонация. Голос, набирающий полицейскую пронзительность, поднимающийся на все более и более высокие тона.

Переводчик, играя силой голоса, давно уже поставленного на произнесение немецких слов, объяснял, как надо вести себя при обыске, а мы стали приглядываться к штурмовикам. И вдруг Володя, который стоял в шеренге рядом со мной, засмеялся — его и тут страх не брал.

— Смотри, Пауль!

Я сразу же узнал Пауля потому, что сам долго смотрел на него. Фуражка с высоченной хищной тульей делала его пергаментное потливое лицо еще более худым. Новенькая коричневая форма, но белое застиранное кашне. Пауль почувствовал, что его узнали, забеспокоился. Лицо стало напряженным. Я подумал, что, ощутив на себе наши узнающие взгляды, он тотчас засмутился застиранного кашне. А из наших шеренг узнавали все новых штурмовиков:

— Урбан!

— Шульц!

— Опа!

— Гусятник!

— Ганс!

Узнав одного, мы теперь узнавали все новых и новых. Наше узнавание, удивление передавались через двор. В толпе штурмовиков, должно быть, ждали, когда мы начнем их узнавать. Все эти партийные активисты были фабричными мастерами и рабочими. Наше узнавание не было им безразличным. Голоса их стали резче. Они перекрикивались друг с другом, не нам, а друг другу показывая, что их опознали в их коричневой яркой форме. Эта была не полевая, не для грязной фронтовой работы, не военная, а парадная форма. И алые нарукавные повязки с черной свастикой в белом круге тоже были режущие яркими. Это была форма полицейских, уличных регулировщиков — она была рассчитана на привлечение многих взглядов. Между ее ярким цветом и возбуждением тех, кто ее надел, была прямая связь. Но не всех она одинаково выпрямляла, не на всех сидела одинаково. Красное обветренное лицо дворового мастера Урбана я знал хорошо. Он ведал погрузкой и разгрузкой железнодорожных вагонов. В его распоряжении были фабричные железнодорожные пути, наше подземелье и вообще все

земляные, погрузочные и разгрузочные работы на фабричном дворе. В воскресенье на погрузку и разгрузку вагонов выгоняли из лагеря штрафников, так что обветренное лицо Урбана было знакомо многим. Замечено было, что он никогда не дрался. Никогда не носил коричневого халата, который поверх одежды надевали все фабричные мастера. Носил похожую на нашу стеганку грязноватого цвета куртку без воротника. И сейчас, казалось, яркая форменная одежда не заражала его воинственной бодростью. И выправки форма ему не прибавила, а фуражка с высокой тульей не прибавила росту. Он привычно сутулился, как в своей рабочей куртке. И не было в его взгляде пристальности, стерегущего внимания, показной готовности захватить врасплох, которую специально вырабатывали немцы мастера. Он и на работе не давил своим взглядом, не останавливался надолго возле работающих, не кричал даже на штрафников. Остановится на минуту, как будто не сюда шел, а мимоходом, вскользь посмотрит незапоминающим и неузнающим взглядом, скажет фюарбайтеру несколько слов, повернется спиной и, не оглядываясь, уйдет. И незапоминающаяся тусклость в глазах, и этот, как бы освобождающий от своего присутствия взгляд вбок или вниз, и сутуловатая спина — все эти манеры человека невъедливого были давно оценены. Он и сейчас не грозил взглядом, не выискивал кого-то в наших шеренгах. Но было в лице его что-то такое, что могло испугать больше, чем потливое раздражение Пауля. В лице Урбана были серьезность, понимание своего долга и готовность этот долг выполнить. И выражение этой серьезности было обращено не к нам — на нас он смотрел все тем же невыделяющим и незапоминающим взглядом, — а к немцам. Своей молчаливой серьезностью он усовещал легкомысленных крикунов, самой своей сдержанностью показывал им, что не тот у них сейчас настрой.

Рядом с ним стоял главный инженер Шульц, о котором говорили, он знает по-русски: «Там — тачка, там — лопата. Не умешь — научим, не хочешь — заставим». Выбор фраз меня удивлял, главный инженер ведь не тачками и лопатами занимается на фабрике. И взгляд у него был въедливый, пристальный, запоминающий. Шульц редко появлялся в цехах, еще реже на фабричном дворе или у нас в подземелье. Но каждое его появление заканчивалось криками и мордобоем. Он был высок и, должно быть, красив. Говорю «должно быть» потому, что я физически не мог тогда подумать: «Этот немец высокий

и красивый». Раньше шло слово «немец» и уничтожало другие слова. И это при том, что интернационализм был воздухом моего детства. Само слово «интернационализм» возникло на школьных уроках, на нем был налет учебной скуки, потому что речь шла о том, что когда-то не все были интернационалистами. Один кинотеатр в нашем городе назывался «Юнг-Штурм», другой — «Руж», третий — «Коллизей». У немки бонны по имени Мария Федоровна я еще перед детским садиком выучил первые немецкие слова «ди лампе» и «дер тиш». В музыкальной школе я разучивал фортепианные этюды Кулау. Тетя Грета, жена маминого брата, была немка. Но, конечно, дело было не в тете Грете, не в ее отце дяде Эрнесте — все эти семейные перфекты и плюсквамперфекты мне и в голову ни разу в Германии не пришли. А вот «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Мы наш, мы новый мир построим» — это вспоминалось постоянно. Не я виноват в том, что в первом слое моих немецких воспоминаний отложились только ненависть и страх. Для того чтобы описать Шульца, мне надо поднять два или три слоя своей памяти. Только в третьем вместе с интересом и завистью к тем, кому удавались точные удары ломом, киркой или молотом, откладывалось то, что Шульц — красивый мужчина. То есть я видел, как хорошо одевается Шульц, как ловко движется, когда обходит станки, поднимается или спускается по лестнице, и как значительно облегает его поверх костюма длинный коричневый халат. Такой же точно, как на всех мастерах, по чище, новее, длиннее. Вещи на мне всегда сидели плохо, и я уже знал, что хорошо сидят они на тех, кто хорошо сложен. В изблещающем взгляде Шульца как будто постоянно мерцали те несколько русских фраз, которые он знал. И еще было в нем нечто такое, словно уличал он не в уклонении от лагерного режима, а в чем-то гораздо более важном и болезненном: в слабодушии, недостатке характера — во всем том, в чем я сам постоянно уличал себя. Смешно мне было сравниваться с главным инженером. Но моя надежда, которая неотступно искала какую-то опору, не могла миновать Шульца. Он был техник, а не надзиратель, вроде ненавидимого всей фабрикой (и немцами, кажется, тоже) Гусятника.

Гусятник не ради воскресенья надел форму штурмовика. Он всегда в ней ходил. Лишь иногда вместо форменного пальто надевал кожаную куртку. Его дом стоял рядом с фабричной территорией, земельный участок смыкался

с фабричным земельным участком. Эта часть фабричного двора была отведена под свалку. Здесь кончались железнодорожные пути, валялись обрезки ржавого железа, здесь были запасные, никем не охраняемые ворота. Как раз к воротам примыкал участок Гусятника, там паслись его белые гуси, из-за которых он и получил свою кличку. Через эти ворота Гусятник проходил на фабрику, и, кажется, охрана этих ворот лежала на нем и его семье. У него было очень узкое худое лицо, и весь он был маленький и жилистый. В своей коричневой форме он появлялся в разных концах фабричного двора, но ни в одном месте у него не было дела. Едва он показывается, кто-то предупреждал:

— Гусятник идет!

Я удивился, однажды увидев его за работой. Он управлял парой тяжелых ломовых лошадей, возивших плоскую широкую платформу с невысокими бортами, она напоминала автомобильный кузов. Платформа была нагружена мешками с картошкой. Гусятник сидел на высоком кучерском месте. Был в галифе и сапогах, но в рабочей куртке. Привычно замахивался на лошадей. Платформу подкатил к складу фабричной столовой и помогал сгружать мешки. У него были ухватки грузчика и нетерпение здорового человека, который имеет дело с теми, кто не годится для тяжелой работы. Оказывается, помимо надзирательских обязанностей, у Гусятника была работа. Он заведовал фабричным сельскохозяйственным участком.

Теперь он в знакомой всем форме стоял рядом с Урбаном и Шульцем. За их спинами держался Ганс — единственный на всей фабрике немец, который катал тачку в литейном цеху. Он был глуховат и коренаст, как Андрий. Но в отличие от Андрия был постоянно сосредоточен на чем-то веселом. Мурлыкал себе под нос или как будто прислушивался к забавной музыке, которая звучала у него внутри. Эта бодрая музыка звучала в нем, и когда он катил из цеха пустую тачку, и когда впрягался в полную, и когда лопатой набрасывал в тачку формовочную массу или песок. Прежде чем подхватить полную тачку, он, будто в предвкушении удовольствия, потирал руки, а первый шаг делал под первый ударный такт мелодии, которая к этому моменту созревала в нем. Он топал правой ногой в деревянном башмаке и дальше тоже будто отбивал такт правой ногой. Под тяжестью добросовестно наполненной тачки плечи его провисали. Он время от времени встряхивался на ходу — выпрямлял плечи. От шеи до

подбородка кожу его стягивал шрам. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, Ганс дергал подбородком, словно старался завести его как можно дальше за левое плечо, а шею освободить от тесного воротника. Веселые глазки его при этом таращились. Они постоянно таращились, будто Ганс торопился не упустить то, что доступно слышшим. Это был самый незлой на фабрике немец. На него, мурлыкающего, напевающего, топающего деревянными башмаками, было легко смотреть. Его-то я никак не ожидал увидеть здесь. Форма на нем морщилась клоунски, фуражка на дергающейся голове сбилась и сидела неровно. Но подбородок тщательно выбрит, а маленькие глазки таращились значительно.

Мука моя была еще и в том, что до четырнадцати примерно лет со мной случались только понятные вещи. К обширной области непонятного, с существованием которой считаются все взрослые, жизнь моя еще просто не подошла. В лагере я рос не только физически. Но оттого-то и выворачивалась душа, что нечем было мне понять этих жителей рурского городка Фельберта, которые приехали сюда на велосипедах, трамвае, пришли пешком — дома их были тут же, поблизости.

Может быть, самое страшное не лагерь, а этот вот город, по которому гонят тебя. Дело даже не в том, что идешь по дороге, как лошадь, а на ногах у тех, кто идет рядом, деревянные башмаки, о которых дома никогда не слышал, — можно, в конце концов, достать подержанные ботинки, выменять их на что-то. Случается иногда пройти полквартала, квартал по городу и без конвоира. Что-то перенести — у немца оказались спешные дела, он показал, куда, и пригрозил: «Абер пас маль ауф!»¹. И вы идете, как люди, тротуаром, хотя самый осторожный, конечно, держится поближе к бордюру, чтобы в любой момент можно было сойти на дорогу. И не напрасно держится — обязательно встретится немец, который стонит всех на проезжую часть. Да еще конвоира разыщет и на него накричит. И тот не пошлет скандалиста подальше: «Занимайся своим делом!» — а тоже начнет кричать и замахиваться. Нет, дело не в том, что не вынесут хлеба, не дадут сигарету — этого они просто не знают. Нет у них, что ли, привычки размягчать себе душу подачкой, да и сами на карточки живут. Хуже, что и тротуар, и сигарета для них — привилегия.

¹ «Смотри у меня!»

Улицы немецких городов я видел участками. Метров сто городской улицы было видно с того места, куда нас в Вуппертале привозили из пересыльного лагеря разгружать картошку. Пахло дымом привокзального района. С точильным воем проносились вагончики подвесного трамвая. В металлическом их вое было что-то самолетное, и наклонялись они на повороте, как самолет на вираже. Как раз над нами висела ржавая предохранительная сетка. Сквозь ее ячейки было видно, как по лестнице к трамвайной остановке поднимались люди. Красный вагончик был с прицепкой. Его укрепленные на крыше колеса сразу же начинали выть, потому что с места трамвайчик попадал в вираж. Это продолжалось весь день, пока мы разгружали картошку. Улица уходила вниз. Видна была витрина продуктового магазина и рекламная вывеска пивного бара на углу. Булыжник и асфальт были темными от постоянной сырости. Туман среди дня так сгустился, что в магазине и баре зажигали свет. Лампочки накаливались рекламные, цветные. Когда из крытого грузовика я выпрыгнул на мостовую, я поразился забытому ощущению — каменной твердости булыжника под ногами. Я ничего не знал об этом ощущении до тех пор, пока меня не лишили его. Уже месяц под моими ногами были пол железнодорожного вагона или барака, обочины железнодорожного пути или лагерная площадь. И вот, оказывается, я ногами забыл, какой каменной твердости городские улицы. И на свет магазинной витрины я никогда не смотрел с таким чувством, пока то, что находится с той стороны витрины, было мне доступно. По лестнице к трамваю поднимались мужчины в плащах, с портфелями и без портфелей, женщины в шляпках, с сумочками. Красный трамвайчик уносил их к жизни, которая по законам «нового порядка» должна быть отныне навсегда для нас закрытой. Даже это ощущение каменной твердости городского булыжника становится привилегией, которой они не намерены с нами делиться. На нас они не обращали внимания. А я смотрел на тяжело провисшую предохранительную сетку, которая страховала их, как гимнастов в каком-то уличном цирке, и думал: «Живете, будто ничьей жизни вам не жалко, ни чужой, ни своей, а сетку натягиваете, бережетесь!»

И еще так же случайно приходилось видеть участки городской улицы, трамвайные рельсы, аккуратно утопленные в аккуратный булыжник, дома с высокими крышами, кирху с часами, угольный склад на товарной станции. Носили кокс в котельную, выгружали шлак, складывали

доски. Нас привозили на черные дворы, заводили в сарай, подвалы. Таким был город для нас: город подвалов и черных дворов. И все это приходило ниоткуда, уходило в никуда и словно не было ориентировано по отношению к частям света. Лучше всего я, конечно, знал улицы, которыми нас гоняли на фабрику. Глуховатые пять кварталов без магазинов и кафе, почти без прохожих, с нелюбопытными какими-то окнами в домах. Ни разу никто оттуда не взглянул на нас, хотя нашу колонную можно было услышать за два квартала по деревянному грохоту, щелканью и шорганью. Привычных для меня балконов на этих домах не было. В воскресенье окна бывали открытыми, с подоконников свешивались выброшенные на просушку пуховые перины.

Твердость булыжника на этих улицах была вековой. Сами блики на зеркальных оконных стеклах казались старинными. И связь этих оконных бликов с прочностью булыжника и гранитностью бордюров, на которые мы смотрели с мостовой, казалась вечной, нерасторжимой. И все здесь было сделано на века, на ежедневное бережение. Парадные двери двухэтажных особняков, решетки палисадников. Мы проходили, и тишина на улице восстанавливалась. Только затемнения да наша колонна напоминали о далекой войне. Ничто здесь не было разрушено, и это вызывало страшную тоску и ненависть, будто останавливалось время.

И вот теперь люди, живущие в этом городе, пришли к нам с обыском. Встречаясь с ними на фабрике, я смотрел на них с опасением и неприязнью. Но и надежда моя ни одного из них не обошла. Она ответила бы на малейший сигнал. Я, конечно, чувствовал, что коричневая форма, морщившаяся на Гансе, не означает ничего. Глазки его, как всегда, таращились непониманием, шея дергалась, и только подбородок при этом значительно выдвигался вперед и нижняя губа оттопыривалась. На Шульце совсем не было формы. Он был в шляпе и цивильном пальто. Но все же яркая форма их всех объединяла и соединяла. Их отделяли от нас утренняя сытость, утреннее здоровье, запах сигарного и сигаретного табака, воскресная охотничья веселость. Должно быть, на фабрике, в цеху каждый порознь они не так ощущали разницу между нами. То, что они ее ощущали сейчас, ясно проступало на их лицах, как следы недавнего утреннего бритья.

Все это где-то откладывалось в моей памяти, хотя мысль моя была занята не этим. Во сне на меня кидалась

собака, и я старался вспомнить, укусила ли она меня. И свей сон, и собаку, которая бросалась на меня во сне, я вспомнил тотчас, как только переводчик объявил, что в лагере будет обыск. Страх, который у меня вызвали его слова, пришел как бы из сна и словно был его продолжением. Но вот я забыл, укусила ли меня собака. Только что я смотрел в слепые от напряжения, от скрытого желания указать хоть на кого-нибудь, чтобы хорошо сделать свою работу, глаза переводчика, только что облегченно вздохнул, когда он прошел мимо. Но оказалось, рано расслабился. И досада на то, что я глупо расслабился, обожгла меня. Выхода не было, и я вновь и вновь пытался вспомнить, укусила ли меня собака во сне. Володя спросил:

— За баландой поехали? Не видел?

В воскресенье баланда только раз в день, но почище, чем в будни. И все этапы — собираются ехать, поехали, вот-вот приедут, привезли — пропустить было невозможно.

Я пожал плечами.

— Не видел.

Володя тронул Андрия.

— Андрей, — спросил он, стараясь говорить раздельно, чтобы Андрий мог прочесть по губам, — за баландой поехали?

Андрий стоял, как в колонне, остановившейся перед фабричными воротами. Опущенные глаза, унылое лицо, одно плечо выше, руки висят, как плети. Он смутился, забеспокоился, как мать, которую любимый сын застал врасплох просьбой поесть.

— Не знаю, — гнусаво ответил он и повернулся ко мне за поддержкой. — Не видел?

Он и не слышал ничего из того, что говорил переводчик. Стоял, погруженный в свои мысли. И только сейчас затосковал из-за того, что не может угодить Володе. А для Володи, как и для многих в наших шеренгах, прошла первая неопределенность, первое напряжение. Его отпустило, и он сразу же спросил о баланде.

Рядом со мной стояли мои одногодки: Костик и Дундук. Костик — земляк. Только случайность помешала нам встретиться еще до войны — дома наши были на соседних улицах. Дундук — западный украинец. Он так дичился вначале, что простейший вопрос: «Как тебя зовут?» — принимал за подвох.

— Новенький? — спросил я у него, когда его привели

к нам в подземелье. — Откуда?

Он не ответил и не показал, что услышал.

— Глухой, что ли? Как тебя зовут?

Он смотрел или на носки своих солдатских ботинок, или в сторону, так что глаза его даже косили. Я встряхнул его, но и тогда не смог поймать его взгляда. Как ни старался оказаться в поле его зрения, он упорно отводил глаза.

— Ну вот я — Сергей! — надрывался я оттого, что не мог преодолеть этого непонятого упрямства. — А ты? Деревенский? Ну, что, от тебя убудет, если ты скажешь, как тебя зовут?

Подошел Володя.

— Не говорит, как зовут! — сказал я ему.

— Правда? — засмеялся Володя. — Ну, не говори! Мы сами придумаем, как тебя называть. Что-нибудь найдем!

Так часа два он работал вместе с нами и только потом, все так же глядя на носки своих тяжелых ботинок, сказал:

— Василь.

Я не сразу понял. А когда догадался, закричал!

— Василь! Смотри, какую тайну выдал! Так долго держал в секрете!

Голова у него была круглая, стриженная, щеки подомашнему полные и губы, сомкнутые выражением такого упрямства, словно он, видящий меня в первый раз, знает обо мне много дурного. Вон как долго торговался, прежде чем назвал себя. И сейчас еще небось жалеет, что продешевил. Голову он набычивал и наклонял так низко, что подбородком упирался в грудь. И все стремился стать к нам боком, будто боялся сглаза. Все в этой застенчивости мне казалось неправдоподобно преувеличенным. Тем более что за этой неправдоподобной застенчивостью я улавливал непривычную мне хватку и смышленость. Работал парень ловко, все понимал без слов. Там, где надо, напирал плечом на вагонетку, ходил по глине, по щебню быстро, не оскользался. Это его упрямство, соединенное со смышленостью, вызывало опасения. В лагере надо побыстрее договариваться, тут нечего ваньку ломать — покрывать друг друга приходится каждую минуту. Раздражало меня еще и то, что, как мне казалось, я уже прекрасно знал этот тип лица. Больше, чем набыченное, упрямое выражение, этих людей отличает то, что они *не оставляют докурить*. Не оставляющие докурить сразу же становятся всем известны. По-своему это очень цельные и самостоятельные люди. Люди с такой привычкой жить, которая непонятна и чужда

большинству. Всеобщее отчуждение они легко переносят не потому, что сильны, а потому, что не нуждаются в обществе. Чаще всего это крестьяне из присоединившихся перед войной западных областей. Человек, нуждающийся в обществе, зависящий от его оценки, не перенесет не то что презрения — общего отчуждения.

До одного странного случая я не мог преодолеть привычки Василя и своей неприязни к нему. С горы отвальной породы была видна кирпичная городская кирха, на которую мы смотрели, как только вывозили вагонетку из туннеля, — кирха была с часами. Как-то мы остались с Василем, и я попросил его сказать, который час. Он даже не повернулся.

— Я плохо вижу, — сказал я. — Стал бы я тебя просить! Не можешь повернуться?

Василь отворачивался, и меня осенило, потому что это назревало давно:

— Ты не понимаешь по часам? Может, и читать не умеешь? Дундук!

И, словно Василя освободило наконец, он кивнул. И потом, словно исчезло главное, из-за чего он никак не мог сойтись с нами, он перестал привыкаться и упрямиться. Смеялся, когда ему показывали, как он упирался подбородком в грудь и смотрел на носки своих ботинок. И вообще оказался не только смысленным, но и смешливым. Не только просил, но и оставлял докурить. К времени он почувствовал тот же интерес, что и мы. Вначале говорил, где находятся большая и маленькая стрелки, а потом стал разбираться сам. Теперь только маленький, ослабленный давним недоеданием Костик с высокомерным удовольствием называл его Дундуком. Из-за своей поргающей походки доходяги Костик всюду опаздывал. Позже всех подходил к раздаче баланды, к концу разговора. И чем позже подходил, тем более высокомерным делалось у него выражение лица. Костик был редкостно красив. Он давно уже умывался только «до черты», спал, почти не раздеваясь. Шея была в серой литейной пыли, этой же пылью был обметан пух на верхней губе. Но под этой болезненной чумазостью и истощенностью, под несмытой литейной пылью удивительная красота его светила еще ярче. Движения его были медлительны от слабости, а казалось, от сознания собственной красоты. У взрослых он пользовался некоей свободой и тем самым вниманием, которого так не хватало мне. Поддерживали его, конечно, не пайкой,

а уменьшительным именем Костик. А самый авторитетный из лагерных приклатённых Николай Соколик звал «сынок» — усыновлял... И Костик с таким выражением, будто ему одному известно все самое главное о жизни, говорил Василию:

— Дундук!

Андрею Костик почему-то не прощал привязанности к Володе, ругал его:

— Глухой! — и слабо всплескивал грязными руками, обращаясь к кому-нибудь за сочувствием. Андриева бескорыстная привязанность казалась ему нелепой.

Если в лагере кому-то была дана кличка, Костик только так его и называл. У лагерных приклатённых он перенимал их жалкое высокомерие и театральность жестов и манер. Но все равно нелепое его высокомерие не могло оскорбить. Оно было слабым, как его шоргающая походка.

Вряд ли подружился бы мы с Костиком, если бы встретились до войны, но он был земляк, почти сосед, и вся моя жадность на дружбу обратилась на него. Однако дружить с ним было трудно. Он и меня встречал своим высокомерным взглядом, высмеивал:

— Как же ты из Германии дорогу домой найдешь? По шпалам?

Ему нужны были свидетели торжества надо мной. И хотя разговор у нас был тайный, он окликал кого-нибудь:

— Домой собирается по шпалам!

И отворачивался, будто на такую глупость ему и смотреть было невыносимо.

Я искал напарника для побега и к Костику поостыл. Дело было не только в том, что он говорил. Куда ему было бежать! Со своей шоргающей походкой он и в лагере всюду опаздывал. Но все же шкафчики наши были рядом. Рядом были нары, на пересчете мы держались вместе. Однажды попытались вместе украсть картошки. Кухонный фабричный барак задней стеной примыкал к отвесной земляной горке. Между стеной и горкой оставалась щель. По этой щели я прошел к забитому ставней, единственному с этой стороны окну. Ставня легко подалась! Стекол в раме не было. Дважды в день — в обеденный перерыв и после работы — мы все проходили по деревянной лестнице с горки и на горку. Это было очень людное место, и только голод заставил меня рискнуть. Я разыскал Костика и объяснил ему, в чем дело. Он побледнел, все блатное с него слетело, однако пошел со мной. У него была

небольшая, чуть больше противогазной, холщовая сумка. С этой сумкой я залез в барак, а Костик должен был сбегать в цех и вернуться ко мне с бумажным мешком из-под цемента. Сумку я наполнил быстро, набил картошкой карманы. Ставню я прикрыл и сидел почти в полной темноте. Это была комната-овощехранилище. Каждую минуту сюда могли войти, за дверь в кухне были слышны голоса, слышны были шаги тех, кто поднимался или спускался по лестнице, а Костика все не было. Он, как всегда, запаздывал, и я ругал себя за то, что связался с ним. Прогудела сирена почной смены, вот-вот должен был начаться пересчет, надо было выходить. Плохо, что выходить приходилось вслепую. Если кто-то идет по лестнице, он тотчас увидит меня. Я толкнул ставню, вылез наружу... и пошел к двум полицейским, которые уже поднимались по лестнице, но остановились, чтобы посмотреть, кто это лезет из окна кухонного барака. Так в сопровождении двух полицейских, забравших у меня сумку, я и явился на пересчет. Костик был там. Он не нашел мешка, опоздал и по сирене пришел на пересчет. Мне повезло. Картошка была фабричной, полицейские — лагерными, поэтому пинки, которые я получал по дороге, можно было выдержать. Каждое воскресное утро теперь начиналось для меня часа на три раньше, чем для остальных, — я был оштрафован на шесть воскресений. В темноте полицейский выкликал длинный ряд номеров. Я вскакивал, когда он называл мой.

Моя койка первая во втором ряду от стены. Когда с лестничной площадки смотришь в зал, видишь первые койки четырех длинных рядов, уходящих в темноту. Всего в помещении пять рядов. Но койки пятого ряда пристроены уступом, и от двери их не видно.

По лагерным правилам дверь на лестничную площадку всегда открыта. Поэтому, просыпаясь, я сразу же вижу полицейского. Другим штрафникам легче. Их от полицейского отделяют ряды коек. Поднимаются и одеваются они, не глядя на него.

С моего места ночью видны две лампочки: синяя, ночная — у входа и серая, соломенная — на лестничной площадке. Ночью лестничные площадки освещены ярче, чем наши помещения, и мне кажется, что синий маскировочный свет неподвижен, а лестничный поднимается из умывалки вместе с запахом карболки и извести. В неподвижном взвешенном синем свете мне видны цементный пол и секции банных шкафчиков из серого

прессованного картона вдоль стены. По этому синему свету, который освещает половину моей койки, просыпаясь, я догадываюсь, где я. И каждый день целую минуту я надеюсь, что и синий свет, и цементный пол, и ряды банных шкафчиков — это наваждение, которое вот-вот рассеется.

У меня в лагере все, как у всех: две некрашенные бортовые доски, четыре деревянных стояка и потолок из досок верхней койки, сквозь которые мне на лицо сыплется соломенная труха, когда сосед ворочается. Два одеяла — тоже как у всех. И одно отделение банного шкафчика. Но в лагере все, как у всех, не бывает. Мне пятнадцать лет, я никогда в жизни не видел нар, мне не с чем сравнить этот лагерный ужас, чтобы хоть как-то его освоить. И я не знаю о времени того, что знают о нем взрослые люди, — что время можно пережить.

Порог нашего помещения полицейский не переступает. Он стоит на лестничной площадке, но на голой, лысой его голове, на очках синяя тень от нашей ночной лампочки. Он полуодет — подтяжки поверх толстой ночной рубахи. Не он погонит нас на работу, другие полицейские топчутся сейчас внизу, берут винтовки, вешают на грудь фонарики, по мокрому, лоснящимся их плащам мы узнаем, что на улице холод и дождь, а он разбудит нас и пойдет досыпать в свою комнату.

— Зибн хундерт драй унд зегциг!¹

Это я. Вскривать надо стремительно. Не дай бог, ему придется кричать еще раз. Чтобы быстрее встать, я оделся еще ночью и еще ночью замерз. Это особая промозглость, когда спишь одетый и знаешь — во сне знаешь, — что, когда проснешься, станет еще холоднее. Все лагерное отчаяние сходилось в этом подъеме. Нет ничего тяжелее, когда в общей беде тебя выделяет еще и твоя собственная неудачливость. Беда так велика, что слабость перед ней, неповоротливость, неудачливость жутятся непростительной глупостью. Я видел у многих лагерников такое отношение к неудачливости, и отчаяние усиливалось чувством вины: весь лагерь еще живет сном, еще цепляется за эту сонную надежду — может, сегодня обойдется, может, никуда не погонят, — а меня уже гонят работать на немцев. Вся моя жизнь была неправильной потому, что не накопила в моих мышцах энергии и силы, способных ориентироваться в таких обстоятельствах. Даже

¹ Семьсот шестьдесят третий!

в том, что я не мог спать раздетым, сказывалась моя слабость, моя уступка общей беде. Я видел, что самые сильные и энергичные спали раздетыми, и с вечера раздевался сам. Но за ночь несколько раз просыпался от холода и надевал на себя все, что можно было надеть. Так что утром по моим изжеванным брюкам и пиджаку все видели, что я спал одетым. Я, конечно, догадывался, что я не очень смелый человек. И страдал, когда это приходило мне в голову. Моя храбрость далеко не всегда была со мной. Прежде чем решиться на какой-нибудь поступок, мне надо было подождать, пока ее накопится достаточное количество. Но обстоятельства почти никогда не отпускали для этого времени, и мне приходилось перенапрягаться, поступать так, будто решимость уже накопилась. Поэтому я и искал себе старшего. Мне было легче, когда чья-то смелость вела меня. Я был уверен, что взрослые смелы потому, что смелость должна увеличиваться с разумом и чувством собственного достоинства. Лагерная жизнь ежедневно показывала мне, что не все взрослые смелы. Но никакие примеры «из жизни» не могли изменить моих мыслей. Мои мысли мне нравились, а примеры — нет. Я вообще заметил, что убеждения устойчивее любого количества примеров, потому что убеждения тоже ведь из жизни. Во всяком случае, робость мне казалась не природным свойством, а болезнью, ленью, эгоизмом души. И страх — свой или чужой — потому и был отвратителен, что был следствием эгоизма. Я ненавидел тех, кто вызывал у меня страх, но презирал и себя за то, что не мог не бояться. За свой нынешний страх я винил свою прошлую жизнь, в которой слишком много было материнской любви и заботы.

Фронт через мой родной город проходил дважды. Мы долго жили под непрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Надо было ходить за водой, добывать еду и просто бегать с ребятами по разбомбленным улицам. Хочешь не хочешь, рисковать приходилось каждый день, и у меня было время присмотреться к себе. Я шел за теми, кто был старше и смелее, и никогда не вмешивался в споры старших ребят, выбиравших, куда пойти. Меня и тянуло к смелым и предприимчивым потому, что самому мне хватало сил на то, чтобы не быть хуже других. И не очень много мне запомнилось из того, что приходилось делать вместе с другими. Только один случай запомнился хорошо. Во время наших походов за оружием мы набрали на подбитый немецкий бронетранспортер. Ребята забрались

в бронированный кузов, гремели пустыми канистрами, а я сел в кабине на широченное сиденье, посмотрел сквозь толстенное стекло, которым была заделана смотровая щель, и сказал, что стекло пуленепробиваемое.

— Откуда знаешь? — спросили меня.

— Читал.

— А вот садись за это стекло, — сказали мне, — а мы выстрелим.

Некоторая моя начитанность иногда вызывала раздражение. Я поудобнее устроился за броневым щитом и потонул на широченном сиденье так, что колени уперлись в подбородок. Пришлось передвинуться на край сиденья и наклониться вперед. В стекле от толщины была едва заметная мутноватость, но видно было так же хорошо, как сквозь оконное. Вокруг бронетранспортера были разбросаны каски, немецкие гофрированные жестяные коробки, канистры. В кабине уже было порвано сиденье, пахло железом, а перед стеклом примерялся с винтовкой мой приятель. Винтовку мы нашли сегодня и таскали ее целый день с собой.

Когда приятель стал целить мне в лоб, я невольно отклонился. Теперь бы я не поручился за то, что где-то читал о пуленепробиваемом стекле. Может, читал, а может, только слышал от такого же, как я. А если и читал, так, может быть, это совсем другое стекло.

За мной следили и сразу крикнули:

— Не отклоняться!

Только по другим я понял, как трудно было мне первому не отклониться. Потом все захотели посмотреть сквозь пуленепробиваемое стекло, как в тебя в упор будут стрелять из винтовки. Но многие все-таки не выдерживали и отклонялись. А кто-то вообще вышел из кабины.

— Да ну его!

Но мне и легче было — я сильнее верил в пуленепробиваемое стекло. Главной моей предвоенной страстью было чтение. В иные минуты мне казалось, что вся моя предвоенная жизнь — это чтение. Я, конечно, знал, что и раньше мальчишки моего возраста зачитывались, и даже примерно теми же книгами, но был уверен, что мое чтение — особое. «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор», — пелось о моем времени, а не о том, которое только будет. И мотор и крылья вызывали восторг, но еще больше привлекала меня сама пламенность этой строки. Было время осуществления напечатанных слов, даже если они были

написаны очень давно. И Жюль Верн, и Майн Рид, и даже Дюма раньше мальчишки не могли так читать. Все слова в их книгах были обновлены, стали многоцветнее и содержательнее, потому что получили опору в нашем времени. Сбылись или сбывались все победы добра и все технические прозрения. Восторг по этому поводу был так велик, что возникало сомнение, осталось ли что-нибудь на нашу долю. И потому не слишком беспокоили меня моя домашняя лень, изнеженность, поощряемые матерью, — у таких, как я, было теперь время спокойно взрослеть.

И вот среди больших и малых потрясений, которые принесла война, была удивительная для меня утрата интереса к чтению. Читая книги, я прожил сотни жизней, но тело мое в этом не участвовало. Теперь жило тело. Оно тяжело переносило голод и холод и не было готово к борьбе со страхом смерти, но я старался не уступать ему. Нет, никогда я не пожалел, что так много времени тратил на книги. Я не расставался со своей страстью, а переносил ее на конец войны, куда все переносили свои не связанные с войной любимые дела. Но, конечно, с мальчишеским чтением было покончено, а к взрослому я не был еще готов. Взрослеть приходилось стремительно, и каждый день выяснялось, что я мало знаю и еще меньше могу.

Со страхом я приближался к первой немецкой печатной продукции, приклеенной к стене дома. На желтой, как сахар-сырец, бумаге было изображено носатое, ушастое лицо в пилотке со звездой, а подпись гласила: «Бей жида политрука, морда просит кирпича». Меня поразила мелкость злобы, не сопоставимая, казалось бы, с результатами, достигнутыми немецкой армией. И еще поразила какая-то запущенная, давняя и непечатная малограмотность, какая-то старинная уличная глупость, какое-то безобразие, заключенное в самой конструкции этой фразы. А я ведь и ожидал прочесть что-то угрожающее, враждебное себе. И еще мне попадались газеты, издающиеся на русском языке. Я брал их со страхом, потому что боялся оскверниться, боялся, что какие-то строки вызовут у меня интерес, с чем-то я против воли соглашусь и тем самым совершу невольное предательство. Я ведь знал власть печатного слова над собой. Но этому серо-зеленому дурачью нечего было сказать. Один раз они похвастались гардеробом какого-то немецкого шофера, у которого было двенадцать рубашек. И дело было даже не в этом холуйском хвастовстве. В руках издателей газеты умирали сами слова. Я это сразу заметил. Во фразу их соединяла не

живая энергия, к которой я привык, а истерические угрозы и воспоминания о том, чего ни вспомнить, ни восстановить нельзя. А там, где не было угроз, происходило что-то еще более страшное — непереносимое опрожнение жизни, ее целей. Опрожнение смысла слов. Прекрасные, многоцветные слова умирали, делались серыми, как ворсистая газетная бумага. Их убивало отсутствие жизненной цели, сколько-нибудь пригодной для печати, у тех, кто работал в газетке. Я это очень хорошо чувствовал. И, может быть, поэтому мне ни разу в голову не пришло, что немцы могут победить. Мысль эта не появлялась, потому что не было для нее места. Она была противоестественна, и противоестественность эта была кричащей. Отец мой родился в многодетной рабочей семье, в детстве работал мальчиком в какой-то керосиновой лавке, рос в гражданскую, учился, стал служащим, и все это потому, что, как он любил говорить, таков естественный порядок, коренящийся в самой природе вещей. «Сила вещей», «природа вещей» — это была его любимая присказка, которая мне порядком надоела. И было бы, конечно, вопреки силе, вопреки природе вещей, если бы отец захотел забыть все, чему он учился, и вернулся в керосиновую лавку на должность мальчика. А ведь все слова в немецких газетках, в немецких приказах и листовках не годились даже для разговора с мальчиками из керосиновых лавок. Родиться эти слова могли только в головах людей, глухих в чем-то главном, в чем-то основном. И это были даже не мысли мои, а то, что лежит в основании мыслей: чувства, ощущения. С этими чувствами я смотрел на немецких солдат, на немецкую технику, которая шла через наш город. С этим же чувством я смотрел на полицая, который стоял на лестничной площадке и выкрикивал наши имена. Синяя тень от ночной лампочки лежала на его лысой голове, на стеклах сильных очков. Это был ночной полицай, он почему-то часто дежурил ночью. Я привык видеть его по утрам на лестничной площадке полуодетым, еще не совсем проснувшимся. Коренастое тело этого пожилого человека, казалось, было полно раздражительной энергии. По лестнице он поднимался быстро, но сопел так, как будто преодолевал чье-то враждебное сопротивление. Ходил, поворачивая голову на чей-то выкрик тоже так, будто для каждого из этих действий ему нужно было развить сокрушительную энергию. И, хотя глаза его увеличивали стекла очков, казалось, что их пучила ищущая выхода ярость. Каждое утро он кричал в открытую дверь:

— Ауфштеен!¹

С сопением и топотом бежал наверх, на третий этаж, и там тоже кричал: «Ауфштеен!» Это был один из самых злобных и презираемых полицаев. Плохое зрение и какая-то общая ущербность — его даже свои все время держали в ночной смене — делали его гневные вспышки жуткими и комическими. У него и кличка была клоунская — Апштейн. Каждое утро в ответ на его призыв подниматься кто-то выкрикивал:

— Никс ферштеен!

И он, сопящий, топающий, врвался к нам, замахивался, ревел. В стеклах очков стояли его расплывшиеся неподвижные глаза. На его дежурство выпадал и отбой. Он бегал по этажам, кричал:

— Файрамт!²

После отбоя давалось пять минут, чтобы лечь и замереть. Электричество выключалось из вахтштубы. Гасли обычные лампочки, зажигалась синяя. В пять минут многие не успевали управиться. За ними Апштейн начинал охоту. Слышно было, как он кого-то бил на первом этаже. Тогда у нас начинался крик. Добровольцы, чьи койки были расположены ближе к дверям, выходили на площадку, чтобы предупредить, когда Апштейн бросится на второй этаж. Они успевали добежать до своих нар, накрыться одеялом. Полицаи меняли тактику. Свет гас во всем лагере. Мы слышали, как в полной темноте тяжело прокрадывался Апштейн. Несколько минут все прислушивались к его передвижениям. Из вахтштубы давали полный свет. Апштейн с револьвером в руках бросался к ближайшим нарам, срывал одеяло, тыкал стволом в лицо. Палец на спусковом крючке подрагивал. Неподвижные расплывшиеся глаза заполняли все стекла очков. Ему на помощь из вахтштубы прибегали другие полицаи. После приходилось полночи чинить поломанные нары, собирать солому. Но чаще бывало по-другому. Полицаи дежурили по очереди, и только Апштейн был постоянный ночной. И вид у него постоянно был ночной, полураздетый. Так он выходил открывать двери ночному конвою, так прибегал к нам. Другие полицаи появлялись в наших помещениях в форме. Ночью они могли вступить и в переговоры. И, если лагерь успокаивался, они уводили грозящего, не выплеснувшего ярость Апштейна. Свет гасили, первое

¹ — Подъем!

² — Отбой!

возбуждение падало, усталость брала свое.

А по воскресеньям Апштейн выкрикивал номера штрафников. И то, что это был Апштейн, по-особому освещало мою неудачу. Если кому-то в лагере доставалось от Апштейна, он обычно не признавался — попасться Апштейну казалось верхом неловкости.

Костик спал, укутавшись в одеяло с головой. Гордиться ему было нечем. Но, когда вечером нас вернут в лагерь, он встретит меня смехом. Только в первый день он немного смутился. А теперь он держался со мной так, будто победил или, по крайней мере, обманул судьбу. Я попался, а он нет. Вот и взял верх над судьбой и заодно надо мной. Это были какие-то странные расчеты с судьбой, но Костик ведь из всех своих слабых сил старался подражать немногочисленным нашим блатным.

Штрафникам объявляли, что наказание за следующий проступок мы будем отбывать в концентрационном лагере.

Я не отработал своих шести воскресений, а этот обыск просто обрушился на меня. В моем шкафике стоял бумажный мешок из-под цемента, наполовину наполненный картошкой. Цемент тщательно вытряхивали, но все равно его много оставалось в бумажных складках. Когда лезли за картошкой, бумага хрустела, выстреливала цементную пудру, так что изнутри весь шкафик был в белой пыли. Как только откроют дверку, обыскивающие сразу увидят и эту цементную пыль и мешок. Я даже представил себе, как они, чисто одетые, в лакированных сапогах, брезгливо дотронутся до мешка, заставят меня его вытащить, еще раз тщательно осмотрят шкафик и найдут на верхней полке кинжал. Все это было так неизбежно, что я отчетливо представлял себе их позы, выражения лиц, голоса. Видел, с каким охотничьим торжеством присоединится к этой компании Пауль.

Воровство картошки застало заводскую и лагерную полицию врасплох. Несмотря на ежедневные обыски у ворот, несмотря на то, что Гусятник и его помощники переключились на охрану картошки, она все же поступала в лагерь. Тут ее прятали в матрацы, а вечером пекли или варили в суповых мисках. Выставляли сторожевых на то время, пока чистили, и на то, когда варили. Однако нельзя спрятать запах вареной или печеной картошки. И однажды комендант, не переступая порог, потянул носом и объявил, что мы лишаемся печки на сорок дней.

Картошку в бумажном мешке мне дали на сохранение. Кто-то пронес, а хранить опасался, потому что это риск

столь же большой и к° тому же с каждой минутой нарастающий. В любое время могут войти, перетрясти матрацы, шкафчики. Хозяина картошки я не знал. Я имел дело с Левоу-кранком. Он стоял сейчас в первой шеренге и не оборачивался. Ему и не за чем было оборачиваться — свою долю картошки я получил. У Левоу-кранка были ласковое бабье лицо и сточенный на электрочилке палец. Слова его льстили и отрезали дорогу для отступления. Он сказал, что стоящие люди обратили на меня внимание и что от меня зависит, приблизят ли они меня к себе. Внимание стоящих людей, конечно, привлекла моя попытка залезть в кухонный барак. Но сам Левоу-кранк тогда совсем по-другому ее оценил.

— Не умеешь — не берись! — вот что он мне тогда сказал. Это была угроза. Кому-то я навредил. Может, даже закрыл единственный источник, которым другие пользовались умно и осторожно. Или других должен был пустить вперед. Я догадывался, что моя неудача кого-то затронет, понимал, что нетерпение мое было от страха, но не думал, что другие увидят это еще яснее, чем я. И никак не ждал, что от стоящих людей будет говорить Левоу-кранк. Люди, о которых говорил Левоу-кранк, сами должны быть на него похожи. Но не устоял, взял картошку. Левоу дал мне замок, и мой шкафчик впервые стал запирагься.

С того момента, как переводчик объявил, что будет обыск, я ждал, что Левоу-кранк обернется, найдет меня взглядом, хотя бы подмигнет, подаст какой-то сигнал участия и сочувствия. Рядом с ним стоял Николай Соколик, и было совсем нетрудно догадаться, что это и есть стоящий человек. Левоу поворачивался к нему, и я видел его бабью щеку. Вот что было ужасно! Эти люди так ясно увидели мою предрасположенность к неудачливости и так спокойно ее использовали! С того самого момента, как попал в лагерь, я понял, что надо меняться, но не менялся. Видел, как неизбежно вела к беде уступчивость, пугался, когда понимал, что такие, как Левоу-кранк, мгновенно меня разгадают, но не мог измениться. Когда-то, не помню уж, по какому случаю, отец сказал мне: «Москва слезам не верит!» Среди других взрослых поговорок и пословиц, которые непонятными и неразгаданными задерживала память, эта показалась мне самой жесткой. Помню, отец был благодушен. Во время воскресной прогулки мы куда-то далеко забрели, рант в новых туфлях натер мне ногу, и я, должно быть, привередничал и капризничал. Слова отца поразили меня. Я спрашивал, почему не верит. Отец

объяснял. Но для него было слишком ясно, а для меня слишком непонятно. Я не понял и справился с этим так, как уже привык справляться: *раньше* не верила. Отец ведь не сейчас, а *раньше* эту поговорку узнал.

Если бы сейчас я и захотел меняться, то все равно бы не поспел за событиями и людьми. Но я не хотел меняться. Здесь были и мое отчаяние, и упрямство, и ощущение правоты, которое давало мне силы. А такие люди, как Лева-кранк, только усиливали мое упрямство.

У входа в лагерное здание полицейские выстраивались коридором — готовились загонять нас.

Андрей с просительной гнусавостью спросил Костика: — Не видел, за баландой поехали?

— Глухая нянька! — сказал Костик. — Володя, Володечка! Не видел!

Василь смотрел на носки своих солдатских ботинок.

— У меня картошка в шкафчике, — сказал я.

Костик театрально всплеснул руками.

— Попал!

Володя не повернулся ко мне, но я увидел, как изменилось выражение его глаз.

— Начнут загонять, — сказал он быстро, — иди вперед и выбрось. Пусть ищут, чья!

— Они сами вперед пойдут, — сказал Костик.

— Мешок в цементе, — сказал я, — по цементной пыли найдут.

— Скажи, ключ потерял, — все так же быстро предложил Володя.

— Замокломают, — сказал Костик.

Они как будто не спорили, а высказывались. Каждый шел от чего-то своего. Володя не обращал внимания на Костика, а Костика нравилось разрушать его предложения. Он стоял, презрительно полуотвернувшись. А в Володиных глазах разгорался сулящий мне какую-то надежду знакомый азарт.

— В уборной пересиди, — будто стараясь сломить мою пассивность, на выбор предлагал Володя. Теперь он смотрел на меня. И Василь, который не вмешивался в спор, оторвался от своих ботинок и смотрел на него и на меня.

— Кто сейчас в уборную пустит! — презрительно сказал Костик. Но и сейчас Володя его не заметил. Странно, но в Володиных глазах был уже не только азарт, но и сожаление, что не ему все это выпало.

— Давай ключ, я пойду вперед и выброшу. Не успею,

ключ спрячу. Скажешь, потерял.

И он встряхнул меня, чтобы помочь мне преодолеть оцепенение. А я уже почувствовал, что выход может найтись, что Володя бы его нашел. Во всяком случае, решимости мне прибавилось, и я стал пробираться вперед.

Меня пропускали. Полицейские у входа в лагерное здание действовали так, будто они этот вход от нас защищали. Они ломали шеренги, били резиновыми палками.

— Быстрее, быстрее!

Чуть в стороне Пирек — старший полицейский. Он не слепо идет на толпу, а кого-то выбирает. Распекает его, замахивается, грозит вслед. Пирек брюзглив, вступает в перебранки. При этом на лице его выражение старческой правоты, возмущения всегда остается как бы на общежитейском уровне. Поэтому новичкам он кажется доступным для просьб, обращений, разговоров. Даже наткнувшись на пухлый старческий кулак, они продолжают выделять его среди других полицейских, сохраняют к нему род странной симпатии: все-таки не бессловесный — грозит, возмущается, что-то объясняет. Хоть раз отмеченный Пиреком лагерник сразу же начинает ощущать на себе его внимание. Пирек выделяет его на пересчете, в колонне. Грозит пухлым, согнутым возрастом и тяжелой физической работой пальцем. У Пирека широченные, округленные возрастом плечи и широкая оплывшая грудь. Говорили, что в молодости он работал грузчиком и мог один за два часа разгрузить железнодорожный вагон с коксом. Несмотря на возраст, любит одеваться легко. В лагерь всегда приходит в полуформе: сапоги, галифе, а сверху рубаха с накладными нагрудными карманами, схваченная пояском. И в этой его полуформе, ворчливости, вывернутой возрастом, брюзгливо отвисшей синеватой нижней губе, в пенсне, которое то сидит на мясистом носу, то болтается на шнурке, есть что-то дедовское, домашнее, обманывающее новичков. Каждый вечер он прогуливает пожилую овчарку и в свое и не в свое дежурство проводит ее по всем этажам здания, заглядывает в межколенные коридоры, на вторые этажи нар. Этого не делает ни один из полицейских. В синем ночном свете, неожиданно проснувшись от чьего-то пристального взгляда, можно увидеть над собой бледное широкое лицо, недовольно шевелящиеся губы. От плаща его пахнет волей, дождем, улицей. Этот запах холода и воли он один приносит в лагерь, потому что другие полицейские обычно раздеваются у себя в вахтшту-

бе. Среди лагерников у него есть симпатии и антипатии. С теми, к кому он настроен благодушно, Пирек переговаривается на пересчете. Обычно это люди в возрасте, физически крепкие. Преследует Пирек ослабленных и больных. Удивительно, как совпадает неприязнь жестоких людей. Пирек, как и Пауль, постоянно придирается к Брониславу, передразнивает его невнятицу, считает симулянтом. Каждое утро Пирек появляется у нас на этаже перед нарами замороченного, забитого деревенского парня, который от дурной еды, от всего этого лагерного ошеломления ночью не может проснуться и мочит под собою матрац. Распространяя чистый запах холода, в начищенных сапогах, Пирек стоит над ним, грозит как будто благодушно, затем стаскивает матрац на пол, пинает сапогом, обещает кому-то, что положит парня над ним, на верхний этаж нар. Но еще ужаснее видеть, как Пирек бьет тех, к кому он проявлял какое-то расположение. Поляка Вальтера, который по-немецки говорил лучше полицаев, Пирек выделял и приближал, а затем жестоко избил на пересчете при всех. Вальтер, который перед этим и говорил, и одевался, и держался так, будто ждал, что в его судьбе вот-вот произойдет важная перемена, сник, словно разом сожгли его бодрую походку и громкий голос свободного человека. Громкий голос нас всех раздражал, но жалко было видеть, как сломался этот красивый блондин, как он не может простить себе вчерашних надежд и нынешнего унижения.

Пирека я опасался больше всех полицаев. Пробираясь к дверям лагерного здания, я не сумел уберечься от чьей-то резиновой дубинки, хлестнувшей по спине. И тут же почувствовал знакомое сотрясение, будто прыгнул с большой высоты и неудачно стал на пятки. Это Пирек заметил мое рвение и ударил по голове. Так я влетел вместе с другими в лагерную дверь и, увидев, что путь в умывалку и уборную не охраняется, скатился по лестнице вниз. Здесь была привычная полутемнота, ночной маскировочный синий свет, режущий ноздри дезинфекционной вонью гасящейся извести. Я всегда боялся этого места с потеющими сыростью сводами покойницкой, с тусклым светом слабых лампочек, которым, казалось, разгореться ярче мешали густые дезинфекционные испарения. Они скапливались под низким подвальным потолком, липким налетом покрывали лампочки. Ночью я опасался спускаться один. Если просыпался, то долго лежал без сна, ожидая, не соберется ли еще кто-нибудь. Страх был детский, но был

он сильнее многих настоящих страхов, с которыми поневоле приходилось справляться. Если попутчика не находилось, а лежать без сна не было сил, я сбегал вниз и, прежде чем войти в уборную, обязательно, даже если знал, что в лагере никто не умер, заглядывал в умывалку. Синий свет не давал теней. Сумрак скапливался под круглыми цементными умывальными чанами и в самих чанах, сливался на пол и тек к дверям. Это медленное движение синего сумрака пугало меня больше всего. Я спиной его чувствовал, когда убегал наверх.

И сейчас пропитанный вонью карболки и гасящейся извести синий свет ударил мне в ноздри и глаза. Наверху топали и кричали, а я подумал, что не высижу здесь. Потом меня насторожило движение в уборной. Движение было вкрадчивым, едва заметным — кого-то я напугал. Осмелев, я заглянул и увидел в дальнем углу странного человека, недавно появившегося в лагере. Человек был невысок, значительно меньше меня ростом. Стоял он боком и взглянул не сразу, а помедлив, с опасением. Увидев, что это не полицей, он как будто не испытал облегчения, а отвернулся. Но мне некуда было уйти, а ему явно нечего было тут делать, и я спросил:

— Тоже прячешься?

Он пожал плечами. Я спросил еще раз. Он ответил с заметным акцентом:

— Не понимаю.

Дней пять тому назад Володя позвал меня вечером на свои нары. Он никогда этого не делал, и я шел обрадованный. На нарах в зеленоватом аккуратном немецком пиджачке, в аккуратно повязанном шарфике, не поднимая глаз, сидел человек, которого в лагере я еще не видел. «С семейного этажа», — подумал я. А Володя спросил меня:

— Пайку получил?

— Получил.

— Большую?

Большой считалась пайка с горбушкой.

— Нет, — сказал я, поглядывая на человека в шарфике и настораживаясь, потому что разговор о пайке имел к нему какое-то отношение.

— Все съел?

Теперь, прежде чем ответить, надо было подумать. Лучше всего было бы сказать «съел», чтобы прекратить разговор, который Володя с обычной для него легкостью заводил туда, откуда без потерь нельзя вернуться.

— На утро оставил, — сказал я, считая, что это близкий к правде и в то же время сильный ответ.

— Все равно до утра не дотерпишь.

В другой раз я охотно был согласился: «Не дотерплю!» Но сейчас сказал:

— Дотерплю.

Володя засмеялся. Он был прав: дотерпеть до утра мне было еще труднее, чем расстаться с хлебом вообще. Но я стоял на своем. Тут был важный психологический момент. В человеке, который способен поделить пайку на два-три раза, *дотерпеть* до утра, самостоятельность, сила характера уважались в большей степени, чем само право на пайку. К такому и в голову не придет подступить. Тому же, кто плывет по течению, кто каждый раз уступает голоду, не обуздывает себя, в ком слаб характер и не слышен голос рассудка, кто над собственной жизнью гарцует, пошучивает, хвастает, выставляется, как будто его спрашивают — «У меня долго не лежит!» — такому можно сказать: «*Все равно без толку пропадет*». А отсюда недалеко до той мысли, к которой подводил Володя. Володино шуточное посягательство (я еще не допускал, что это серьезное посягательство) мне было не просто неприятно — оно заставляло меня сомневаться в Володе. Когда в лагере сильный предмет для своим шуток избирает пайку слабого, то и шути можно жилы вытянуть. Сильный сам должен чувствовать, над чем шутить нельзя, чтобы не поставить слабого в невыносимое положение. А для Володи и тут, кажется, не было никаких границ.

Мелкие хищники, которые всегда есть среди нескольких сотен людей, попавших в тяжелые обстоятельства, прекрасно знают, что оплести и подавить словом малолетку. Подросток попадает и потому, что нет опыта, и потому, что к самому слову у него еще особое, детское, замороженное отношение. Начинается шуточным розыгрышем, вырывается шуточное обязательство (используются, конечно, и слова о святости, благородстве мужской дружбы и т. д.). Затем глаза шутника леденеют: «Обещал?» — «Но...» — «В следующий раз не будешь обещать». Главная беда для всех одна, но у подростка есть и свои заботы. Опыт у меня был, но ведь завораживал словами Володя, а тут мне защищаться было труднее всего.

Вдруг Володя сделался серьезным.

— Три дня не ел, — показал он на человека в шарфике.

— Семейный? — спросил я.

Человек не повернулся ко мне, и Володя так же громко,

как об отсутствующем, сказал:

— Немец. По-русски не понимает.

Человек в шарфике, который до сих пор даже взглядом не участвовал в разговоре, сидел, уставившись перед собой, теперь с какой-то смутившей меня просительной готовностью повернулся и произнес несколько немецких фраз, из которых я понял, что он действительно давно не ел, потому что прячется от полиции. Язык был, насколько я мог определить, настоящий немецкий, а не лагерный набор беспадежных немецких существительных с глаголами в неопределенной форме. Однако замечен был и какой-то акцент. Что могло быть невероятнее немца, ищущего спасения в нашем лагере! И я присматривался. Как меняется немецкий лагерный жаргон, когда им пользуются французы, поляки, голландцы, я уже слышал. Акцента человека в шарфике я определить не мог. Заметил я также, что одет он не как немец, а под немца. Пиджачок староват, шарфик чуть-чуть не так повязан. Не улыбка, а тень улыбки, сохранившаяся на дне Володяных глаз, все еще вызывала мое беспокойство. С другой стороны, как должен быть одет немец, стремящийся укрыться от немецкой полиции в русском лагере? В нашем русско-польском смешанном лагере он вполне мог сойти за не очень удачливого поляка или украинца, знающего немецкий язык. В голосе полное отсутствие полицейско-солдатских интонаций, солдатской громкости, которые казались обязательными для истинного германца. Настолько обязательными, что даже «ненемцы» их тогда невольно перенимали. А тут слова немецкие, но интонация обыденная, разговорная, воспитанная в какой-то другой стране. Так говорили дед Эрнест и тетя Грета. Слова немецкие, а интонация русская. И вообще тут, конечно, было много несовпадающего, несходящегося. Но я не дал этому несовпадающему и несходящемуся слишком развиться, слишком разойтись. Я уже знал, как недолго носит свое обличье необыкновенное — слишком часто на него надеялся. Но ведь только необыкновенное обещало быструю перемену в судьбе. И вся моя лагерная жизнь, все мои лагерные надежды были ожиданием необыкновенного. Ну, пусть не немец, пусть Володя зачем-то путает меня. Но необыкновенное здесь есть. И главное доказательство — не пиджачок, не немецкий язык, а то, что Володя рискнул попросить для него хлеба. Пайку можно обменять, продать, но просто попросить нельзя. Этого в лагере еще не было, я точно знал. Это было самое важное. А еще важнее,

может быть, была моя готовность возбудиться, поверить. Человек в зеленатом поджачке вызывал сомнения, но чувства мои сомнения не вызывали, я изголодался по ним. Тут было и мгновенно проснувшееся чувство интернационального — этой воспитанной в нас любви к дальнему, этой высшей справедливости. И, самое главное, было ощущение судьбы — моей судьбы. Недаром Володя меня позвал. Если существует такой немец, если Володя верит ему, следовательно, существуют солидарность, красный фронт, подполье.

Я принес хлеб и поделил его пополам. Человек в шарфике не потянулся — ждал сдержанно, почти равнодушно. Сказал «спасибо» и назвал свою фамилию, чего, на мой взгляд, ему делать не следовало:

— Эсман.

Фамилия, конечно, могла быть придуманной, но и в остальном, пока я сидел рядом, Эсман сохранял излишнюю, на мой взгляд, готовность отвечать на вопросы. Я ждал краткости, уклончивости, естественных в этих обстоятельствах, и сам своими вопросами больше поддакивал, чем спрашивал. Хотел показать свою сообразительность, пригодность к тому делу, которое, раз уж меня позвали, теперь без меня не пойдет. Вообще жаждал сближения с необыкновенным. Но Эсман серьезно выслушал мой вопрос и, смущая основательностью, на которую я никак не рассчитывал, открытостью, на которую я не имел права, отвечал. При этом оказалось, что он прекрасно говорит по-русски, а немецкие слова употребляет, когда ему не хватает русских. Все это сразу же усилило мои сомнения, однако Эсман тут же меня удивил. Сказал, что вначале хотел выдать себя за француза и спрятаться от полиции во французском лагере. С этой целью он проник на фабрику и стал знакомиться с французами, но французы не поверили ему, да и форму французскую трудно было бы найти. А тут он столкнулся с Володей и заговорил. Как прошел на фабрику? Это просто. В ограде есть дырка.

— Вы и французский знаете? — спросил я.

— Да, — ответил Эсман. И с той же готовностью произнес несколько фраз по-французски — спросил меня о чем-то. Я смущенно пожал плечами, и он кивнул головой. — Да, да. И по-итальянски, по-испански. Английский? — сам себя спросил. И ответил с сомнением: — Нет, немного. Немпожко норвежский. Литовский. Отец говорил, надо знать все европейские языки.

Лет ему было не больше двадцати пяти. Он не хвастал, просто отвечал на мой вопрос и старался сделать это как можно полнее. И смущал меня этой обстоятельностью — чем я мог ответить такому образованному человеку? А он как будто не замечал ни разницы в возрасте, ни в образованности. Подробно объяснил, как проникал в кирху, в которой ночевал последние несколько дней. Тут ему не хватило русских слов, а мне знания архитектурных особенностей церкви, и я не понял.

Было вообще непонятно, как мог этот столь простодушный в своих ответах человек совершить поступки, требующие не только смелости, но ловкости. Для того чтобы проникнуть в лагерь, ему нужно было благополучно пройти через два пересчета: у фабричных ворот и у лагерных дверей.

— А! — объяснил он. — На одного меньше — опасно! Опять надо считать. «Один, два, три...» — он показал, как считают полицаи. — На одного больше? Ошибка! «Один, два, три...» А-а! Не опасно... Проходи!

Это было не очень правдоподобно. Считали тщательно, по два-три раза, пропускали в двери десятками. Он сидел в своем шарфике и пиджачке на Володиных нарах и казался мне все более странным, все менее совпадающим с лагерной обстановкой. Я сказал, что ему надо быть осторожнее, не попадаться на глаза Гришке и не отвечать всем так откровенно.

Все-таки это было удивительное прбстодушие, удивительное отношение к опасности, к собственной судьбе.

Жевал он медленно, и нельзя было понять, знаком ли ему бурачный вкус лагерного хлеба, сделанного из отбросов пивного производства, или он ест его в первый раз. Как только он доел последнюю крошку, Володя сразу же отправил меня к себе:

— Ну все! Потом позовем.

Уходить не хотелось, и Володя поторопил:

— Иди, иди! Костик сейчас придет. Уже ищет тебя.

Костик сидел на своих нарах. Когда я подошел, он спросил, полуотвернувшись, со своим обычным высокомерием:

— К Володьке ходил?

— Да.

— Звал или так просто?

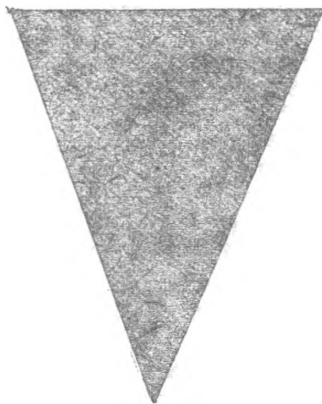
— Так просто.

Костик отвернулся еще больше.

— Я бы не пошел.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Эмигранты»



Треугольник синего цвета

Ночью я не спал, заснуть не давала надежда. В нескольких метрах от меня происходило что-то необыкновенное. На следующий день в подzemелье я спросил Володю:

— Как немец?

Володя засмеялся:

— Он такой же немец, как ты француз. Литовец!

— Нет, серьезно?

Но Володя смеялся, разыгрывал, уводил меня от вопросов об Эсмане. И я перестал спрашивать. Вот с каким человеком я столкнулся в подвале. И, когда он на мой вопрос ответил: «Не понимаю», — я не стал напоминать ему о себе. Только еще раз ощутил странное простодушие, идущее от этого человека. Может быть, эта непонятная наивность, неловкость и сохраняли его? Уже многие в лагере знали о необычном новичке. И никак это не могло пройти мимо Гришки. Ночевал он и за польскими шкафчиками и на нашей половине, занимая койки тех, кто уходил в ночную. И эта удачливость без ловкости в обстоятельствах, которые, казалось, исключали всякую удачливость, внушала мне сейчас надежду.

Долго простоять в этом месте, не глядя друг на друга, не заговаривая, было невозможно, и я сказал:

— Обыск! Полно коричневых, — и показал наверх.

Эсман едва покосился на мой голос, и я вдруг почувствовал, что он боится и оттого так скован. И мне пришло в голову, что это его сегодня искали и еще, конечно, ищут.

Шум наверху то приливал ко входу в подвал, слышны были немецкие голоса, и тогда я готовился к тому, что идут за нами, то отливал, и тогда я представлял себе, как обыскивающие открывают шкафчик за шкафчиком и останавливаются перед моим. Ощущение это становилось все отчетливее, и все непереносимей делался отравленный густыми дезинфекционными испарениями воздух. Невыносимой становилась мысль об этом унижительном убежище, в которое я забрался по собственной глупости. Пока я здесь сижу, события неотвратно накапливаются. Они все равно настигнут меня, как бы долго я здесь ни просидел. Само движение этих событий представилось мне таким ясным и простым, что, лишь немедленно отправившись наверх, я еще мог избавить себя от того дополнительного унижения, которое я сам на себя взвалил. Страх и смутная надежда еще удерживали меня, но страх и погонял — от него надо было избавиться. Кроме того,

меня подталкивало то, что я оказался в одном месте с Эсманом — удваивал для него опасность. Придут за мной — возьмут его. Володя не простит мне, если из-за меня, малолетки, схватят этого немца или литовца, бог его знает, кого.

— Пойду! — сказал я Эсману. — Счастливо!

В дневном свете лагерная лестница стала обычной черной лестницей, со стен и ступеней исчез какой-то нереальный ночной электрический налет. Столб света, который падал из окна (утром и вечером оно закрыто светомаскировочной бумагой), так густо дымился, что я невольно задержал дыхание, чтобы не наглотаться пыли. Голова Апштейна тоже казалась не такой тугой и блестящей, какой она казалась в электрическом свете. Он уставился на меня со свирепой близорукостью, когда я проходил мимо дверей, ведущих в вахтштубу. В дневном свете он облинял и постарел и чувствовал себя, как разбуженное ночное животное. По лестницам уже началось воскресное, праздничное движение. И праздничность эта была связана с обыском. Шли те, кто уже обыскан и освобожден. Они только что пережили свое возбуждение и были заражены чужим. Для них все складывалось хорошо: чем дольше обыск, тем больше уверенность, что сегодня оставят в лагере, не погонят на работу. Кто-то мне крикнул на ходу:

— Тебя ищут!

— Зачем? — спросил я.

— Шкаф у тебя закрыт.

Я хотел тут же повернуть и опять спуститься в уборную, но новая неопределенность, новое ожидание мне были не по силам, и я вошел. Здесь тоже был воскресный дневной свет. Не горела ни одна лампочка ни над койками, ни в проходах. На окнах подняты маскировочные шторы. А в изломах оконного, рикошетирующего в коечных рядах света клубилась еще не осевшая после обыска пыль. В дневном свете сильнее пахло соломенной трухой и холодом. В межкоечных проходах, рядом со шкафчиками в своих новеньких пальто, в начищенных сапогах штурмовики двигались так, как ходят вдоль свежеекрашенного забора, словно тоже чувствовали, какой несмываемой пленкой от нашего голодного дыхания, нездорового пота покрыты коечные стояки. И странно было видеть их окрашенные здоровьем, сытостью, уличным холодом, движением лица, их яркую чистую одежду, блестящие сапоги, слышать громкие голоса — они пере-

крикивались через койки из одного конца зала в другой — в нашем как бы лишенном штукатурки и окраски помещении. Мелькнули оловянные глазки глухого Ганса. Он поводил подбородком — старался освободить шею от тесного воротничка. И вдруг судорожно зевнул. При этом глазки его так вытаращились, как будто он чему-то сильно удивился. В этот момент я вошел в зал, наши глаза встретились. На мгновение мне показалось, что это моему появлению так удивился Ганс. Но он тут же отвернулся. Щеки его надулись, как у человека, собирающегося извлечь звук из духового инструмента, и он энергичными шагами куда-то направился. Однако это были шаги человека, не знающего своей цели. Ганс тут же остановился, повел подбородком, словно проверяя, не растянулся ли наконец воротничок, и удивленно оглядел зал. Он тоже чего-то опасался — своего непонимания, что ли. Я сразу увидел, что свободного, праздничного движения, которое говорило бы об окончании обыска, в зале не было. Банные шкафчики наши шли вдоль стены налево от входной двери. Как раз в том месте, где был мой шкафчик, стояли Урбан, мастер из механического цеха Брок, известный в лагере тем, что он с палкой набросился на девушек, певших во время перерыва украинские песни, Пауль и еще два или три немца из литейного цеха. Здесь же держались Костик и Володя, масляно светил золотым зубом Петька-маленький. Костика только что обыскали, Володя ждал, чем все кончится, а Петька посвящал зубом Броку, у которого он в цеху работал. Лицо Брока было неподвижно, но не замечал Петькиных заигрываний. Урбан покачивал в ладони висячий замочек, которым был заперт шкаф, ждал, кто подойдет. Володя увидел меня и сделал страшные глаза. Костик показал на голову: «Сам себя валишь!» Движение в мою сторону уловили Урбан и Пауль. Но Пауль при Урбане и Брое держался сзади. В глазах Урбана, повернувшегося ко мне, еще не возникла догадка, а на гладком лице Брока не было ничего, кроме самой первой настороженности. Урбан и Брок всегда носили партийные значки, кроме того, Урбан обнажал свою партийную приверженность распространенным в Германии способом — носил прическу и усики «под Гитлера», а Брок был гладко выбрит, острижен коротко и вообще представлял тот тип служебной значительности, при котором обязательна некоторая перекормленность и невозможен несвежий воротничок. И цеховая спецовка его, и нынешний мундир штурмовика были сшиты из более

дорогих материалов, чем это полагалось и на спечовку и на мундир. А маленький партийный значок поблескивал скромно и тускло. И на лицах их партийность была выражена по-разному. Серьезное лицо Урбана выражало понимание: «Да, голодные шкафчики, цементный пол, да, обыск, но таков долг, такова историческая необходимость Германии». Партийность на лице Брока была страшной. Она не оставляла нам никаких человеческих возможностей. Он одинаково отстранялся и от наших волнений, и от Петькиных заигрываний. И во взгляде его, когда он на кого-то из нас смотрел, не было ни вопроса, ни вообще той живой изменчивости, которая появляется, когда люди смотрят друг на друга. Он как бы и не видел наших глаз, должно быть, потому, что взгляд в глаза был бы уступкой, нарушением неких норм. Эта манера держаться не принадлежала самому Броку. Я видел ее у многих немцев: полицаев, мастеров, уличных прохожих. Манера Урбана была редкостью. Поэтому я и смотрел на него с некоторой надеждой. И вдруг увидел, что не *мой* замок он взвешивает в руке. Мой был крайний к окну. А этот замыкал соседнее отделение (шкафчик состоял из четырех секций). Мой замок висел на месте. *Следовательно*, они его не сорвали. Еще бы десять минут, и обошлось! Я это понял в тот момент, когда Петька закричал:

— Его ищут, а он где-то ходит!

В глазах Урбана, покачивавшего замок, что-то стало меняться. Брок повернулся ко мне, и я почувствовал тяжесть его взгляда.

Костик отвернулся.

— Падло!

Володя сказал:

— Быстрый! Не подождал, пока спросят...

Урбан посмотрел на Володю и перевел взгляд на Петьку. Теперь Петька заулыбался широко, засветил зубом и для Урбана, и для Володи, и для Костика — по простоте душевной... Володя сказал, указывая на запертый шкафчик:

— В ночной. Фабрик, арбайт.

Я сказал:

— Сейчас позову! — и побежал на третий этаж к семейным. Это был малонаселенный этаж, и обыск там кончился. У семейных меня и отыскал Костик.

— Ушли, — сказал он. — Что тебе ночью снилось?

И я рассказал про собаку и про то, как не мог вспомнить, укусила ли она меня.

Мы видели, как по лестнице спускались штурмовики, как они ставили сапоги на стертые лестничные ступени, перешучивались. Все-таки, конечно, эти фабричные активисты — литейщики, механики, — одетые в одинаковую форму, провели любительский обыск, воскресное мероприятие. Поэтому целы остались и мой замок, и замок соседа. По лестнице они шли тесно, как толпа из кинотеатра, перил не касались, старались не коснуться стены. Наручные повязки казались яркими флажками. Кое-кто из них теперь оглядывался, махал рукой знакомому или напарнику: — Иван! Ауфвидерзееен! Бис морген!

И это почему-то вызывало у них смех.

Когда мы с Кости́ком спустились на второй этаж, там был переводчик. Держался он так, будто обыск должен был познакомить и сблизить нас с ним. Он слегка надувался; под взглядами нескольких человек, окруживших его, достал из кармана пачку немецких сигарет, вытащил одну, закурил и пачку спрятал в карман. Так он показал всем, что он нам не ровня. Но и штурмовикам и гестаповцам он был не ровня. Иначе он не отирался бы здесь в некоторой неопределенности, а спустился бы с ними или сидел с полицаями в вахтштубе. Конечно, ему и поговорить хотелось с русскими и показаться нам. Показать жилет под пиджачком, цепочку от карманных часов, новые полуботинки и эту голубую пачку сигарет № 5, которые и должны были убедить нас, что он совсем как немец. Он рассчитывал на любопытство и, страшно сказать, на благожелательность. Так он стоял, подставляя себя нашим взглядам, вольно расстегнув пиджак, так выбирал среди нас самого пожилого, авторитетного, на чьи вопросы он мог бы отвечать, с кем ему было бы достойно говорить. Нас с Кости́ком он, понятно, не заметил. И я с острым любопытством смотрел в его голубые глаза, оболочка которых была изменена тем самым напряжением, с каким он смотрел на нас, когда шел вдоль шеренг. Это был как бы постоянный след, отсвет того непонятого и ужасного, из чего состояла жизнь этого человека. Сейчас напряжение спало, но след остался. Целый мир непонятных мне причин и следствий был за этим выражением. Поразительно, но он не чувствовал, как на него смотрят! Свою, в общем-то, естественную потребность вызывать интерес, любопытство он пытался удовлетворить среди тех, кто минуты не дал бы ему прожить, изменись что-нибудь.

Володя спросил:

— Что такое концентрационный лагерь?

И, словно его возбуждали сами немецкие слова, возможность картаво катать звук «эр», а главное, восхищали организованность и упорядоченность ужасов, которые к тому же так звонко назывались «концентрационный лагерь», переводчик стал объяснять, какая разница между рабочим и концентрационным лагерем.

Кто-то сказал:

— Тут тоже бьют.

Переводчик засмеялся.

— Это не то! — сказал он.

Еще у него спросили, давно ли он в Германии, где живет, и стали расходиться. Я тоже пошел на свою койку и со своего места видел, как переводчик вышел на лестничную площадку и стоял там один, ждал, должно быть, когда его позовут в вахтштубу.

Из коечной глубины вышел Лева-кранк, прошел вдоль шкафчиков, взглянул на мой замок, дернул своей мятой мягкой щекой — подмигнул мне.

— Отсиделся?

Я его ненавидел так же, как переводчика.

Точно так же он подмигнул Костику.

— Презимуем?

Внизу грохнули большим суповым термосом о цементный пол — сгружали воскресную баланду. Грохнули еще раз и потом еще. Слушал не только я, прислушивались все. Больше жестяных ударов о цементный пол не было. Значит, воскресная картошка. В двух термосах сама картошка, в третьем что-то вроде подливы из соуса-концентрата. Чаше в воскресенье привозили баланду из квашеной капусты, *не заправленную* тростниковой мукой. Но тогда было бы четыре термоса. Картошка, понятно, лучше, ее и привозили реже. И сейчас, конечно, приурочили к обыску. Но два термоса на весь лагерь — полторы картошки на человека. Хлеб в воскресенье не выдавали. В воскресенье Гришка отдыхал. Воскресную пайку вместе с недельной долькой маргарина и недельной меркой сахара, в которую входило две-три ложки сахарного песку, он выдавал в субботу. В субботу же совершались все мыслимые обмены: пайка хлеба — шесть сигарет, недельная пайка маргарина — двенадцать. Я обменивал полпайки маргарина на шесть сигарет. В субботу же играли в карты под сигареты, так что воскресное утро начиналось с голодных сожалений, с еще более мучительных голодных предчувствий. Предстоял полный день без хлеба и почти без еды. И длина его измерялась голодом.

Когда внизу поднималась суета и тяжелый термос грохал о цементный пол, вслушивался весь лагерь. Количество этих ударов подводило итог голодным надеждам.

Сейчас, через столько лет после войны, голод можно представить как сильное желание есть, как физическое недомогание. Однако голод — нечто другое. Он не только меняет дыхание, частоту пульса, вес и силу мышц, он обесцвечивает ощущения и сами мысли, не отступает и во сне, изменяет направление мыслей. И, может быть, самое страшное — меняет ваши представления о самом себе. И уж совсем особое дело — голодание многих людей, запертых в одном месте.

Когда голод достигает степени истощения, у него появляется горячечный, карболовый, тифозный запах, которым невозможно дышать. У голода послабее пресный гриппозный запах, изменяющий вкус хлеба и табака. В этом неотступном гриппозном недомогании все полы кажутся цементными, все стены — лишенными штукатурки. Это бесшумный и непрерывный метод полицейского давления, и, может быть, поэтому главное — не показать, как ты голоден. Не сразу я, конечно, понял, что дело не только в сохранении лица. Кто сохраняет чувство собственного достоинства, сберегает по каким-то важным жизненным законам и больше шансов на жизнь.

Поэтому у двух-трех постоянных добровольцев возить баланду не было конкурентов. Правда, в воскресенье за картошкой Гришка обычно отправлял своих прибалтвенных приятелей.

Все слышали грохот термосов. Волоком их тащили по коридору в Гришкину раздаточную. Однако не заторопились с мисками. Позже получишь — позже съешь. Я тоже, выжидая, сидел на койке. В открытую дверь было видно, как курил на лестничной площадке переводчик, как оглянулся на шум, посмотрел вниз. В этот же миг я увидел поднимающегося по лестнице Эсмана. Он тоже, должно быть, по грохоту суповых термосов решил, что все уже кончилось и можно выходить. Первый этаж, вахтштубу он миновал благополучно и теперь чувствовал себя в большей безопасности. В тот же момент по напружинившейся спине переводчика я понял, что он узнал Эсмана.

Чтобы хоть как-то отвлечь внимание переводчика, я заорал:

— Картошку привезли!

На меня шикнули. Переводчик даже не оглянулся. Теперь и Эсман увидел его. Он занулся на лестнице,

поблел, а переводчик, наливаясь яростью и негодованием, с криком бросился вниз. Он разминулся с Эсманом, даже отшатнулся от него. Бегать по лестницам было ему непривычно. Кричал он так панически и нетерпеливо, как будто Эсман мог куда-то исчезнуть или наброситься сзади. Эсман побежал вверх. Дальше третьего этажа бежать ему было некуда, но он, должно быть, не хотел, чтобы его взяли у нас, уводил полицаев. Внизу поднялся рев и как бы остановил Эсмана на промежуточной площадке между вторым и третьим этажами. Ни на каком другом языке нельзя так яростно кричать. В любом другом языке для этого не хватает нужных звуков. Я ненавидел каждый звук. Мы выскочили на лестничную площадку. Мимо пробежали гестаповцы и полицаи. Пирек поднимался последним. Раздвинул всех, наклонился над Эсманом и, что-то наставительно ему выговаривая, толкал в лицо тяжелым старческим кулаком. Потом повернулся к нам. Пенсне отсвечивало, нижняя губа брюзгливо отвисла и тоже синевато поблескивала, будто Пирек ее облизал. Нас загнали в зал, а Эсмана поволокли вниз, и я успел увидеть его непоправимо изменившееся лицо:

Пришел Гришка, посмотрел остекленевшими глазами.

— Строиться!

Переводчик то же самое радостно прокричал по-немецки:

— Антретен!

Нас поставили на свободном месте перед койками. Стояли долго — Эсмана водили по первому этажу. Потом прибежал Апштейн.

— Штильгештан!

Втолкнули Эсмана. Его вел Пирек, переводчик держался поодаль. Пирек наклонился над Эсманом, тыкал пальцем в очередного в нашей шеренге.

— Дизе?¹

Толкал к следующему.

— Дизе?

Иногда пренебрежительно пропускал одного или двух, а у третьего останавливался надолго, бил Эсмана по затылку раскрытой ладонью, принимал к самому уху, кричал, тыкал пальцем.

— Дизе? Дизе?

Вывернутая губа его влажно блестела, щеки порозовели, Эсман вздрагивал, отрицательно качал головой,

¹ — Этот?

а Пирек грозил тому, на кого указывал. Я ждал своей минуты, но Пирек только ткнул в меня пальцем: «Дизе?» — и не стал ждать ответа. Прошел и мимо Костика. На Андрия махнул рукой, а против Володи остановился. Володя как-то вызывающе качнулся навстречу Пиреку с пяток на носки. Пирек показал на него Эсману. Не глядя, Эсман отрицательно качнул головой. Пирек обхватил его сзади и так предплечьем поднял ему подбородок, что голова Эсмана запрокинулась. Долго в чем-то убеждал, все больше заламывал голову назад. Володя бледнел, а Пирек вдруг бросил Эсмана и вытащил из шеренги Андрия. До сих пор Пирек отстранял переводчика, махнул рукой, когда тот попытался перевести, а тут позвал его. Андрий по-своему налился краской, смущаясь того, что не все улавливает так, как все. Лицо его стало плаксивым.

— Знаешь его? — показал переводчик на Эсмана.

Андрий показал себе на уши.

— Не слышу.

Он беспомощно оглянулся, призывая всех в свидетели. Переводчик заорал:

— Видел этого человека?!

И опять Андрий показал на уши.

— Не понимаю.

Пирек махнул рукой. Ворча, он прошел мимо Левыкранка, задержался на мгновение перед Петькой-маленьким. Петька с готовностью посветил ему зубом.

— Унд ду кляйн Петер? — сказал Пирек.

Петька загримасничал, пожал плечами — мол, рад бы, но ничего не знаю.

— А-а! — пренебрежительно проворчал Пирек.

Нам велели разобраться по койкам, а Эсмана провели по межкоечным коридорам, останавливая перед каждой койкой. И опять Пирек спрашивал:

— Хир?¹

Ударил Эсмана лбом о доску верхнего этажа нар, кричал:

— Хир?

Поворачивался к молчаливым гестаповцам, разводил руками — показывал, как его поражает и возмущает упорное запирательство Эсмана. Однако постепенно мы стали понимать, что Пирека устраивают и наши ответы и запирательство Эсмана. Пирек показывал гестаповцам,

¹ — Здесь?

что Эсман совсем недавно попал в лагерь — сутки от силы. Полиция обязательно бы его обнаружила. И если это понимали мы, улавливавшие треть из того, что говорил Пирек, то гестаповцы это тем более должны были видеть. Однако они молчали и не вмешивались.

За лагерными окнами начало синеть, в помещении сгустились сумерки. Из вахтшубы зажгли свет, на окнах спустили светомаскировочную бумагу. На прессованном картоне банных шкафчиков, на стенах на коечных стояках появился привычный электрический налет. В воздухе сильнее запахло соломой, теснотой, бескислородным воздухом, который побывал во многих легких. Черная бумага на окнах совсем отрезала лагерь от остального мира. Начиналось дежурство Апштейна, а тем, кто работал в ночной смене, пришла пора собираться. Эсмана увели, а потом и увезли. Было объявлено, что сегодня весь лагерь лишается еды. А через полчаса тоскливого ожидания появилась надежда. Гришка позвал:

— Кто идет в ночную, за картошкой!

И еще через час ожидания:

— Всем за картошкой!

Я надеялся, что Володя позовет меня к себе на койку, но он не звал. Ночью неотступно видел потемневшее от побоев лицо Эсмана, вспоминал странные слова, которые он произнес, когда я сказал, что ему нужно быть осторожнее: «О, не беспокойтесь! Меня все равно найдут. Очень квалифицированная полиция». Я сказал, что, наверно же, есть шансы прижиться в лагере, сменить фамилию. «Нет, — сказал он. — Очень мало. Совсем мало». В детстве у меня было одно сильное впечатление. Мама рассказывала, что ее брат, мой дядька, когда ему вырезали аппендикс, отказался от наркоза — так он берег свое сердце. Рассказано это было, конечно, к случаю, чтобы я знал, как важно беречь здоровье. Но мама не рассчитала силы впечатления. С этого момента я стал смотреть на дядьку, когда он к нам приходил, со страхом и отчуждением. Меня бы восхитил человек, попавший скажем, в трамвайную катастрофу и мужественно перенесший нежданную боль. Случайности, неожиданности даже страшные, — это было то, что я уже знал. Но ясно представлять себе будущую боль, планировать ее, устранять средства, которые помогли бы ее избежать, — это открывало для меня какие-то ужасные возможности в мире, в который я только вступал. Я ничего не хотел бы о них знать, но дядька приходил, пил чай, спорил с отцом,

разговаривал с матерью, иногда шутил со мной, и я смутно предчувствовал, что и меня ждет встреча с чем-то таким, с чем уже встретился он. В том, как говорил Эсман, тоже было что-то от операции без наркоза. Мысль его как будто совсем не нуждалась в обезболивании надеждой. Мне эта живая надежда была совершенно необходима, и я никак не мог понять этой его манеры. Что бы ни случилось, я бы, наверное, до самого конца надеялся. А он еще до того, как что-то случилось, отказывался от надежды. Говорил, что собирается перейти швейцарскую границу, но шансов почти нет. Говорил, что нам надо бежать, но у нас шансов еще меньше. Может быть, это у него так получалось, когда он говорил на языке, который не совсем освоил. Однако меня он оттолкнул этой странной холодностью, и я не старался с ним встретиться не только потому, что Володя не звал меня.

И еще я думал, что сегодня избежал побоев, но не страха. От побоев в лагере, если повезет, можно уклониться — все-таки полицейских меньше, чем лагерников, даже если будут очень стараться, всех избить они не смогут, — но страх здесь постоянен.

6

В понедельник Пауль в подземелье зло закашливался, замахивался, будто не растратил воскресное возбуждение. На следующий день у нас появился новый фюарбайтер. Мы видели, что немцы на что-то собирают деньги. Володя спросил у механика-компрессорщика, что случилось. Оказалось, ночью умер Пауль. Механик сказал нам об этом и, должно быть, неожиданно для себя предложил нам принять участие в сборе денег. «Бедная семья, — сказал он. — Трое детей». Смотрел выжидательно. Володя похлопал себя по карману, засмеялся. Когда механик уходил, лицо у него было такое: «Меня ж предупреждали об этих русских...» Мне это предложение компрессорщика запомнилось не меньше, чем смерть Пауля: работал рядом, должен был все видеть.

В среду на утреннем пересчете меня поставили в команду, идущую в литейный цех. Новый фюарбайтер отказался от меня. В первые же дни я понял, что в подземелье еще можно было жить. Литейный — пытка, к которой ни притерпеться, ни приспособиться. Когда заводская сирена гудела отбой, сил не оставалось, чтобы

порадоваться этому самому свободному в лагерной жизни времени: смена закончилась, ночные заступают через четверть часа, а эти-то пятнадцать минут как бы ничьи, как бы горбушка на пайке, которую можно отрезать.

Через пятнадцать минут начнутся пересчеты, кого-то будут ждать у проходной, кого-то побьют, и время побежит все быстрее и быстрее с того момента, как ночные возьмут лопаты, включают станки и из цехов, все накалясь и накаляясь, будут доноситься звяканье, удары металла по металлу — начнется отсчет второй половины лагерных суток. Отсчет этот тоже будет мучителен, а пока стоишь — где стоишь, идешь — куда идешь, даже как будто с вернувшимся чувством собственного достоинства. Заводское начальство тобой уже не интересуется, лагерное еще ждет за проходной. И есть люди, куда более несчастные, чем ты: ты уже закончил, а ночникам только начинать. Постоянное чувство голода в эту минуту больше всего сказывается в желании курить. Голодные ноздри улавливают дым на огромном расстоянии. Курящему не спрятаться даже в уборной. Лагерник забеспокоится, пойдет на табачный дым, не сможет не пойти. Истощенный организм весь сосредоточится — не на чем ему больше сосредоточиться — на сумасшедшем желании взбодриться или отравиться никотином. И с этой минуты у лагерника кончится расслабленность, ощущение какого-то «окна», промежутка в его страшной несвободе...

Я обжег руку, приложив ее к раскаленному боку печи, попытался закранковать. К тому времени я уже кое-что знал о кранках. Кранк — по-немецки «больной». Но и лагерники и полицейские отличают больных от кранков.

Утром все из лагеря уходят на работу. Это минута тревожного счастья для кранка. Счастья, потому что именно в эту минуту он по-настоящему ощущает, насколько ему под одеялом лучше, чем всем, кто сейчас наматывает портянки, дрожит от холода, заправляя койку, переминается с ноги на ногу перед собственным шкафчиком, хотя нечего тут переминаясь: шкафчик пустой, полки из прессованного картона голы, гладки и вызывают болезненную изжогу, когда трогаешь их рукой или хотя бы только взглядом. Хлеб — остаток пайки, который лежал здесь вечером, сберегаемый на завтрак, — съеден. Съеден самим же хозяином, о чем хозяин не может не знать. Вчера сам положил, замком прихватил дверь шкафчика, старался думать о чем-то другом, забыть, что рядом, в шкафу, лежит хлеб. Но, куда бы ни шел, все возвращался к шкафчику,

открывал дверцу, обманывая самого себя, что нужно ему что-то такое достать или осмотреть, но доставал только остаток пайки. Дышал на хлеб, нюхал его и клал на место, не тронув, но потом все-таки брал в руки опять и надрезал с того края, где горбушка была неровной, подравнивал. Все дело было в том, чтобы подрезать хлеб и все-таки оставить его размерами точь-в-точь таким, каким он был раньше, когда его только положили в шкаф. Эту неразрешимую задачу владельцы паек неумоимо решали каждый вечер. Пайка подравнивалась и укладывалась на ту же гладкую полочку — вторую сверху — из прессованного картона. Вторая полка и выделена была специально для хлеба и для других припасов: маргарина, картошки — если удастся украсть, — брюквы. Вторую полку в этих банных шкафчиках никто, конечно, не предназначал специально для продуктов. Но кто-то первый положил на нее хлеб, и все остальные в лагере тоже стали класть. Но выбрали ее для продуктов не случайно: полка эта как раз на той высоте, которая и должна быть выбрана в лагере для хлеба — откроешь дверцу, и сразу все видно. Правда, и опасается лагерник тоже: хлеб надо прятать, класть его куда-то наверх, чтобы вор не сразу его нашел. И есть такие осторожные, что поначалу кладут свой хлеб не на вторую полку, а на самую верхнюю и засовывают его подальше вглубь. Откроешь дверцу — ничего не видно. Только гладкая полка из прессованного картона. Надо стать на цыпочки и засунуть в глубину руку. Но ведь, пока станешь на цыпочки, пока напаришь вслепую на верхней полке пайку, сердце десять раз кровью обольется. Особенно если забудешь, в какой угол сунул пайку. Поиграешь с собой несколько раз в такую жуткую игру — и все. В следующий раз положишь — если будет что класть — на вторую полку. Открываешь дверцу — и все сразу перед глазами.

Вечером из Гришкиной раздаточной пайку несут в шкафчик. Кто совсем целую, кто слегка надрезанную. Несут потому, что хлеб разумно оставить на утро, когда есть совсем нечего. Несут потому, что твое великое наслаждение — вот оно, все взвешено и измерено. Больше его у тебя не будет ровно сутки. Двадцать четыре часа. И ты, естественно, отодвигаешь это наслаждение как можно дальше. Чтобы как можно дольше оно было у тебя все еще впереди, а не позади уже. Несут в шкафчик еще и потому, что кто-то ведь обязательно принесет. А это невероятная мука, если он будет есть у тебя перед глазами — а где же ему еще есть! — а у тебя в шкафу будет пусто.

И вот приходят люди со своими пайками, половинками паек, двумя третями и глазами взвешивают чужие пайки в чужих руках. Столько ли другие съели, сколько и ты, или меньше. И какая пайка им досталась, больш́ая или маленькая. Есть такие удачливые, которым всегда достается больш́ая пайка.

Потом укладываются на койках поверх одеяла, закуривают, если у кого есть закурить, стреляют «бычок» у тех, кто курит,— тем, кому исполнилось восемнадцать лет, выдают по четырнадцать сигарет на неделю,— разговаривают о делах на фронте, о лагерных делах, в карты соберутся играть, но не в «дурака», не в «шестьдесят шесть» — в лагере в неазартные игры просто не играют,— а мыслью все кружат и кружат вскруг своих паек.

Кто-то не выдерживает, открывает шкаф... И вот утром стоят у пустых полок.

У кранка и подавно в шкафу ничего нет. Пайка у него поменьше, а времени свободного — весь день. И пайку ему выдают еще днем, вместе с теми, кто работает в ночной смене. Можно, конечно, подождать и получить пайку вечером, с теми, кто придет после дневной. Но кто ж удержится! Кранк свой хлеб получит днем и днем же его съест. Кранки себя не обманывают. Целый день лежать на койке и мучить себя мыслью о хлебе, который лежит рядом! Хлеб съедают сразу. Тем более что кранки — люди лихие. Аристократия лагеря. Люди, которые идут на членовредительство, чтобы не работать.

Поэтому кранк утром испытывает не просто счастье человека, избавленного от непосильного, каторжного труда, но еще и удовольствие от мысли, что он все-таки ловчее и умнее этих кряхтящих, измученных голодной изжогой, невыспавшихся людей. Они идут туда, куда их гонят, а он сам распоряжается своим телом, сам кует свою лагерную судьбу. Но кранк еще испытывает и страх, потому что длительное кранкование подозрительно, потому что долгих кранков рано или поздно из лагеря куда-то отправляют. Уже нескольких отправили, и они, говорят, объявились в каком-то концлагере. Впрочем, утренний страх кранка не имеет точных очертаний. Просто страшновато: все уходят, а ты остаешься один. Заглянет полицай, а ты один.

Наконец все уходят, помещение пустеет. Затихают голоса полицейских — они сделали свое утреннее дело, выгнали всех на работу. Теперь у кранка есть несколько сравнительно спокойных минут. Полицейские отдыхают.

Потом они придут с проверкой. Заглянут в комнату, пересчитают тех, кто остался. Спросят, почему остались. «Ночная смена? Хорошо!» Ночных беспокоить не будут. Но кранков обязательно сгонят с коек. В болезни полицаи не верят. Больных, освобожденных от работы, полицаи классифицируют по-своему. Улечь под одеялом имеет шансы только тот, у кого высокая температура, бред, очевидная беспомощность. Люди, у которых на перевязи рука, хромые вынуждены прятаться весь день, ишаче полицаи загоняют их на работу. Люди с больной ногой или рукой — это, как правило, профессиональные кранки. Они болеют долго, с редкими перерывами. Когда кранковать становится опасно, кранк выздоравливает и отправляется на работу. Месяц, иногда полтора он встает вместе со всеми в шесть утра, бежит в умывальник и в уборную, заправляет койку, запахивает на голой груди спецовку — во время кранкования, сидя в помещении, обходится без рубашки, обменял ее на хлеб — и, сжимаясь от холода, мелко дрожа от непривычки, оттого, что и фабрика и дорога к ней давно для него стали тем, с чем нельзя, униженно смириться, идет в цех, берется за тачку и кривляется, показывая всем встречным, что это вынужденное отступление, что он не станет *грязной тачкой руки пачкать*. Однако не так-то просто закранковать. Нужны опыт и смелость. Меня даже к фельдшеру не пустили.

Дикое, ужасное значение работы в чужом цехе, на чужой фабрике, под началом немцев, которые с утра до ночи и с ночи до утра делают здесь мины, снаряды, гусеницы для танков, в первый же день особенно ясно открывается в литейном. Особенно подавляющим открывается лагернику значение каторжного труда — труда, не только не имеющего смысла для него лично, но и направленного прямо против него. Правда, то, что он делает сам, имеет ничтожнейшее значение. Он всего лишь возит на тачке землю из одной кучи в другую: из кучи на дворе в кучу, возвышающуюся в цехе у мюлли¹.

Землю машина перемелет, пересеет, соединит с песком и с другими материалами, так что только в конце этого процесса получится формовочная масса. Эту формовочную массу другие рабочие — русские, поляки, украинцы, французы — тачками отвезут к формовочным станкам. Немцы, работающие на формовочных станках, лопатами набросают эту землю в формы и будут трамбовать ее на

¹ Машина в литейном цехе.

своих станках, а готовые формы составят в ряды, так что эти ряды образуют улицы и переулки, по которым можно будет бегать с фанами — высокими ведрами, внутренность которых выложена огнеупорным кирпичом. Ведра эти, налитые до краев жидким металлом, весят килограммов восемьдесят — девяносто, а носят их вдвоем на длинных металлических ручках — специальных носилках для фан. Впереди одна ручка, сзади две. Тот, кто бежит впереди, держит носилки за одну ручку, второй за две. Вторым — главный, он не только несет, но и разливает металл по формам. Он прицеливается ведром в узкую воронку в форме, наклоняет ведро и следит за тем, чтобы вовремя, как раз в тот момент, когда из контрольного отверстия формы покажется металл, отвести ведро и бежать к новой форме. Поэтому второй — немец, а первый кто угодно, и очень часто русский. Так они бегают вдвоем, и русский и немец, от большого ковша, который только что привез цеховой мостовой кран, к своим формам. Бегают потому, что металл не ждет — несколько лишних минут, и он перестанет литься, затвердеет в ковше или в форме, остановится на полдороге в форме, — и потому, что у каждого свои формы, их все равно надо залить. Чем скорее зальешь, тем скорее освободишься. Немец с утра формовал, теперь заливает формы, а пройдет полчаса, отпущенных металлу на остывание, и немец выбьет штыри, закрепляющие половинки формы, а русский ударами молотка разобьет в формах землю, отделит ее от мин, в которые запекся в земле металл. И все это — и заливка, и разборка форм — всюду, на всех заводах, называется горячей работой. Так же она называется и на этом немецком заводе, потому что это действительно работа с огнем, с металлом, который разогрет до полутора тысяч градусов и который, остывая, отдает эти градусы земле, запекая и высушивая ее, заполняя поры этой земли дурно пахнущим газом. Разбитые формы, разваленная земля, сизо-черные болванки мин, связанные всеедино металлической пуповиной, — все это сразу же наполняет воздух в цеху дурно пахнущим газом. И люди, наклоняясь, чтобы подхватить крючком связку болванок или сгрести лопатой горячую землю, наклоняются как будто специально затем, чтобы глубже вдохнуть в легкие этот газ. Они травятся этим газом, но если посмотреть на них со стороны, то кажется, что работать им весело. Ибо ни одного движения они не делают медленно. Ни в каком другом цехе не работают так быстро, так бегом, как в литейном. И никогда

там быстрее не работают, как в то время, когда идет заливка.

И было бы на них совсем весело смотреть, если бы в литейном не было так много черного цвета земли, копоти, если бы не были так закопчены и болезненно потны лица работающих, если бы свет, их освещающий, свет закопченных электрических ламп, а главное, красный, весь в искрах, пульсирующий свет металла, от которого они отворачивают лица и который им все-таки бьет в лица снизу, не был бы так мрачен и как будто даже опасен. Иногда металл в фане или выплеснувшийся из фаны на мокрую землю ведет себя как бенгальский огонь: шипит и взрывается сотнями искр. Но это не бенгальский огонь, а искры весят столько же, сколько весят тяжелые дробинки. И люди, держащие ведра, вздрагивают, но не выпускают ручки носилок: выпустишь — взорвется весь металл. Так и бегут они: впереди истощенный русский, явно исходящий потом не только от жары, от опасности, но и от слабости, а за ним более сытый, но тоже худой и закопченный немец — толстых немцев на заливке не бывает. То, что русский бежит, догоняет свою смерть, это всем видно. Немец же кричит, погоняет его, немец делает свою работу, это он свои формы заливает металлом, это он на своей горячей работе получает освобождение от фронта и прибавку к хлебным карточкам, это он стремится побыстрее занять очередь к большому ковшу, из которого льется металл в фаны, это он кричит и шутит. Кричит и шутит потому, что его работа — чертова работа, что дым, которым он дышит вместе с русским, это дым, которым никакой нормальный человек добровольно дышать не станет, а металл, струя которого падает в ведро, опасен. Не подставь ведро точно под струю, струя ударит об пол, расшибется о край ведра, и ты же первый получишь порцию тысячеградусных искр и в грудь, и в лицо, и за пазуху, откуда их не встряхнешь, как мусор. Немец кричит, шутит и убегает — убегает от фронта, от раскаленного металла: скорее сделаешь — скорее освободишься. Убегает, а сам догоняет русского. Когда-то болванки, которые они отлили, превратятся в мины, когда-то ими выстрелят на фронте, а русский и немец уже получили тут, на заводе, свое.

Но еще раньше, чем начнется заливка, в цехе уже становится сумрачно и страшно — начинают дуть два конвертера. В цехе четыре конвертера и большая электропечь. Два конвертера всегда на ремонте, а два дают металл.

И электропечь с ее толстыми, будто вертикально плавающими в расплавленном металле электродами, и конвертеры расположены в ряд. Войдешь в цех через главный вход и видишь в глубине цеха вначале электропечь, а затем наклоненное горло конвертера. Если бы воздух в цехе был прозрачным, то можно было бы увидеть и другие конвертеры, вплоть до самого последнего, который стоит там, далеко, метрах в двухстах — трехстах от входа. Последний конвертер стоит у самого выхода, такого же широкого, как вход. Все это один цех — литейный.

И вход и выход из цеха так велики, что свободно могут одновременно пропустить три-четыре больших грузовика, но не грузовики доставляют конвертерам и электропечи металл для плавки. Цех поднят на высокий фундамент, а вдоль всего цехового фасада идут железнодорожные пути. Грузовые вагоны подходят вплотную к разгрузочной цеховой платформе. Кран-магнит выбирает из полувагонов металлический лом, кран-экскаватор вычерпывает песок и глину. Все это сбрасывается в подвалы рядом с конвертером и электропечью. В подвалы же идут и шлаковые ямы, которые загружаются каждый день отбросами плавки, а выгружаются периодически, когда приходят специальные вагоны, когда есть время, когда ямы бывают до предела загружены. В этих подвалах работают самые большие неудачники.

В подвалах концентрированный подвальный холод и сырость. Темнота здесь постоянная; греться можно только у неостывшего шлака, но главное, что работают они где-то внизу, в подземелье такого страшного цеха, как литейный. Хуже всех в лагере приходится тем, кто работает в литейном, но еще хуже тем, кто ползает где-то в подполье литейного, под теми, кому хуже всех. Это уже не работа, а карцер, не рабочие, а черви. Им не нужна никакой квалификации. И кажется, что погибают они там не только от чрезмерной работы, от голода и страшных постоянных сквозняков, но и от презрения немцев.

В подвал иногда спускаются и те, кто работает в самом литейном, испечь в шлаке ворованную картошку и съесть ее там, в темноте, подальше от немцев. Спускаются, как в преисподнюю, с опасением нацупывая ступеньки железного трапа. Хотя, может быть, на самом деле труднее всего все-таки в литейном. Подвальных презирают, их чаще бьют. Однажды в подвальных стреляли только за то, что они грелись у шлаковой ямы, а не работали. Но подвальные работают все-таки не так, как наверху. Их

губят сквозняки, сырость, но они, по крайней мере, не заглатывают газ так, как верхние, не носят такие тяжести и в таком бешеном темпе, как это приходится верхним.

Литейный — это единый цех. Но перегородки в цехе все-таки есть. И конвертеры, и электропечь, стоящие спиной в ряд к фасадной стене, отделены друг от друга небольшими перегородками. Огромный цех под огромной крышей разделен на меньшие цеха. Конвертеры и электропечь дают разный по качеству металл, и разные марки этого металла идут на разные заготовки. Цех, где льют большие мины, отделен невысокой, в рост человека, стенкой от цеха, где льют металлические звенья танковых гусениц, а тот от цеха, где льют средние и мелкие мины, от шишелного и обдирочного цехов. И над каждым маленьким цехом ходит под потолком свой мостовой кран. А вдоль фасадной стены над конвертерами и электропечью ходит большой, многотонный мостовой кран. Он принимает большие ковши с металлом, и он же снимает со станин для ремонта сами конвертеры и электропечь.

В литейном все время в десятках мест горит разной силы огонь. Синим огнем горят газовые горелки, на которых разогревают перед заливкой фаны, горит огонь в сушильных печах шишелного цеха, горячими вытаскивают из этих печей железные этажерки с шишками из специальной смеси песка, глины и земли, режут огнем, в который мощный вентилятор нагнетает воздух, конвертеры, скрипит огонь где-то внутри электропечи. Эти тысячи и тысячи градусов огня, горящего одновременно в разных концах цеха, кажется, должны были превратить литейный в гигантскую сушильную печь, в которой никто не мог бы жить и дышать. На самом деле в литейном холодно. Огромные входные и выходные двери, подвальные проемы, связывающие цех с железнодорожной приемной платформой, десяток других дверей в задней стене цеха, вентиляционные устройства создают в литейном и постоянные и временные течения воздуха, какую-то странную разреженную атмосферу, какой-то космический холод, который бесполезно разогревать мощными печами — печами, около которых даже толком погреться нельзя. Зимой в литейном холод всеобъемлющ. И это, может быть, самое тяжелое — нет ни одного места с привычной для человека температурой. Или простудный, подвальный холод от цементных полов, металлических опор, земли, песка, или сжигающий, опасный для жизни жар расплавленного металла.

Сквозняки, уносящие тепло, не очищают воздух от пыли и газа. Когда работают конвертеры, цех заволакивает. Дым, задержанный потолком, сначала скапливается наверху, потом оседает на пол, расползается по цеху. Становится темно, и в этой темноте конвертер наклоняют, и из его жерла в огромный распределительный ковш льется металл. Ковш подхватывает большой кран, передает меньшему, а затем фанами этот металл расхватывают люди, разносящие заливку.

Но еще раньше, чем разносить заливку, они работали на формовочных станках, вручную соединяли половинки форм и, приседая под тяжестью железа и земли, бегом носили эти формы и ставили их столбиком одну на другую — так экономичнее используется полезная площадь пола цеха.

Они работали на формовочных станках, встряхивающих, уплотняющих землю, станках, которые дают не просто пыль, а насыщают воздух плотными комочками земли, дышали этим воздухом, вытирали лица руками, выпачканными землей и копотью, дышали газом и копотью. В течение дня загрязненность воздуха постоянно менялась. Утром, когда он был наиболее чистым, люди ежились от холода и сквозняков. Потом он загустевал, становился пыльным, скрипучим, потом прибавлялось газа и дыма, и, наконец, он немного согревался огнем заливки. И все время воздух был насыщен ревом и грохотом. Во всем литейном нет ни одного станка, который бы работал тихо. В этом пыльном и загрязненном воздухе, которым дышали по двенадцать часов в сутки, дышали с интенсивностью бегунов, не смог бы работать ни один тонкий механизм. Только машины с грубыми мощными деталями, с огромными подшипниками: барабаны, в которых очищаются от земли литейные заготовки, огромные гильотины, наждачные обдирочные камни электроточил.

В таком цехе, в котором половину работы приходилось делать вручную, и взрослым нельзя было долго работать, но немцы загнали туда русских подростков, вчерашних детей.

Загнали нас туда прежде всего потому, что в литейном больше работы для не имеющих никакой квалификации. Вообще-то все операции на фабрике так раздроблены, что почти за каждым станком, почти на любом месте, в любом цехе могут работать совсем не квалифицированные люди. Машины сложны только для тех, кто их создает; для тех, кто ими управляет, они совсем просты. Высококвалифици-

рованных слесарей, наладчиков, инструментальщиков, литейщиков на заводе было совсем немного. Для того же, чтобы работать в токарном цехе, где нарезался поясok на мину, в контрольном, где мины и снаряды проверялись на гидростанках под водяным давлением, для того, чтобы водить электрокары, мостовые краны, требовалось лишь два-три урока и минимум сообразительности. Но детей все-таки отправили в литейный цех, потому что работа там была совсем уже простой.

В литейном все для меня было слишком большим. Слишком высоким и широким был вход в цех. Дома, на родине, я еще нигде не работал, не видел вблизи больших заводских зданий, и вход этот — гигантский проем в огромном здании — подавлял меня. Подавляли и огромные холмы земли, песка и глины в первом после входа складском помещении, подавлял запах, шедший от этих холмов, маслянистый и смоляной. Запах этот мог идти и из самого литейного, от конвертеров и электропечи, но казалось, что так удивительно и неправдоподобно пахнут песок и глина. И запаха этого было слишком много. Через много лет после войны те из нас, кому удастся уцелеть и вернуться на родину, будут ушибаться об этот запах, вздрагивать где-нибудь на перекрестке улиц, где ремонтные рабочие, починяя трамвайные пути, что-то сваривают электросварочным аппаратом. От дуги электросварочного аппарата, в которой горит электрод и плавится металл, будет пахнуть точно так же, как в литейном. Мы долго будем тревожиться, различая в трамвайном вагоне или в троллейбусе ужасающий запах технической смазки, и странной ненавистью ненавидеть гайки, шурупы, плоскогубцы, молотки, одноколесные с глубоким металлическим кузовом тачки, в которых возят землю, песок, заготовки мин, и двухколесные с металлической лопаткой внизу, на которых перевозят ящики, железные или плетеные корзины и на которых вокзальные носильщики возят чемоданы и другой багаж. Впрочем, в литейном цехе было гораздо больше тачек одноколесных. Двухколесные тачки — это уже механический цех, это уже куда более легкая работа.

В первый же день нас, пацанов, ставили к одноколесным тачкам, которые берут и двести и двести пятьдесят килограммов. Таковую тачку должен вести высокий длиннорукий человек. Тогда вся тяжесть ляжет не на руки, а на колесо, и колесо это легко будет катить по ровному цементному полу. Невысоким же пацанам вся тяжесть

ложились на руки, а руки приходилось расставлять слишком широко между слишком широкими ручками тачки. И тачка не катилась, а опрокидывалась. Она опрокидывалась совсем неожиданно на каком-нибудь повороте, на какой-нибудь кочке — это при условии, что ее удалось сдвинуть с места — и вываливала все на пол.

Было что-то унижительное в том, что тачка эта, рассчитанная все-таки на средние человеческие силы, была нам не по плечу. словно нас ввергали в страшный мир, в котором уже ни за что не приспособиться и ни с чем не справиться. В первый день нам еще прощали опрокидывавшиеся тачки, на второй стали бить. На третий тех, кому тачка была явно не по плечу, перевели глубже в литейный цех, туда, где оббивалась земля, обдирать с заготовок особенно крупные заусеницы, оставшиеся после литья. Здесь стояли станки с дутьем, вращающиеся барабаны, ряды электроточил. Это был грохочущий пыльный и холодный цех. Рядом со станками возвышались то увеличивающиеся, то уменьшающиеся горы болванок снарядов, гусениц. Их здесь еще не складывали, как в механическом, а просто бросали на пол в кучу.

Металл в болванках еще не блестел — темный, он, ударяясь о другой такой же металл, и звенел глухо. Первые блестящие полосы проводили по нему электроточила, но это были пока только царапины, скребки. Камень электроточила, вращающийся со скоростью тысяча двести оборотов в минуту, не только стачивал, но и сжигал, запекал металл, так что поверхность его становилась вороненой. В барабанах болванки обкатывались, оббивались друг о друга и о специальные остроугольные стальные звездочки; из барабанов болванки выходили уже слегка блестящими, но это был еще свинцовый, серый блеск — блеск самой первой и грубой обработки. И все в этом цехе было серым, тяжелым и грубым. Сама пыль под ногами была здесь тяжелой, грубой, металлической — пыль, оббитая с боков металлических чушек. Искры, летевшие от электроточил, казались опасными — тяжелые стальные искры. И работа здесь была тяжелой, холодной и опасной для слабых пацанячьих рук. Одежда наша изорвалась мгновенно, потому что металл, который мы поднимали, был весь в заусеницах. Кожа на руках и лицах быстро стала серой и больной — от постоянного холода, от непосильных нагрузок, от безысходной тоски и ненависти, от пережженной земляной и от железной пыли. Лица серели и пачкались, казалось, от одного соприкосновения

с цеховым воздухом. С утра они уже становились трупно-серыми. И обдирочный этот цех все так же был слишком большим, слишком высоким для пацанов. Не хватало ни сил, ни любопытства пройти его из конца в конец, от стены до стены. Однако не сами размеры цеха были слишком большими — в эти размеры каким-то образом вкладывалось расстояние до дому, до фронта, расстояние в тысячи и тысячи километров.

А это был еще не самый тяжелый цех в литейном. Пойти дальше по литейному мешал страх. Дальше за шишелным шла сама литейка. Оттуда-то и заползали в шишелный цех и в обдирочный дым плавки, запахи жидкого металла, распаренной и сожженной земли, доносились очереди еще неизвестных нам пневматических формовочных станков. Там два раза в смену поднимался крик, беготня, виднелись сквозь дым всплески красного пламени. Оттуда в это время шло тепло, и мы, может быть, и двинулись бы на тепло, но уже твердо знали, что и в лагере, и в цеху бьют, и боялись не только немцев, но и всех движущихся предметов: тачек, электрокаров, крюка подъемного крана. Мы были уверены, что ни один из этих предметов, управляемый немцем, не свернет, если на его пути окажется русский мальчишка. Едва освоившись в проходах между станками и кучами металлических болванок в обдирочном, едва присмотревшись к нраву своих начальников, то есть всех встречавшихся немцев, мы пока не рисковали выходить далеко за пределы собственно цеха.

Однако и оставаться все время в цеху было мучением. И мы начали прокладывать частую дорогу в соседние уборные. Часто ходить в одну и ту же уборную было слишком опасно. Уборные литейного были грязны и мрачны, как сам цех. Окна их не закрашивались, это было не нужно — на стеклах плотным слоем оседала литейная пыль. Уборные были тем местом, где мальчишки плакали в одиночестве или курили вдвоем, строили планы побега и показывали друг другу фотокарточки. А цех в это время грохотал за стеной, сотрясал пол уборной, заставлял дребезжать стекла в ее окнах, и стены в этой дребезжащей, грохочущей, воняющей не только клозетом, но и цеховым дымом уборной были безысходными, саднящими, полными страшной ненависти, которая тоже отливала в этом цеху.

С Валькой я познакомился в уборной литейного цеха и там впервые увидел пачку его фотографий. Валька, как только вынимал их, начинал плакать. В уборной мы с ним и договорились бежать.

— Лучше пусть убьют, — говорил Валька.

Я всем предлагал бежать, и пацаны вначале соглашались, а потом откладывали или отказывались. Чаще всего я приставал к Володе, но он смеялся: «Куда?»

И я сразу представлял себе эту коричневую форму, алые нарукавные повязки со свастикой — враждебную пустыню чужих городов. Слышал голоса, которые недавно перекликались в нашем лагерном помещении. В них были металлическая правота и профессиональные полицейские нотки, которые мы легко узнавали. Расстояние от дома увеличивалось по мере того, как нас увозили все дальше и дальше, и по мере того, как меня разлучали с теми, с кем я успел познакомиться в вагоне эшелона, в бараке пересыльного лагеря. Оно казалось непреодолимым, когда я представлял себе непреклонное выражение лиц тех, кто недавно нас обыскивал. Они недаром пришли к нам с обыском — догадывались, сколько ненависти накопилось в лагере. Но безоружная ненависть не очень пугала их. Убивает оружие, а не ненависть, считали они. На улице, которой нас гоняли на фабрику, была подлая смесь зеркальных оконных бликов, чьих-то чистеньких шляпок и плащей и нашего колодочного перестука. А на фабрике красные отблески плавки, аммиачные и сероводородные запахи литья, развороченная осклизлость глинистой земли — все было военным. Я перерезал приводной ремень на станке. Его очень быстро сменили. Ни ломом, ни лопатой ничего нельзя было сломать на этом заводе, где все было грубым, тяжелым, железным. Мои руки, во всяком случае, для этого были слишком слабы. С каждым днем, однако, я все отчетливее ощущал — это переполняло меня, — что ценность моя не в моих слабых руках, которыми я даже с Петькой-маленьким не мог справиться, а в том невероятном, что я видел, испытал. Вот в чем было дело — *я видел*. Это не должно было погибнуть. Мое знание было в десятки, в сотни раз важнее меня самого. Тут даже сравнения не было. Это лихорадило меня. Я должен был как можно быстрее рассказать, передать свое знание всем.

Костик посмеивался надо мной. А один лагерный старожил мне сказал:

— Твой номер какой? Семьсот шестьдесят третий? До тебя здесь людей не было?

Так мы и остались вдвоем с Валькой, хотя мне с ним бежать не хотелось — слишком часто он плакал.

Все это вспоминалось мне, когда я пытался рассказать тем четверым ребятам, с которыми нас привезли из тюрьмы, в каком лагере они оказались. Возвращение в лагерь сразу нас с Валькой разделило, как будто мы не бежали с ним вместе, не сидели в тюрьме. Он подходил ко мне раза два, жаловался, что на его койке кто-то сменил одеяло, кто-то выбрал солому из матраца. Я сказал ему:

— Будем пытаться еще?

— Нет! — сказал он с таким страхом, как будто один разговор мог навлечь на нас несчастье.

Больше он ко мне не подходил. Он был суеверен, и своим таким не ко времени сделанным предложением я его напугал и оттолкнул. Глупые разговоры, считал он, навлекают беду еще вернее, чем опрометчивые поступки. Теперь он ко мне настроился враждебно, как к заразному.

Однако в глазах у ребят тоже было отчуждение. Я, конечно, не умел рассказывать и всегда это болезненно чувствовал. Но главное было в другом. Они не хотели узнавать, запоминать, сочувствовать — были нацелены на другое. Так у раздражительного в глазах всегда была видна нацеленность на что-то свое. Он не все слушал из того, что говорилось в камере, выбирал. И если говорили не то, что ему было интересно, он отворачивался. А если смотрел, отталкивал. Я тоже в камере ни разу не вспомнил о лагере. И никто о своих лагерях не вспоминал. Тут совсем другие воспоминания имели цену: как готовились, бежали, сколько времени на свободе, до какого места дошли, где схватили. Получалось так: собираешься бежать, все подряд вспоминать не будешь. А хорошие воспоминания надо заслужить.

Когда нас вернули в лагерь, я смотрел на все отчужденно. У меня теперь были другие воспоминания. Но подошли Петька-маленький, Стасик, и память невольно стала привязывать меня к месту. Но теперь-то я знал, что памяти этой надо сопротивляться.

Желтым соломенным светом зажглись лампочки, опустили светомаскировочные шторы из черной бумаги на окна — ночники стали готовиться к пересчету. Они выходили из коечной темноты на освещенное пространство, застегивались и зашнуровывались, и было видно, как странно многие одеты. Кто-то еще сохранил и домашнюю одежду и обувь, но большинство уже перешло на колодки: долбенки и ботинки с картонным верхом и толстой

деревянной подошвой. Эта обувь вырабатывала особую лыжную походку, шоргающую походку доходяг.

В лагере здоровье человека на взгляд определяется по здоровью его вещей, как по здоровью кожи. Больной и слабый и одет будет в жалкие лохмотья, хотя, казалось бы, у всех одна пайка, одна спецовка, одинаковые одеяла. Болезнь и слабость раньше снашивают одежду, сгнаивают матрац, одеяло, которым укрываешься. Доходягу безошибочно узнают именно по его одежде. Среди тех, кто собирался в ночную, было много доходяг, кутавшихся в одеяла, с мисками, привязанными к поясу за ушко. В ночную смену баланду не выдают, но доходяга всюду на всякий случай таскает с собой миску.

Судьба ночников казалась мне особенно ужасной. Меня отделяло от них то, что сам я еще не рабстал ночью и не представлял себе, что это такое.

Ночников погнали на пересчет в умывалку. С третьего этажа клацали колодками семейные¹, потом пошли наши. Внизу, как всегда, топали и кричали. Ночники перешли на второй пересчет во двор, и лагерь опустел. В огромном здании остались больные, кранки, мы и Гришка с одним полицаем. Другие полицейские повели колонну ночников. Они же на фабрике примут и приведут в лагерь тех, кто работал в дневной смене.

Когда за ночниками закрылась дверь, я испытал приступ лагерного счастья: минут на сорок на всех трех этажах, среди всех этих коек мы остались одни. Полицейский, пока он один, не выйдет из вахтштубы, Гришка останется в раздаточной. Но самое главное — день прошел без работы. Бежать стоило хотя бы для того, чтобы выиграть этот один день.

Счастье это, понятно, было отравлено душевным голодом, ненасыщением, то есть главнейшим лагерным чувством: уж если ты в лагере, то, что бы ты ни делал, ты делаешь не то. Голоден или случайно сыт, боишься или на время свободен от страха, здоров или болен, это не оставляет тебя ни на минуту. Даже в бреду оно не покидает тебя. Потом я в тифозном бараке дней десять был без сознания. Люди, которые через много дней после выздоровления вновь учились ходить, которых еще долгое время спустя шатало от слабости, куда-то бежали, влезали на верхние ярусы нар, душили соседей — совершали поступки, объяснить которые можно только бредом. Я в бреду

¹ Угнанные вместе с женами.

ехал домой. Стаскивал на пол матрац, садился на него и ехал. Мне потом рассказывали, но что-то запомнилось самому. Это было то самое горчайшее чувство душевного голода, ненасыщения. Я никак не мог приехать. Подъезжал, и у меня отнимали матрац. А когда давали пить, я понимал, что я в лагере, что никуда отсюда не уехал и воду пить нельзя потому, что она невыносимо горька.

Но все же эти сорок минут были переменной тяжелого, и я собирался отдыхать от страха. Как голод, он не отпускал меня и истощал все эти дни. Но вот лагерь опустел, и соломенный электрический свет стал просто светом, и даже на койке моей стало как будто удобнее сидеть. Идти с койки мне все равно было некуда, но мысли мои стали свободнее и я подумал о доме, о маме, о том, что надо было не один раз бежать из эшелона, а сто, и что отец мой и старшие двоюродные братья и все дядья на фронте бьют немцев и когда-нибудь сюда придут. Это были мои главные мысли, я отдавался им каждую свободную минуту, но в тюрьме мне мешали страх перед допросом и ночные разговоры двух мужчин, а в лагере сегодня я каждую минуту ждал, что меня позовут в вахтштубу или погонят на фабрику. Я истосковался по своим мыслям и теперь с горечью и наслаждением думал о том, как сюда когда-нибудь обязательно придут наши и как мы со всеми здесь рассчитаемся. И еще думал словами тех мужчин: «Какой я был дурак, ничего в жизни не понимал. И уж, если выживу, таким дураком никогда больше не буду».

Первые недели — это время особого лагерного одиночества. Несчастье твое так непомерно велико, что рядом с собой никого не замечаешь. Тебя могут вывезти из лагеря на работу в город, ты будешь сидеть в кузове машины или нагружать ее углем, или подносить на стройку кирпич, ты будешь шутить или ругаться — одиночество твое станет только ядовитее. Как оглушенный высокой температурой больной, ты носишь над кожей воздух, разогретый и отравленный болезнью. В нем истлевают одежда, сгорает солома в матраце, на котором лежишь. Сквозь него ты видишь и слышишь. Я все еще дышал этим воздухом, но мне уже давно был нужен кто-то, с кем я мог бы поговорить о том, какими мы были дураками, ничего не понимали и ничего не умели ценить. Однако с Лево-кранком, который подошел ко мне, я не собирался об этом разговаривать. Лева-кранк дважды стачивал себе на электроточиле палец. За сигарету Лева показывал желающим обнаженную кость. Разматывал бумажный немецкий

бинт, сгибал палец, и кость проступала.

— Поймали? — сказал Лева. — Боишься?

Еще когда меня впервые привезли в лагерь, Лева тоже спрашивал, боюсь ли я, что надо держаться людей, и взял у меня десять марок. Я их у него потом спросил. Лева удивился:

— Тебя ж учат жить!

Теперь он подошел опять.

— Деньги есть? Ну, пять-шесть марок?

Мне было трудно устоять, но я устоял.

— А четыре?

— Нет.

— Три? Три марки-то у тебя есть!

Я молчал.

— А две? Две ж тебе легче! И двух, что ли, нет?

— Нет.

— Ну уж сигарета у тебя есть! В этом кармане? —

Лева сел рядом, обнял меня рукой со сточенным пальцем, а здоровой полез в мой карман. Труднее всего было сопротивляться руке, обнявшей меня. Лева знал, когда и к кому подходить за наживой. Он взял у меня марку и ушел. Я поднялся за ним. Лева-кранк ни в грош не ставил меня. Он проигрался в карты, а теперь искал денег, чтобы отыграться.

Игра шла в кранкенштубе. Я вошел и увидел игроков. Они были потны от напряжения. Эта комната-изолятор, куда помещали долгих кранков, была пуста странной пустотой — пустотой в высоту: койки тут были в один этаж. Когда-то здесь была фабричная контора, от нее остались деревянные полы и две лампочки на длинных шнурах. Как и в залах, здесь было много серого, цементного цвета, но только шел он не от полов, а от высоченного пустого потолка, от голых стен. В комнате курили, и пахло здесь всеми видами табака, имевшегося в лагере: махоркой, гродненскими махорочными папиросами и рассыпными сигаретами неизвестного происхождения. Игра шла на деньги и на сигареты. Это была «большая игра» — в кранкенштубу собирались профессиональные игроки. Иногда сюда приходили те, кому повезло, кто где-то выиграл, но дважды они здесь не появлялись. Играли на койке Николая Соколика. Он сидел, по-турецки поджав ноги, колоду держал в отечных пальцах перебинтованной руки, а раздавал здоровой рукой. Прежде чем дать или взять карту, он подносил ко рту сложенные щепотью пальцы и поплеывал на них. Губы у него розовели, как

прикушенные. Свою карту брал теми же отечными пальцами и подносил близко к лицу — был близорук. Все лагерные проигрыши в конце концов стекались к нему. Деньги, побывавшие в руках многих игроков, были помяты и топорщились так, что на одеяле и впрямь получалась денежная гора. На запах табака в кранкенштубу собрались больные и кранки. Соколик оглядывался на них и говорил:

— Ну, что вам здесь?.. Идите...

Отвлекаясь на минуту от карт, когда я вошел. Посмотрел по-птичьи одним глазом — второй, сощуренный, как бы оставался погруженным в напряженные карточные расчеты. Узнал ли он меня и как ко мне отнесся, я не понял. Но по опыту я знал, что он быстр и все замечает. Чем-то я ему не пришелся с самого начала: слабосилием, тем, что не ел баланду, заправленную тростниковой мукой.

— Длинный,— говорил он мне так, будто я много на себя беру.

Однажды я сказал, что в детстве меня дразнили «жирный», и Соколик обрадовался — показал всем свою сухую руку от локтя до сжатого кулака. Кулак расслабленно покачивался на тонком запястье, как голова на вытянутой голодом шее.

— Шея и голова,— сказал Соколик. — Жирный! — С тех пор так и называл меня.

Он только что «простучал» — сорвал банк — и совал смятые деньги за пазуху. Брал их почему-то все теми же перебинтованными отечными пальцами, морщился от неудобств и боли. Повязка из бинта, на которой он носил больную руку, болталась на шее. Рубашка была расстегнута, чтобы успеть все убрать, если войдет полицай. Соколик не курил, и, когда он подтягивал к себе выигранные сигареты, замученный, туберкулезного вида больной сказал:

— Соколик, одну!

К нему присоединились:

— На двоих.

— На троих!

— С выигрыша, Соколик!

Соколик отвернулся от них с отвращением.

— Да что у меня, завод?

А Лева-кранк, который успел уже примазаться к кому-то с моей маркой и проиграть ее, сказал подобострастно:

— Идите воруйте! — и добавил: — Масло надо в голове иметь!

Это были любимые карточные шутки Соколика, но он

редко произносил их сам. Лева-кранк всегда опережал его.

Не только игроки были потны и возбуждены. Эти деньги, эта возможность наесться и накуриться держали в напряжении и тех, кто пришел просто посмотреть. Завораживал своей кажущейся доступностью и непонятной легкостью сам способ, которым эти деньги были добыты. И тот же туберкулезный сказал:

— Ты же не куришь, Соколик! Что тебе, жалко? Одну! Тогда Соколик вдруг набрал полную горсть сигарет и швырнул в просящего. Потом стал швырять в него скомканные деньги. Тот побледнел и стоял не двигаясь. А Соколик сказал:

— Голодаешь? Ну, забирай...

Лева-кранк поднимал сигареты, отыскивал закатившиеся, собирал деньги и возвращал Соколику.

— Играет! Нельзя просить — проиграется, — сказали туберкулезному.

Прозвище Соколик получил за свой хищный нос и за то, что однажды, побрившись, сказал, глядя в зеркальце: «Ну, как я соколик, ничего?» У него был один из первых лагерных номеров, но на фабрике он почти не работал. Он кранковал. Способ заболеть у него был один и тот же — шприцем запускал керосин в мышцы руки или ноги. Мучился Соколик страшно. В лагере были известны способы членовредительства менее болезненного, но то ли Соколик считал, что так вернее, то ли из профессиональной своей лагерной гордости на меньшее пойти не мог, чтобы и тут было видно, какой он опасный лагерный человек. Был он брезглив, чистошлотен и очень мал ростом. Во всем, что он делал — как переносил боль, как нянчил на перевязи забинтованную руку, как перебинтовывал ее, подкладывал вместо ваты резинку, чтобы рана гноилась и не заживала, как, морщась, брал в зубы бинт (никогда не звал на помощь, только в конце подзывал кого-нибудь: «Завяжи»), как смеялся и ходил, — чувствовалось, что со всем он здесь свыкся. Он был совсем не глуп, ловок, кое-что знал. Перед войной работал на мариупольском сталелитейном заводе, но охотнее рассказывал о том, как где-то на Севере ходил в командировки с геологическими партиями рабочим. Там у него всегда было много крупы, мяса, консервов.

Я родился через десять лет после революции. В нашем большом доме «Новый быт», который тоже был построен лет через десять после революции, жили люди, в основном, молодые. С настоящей старухой я познакомился, когда мне

было восемь лет. Мои деды и бабки умерли еще до революции. Так что и старость и сама смерть были вынесены для меня в далекое дореволюционное прошлое. И вообще все, что происходило до революции, я не просто относил лет на тридцать назад. Между мной и тем, что было когда-то, легла непроходимая пропасть. И люди, оставшиеся за этой пропастью, были не просто другими людьми — они были антиподами. Но Соколик тоже был антиподом. Он был заметным в лагере человеком. И, хотя часто с отвращением и усталостью говорил свое: «Ну, что вам здесь... Идите...» — он и не мог оставаться незаметным потому, что не работал, получал усеченную пайку кранка и был всегда сыт. Почитатели его поневоле были бескорыстными. Соколик никогда с ними не делился, а наиболее восторженных и преданных высмеивал и жестоко третировал. Но они не оставляли его. Должно быть, их притягивала лагерная удачливость Соколика, она возбуждала в них смутные надежды.

— Гриша идет, — сказал стоявший «на шухере» (ему шла марка со стука) парень со странно виляющим длинным носом и тут же посторонился, пропуская Гришку.

Гришка не вошел, а заглянул, минуту смотрел на всех своими выпуклыми стеклянными глазами. Я замер под этим взглядом, но никто из игроков не стал прятать карты и деньги. Кто-то предложил:

— Гриша, карту?

— Примажешь?

В Гришкиных глазах появилось живое чувство. Казалось, он сейчас заговорит. Но он еще постоял и, молча повернувшись, ушел. Никто не упрекнул длинноносого (у него была кличка Москвич, говорил, что из Москвы, пел: «По Сокольникам шатался, брюки с напуском носил») за то, что пропустил Гришку. По-прежнему ему оставляли докурить, и он отбегал от двери, чтобы взять «бычок», заглядывал из-за спин в карты играющих, спрашивал: «Сколько в банке?» — жадно затягивался, щедро передавал кому-нибудь из любопытных окурков и возвращался к дверям. У Москвича ничего не задерживалось: ни пайки, ни сигареты, ни «бычки». Он проигрывал и деньги, и спецовку и «бычки» тотчас отдавал. Он либо играл, либо стоял «на шухере» и тут же спускал, примазывая или беря карту, марки, которые ему шли со стука. Даже когда он на фабрике катил тачку с формовочной массой, прежде всего вспоминалось, что этот тот

самый, который на две недели проиграл свою хлебную карточку. Мне он сказал:

— Деньги есть? Чего сюда пришел?

Но я уже знал, как с такими обращаться. Я ему сказал:

— Заткнись!

Он был в два раза сильнее меня, и я с некоторым удивлением и облегчением увидел, как он сморгнул и отвел глаза. Длинный нос его дрогнул. Он был так же не злопамятен, как и не жаден. Обиды в нем не задерживались — вильнет своим странно гибким носом, сморгнет, и все. Этим он мне был даже симпатичен, но этим же и неприятен. Словно ничто к нему не прививалось, не прилипало, ничто в нем не задерживалось, никакая другая жизнь не нужна. Все сжигалось в бессмысленной, бесцельной страсти к игре. Вот так бы стоять «на шухере», ловить «бычки», заглядывать в чужие карты. Раза два я его видел играющим и в выигрыше. В лагере Москвич вызывал удивление, раздражение и какую-то странную жалость. Страшновато было смотреть на постоянно голую, едва прикрытую рваной спецовкой грудь, на семенящую пробежку по холоду, на то, как он во время пересчета на дворе по-извозчичьи охватывал себя руками накрест и дрожал, и приплясывал. Из-за чего человек страдает? Как животное, он не заболел, не простужался, и тело его сквозь дыры в одежде светило все тем же здоровым белым светом. У него уже появились болевщичики. Я слышал, как ему говорили:

— Выиграй и остановись.— И удивлялись: — Не можешь?

Володя смеялся.

— Москвич, правда, не можешь?

Москвич смаргивал, дергал по-своему носом и говорил что-то вроде:

— Ну, я побежал!

Андрей говорил о нем:

— Нелюдь!

Москвич услышал и прокричал ему:

— Андрей, ты неправ! Я игрок.

Андрей стоял на своем:

— Нелюдь!

— Ты, Андрей, деревня,— сказал Москвич.

— Иди, иди,— сказал Андрей.

Володя говорил:

— Ты хоть карточку, Москвич, не проигрывай. Страшно на тебя смотреть.

Свою проигранную пайку Москвич получал сам и с несъеденным довеском, если он выпадал, относил Соколику. Смаргивая и дергая носом, с минуту увивался вокруг Соколика, но тот ни разу даже довесок ему не вернул.

Но все-таки я не мог принять сельскую непримиримость Андрия. В этом месте, где так трудно было расстаться с крошкой хлеба, с сигаретой, Москвич своей непривязанностью к вещам мог посрамить кого угодно. Только это не замечалось, не учитывалось. Оставляя докурить любому, сам Москвич часто натывался на отказ. И часто отказывал тот, кто не стеснялся пользоваться безалаберной добротой Москвича:

— Свои кури!

— Выиграй!

Он не запоминал этих людей. Эта непамятливость на зло вызывала у меня страшную досаду. Было какое-то противоречие между слабостью его просьбы, готовностью сморгнуть отказ и нагловатым, опережающим движением просящей руки.

— С длинной рукой под церковь! — говорили ему.

— Я оскорблялся за него. Я лучше запоминал тех, кто обижал его. Он раздражал меня тем, что совершенно не укладывался в мои представления о мире, о людях. В пятнадцать лет эти представления были у меня куда более определенными, законченными и жесткими, чем сейчас. В пятнадцать лет я был уверен, что моим представлениям о мире не хватает настоящей жесткости. Должно быть, Москвич чувствовал мое постоянное осуждающее внимание. Оно не нравилось ему. А я по непонятным для себя причинам стал его тайным болельщиком. И, когда однажды Володя, пришедший из кранкенштубы, сказал: «Москвич выигрывает!» — я пошел поболеть.

Москвич тасовал колоду. От мятых карт он добивался атласного треска. Рука летала над столом. Прежде чем взять карту, он накрывал колоду ладонью с растопыренными пальцами. Пальцы загибались назад. Туловище его было длинным, поэтому, сидя, он возвышался над остальными игроками. Сигаретный дым ел ему глаза, он поворачивался к болельщикам, и кто-то прямо изо рта брал у него окурки. Он тут же прикуривал новую и сразу же отдавал ее. Кто-то советовал:

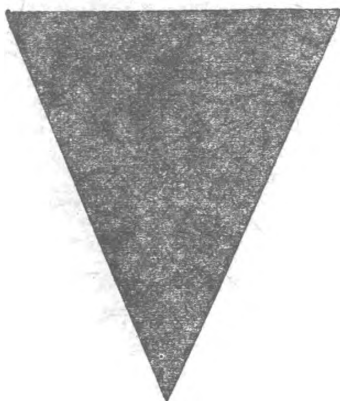
— Пока есть деньги, расплатись с долгами.

— Карточку выкупи.

Он не слышал. На столе рядом с ним была куча денег,

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Асоциальные»



Треугольник черного цвета

а я думал, что он вот-вот проиграет. Он, и правда, в тот же вечер опять за марку со стука стоял «на шухере», и к нему подходили, чтобы спросить:

— Москвич, правда, ты был в выигрыше?

Карточная удача приходила к нему только на мгновение. И по каким-то признакам можно было понять, что никогда он не сумеет ею воспользоваться, хотя, кажется, только ради этого мгновения он и жил. Не одного меня это возмущало, но меня Москвич выделил. И сейчас он встретил меня грубо, не показал ни удивления, ни интереса. Я думал, что игроки обругают его за то, что он пропустил Гришку. Но все знали, что Соколик и Гришка земляки, оба из Мариуполя, и Гришка почему-то побаивался Соколика.

Я ненавидел этих картежников за их лагерную жизнерадостность, за то, что как будто бы все знали про эту жизнь, за то, что не жалели больных и доходяг, но мне хотелось, чтобы Соколик хоть раз сказал мне «сынком», как он иногда говорил таким же пацанам, как я. Соколик не работал на немцев и — еще дороже! — не был битым. Когда нас разгоняли полицаи, он не бежал, как все, а с гримасой отвращения и боли нес мимо них свою перебинтованную руку. Я был уверен, что, если бы Соколик при Гришке назвал меня сынком, Гришка не выдал бы меня полицаям.

Соколик не замечал меня, и я, протискиваясь к нему поближе, толкнул его забинтованную руку. На лице Соколика появилась гримаса отвращения и боли.

— Ну, что ты... ду-рак! — сказал он и отвернулся, так ему была противна моя неловкость.

С болью он, однако, справился и посмотрел на меня яснее, как будто соображая, что со мной делать. Потом засмеялся.

— Правильно ты Москвичу сказал, пусть понимает, откуда человек пришел.

8

Все-таки я был горд тем, что бежал, тем, что сидел в тюрьме, и Москвич, конечно, почувствовал, что я имею право сказать ему «заткнись». Я избежал работы, у меня были воспоминания, которых не было у других, и теперь я с радостью ждал, когда придут дневные, чтобы рассказать Костику, Володе и тем, кто захочет слушать, как мы с Валькой бежали, как нас ловили, держали в тюрьме и что теперь я точно убегу, как только накоплю пару паек хлеба.

И первое, что я сказал, когда увидел Костика, было:

— Теперь я точно убегу. Вот увидишь!

Он уже знал, что нас привезли, и засмеялся:

— Га-га. Опять по шпалам?

Я сказал:

— Дурак! Знаешь, какие ребята в тюрьме!

Это на Костика подействовало. Он ведь и немцев старался не любить как-то по-блатному. Как конвоиров, как охранников. Вялый, заморенный долгим недоеданием пацан, он все-таки постепенно перестраивался на блатной лад. Не жалел больных. И вообще все чаще стал кем-то возмущаться. Возмущался тем, что верхний сосед на нарам ворочается и сыплет на него матрацную труху. «Ну что ты, сука, делаешь!» — говорил ему Костик. Слабый, маленький, Костик, доходяга из доходяг, не мог по-настоящему оскорбить пожилого страдающего дядьку. И тот не давал ему затрещину. А Костик потом, картинно разводя руками, рассказывал, как он сказал этому человеку: «Ну что ты, сука, делаешь!» Или говорил Андрию: «Ну что ты, глухой, работаешь!» Я поразился, когда узнал, что Костик добровольно приехал в Германию.

— А жрать кто бы мне дал? — возмутился он моей наивности, что ли. — Мы и так с бабкой девятый... без соли доедали.

У Костика не было ни отца, ни матери, только бабка.

Теперь Костик показывал мне, что и для него время, пока я бегал, сидел в тюрьме, не пропало даром. Всех, кто проходил мимо нас, Костик затрагивал. Старик, который нес миску с застывшей баландой, Костик сказал:

— Что ж ты, старик, один жрешь? У тебя племянница пухнет. Ты же в бога веришь, тебе на том свете зачтется, отдай ей половину.

Об этом старике было известно, что он второй раз в немецком плену. В первый раз он сюда попал еще в году пятнадцатом.

— Хрен ты отдашь! — уличал его Костик. — В бога веришь, а жить хочешь! Что ты второй раз сюда приехал?

Старик прошел, не отвечая. Он вообще жил в лагере молча, не вставая, сидел на своей койке. Но Костик не унимался. Он крикнул вслед:

— Повесился бы ты, что ли, старик..

У меня старик попеременно вызывал то жалость, то ненависть. Когда Костик или еще кто-нибудь донимал его, вызывал на спор, я жалел старика. Он видел тех, кто направлялся к нему, но не показывал этого, только глаза

его темнели и слегка косили. И больше ни движением, ни словом старик не показывал, что слышал, как ему кричали: «Крест носишь! Нет, ты скажи, бог есть?» Важно было, чтобы старик сказал «Есть».

После этого спор считался исчерпанным, а старик уличенным в злостном лицемерии.

«А это что?! — кричали ему, показывая на нары. — Это тоже бог? Где твой бог?!»

Старик действительно не помогал своей пухнувшей от голода племяннице, и, наверно, еще и поэтому его ненавидели так, как если бы он оказался представителем бога в лагере. Веря в бога, он, на наш взгляд, принимал и на себя часть ответственности за все, что делается здесь. Во всяком случае, не отказывался от нее. Меня же он поразил, когда сказал, что второй раз в плену. Он сказал это просто, и простота меня поразила, остановила. Я спросил, было ли тогда легче. И он все так же просто ответил, что тоже было тяжело. И я его возненавидел за эту немислимую простоту.

Подходили еще люди, и каждому Костик знал, что сказать. С кем-то здоровался, кому-то говорил враждебно: «Ну, чего остановился?» Украинцев, белорусов, которые спрашивали меня, как кормили в тюрьме, Костик тотчас передразнивал: «Але-але! Исты! Барабуля!»

Мне тоже были подозрительны слова, которые я впервые услышал в лагере или от лагерных переводчиков. Для меня, подростка, вообще одним из признаков войны, лагеря было сразу много новых слов. И не каких-то немецких вроде «флига», «панцр», «хенде хох!». Не столько они казались чужими и непонятными, а свои, русские, белорусские и украинские слова. Какие-то песни, которых раньше не слышал: «Ой, не ходи, Грицю...» Этот Гриц был ужасно чужой и непонятный. И во всем этом потоке «цикаво», «барабуля», «файно», «тримать» было что-то пугающее, недомашнее. И раньше я, конечно, узнавал новые слова. Но они входили в сознание и оседали в памяти постепенно, а сейчас просто хлынули. Мир расширился, но расширение это было слишком быстрым, катастрофическим. И все во мне сопротивлялось этому расширению.

На минуту около меня остановился Павка-парикмахер. В лагерь он пришел налегке, без миски. Миску он оставлял на фабрике. Работал он, как все, но у него были бритва и ножницы. Ему давали докурить, звали есть ворованную картошку. Вечером он ставил возле печки табуретку

и стриг за пару марок. Ему приносили направлять бритвы, и начинался разговор о крепости щетины, о подбородках с глубокими выемками. Если Павка хотел кому-нибудь сказать приятное, он говорил, что у него жесткая щетина, бритву приходится много раз направлять. Перед войной он учился в районной парикмахерской и рассказывал, как порезал клиента с глубокой выемкой на подбородке. Павка был из тех, кто жил в лагере на виду. Он жил на свободном от коек пространстве: стриг, разговаривал, смеялся, играл в самодельные лагерные шахматы. Ему первому протягивали «бычок», хотя Павка не курил. И он брал окурки и долго дымил, терзая тех, кто ждал своей очереди и кричал ему: «Павка, не переводи табак!» Он и в шахматы не умел играть — в лагере научился, — и я выигрывал у него, снимая у себя в любую сторону от короля все фигуры.

— Привезли? — сказал мне Павка и засмеялся.

— Дай человеку сигарету, — сказал ему Костик, — он курить хочет.

— Нету, — сказал Павка и пошел к своему шкафчику. На шкафчике у него висел большой замок.

Кожа на висках у Павки от постоянных подбриваний слегка шелушилась, и прическа была с ровной солдатской немецкой ступенькой на затылке. Этой ступеньки добивались многие, но у Павки была идеальная — длинные светлые волосы, темнеющие на ступеньке, не рассыпающиеся, когда Павка наклонялся, а лежащие волосок к волоску. И улыбка у Павки была широкая, жизнерадостная. Только спецовка у него была, как у Костика, из стекловолокна. Правда, под спецовкой у Павки чувствовалось худое тело, а у Костика была пустота.

И еще шли с мисками и без мисок, укравшие на фабрике кормовую брюкву и с пустыми руками, шли люди, которых я к тому времени уже выделил и запомнил и с которыми мне еще предстояло знакомиться. И всем Костик говорил «ты».

Подошел ко мне и папаша Зелинский (Костик назвал его «пахан Зелинский»). Этого маленького человека с подслеповатой медленной походкой я запомнил сразу. Папаша Зелинский был близорук, и это сказывалось не только в том, как он смотрел, но и как ходил. Близорукость его как будто бы усиливалась тяжелыми усталыми веками, которые почти полностью прикрывали его выпуклые глаза. От этого казалось, что смотрел он не перед собой, а вниз, под ноги или даже на кончик своего длинного, распухшего

от постоянной простуды носа. Глаза папаши Зелинского косили, зрачки сбегались к тонкому переносью. Для того чтобы на кого-то посмотреть, папаше Зелинскому нужно было сделать над собой усилие. Он долго сопел, откашливался и только потом поднимал веки. Глаза его делались пугающе огромными, мутновато-голубыми, а нос крючковатым. Но он тут же с облегчением возвращался к своей подслеповатости.

Если у него была папироса, он оставлял докурить. Но докуривать за ним было неприятно. Губы у него были толстые и влажные, сигарету он забирал почти всю в рот, и те, кому он ставлял докурить, возмущались:

— Папаша Зелинский, ты хоть бы себе мундштук завел!

Мундштук у него был, но вставлял он туда окурки, а если у него оказывалась целая сигарета, он по-прежнему забирал ее в рот. Курил, не вынимая сигарету из рта. Глаза его скашивались на огонек сигареты. Вспыхивал огонек — вспыхивали глаза.

Он подошел к моей койке и стоял, посапывая своим простуженным носом, словно собираясь с силами. И наконец поднял веки. Но и это было еще не все. Некоторое время его огромные выпуклые глаза сохраняли слепое выражение, и только потом зрачки прояснились — он увидел меня и тотчас опустил веки.

— Значит, все-таки поймали, — сказал он, глядя на сигарету, которую медленно достал из жестяной коробочки и засунул глубоко в рот.

Красная эмалированная лагерная миска веревочкой была привязана к брючному ремню. Спецовочный пиджак из стекловолокна обвисал на покатых плечах. Лицо папаши Зелинского было плохо умыто, на висках и щеках и даже на его тяжелых веках оставались следы литейной копоти и пыли — папаша Зелинский катал тачку в литейном цеху. Из-за близорукости он выпачкивался сильнее, чем другие, но он не смущался ни своей миски, которая, как у доходяги, висела у него на веревочке, ни своей испачканной спецовки — не он был во всем этом виноват.

— Били? — спросил он и посмотрел на вспыхнувший огонек сигареты. — А в лагере?

Он два раза подряд затынулся, и дважды глаза его вспыхивали, потом он протянул окурочек мне. Папаша Зелинский и закурил сигарету, чтобы оставить мне докурить. Целую отдать он мне все-таки не мог.

Вокруг нас уже собрались несколько человек, и по

тому, что ни один из них не занял за мной очередь, не попросил «сорок», я понял, что докурить самому, без помех мне дадут из сочувствия и из уважения. Я, конечно, бежал, сидел в тюрьме, но важно было и то, что ко мне подошел папаша Зелинский.

Странно, папашу Зелинского уважали за то, за что другого могли бы дразнить. За подслеповатость, за медлительность, за веревочку, которой он привязывал к поясу миску, за то, что веки его были зачернены копотью и делались от этого еще тяжелее. Папаша Зелинский много знал. Если где-нибудь возникал спор и спорщики заходили в тупик, они шли к Зелинскому. Он говорил по-немецки, но без нужды умение свое не обнаруживал. В лагере не было постоянного переводчика. Полицай обходились Гришкиными знаниями немецкого языка, и только в специальных случаях в лагере появлялся переводчик. Если же Гришкиных знаний было недостаточно, а переводчика не было, вспоминали о Зелинском. О нем именно вспоминали потому, что он словно бы прятался за свою подслеповатость, исчезал в межкочной темноте и полицай о нем забывали. Но все в лагере прекрасно понимали — знание языка могло бы избавить папашу Зелинского от тачки в литейном цеху.

Я слышал, как Павка-парикмахер у него спрашивал:

— Зелинский, вы, наверно, дома были инженером?

Папаша Зелинский, посопев и откашлявшись, сказал:

— Нет, слесарем.

— У слесаря должно быть хорошее зрение.

— Дома я носил очки.

— А из какого города?

— Со станции Журавской, — сказал папаша Зелинский.

— Это где ж такая? — спросил Павка, но папаша Зелинский засопел и не ответил.

И Павка не стал больше спрашивать.

Я взял мокрый окурок и осторожно сквозь сырой разворсившийся табак потянул в себя дым.

— Да, — сказал папаша Зелинский, — посоветовать нечего. Приходи как-нибудь ко мне на койку.

И он ощупью вошел в темный межкочный коридор и, посапывая, стал пробираться к себе.

В тот день я так и не подошел к нему. А когда через несколько дней я пришел к нему на нары, он поразил меня. Он сидел, отделенный ото всех своей подслеповатостью, и глаза его как будто были закрыты. Но он увидел меня

и сразу же узнал, и подвинулся на грязном, пахнущем литейкой одеяле, уступая мне место. Колени мои упирались в соседнюю койку, сквозь доски верхних нар просачивалась соломенная труха. Порывшись под подушкой, он вытащил тетрадь.

— Послушай.

Раскрытую тетрадь он поднес близко к глазам, сел к свету, проникавшему в межкоечное пространство. Время от времени продувая нос, он читал о том, как по утрам нас гонят на пересчет, как фельдшер выгоняет больных, записавшихся к врачу, как полицейский бьет пожилого человека...

— Это надо делать уже сейчас, — сказал Зелинский.

Написано у него было немного. Он успел прочитать мне все прежде, чем кто-то подошел и помешал нам. Но я запомнил, как поразил меня этот фокус. То, о чем писал Зелинский, было вчера или позавчера, я сам это видел, слышал, принимал невольное участие. Когда он начал читать, я некоторое время не мог преодолеть смущения и отчуждения: Зелинский, конечно, хороший и умный человек, но книги пишут не такие, как он, подслеповатые, с грязью, вьезшейся в крылья опухшего от постоянной простуды носа, с неаккуратным, каким-то вечно влажным ртом. И слушают первое чтение этих книг не такие, как я, пацаны, подростки, мысли которых подавлены голодом, захвачены надеждой добыть где-то окурок (пока папаша Зелинский задерживает меня здесь, кто-то, быть может, закурил, и я мог бы попросить «сорок»). Но в какой-то момент что-то произошло, я перестал сопротивляться, включилось мое подготовленное долгим детским чтением воображение, а когда папаша Зелинский закрыл тетрадку, я испытал тоску: что же дальше? Я был ошеломлен. Нет, это, конечно, было не то чтение, к которому я привык, а нечто невероятно важное и опасное. И читательская дрожь моя, напряжение были от этого. И еще потому, что я, не зная, что скажет дальше папаша Зелинский, перед каждой новой его фразой боялся, не ошибется ли он. И радость оттого, что он не ошибался, говорил правильно. И долго еще после чтения я чувствовал себя связанным с чем-то важным и опасным (в то время важное и опасное было для меня единым), что значительнее самой моей жизни. И я не удивился, когда папаша Зелинский показал мне тайник в матраце, в котором он прятал тетрадку.

— На всякий случай, — сказал он — Вот здесь она будет лежать.

И, как слепой, не глядя на свои руки, он заправил и загладил постель. С тех пор я всегда помнил об этой тетрадке, и когда шел с папашей Зелинским в колонне, и когда сталкивался с ним на фабрике, и когда видел сидящим в подслеповатой неподвижности на койке. Не знаю, почему он доверился мне. Может быть, потому, что к этому времени папаша Зелинский как бы осиротел.

У Зелинского был друг, пожилой белорус, которого все звали Иваном Игнатьевичем. В лагере происходило какое-то особое лагерное переименование, никто этого не мог избежать. Человеку не придумывали новое имя — его называли либо только по имени, либо по отчеству, либо по фамилии. Были Николай Соколик, Коля-ростовский, но был и Колька из Могилева, были Витька Пятьсот Два, Сашка-эссенский (перевели из Эссена). По имени-отчеству в лагере называли двух-трех человек. Жил у нас один настоящий бургомистр. Его в насмешку звали Борисом Васильевичем. Спасаясь от партизан, он приехал в Германию добровольно, и тут его заперли в лагерь. В глазах его навсегда застыли ожидание и настороженность. Новичкам показывали его нары.

— Бургомистр. Настоящий.

Ему оглохнуть надо было, так часто его затрагивали:

— Борис Васильевич! Говорят, вас сюда в мягком купе везли.

— Койка у него отдельная!

— Белье шелковое.

— Бургомистр!

— Борис Васильевич, правду люди говорят, что вы были бургомистром? Я не верю. Ведь вы ж по-немецки не понимаете.

Он давно уже не реагировал на самые вежливые вопросы. Только глаза глохли и останавливались, когда кто-нибудь с ним заговаривал. Это был плотный широколицый мужчина. В компании картежников его принимали. Там тоже его дергали, а он помалкивал, но всегда был в выигрыше. Так что и еда у него всегда была — не худел.

Ивану Игнатьевичу Соколик говорил «вы». Иван Игнатьевич, как и Зелинский, много знал. Знания Зелинского вызывали не только уважение, но и опасение — спорщики уходили от него, испытывая неудовольствие и недоверие. Часто оказывалось, что они плохо представляли себе, о чем спорят. Знания Ивана Игнатьевича всегда были у него в руках. Он портняжил и сапожничал, мог поговорить о цыганских иглах, сапожных лапках,

о том, как готовить вар для дратвы. Воспоминания эти доставляли Ивану Игнатьевичу удовольствие. Но, едва почувствовав удовольствие, он умолкал. И даже будто враждебно настраивался к человеку, который вызвал его на воспоминания. Людям, лихим в разговоре, не отвечал. Приветливым его никак нельзя было назвать. Когда с ним здоровался Москвич, Иван Игнатьевич неизменно отвечал: «Я-то здоров!» И взгляд у него был останавливающий, не располагающий. В лагерной скученности, тесноте он стремился оградить свою самостоятельность — глаза опущены на работу, ни с чьими спрашивающими, затрагивающими взглядами не встречаются. Должно быть, эта самостоятельность и притягивала. Стоило кому-нибудь подойти и присесть на соседнюю койку — на койку Ивана Игнатьевича садиться не решались, — как присаживался и кто-нибудь другой. К отбою на соседних нарах образовывалось два круга: первый — разговаривающие, второй — слушающие, малолетки вроде меня. Приходил сюда и Соколик со своей шпаной, добивался расположения Ивана Игнатьевича.

— Дома у вас семья? — спрашивал Соколик.

— Есть, — односложно отвечал Иван Игнатьевич.

— Дети?

— А как же. Жена, сын, дочери.

Он говорил почти без акцента. Но все же было слышно и это «ёсть»: и «жана», и твердое «ч» в слове «дочери».

Соколик еще что-то спрашивал, и Иван Игнатьевич так же односложно отвечал. Губы у Соколика розовели, как прикушенные, ему хотелось, чтобы Иван Игнатьевич с ним поговорил. Он по-своему проявлял «уважение» — покрывал на кого-нибудь из своих: «Ну, что ты... сиди тихо!» Или предлагал Ивану Игнатьевичу сигареты:

— Не курю, — отвечал Иван Игнатьевич.

— Не курили?

— Бросил.

Это производило сильнейшее впечатление. Табачный голод был мучителен, но никто в лагере не бросал курить.

— Как же это?

— Да я уж рассказывал.

Но Ивана Игнатьевича еще и еще раз заставляли рассказывать, как немцы вывозили партизанский район, жгли людей в домах, держали под открытым небом без еды и воды. Об ужасах Иван Игнатьевич говорил неохотно, возбуждался, когда рассказывал, как изворотлива и хитра жизнь. Сам себе удивлялся: из дома выгоняли — все

бросил, а кисет успел набить. А ведь уверен был, на смерть гонят.

— Собирались перед смертью покурить? — когда-то эта шутка вызвала восхищение, и с тех пор кто-нибудь обязательно ее вставлял в этом месте рассказа Ивана Игнатьевна.

— Собирался, — уступал обществу Иван Игнатьевич.

В полицейском подвале совсем не было вентиляции. И узнал об этом Иван Игнатьевич, когда закурил папиросу. Сутки дым стоял в воздухе, не рассеиваясь.

— На всю жизнь накурился, — заключал Иван Игнатьевич.

Здесь кто-нибудь не к месту вздыхал:

— Мне бы так.

На него шикали, и следовал новый рассказ о том, как люди дорвались до воды, когда их привезли в лагерь.

— Стою в очереди к баку, — говорил Иван Игнатьевич, — а сам себе даю зарок: «Не больше стакана!» Вода в ноги опустится, потом ее не выгонишь. А когда опомнился, больше литра выпил. Заставил себя отойти и чувствую: распухаю. До сих пор ноги сырые — ту воду ношу.

Его попросили:

— Покажите.

И он, немного смущаясь, нагибался, подворачивал штанину, давил пальцем — показывал, какая ямка остается в теле.

— А где сейчас ваша семья?

Иван Игнатьевич мрачнел.

— Не знаю.

Павка-парикмахер приглашал его к себе на табурет:

— Иван Игнатьевич, садитесь, если мыло есть. Мое кончилось.

Иван Игнатьевич живо откликнулся:

— А мы под воду. — Шутил: — Умеючи можно и пальцем побриться.

Однако доставал небольшой обмылок глиняного немецкого мыла, а шею повязывал серым полотенцем. Павка делал ему комплимент:

— Пока один раз прошел, два раза бритву направлял!

Павка наклонялся над Иваном Игнатьевичем и напоминал в этот момент женщину. Под спецовочным пиджаком из стекловолокна у Павки-парикмахера не было рубахи, и высокая голая шея его удлинялась «вырезом» на голой груди. Бриться Иван Игнатьевич любил, и подстрижен он

был всегда коротко и аккуратно. Павка его хвалил:

— Вас побреешь, лицо, как после массажа, розовое. А у Зелинского кожа бритья не любит, раздражается.

Больше всего Павка жалел, что, когда его схватили, чтобы везти в Германию, при нем не было машинки. Бритву и ножницы он сразу же выменял в пересыльном лагере, а машинку ни у кого не видел. Павку и Ивана Игнатьевича объединяло то, как они уважительно, со значением говорили о самых различных вещах: о бритвах, ножницах, сапожных кожах, напильниках, гвоздях. И то, что Иван Игнатьевич, уходя из дому, захватил кисет, было мне теперь очень понятно. Среди множества предметов «свой табак» выделялся тем, что был важен для самоуважения. Иван Игнатьевич рассказывал, какой он раньше был курильщик, сам выращивал табак — не зеленую махорку, гильзы им набивал. Но кисет он захватил не потому, что так уж сильно любил курить, а чтобы не поддаться соблазну, не попросить у кого-нибудь «бычка». И курить бросил потому же, а не из-за того, что отравился никотином в полицейском подвале. Его соблазняли, посмеивались: «Закурил бы, Иван Игнатьевич!» Он отвечал: «После войны». И Павку-парикмахера он никогда не просил побрить себя, дожидался, пока тот пригласит. Оба они были районные — Иван Игнатьевич работал слесарем в мастерских какого-то районного городка; — и мне казалось, что до войны я не встречал таких людей, с такими правилами, которые они установили для себя (главное из этих правил: просить нельзя, надо иметь свое), с таким уважением к вещам столь мелким, на мой взгляд, что я и в лагере не научился их различать и уважать (мыло, мундштучок, полотенце, ложка), с таким интересом к тому, *как это делается*. Иван Игнатьевич мог, например, объяснить, как легче взять тяжелый мешок, чтобы его можно было положить на плечо. Ремеслом Павки-парикмахера он заинтересовался с самого начала, и скоро Павка доверял Ивану Игнатьевичу подбрасывать себя. Приятели Соколика, добивавшиеся расположения Ивана Игнатьевича, должны были делать вид, что они тоже изо всех сил уважают те же правила и только лагерные обстоятельства мешают им этим правилам неукоснительно следовать. Но легче им было проявлять «уважение» по-своему: они все порывались кого-то проучить, пусть только Иван Игнатьевич укажет. Особенную неприязнь вызывал верующий старик, который оказался второй раз в плену. И тут папаша Зелинский и Иван Игнатьевич постоянно

сдерживали приятелей Соколика.

И вот всегда и всех сдерживавший Иван Игнатьевич ударил молотком немца.

Единственный из всего лагеря, Иван Игнатьевич работал на заводе в инструментальной мастерской. Его взяли туда потому, что он был хорошим слесарем и еще, наверно, потому, что у него был такой пожилой и положительный вид. Он был там один среди немцев. Что произошло, никто точно узнать не мог, жандармы схватили Ивана Игнатьевича прямо в мастерской. Оттуда же вынесли на носилках перебинтованного немца. Немец был молодой, на фабрике работал после ранения, а воевал в тех местах, откуда Иван Игнатьевич родом.

— Не выдержал, — сказал папаша Зелинский об Иване Игнатьевиче.

...Ко мне подходили еще. Подошел Иван-курский, тяжелый в разговоре, медлительный человек. Подошел Алексеев, по кличке Студент. Он каждый вечер учил по двадцать немецких слов. Говорил, что через сто дней будет знать две тысячи. Через полгода освоит язык. Он старался жить так, чтобы не замечать лагеря. Настраивал себя, или, может быть, у него само так получалось. Предлагал каждому желающему проверить, как он выучил немецкие слова, говорил бодро, раскладывал свои бумажки на лагерном столе. Желающих не находилось. У меня он спросил:

— В каком городе вас задержали?

Вид у него был бодрый, лицо умытое. Вся его повадка говорила: важно не замечать, будь, как всегда, как до войны, и все вокруг тебя изменится. Главное — ты сам, твое самочувствие. Учи язык...

Наконец в дверях показались Василь Дундук, Андрий и Володя. Их пригнали со второй партией. Я давно их ждал и сам не знал, как им обрадуюсь. Андрий увидел меня, и сразу лицо его стало сочувствующим, плаксивым. Должно быть, он один не ожидал меня увидеть.

— Поймали! — жалостливо, гнусаво сказал он.

Володя засмеялся.

— Андрей, он соскучился. Сам вернулся!

Василь, набычившись, стоял чуть в стороне.

Костик сказал:

— Вот Дундук! Хоть бы поздоровался...

Володю Костик стал обличать:

— Понравился новому ма́стеру. В город выпускают его без конвоя. Печи топит в бюргхаузе.

— Правда? — спросил я.

Володя кивнул, посмеиваясь. Удача сама шла к нему, и он ее не ценил.

— Его выгонять отсюда будут, — сказал Костик, — он не уедет. У него невеста. На фабрике встречаются. Я видел.

Женский лагерь был рáсположен далеко от нашего. Встречаться, то есть разговаривать, с девушками можно было только на фабрике. Но и эти встречи преследовались лагерной и фабричной полицией. Однако не эта опасность представлялась мне главной. Я бы и до войны не рискнул первым заговорить с девушкой, так важны и сложны были мои мысли о них. Девушки, казалось мне, были смелей и способнее нас. Они быстрее усваивали язык, а в лагере у них чаще происходили стычки с надзирателями и надзирательницами. Страшно было видеть, как они голодны, как они ели в заводской столовой баланду из тростниковой муки.

Группой прошли поляки. Бронислав посмотрел на меня неузнающим добрым взглядом, а Стефан остановился, поцокал языком, горестно развел руками.

— Вот война! Солдатам — война! Малым — война!

Похлопал себя по карманам, открыл и показал пустой портсигар — мол, угостил бы тебя, но пусто.

Вальтер недовольно крикнул ему что-то, и Стефан, кивнув мне, пошел за польские шкафчики.

Я спросил у Володи, слышно ли было что-нибудь об Эсмане. Володя пожал плечами.

— Так кто же он, — сказал я, — немец или литовец?

— У Пирека спроси, — засмеялся Володя. И по его смеху я понял, что мой побег никак не повлиял на его отношение ко мне. Я для него все тот же малолетка.

Костик ждал, чтобы я познакомил его с ребятами из тюрьмы, и я повел его.

Ребята сидели в коечной глубине. Пальто они еще не снимали. Они замолчали, когда мы подошли.

— Костик, — назвал себя Костик, протягивая руку.

И я почувствовал, что сделал что-то не то.

— Долго здесь пробудете? — спросил Костик.

— Осмотреться надо, — не сразу ответили ему.

Своим блатным тоном Костик сказал значительно:

— Здесь люди есть.

Ребята молчали, и, еще помявшись, мы с Кости́ком

пошли в кранкенштубу. Я вспоминал раздражительного и думал, что и мне, как этим ребятам, надо было сидеть молча, ни с кем не разговаривать, не отвечать на вопросы и не задавать своих. Не мешать своих тюремных воспоминаний с будничными, лагерными и уж ни в коем случае не знакомить ребят с Кости́ком. Их надо было познакомиться с Володей.

В кранкенштубе было надымлено, шумно, горели две лампочки на длинных шнурах, вокруг койки Соколика сомкнулось плотное кольцо любопытных. Все-таки нас, пацанов, тянуло сюда, к этим кранкам, картежникам, блатарям, тянуло, а не должно было тянуть. Тут уже был Павка-парикмахер, который сам никогда не играл даже «по маленькой». Кто-то дал ему «бычок», и он жизнерадостно дымил, смеялся и отмахивался, отрицательно качал головой, когда к нему с надеждой бросились курящие.

— Отдай людям «бычок!» — сказал ему Костик, но Павка не обернулся.

Зато Лева-кранк сказал Костику поучающе:

— Костик, чего ты за других ж... дерешь!

Москвич сказал:

— Пришел, Костик?

— Примазывается? — ответил ему Костик. — Много выиграл?

— Соколик выигрывает, — сказал Москвич, — и Борис Васильевич.

— Борис Васильевич, — сказал Костик Бургомистру, — повесить тебя надо на трехэтажных нарах.

Все засмеялись, а на широком плоском лице Бориса Васильевича ничто не изменилось, только в карты он стал смотреть сосредоточенней.

— Николай, — сказал Костик Соколику, — долго ты, сука, будешь людей обыгрывать?

Заморенному Костику Соколик позволял такую демонстрацию близости к себе. Я тоже говорил Соколику «ты», но только много позже понял, откуда это лагерное равенство. Эти мужчины не отвечали за нас, пятнадцатилетних.

В этот момент крикнули:

— Семьсот шестьдесят третий, к вахтштубе!

Внизу в коридоре, где недавно стояла очередь за пайкой, уже были все, с кем меня сегодня привезли из

тюрьмы. Валька испуганно смотрел на меня. Все были одеты — целый день не раздевались, ждали.

— Пять минут на сборы и строиться в умывалке, — сказал Гришка, даже не выходя к нам в коридор, а открыв раздаточное окно. — Идите в ночную на работу.

Собираться мне было нечего, но я поднялся наверх, чтобы сказать Костику, что нас гонят в ночную.

— Ну, это еще ничего, — сказал Костик. — Выспишься. Ребята в ночной спят. Немцев на фабрике мало.

Все-таки Костик был напуган, но теперь быстро переходил на свой блатной, всезнающий тон.

— Молись богу, на работу гонят — бить не будут.

В умывалке воняло карболкой и известью из уборной. В ряд, деля помещение пополам, стояли раковины. Они были правильной круглой формы, водопроводные краны поднимались из середины так, что умываться можно было с любой стороны. И раковины, и пол, и потолок — все было цементным, серым. А соломенный лагерный свет здесь становился совсем тусклым, подвальный.

По утрам весь лагерь загоняли сюда на пересчет. Всех разом загнать было невозможно, загоняли по этажам, по цехам: вначале шел первый этаж — механический, потом семейные — третий, а потом литейный — мы. Когда подходила наша очередь, били уже даже не на выходе, а на входе. В какой-то утренней ярости полицейские перекрывали дверь, и надо было еще прорваться в умывалку. Мы готовились и бросились сразу несколько человек. Надо было вовремя стать на место по одну сторону от умывальных чанов. Сигналом к нападению на нас всегда была ошибка считавшего полицейского. Он сбивался со счета и замахивался резиновой дубинкой. К нему присоединялись другие. И, когда ни в криках, ни в командах ничего нельзя было разобрать, вниз с лестницы сбегали полицаи, перекрывавшие дверь. Эти сбегавшие по лестнице полицейские, которых и во время пересчета никто не упустил из виду, вызывали панику. Ряды ломались, и ближайšie к лестнице бросались навстречу полицаям, стараясь вырваться наверх. Начиналась погоня, ловили кого-то и били. Но в конце концов полицейские досчитывались до нужной цифры и нас выгоняли во двор. Тут было потише. Колонна росла, а полицейских было немного. Они вооружились винтовками, электрическими фонарями, быстро считали еще раз и открывали ворота.

Хотя нас было всего девять, нас тоже загнали в умывалку. И теперь мы с Валькой смотрели на лестницу.

К нам бежал Апштейн. Он заорал, пробегая вдоль нашего короткого ряда:

— Во зинд ди байде?

Гришка, который остановился немного в стороне, сказал голосом переводческим, незаинтересованным:

— Где двое бежавших из лагеря?

Никто не шевельнулся. Апштейн еще раз прошел вдоль нашего ряда. Он так близко вглядывался, что смотреть на него приходилось сквозь стекла его же очков. Глаза за стеклами были огромными, без зрачков.

— Гут! — сказал он. — Або морген...

И показал на выход. Там нас ждали два полиция. Во дворе нас поставили по трое и повели. Шли по мостовой в темноте. Я уже знал и эту дорогу, и маскировочную темноту, и полицейские фонарики — это тоже была перемена тяжелого. Пока идешь, можно думать о своем. От соседей пахнет сырой, невысыхающей одеждой, одеялами, лагерной соломой — неживым каким-то запахом, — а ты думаешь, пока не покажется фабричная проходная. Но сейчас думать о своем я не мог. Не проходил страх, потому что я не мог понять, почему Гришка донес так поздно, почему он прямо не показал: «Этот и этот!» Все равно Пирек завтра докопается. Томило молчание ребят. По тому, как они молча, ни с кем не знакомясь, не заговаривая, просидели вчетвером весь день, я чувствовал, что долго осматриваться они не собираются. Побег, конечно, требует подготовки, и я боялся, вдруг они решили бежать сегодня или завтра и я не успею убедить их взять меня с собой. Я давно уже хотел им сказать: «Возьмите меня с собой». Но понимал, что так это не говорится. Такие вещи, может быть, не говорят совсем — люди находят друг друга. В таких делах все наоборот — не просят, а предлагают: «Пойдешь с нами?» Весь день я ждал, угадывал по их глазам, не собираются ли они подозвать меня, расспросить. Я ведь из этого лагеря бежал, знал тут кое-что и мог им пригодиться. Они так и не подозвали меня, и я не вытерпел, подошел к ним с Костиком. Он им сразу не понравился своими заемными блатными манерами, и я понял, что совершил ошибку.

— Ребята, — сказал я, — возьмите меня с собой.

Мне не ответили. Потом кто-то из них сказал:

— Рано еще об этом. Осмотреться надо.

Ответ был уклончивый, и я затосковал, а поближе к фабрике стал думать о том, куда попаду на работу.

Изо всех сил я надеялся на механический цех. Я туда

бегал в большую уборную с белым кафельным полом, с белыми кафельными стенами, с урнами, укрепленными по обе стороны невысокой кафельной стенки, делившей уборную пополам. Стенка была мне по грудь, она делила уборную на русскую и немецкую половины. В русской замки на дверях кабин были вывинчены, в немецкой они исправно показывали «безецтен» или «фрай». Сквозь открытую дверь доносился цеховой шум, он не покрывал человеческий голос. Дверь закрывали, и шум превращался в звяканье. Я прибежал сюда хоть на минуту отдохнуть от грохота литейки, от света закопченных ламп, в надежде, что пройдет изжога, непрерывно мучившая меня. Она начиналась, как только я подходил к литейному цеху.

В уборной, однако, засиживаться было нельзя. Напротив дверей дежурил специальный клозетный полицейский. Он входил и открывал двери в кабинках на русской половине.

Здание механического цеха было почти таких же размеров, как и литейного, но просматривалось из конца в конец, потому что пространство над токарным, контрольным, окрасочным и упаковочным цехами было свободным. Не было здесь привычных для литейного мостовых кранов. И оттого, что не свисали вниз массивные крановые крюки, работа здесь казалась легкой.

Самым сильным шумом в центре механического цеха было шипение сжатого воздуха в пульверизаторах окрасочной карусели. Мины, прошедшие токарный и контрольный цеха, рабочий надевал на штыки карусели. Вращаясь, они медленно проходили под подвижными струями краски, выходили на пустое пространство, где рабочий с ручным пульверизатором что-то подправлял, а затем исчезали в жерле круговой печи. Три четверти круга карусель шла внутрь газовой печи. Выходили мины оттуда уже сухие, окрашенные в яркие пасхальные красный и синий цвета — в зависимости от калибра.

Около печи пахло эфиром. Этот запах, известный мне по маминим маникюрным принадлежностям и по парикмахерской, был здесь невероятной силы. Это был главный запах всего механического цеха.

Я пробегал по цеху, делая вид, что хочу выпить кофе, который тут подогревался в цинковых бачках. Кофе этот из пережженной древесной коры никто не пил, но надо было делать вид, что у тебя какая-то цель. В цеху было чисто, кожухи токарных станков выкрашены в лоснящуюся зеленую краску, жирная металлическая стружка — в специальных железных ящиках. И молочного цвета щелочная

жидкость на полу возле высоких сверлильных станков. Русские, работавшие здесь, казались мне счастливцами.

Их было очень мало. Они возили тачки, грузили вагоны, как и в литейном. На токарный цех был один русский — Бургомистр, Борис Васильевич. Высокого роста, в синей немецкой спецовке, он был виден издали.

Я делал попытку перейти сюда. По примеру блатарей я решил закранковать, чтобы потом получить направление на легкую работу. Я еще не знал, как сделать себе нарыв. Самым доступным мне казался способ Левы-кранка, но я никак не мог решиться сунуть палец в электроточило или в цеховую гильотину. Тогда я попросил помощи у Костика. Мы с ним пошли к сушильной печи в шишельном цеху, у которой малиново светился прохудившийся бок. Костик сказал мне свое блатное: «Сука буду, твоя рука...» Но, когда надо было взять мою руку и прижать к малиновому боку печи, он позеленел, а когда раздался журчащий сковородочный звук, Костик бросил мою кисть. Было больно, я запомнил, как мгновенно липнет к раскаленному железу спекающаяся кожа, ночью меня знобило, но полицейский фельдшер даже к врачу не пустил.

...Так в темноте мы подошли к фабричной проходной. Там нас уже ждали три немца, двое забрали Вальку и ребят, а один — высокий, в рабочей спецовке — велел мне идти за ним. Мы шли в темноте через железнодорожные пути, а потом я увидел дальний свет в широком цеховом проеме. По приступу легочной изжоги я понял, что это литейный. Изжога усилилась, когда мы вошли в первое складское помещение. Электричество здесь не горело, кучи песка, глины, формовочной массы казались ледяными. Днем здесь постоянно кто-то работал, расчищал цементный пол, но все равно, как только мы вошли в цех, я почувствовал под ногами литейную пыль. Слой пыли становился толще. И резче становился смоляной, асфальтовый запах. Во втором цеху тоже не горело электричество, темноватый синий газовый свет шел от печи со множеством горелок. Газ горел внутри перевернутых над огнем каменных ведер. Это был первый огонь в литейном цеху, и мне хотелось на минуту задержаться, потому что от голода и слабости я замерз.

Электрический свет горел в обдирочном цеху. Еще издали я слышал грохот вращающихся барабанов. Когда мы вошли в освещенное пространство, серый этот свет заставил меня прищуриться, а железный грохот оглушил. Немец, который до этого шел впереди молча, оглянулся

и что-то сказал, но я не слышал. Он вел меня мимо барабанов и электроточил по дорожке, которая вилась между кучами только что остывших болванок мин и снарядов. Теперь я немного разглядел немца — я его не знал. И это меня успокаивало. Нас ждал немец в коричневом спецовочном халате поверх пальто. И его я тоже не знал.

Немец в халате — цеховой мастер — был хром, и это тоже почему-то успокаивало. Высокий немец раздражался из-за того, что меня так долго не приводили из лагеря. У станка, к которому он подвел меня, все было завалено болванками синих от окалины снарядов. Вращающийся стол станка загонял болванки внутрь кожуха, и там свинцовая дробь и сжатый воздух сбивали окалину, сдували формовочную землю. На станке должны работать двое: тот, кто укладывает на стол болванки, и тот, кто орудует шлангом со сжатым воздухом.

Теперь, когда мне столько лет, сколько было тому немцу, я знаю, что подросток не в состоянии укладывать на высокий стол полуторапудовые гири и снимать их оттуда. Но, когда я не смог оторвать от штабеля синюю от тяжести болванку, немец оттолкнул меня и показал, как это надо делать. Одним движением он укладывал болванки в специальные лафеты на столе и, чуть развернувшись, снимал выходящие из-под кожуха. Он крикнул на меня, и хотя я не понимал слов, я понимал смысл того, что он говорил: «Вон сколько болванок! Работать надо!» Размахивая руками, он убежал за кожух станка к шлангу, и я, преодолевая тяжесть и страх перед тем, что болванка отобьет мне ноги, взял первый снаряд на живот. Болванка была довольно длинной, руки у меня были широко расставлены. Она лишь отдаленно напоминала будущий снаряд. На том месте, где у снаряда будет дно, болванку опоясывал застывший литейный поясок, за пояском — железная чушка, которую отпилят еще в этом же обдирочном цеху. В литейных раковинах и наростах этот свинцово-тяжелый кусок металла надо было еще приподнять, чтобы уложить на стол. Пустые лафеты шли мимо меня под кожух, из-под кожуха выходили обработанные болванки, а я никак не мог приспособиться. Немец опять остановил станок, выбежал ко мне, и я уложил на неподвижный стол болванку.

Я уложил еще два снаряда и два снял и почувствовал оцепенение. По-прежнему больше половины лафетов уходили под кожух пустыми, но мне уже было все равно, отобьет ли мне ноги болванка, если я ее опущу. Литейный поясок

рвал мне одежду, врезался в живот, не пускал снаряд, когда я его втаскивал на стол. Немец выбегал из-за станка, кричал, размахивал руками, но не замахивался на меня, звал мастера. Как сквозь пелену я отмечал появление коричневого халата и думал, сколько же сейчас времени. Привели нас на завод, конечно, с опозданием, но даже если сейчас девять, то до полуночной сирены на перерыв еще три часа, а от полуночи до конца смены еще семь часов. Каждый раз, когда я отрывал от штабеля болванку, брал ее на живот и делал несколько шагов, я всеми суставами чувствовал, что это за пределами моих сил. Я понимал смысл того, что мне говорил мастер: «Здесь тебе это не пройдет!» Два раза он хватал меня за воротник и я сразу с облегчением останавливался. У меня, не переставая, дрожало в низу живота. Когда я отрывал болванку от штабеля, я чувствовал, как они слиплись под силой собственной тяжести. Я поднимал одну, а другие держали ее своими зазубренными литейными поясками.

Дробь ударяла в толстые брезентовые заслонки кожуха, а из-под заслонок непрерывно выходили пустые лафеты и лафеты с обработанными болванками.

Я не боялся, что мастер ударит меня. Пиджак на животе и брюки до колен у меня порвались, а до утра было так же неправдоподобно далеко, как и до конца войны.

Некоторое время следовало бы потянуть, но я сразу же использовал свой единственный способ прервать работу.

— Аборт! — сказал я немцу и пошел в уборную.

Немец закричал и побежал к мастеру. Но я уже прошел освещенное пространство. В соседнем, шишелном была темнота. Я шел, минуя освещенные участки, торопился в уборную поплакать. Я шел пожалеть себя. Я и раньше для этого ходил в уборную, и, если слезы сразу не шли, я говорил себе: «Мама!» И заливался. Но с тех пор, как мы с Валькой бежали, я ни разу не плакал, и это тоже, наверно, страшно истощало меня. Мне надо было хоть от кого-нибудь услышать слово жалости, и я шел сказать его себе.

В уборной было темно. Я открыл дверь и остановился. Так прошло несколько минут. Было холодно, и я сквозь дыры в одежде потрогал стынущие ноги. Прорвано было все: и брюки, и две пары кальсон. Разваливались и мои солдатские ботинки с грубым верхом и толстой подошвой, они просто сгорели тут, на шлаке, на горячей земле.

Я не стал вспоминать о маме. Когда я двинулся назад, в соседнем цеху шла заливка. Кран держал ковш, и на этот

ковш, от которого шел красный свет, бросались люди с ведрами на длинных ручках. Отворачивая головы от красного света, они бежали к ковшу и от ковша. Кричали там страшно, и я обошел это место стороной.

Из темноты шишельного цеха я видел электроточила в обдирочном, барабаны, в которых переваливался грохот. Двери сушильных печей в шишельном были открыты, стояли рядами этажерки, на которых песочные шишки завозят в печь. Под одну из этажерок я и залез, формовочный песок на полу был теплым. От перенапряжения, от голода, от противоестественности всего, что происходило со мной, меня лихорадило, я не забыл слов Костика, сказавшего, что кто-то в ночную смену на фабрике спит.

Снился мне вагон, которым меня везли в Германию. От тряски я больно бился о стенки, поджимал руки и ноги, пытался накрыть голову пиджаком. Потом дверь вагона открылась, и меня осветили... От света я ослеп и, кинувшись, ударился головой о днище этажерки. В руках у хромого мастера был фонарь, а бил он меня чем-то вроде трехгранной металлической линейки для разметки по железу. Я вынужден был ползком выбираться из своего укрытия.

Чтобы я не мог убежать, он закрывал мне проход между этажерками, но, когда я бросился, он пропустил меня. На бегу я стирал то, что у меня стекало по щеке, мешая дышать, текло из носа. В цеху я хотел схватить болванку, но почувствовал, что правая рука как-то неестественно налилась.

Остаток ночи я просидел на штабеле снарядных болванок.

Я не чувствовал холода и корявости железа. В карманах у меня отыскалось два грязных носовых платка, я вытирался ими, но они совсем намокли и я выкинул их. Голова распухла, правый глаз затек и не видел, но больно почему-то не было. Даже рука, все наливавшаяся так, что рукав отцовской рубахи стал ей тесен, не очень беспокоила меня. Я не боялся даже, что хромой придет и заставит работать.

Несколько раз я проваливался, а просыпаясь, слышал грохот барабанов. Грохот этот стал слышен будто сквозь воду. Потом искры от электроточил сделались синей и меньше, а из темноты проступили печи и этажерки шишельного цеха и я удивился тому, как плохо я прятался. Этажерки стояли рядом с решетчатой конторкой хромого.

За пять минут до sireны электроточила остановились, лампы над ними погасли. А из утреннего цехового сумрака стали бесшумно по литейной пыли подходить дневные. В дневной смене на электроточилах работали русские женщины, и первая же, увидев меня, охнула:

— Ой, что ж проклятый с тобой сделал!

С сумкой для миски через плечо подошел тот самый семейный дядька, который покупал у меня одежду, торговал кинжал. Увидев меня, он засмеялся. Женщины на него накинулись, а он все смеялся и качал головой.

Прогудела сирена — конец ночной смене. И, хотя до начала дневной было еще пятнадцать минут, во всем литейном зажгли верхний свет. А кое-где зажглись лампы над формовочными станками, над электроточилами, в их свете были видны чьи-то усердно склоненные головы. Цех наполнялся немцами, военнопленными французами, русскими. Где-то вспыхивали папиросы. Я бы подошел к тем, кто курил, но мне было стыдно. Я вышел из цеха. Было еще темновато, и только красная, как медь, обновленная за ночь, светилась ржавчина на железных отходах. Здесь меня разыскал Костик. Он уже все знал.

— Зато работать не будешь, — утешал он меня.

Два француза остановились, сочувственно поцокали языками. Французы мне очень нравились, и мне было приятно, что они остановились. У французов было радио. Они слушали передачи из Англии. Один из них сжал руки, как будто что-то раздавливая, разламывая в них. Он сказал мне слова, значение которых я понял потом:

— Волга, Сталинград! О! — и поднял палец.

А Стефан сказал мне:

— Заплатят! Еще заплатят!

Прогудела сирена дневной смены, надо было идти к воротам. Там уже собирались ночные. Те, кто украл брюкву — она была свалена на пустыре рядом с заводскими железнодорожными путями — или нес угольные брикеты для лагерной печки, сбивались в середину толпы. Фабричные охранники стояли в стороне. Один из них спросил, что со мной. Ему сказали:

— Мастер побил.

Охранник не поверил и спросил, какой мастер. Стали выяснять. Но, так как языка никто не знал, договориться не могли. Охранник назвал несколько фамилий.

— Урбан? — спрашивал он.

Я не знал.

Потом пришли лагерные полицаи. Начался пересчет и

обыск. Горка брюквы и угольных брикетов росла. Полицай не очень усердствовали, но на глазах фабричных охранников кричали и замахивались. За фабричными воротами обыск сразу прекратился. Нас, девятерых тюремных, поставили сзади под присмотром замыкающего полицая. Валька позавидовал мне:

— Пирек не тронет, и работать не будешь.

Шли мимо двух безмянных фабричных зданий и мимо двух других, на которых ясно читалось «Вальцверк» и «Купформессинг»; буквы были латинские, но с готической гнотостью. Кирпич темный от времени, а сами здания старые и небольшие. Это был фабричный район, даже угольные брикеты, которые мы несли для лагерной печки, делались где-то поблизости.

Свистнул паровоз утреннего пассажирского поезда, и кто-то в колонне отметил:

— Вот сводочь, хоть время по нему проверяй.

На трамвайной остановке, мимо которой мы шли, стояли два немца с портфелями. Оба в светлых пальто. Эти светлые пальто зимой и туфли на толстой подошве без галош я тоже отмечал про себя. Погода сырая, но всюду асфальт и мостовые — негде испачкаться. Трамваем с этой остановки можно было доехать и в Эссен и в Вупперталь, а с пересадками еще в какие-то города. Так говорили у нас.

За трамвайной остановкой был переулок, в который две недели назад мы с Валькой бежали. В темноте нас не заметили, и мы считали, что времени у нас — пока колонна не подойдет к фабричным воротам и не станет на пересечет. Но ловить нас начали сразу. Надежда, что в темноте мы сойдем за прохожих, исчезла, как только первый немец окликнул нас. Мы не ответили, а немец спешил на работу и потому не погнался за нами. И еще нас грозно окликали, требовали, чтобы мы подошли, но, поколебавшись, отставали и шли своим путем.

Рассветало, когда мы с Валькой вышли на какой-то пустырь. Мы решили переждать до ночи и направились в ближайший лесок, но нас заметили с крыши фермы. У нас было время, пока немец, работавший на крыше, спускался вниз и звал других. В разваливающихся солдатских ботинках, в пальто, в двух парах кальсон, я отстал от Вальки и, добежав до опушки, свалился в яму и лежал, слушая яростные крики догонявших. Я встал, когда уже все затихло, и в двадцати метрах от себя увидел жандарма. В лиственной своей, зеленой форме он был ясно виден в хвойной темноте. Я замер, но жандарм прошел

мимо. Вальку я считал пойманым. Я слышал, как они кричали: «Во зинд нох андерес?»¹

В лесу нельзя было оставаться, и я куда-то пошел, считая, что иду к железной дороге. И еще дважды меня окликали. Какой-то плюгаш, тащивший на веревке барана, и хозяин придорожной гостиницы. Хозяин гостиницы скликнул меня из окна второго этажа и показал на свою дверь. Беглецы не ходят среди дня по шоссе — это, наверно, смущало немцев. Наугад я свернул на развилке и затосковал! Навстречу мне шли школьники. Они сразу жадно окружили меня. Они стояли передо мной, а я чувствовал их сзади, а девочки держались в стороне. Был момент, когда я готов был им улыбнуться. Но они возмутились:

— Русский, ком мит нах полицай!²

Я сунул руку в карман. Как они отскочили! Они пропустили меня и метров с двадцати кинули первый камень. Иногда я оглядывался и видел, как они разбежались и размахивались. Я думал, что они не будут бросать, когда я на них смотрю, но они что-то кричали и кидали. Я поворачивался к ним, и с удивлявшей меня готовностью они отбегали.

Задержал меня их учитель. Его вызвали девочки, которые специально для этого меня обогнали. И мальчишки еще раз жадно окружили меня. Они сбегали во двор школьного дома, вернулись с одинаковыми, предназначенными, должно быть, для военной игры палками. «Нах полицай!» — сказал мне учитель, и я почувствовал, что мне предстоит.

Я еще надеялся, что он тоже пойдет, но пошли одни мальчишки. Один осторожно дотронулся палкой, и я двинулся на него. Но стояло мне повернуться, и двое или трое ткнули меня палками в спину. Я не знал, кто опаснее — старшие, упиравшиеся мне в спину палками, когда я останавливался, или младшие, с криком забегавшие вперед. Эти малыши строчили в меня из палок-«автоматов», залегали за придорожные камни. Я видел, что с каждой минутой будет все хуже — ребята мстили мне за дорогу, которую я заставил их пройти до школы. И я вдруг ясно всем, что знал, всем своим жизненным опытом понял, что мне пришла пора умереть.

Это было не первое потрясение унижением. В Познани,

¹ «Где другой?»

² — Русский, с нами в полицию!

например, где была дезинфекция, нас раздевали в коридоре, сквозь который прогоняли женщин из нашего эшелона. В первый раз я раздевался среди стольких незнакомых людей. Среди раздевавшихся были стесняющиеся своей наготы, раздевавшиеся, стоя по возможности спиной к соседям, и равнодушно воспринимавшие свою и чужую наготу, и дурашливо взвизгивающие, и присматривавшиеся к чьей-то впалой груди. Обнаружилась еще одна стыдная возможность оказаться хуже других. Я медлил до последнего. А между тем медлить было нельзя — все спешили пройти то, что нам предстояло. В этой толпе голых, беспокоящихся о своей одежде людей, а потом оставляющих ее на каких-то скамейках, подоконниках, можно было упустить знакомых и затеряться среди чужих. И я заторопился. А когда оглянулся, чтобы бежать за всеми, по коридору погнались женщины. Первая взвизгнула, подалась назад. Но, в общем, они не сопротивлялись, шли голые толпой через коридор. Мы узнавали их, они узнавали нас. Но ни тогда, ни потом, когда нас били солдаты-дезинфекторы, загоняли резиновыми палками под ледяную воду, ни в очереди к врачу — он выбежал на шум с палкой к обсыхающим, когда из бани выгоняли новую партию, — я не думал, что мне нужно умереть. Я был в толпе. А тут я точно знал, что у меня другого выхода нет. Я не мог привести за собой этих ненавидящих, улюлюкающих сверстников в город. Я понимал, как это будет унижительно и смешно.

Однако я все шел и шел и не доставал свой нож — последнее, что я должен был сделать. Бежать было некуда. Отсюда, с дороги, я видел, как прозрачен лесок, в котором я прятался, а каждый кусок фермерской земли был огорожен проволокой.

(И сейчас, почти через тридцать лет, я, как тот пятнадцатилетний мальчик, точно знаю, что если в смерти есть смысл, то именно тогда я должен был умереть.)

Мы встретили старуху, она ничего не сказала ребятам. Потом я увидел немца на велосипеде. Это был хозяин гостиницы, он ехал меня догонять. У него были усы и прическа под Гитлера и маленький партийный значок. Ребят он отпустил и сам повел меня. Час я просидел у него в доме, потом он повел меня на какую-то фабрику, говорил о чем-то с мастером. Кое-что я понимал. Немец спрашивал, не нужен ли я тут. Мастер сказал: «Не нужен». И хозяин гостиницы отвел меня в полицию. Мы с ним вошли в комнату, и я сразу увидел Вальку, который сидел перед

полицейским, рассматривавшим фотографии. Вальку взяли прямо у порога полиции. В лесу он сумел убежать, но, когда остался один, испугался и решил вернуться в лагерь. Забрел в этот городок, собирал «бычки» перед порогом какого-то дома, а на порог вышел полицейский и позвал его.

— Он по-русски не понимает, — сказал мне Валька.

Дежурный жандарм в расстегнутом кителе смотрел на нас из-под зажженной лампы.

— Камрад? — догадался он, показывая Вальке на меня.

И Валька радостно закивал:

— Камрад, камрад.

.

На улице было светло, когда нас пересчитывали перед лагерным зданием. Но в самом здании горел электрический свет и синяя светомаскировочная бумага на окнах не была поднята. На лестнице полицейские отсчитывали нас ударом по спине. Я пошел к печке, куда сносили угольные брикеты те, кто их пронес. Еще по дороге я решил, что, как только приду, куплю у кого-нибудь за две марки две сигареты и выкурю одну сразу, не разрезая на три части, как это делали все в лагере. Шесть марок я решил оставить на пайку хлеба.

Человек, у которого я хотел купить сигареты, возился у своего шкафчика, закрывая спиной то, что там внутри. Я полез в карман за деньгами, но их там не было. Я ощупал все карманы, подкладку пиджака и пальто — денег не было. Я знал, где они. Они выпали, когда я доставал свои носовые платки.

Полицейский фельдшер, к которому я пришел, зачем-то подвел меня к водопроводной раковине и там разрезал рукав отцовской рубахи. Рука стала толстой, как бревно. Потом он наложил мне мокрую гипсовую повязку и отвел в комнату кранков. Лева-кранк, который уже побывал на приеме и сменил повязку на своем сточенном пальце, предложил:

— Сыграем?

— У тебя денег нет, — сказал я.

Лева еще что-то говорил, но я не слышал. Это была уже не моя ненависть. Потому что сам я, истощенный и лихорадящий, так страшно, так сильно ненавидеть не мог.

Так я стал долгим кранком. Утром с ночниками получал и съедал усеченную пайку, лежал на койке, борясь с желанием обменять на хлеб последнее, что у меня есть, — пальто. Мысль была неотступной. Избавиться от нее можно было, только расставшись с пальто. На третий или четвертый день я сломал гипс — руку пекло невыносимо. Кожа отсырела и порозовела, все складки и шероховатости отпечатались на ней. А меловая внутренность футляра сохраняла форму и тепло руки. В меловых шехероватостях серые дорожки из насекомых. Я никогда не видел их в таком количестве. Гипс я долго не решался сломать. Смелость, с которой долгие кранки уродовали себя, чтобы избавиться от работы, и привлекала, и отталкивала меня. Я чувствовал в этой простоте нарушение каких-то важных жизненных законов. Нельзя сточить на электроточиле палец, заставляя гноиться свою рану и оставаться тем же человеком. Во мне еще жило детское изумление перед тем непонятным целым, которое и было мной. Содрав кожу или порезавшись, я, конечно, уже не смотрел на свою кровь с первым ужасом — что у меня внутри! Но, когда с помощью Костика я попытался сжечь себе руку, я испытал страх не только перед болью. Я должен был преодолеть сопротивление того важного и благодетельного чувства, которое заставляет и на отпавший волос, и на отрезанный ноготь смотреть с изумлением и рождает первое смутное напряжение: «Кто я?» После неудачной попытки сжечь руку, после того, как сломал гипс, я почувствовал с непонятным стыдом, что отпала часть чем-то дорогого мне страха. Это отпадение страха сразу заметили и Лева-кранк, и Москвич, и Соколик. Я мог теперь снять гипс и показать, что он сохраняет форму руки. Фельдшер не выправил мне кость, и предплечье срасталось гнутым, сабелькой. И над этим я мог пошутить, показать, как не держит рука воду в горсти, не разворачивается как надо.

— Умываться не сможешь, — смеялся Лева-кранк.

Но меня беспокоило, что руке моей теперь не удержать кинжала. Чем больше я слабел, тем неотступнее была мысль, что я так и умру, дойду от слабости и ни с кем не расплачусь. Мышцам моим не хватало белков, сахара, витаминов, кости теряли прочность — им тоже чего-то не хватало. Изменилась сама способность различать цвет, запах, вкус. Матрачная солома пахла теперь диетическим

рисовым отваром, который я ненавидел с детства. С этим запахом у меня были связаны тяжкие воспоминания — в детстве я болел дизентерией. В туалет и умывальник опасался спускаться, чтобы не вдохнуть гасящейся извести и карболки. Я боялся этого запаха и не мог потом от него отделаться. Мне случалось читать, как голодающие жуют кожаные ремни, едят древесную смолу. Я не мог есть баланду, заправленную тростниковой мукой. Старался себя заставить и не мог. Смешанный запах дезинфекции и тления преследовал меня — это был запах истощения, болезни. Но в остальном жизнь моя стала как будто лучше. Меня не гоняли на фабрику, и в лагере полицейские оставляли в покое — с поломанной рукой не заставишь работать. Жил я в комнате кранков — как всякий отгороженный угол, это место в лагере было привилегированным. Здесь не только играли в карты, сюда приходили секретничать — кто-то из картежников всегда ведь стоял «на шухере». Через комнату шло движение лагерных новостей и слухов, и это было очень важно для возбуждения интереса к жизни. Сюда принесли английскую листовку о гибели армии Паулюса. Ее принес Студент Алексеев. Он в первый раз появился в этой комнате. Листовки ночью разбрасывал самолет, днем немцы их собирали, но Алексеев на фабрике нашел одну. У Алексеева и вид был студенческий — спортивный, моложавый, кожа с остатками многочисленных туристских загаров, рукава рубашки он зачем-то закатывал, хотя в лагере было холодно. Листовку он уже читал в зале, а потом пришел сюда. Он не секретничал, не ждал, пока отберут посвященных, а непосвященных удалят. И голосом не секретничал, не понижал его, ни на кого не оглядывался, не ждал сигнала, когда начинать. Я это сразу увидел, потому что в кранкенштубе всегда шептались, любили тайну и таинственность, право на тайну оберегали ревниво. Лева-кранк, например, был человеком более посвященным, чем Москвич, Москвич — чем Костик, Алексеев говорил тоном, по которому я истосковался, вот-вот, как на собрании, скажет: «Граждане!». Но и не хватало мне чего-то в его чтении. Он не митинговал, не завербовывал. И ясность его тона была отсюда же. Он разбирал иностранный текст, а не призывал к восстанию. Соколик лежал на койке, показывал, что он в этом опасном деле не участвует. Впервые он был так раздражен и напуган. Соколик собирался выслушать Студента, это он позвал его с листовкой в кранкенштубу, но, когда вслед за

Алексеевым сюда набилось множество людей, Соколик ушел на койку. Как будто оберегая свою большую, перебинтованную руку, он ругался, отгоняя всех от койки. Обычно кранки прислушивались к Соколику, но сейчас он остался один, всем хотелось посмотреть на листовку, листочек бумаги, который вчера еще был на той стороне фронта. Бумага была серая, третьесортная, ворсистая, военная. Мне почему-то казалось, что бумага, прилетевшая из Англии, должна лучше выглядеть. В черной траурной рамке в столбик перечислялись уничтоженные дивизии. Внизу, под итоговой чертой, стояла цифра — 330 тысяч. Помню первое ощущение: «Мало...» Не было в тот момент цифры, которая показалась бы моей ненависти достаточной. Но это было не мстительное: «Мало вам еще!» У меня уже выработалось ощущение длительности, неподвижности военного времени, которое сменило первые надежды и ожидания, выработалась привычка к большим цифрам, так что и эта огромная цифра в моем представлении не очень ускоряла движение военного времени. Единственная фраза, которая как-то оценивала перечисление погибших гренадерских, танковых, механизированных дивизий, звучала так: «Верден на Волге». Сравнение всех раздражало. Каждый день мы видели французский пленный мундир. Позвали папашу Зелинского. Пофыркивая и сосредоточенно глядя на кончик носа, он с некоторым трудом вспомнил и рассказал о сражении под Верденом. Но раздражение только усилилось. В сравнении было что-то *историческое*. Была *благопристойность*, которая совершенно отсутствовала в нашей жизни. Даже французы военнопленные не смогли бы понять, как убили немцев под Сталинградом.

— А по-русски там ничего не написано? — спросил Володя.

Эта мысль первой пришла всем. Листовка на немецком языке казалась нелепостью. Оружие надо сбрасывать, а не листовки. Сбросить десант, вооружить лагерников — хромой и слепой уже до смерти не выпустят винтовку, попади она им в руки. Десант мы ждали все время и теперь опять об этом заговорили.

Много спустя я понял, что листовка была хорошей. Она останавливалась там, где всем нам хотелось продолжения. Нам не хватало угроз для немцев, обращения к нам, обещаний, вообще возбуждающих слов, которые давали бы выход нашей ярости. Раздражение заставляло еще и еще раз вспоминать выстроившиеся в столбик уничтоженные

дивизии. И эти выстроившиеся в затылок многотысячные, многотанковые соединения постепенно дали нам почувствовать, что произошло.

И еще важный оттенок: если даже англичане, которые не открывают второй фронт...

Костик кричал верующему старику:

— Старик, пошел бы воевать, если бы сбросили десант? Или вера помешала бы?

Старик молчал, и Костик переключался на Бургомистра:

— Тебя, Борис Васильевич, обязательно повесим!

Лагерь готовили к переезду на новое место. На фабрике рядом с кухонным баракком поставили из красных сборных щитов девять длинных жилых баракков. Один для голландцев и бельгийцев, два для французов, остальные для поляков и нас. Площадь между мужскими и женскими баракками разделял полицейский барак. Фабричную ограду усилили железобетонными клюшками, загнутыми внутрь лагеря. Рядом с вершиной той самой лестницы, которая вела от кухонного барака к фабрике, появился серый бетонный колчак. Все делалось на наших глазах. Мы ожидали переезда, но сам переезд застал нас врасплох. Дезинфекцию, общелагерную уборку полиция проводила всегда так, будто и дезинфекция, и уборка были только предлогом для нападения на лагерь. Устраивалось что-то вроде облавы с загонщиками, ловушками, западнями. Начиналось все с утреннего взвинчивания паники, с криков и избиения. Избиения как бы распадались на этапы: подъем, построение, объявление программы. Посадка на машины — избиения, выгрузка — побои. На дезинфекцию возили куда-то километров за пять. Дезинфекционной команде даже полицейские передавали нас с некоторым смущением. То, что делали с нами в вонючем банно-карболовом пару, даже им казалось чрезмерным. Может быть, поэтому заключительная часть таких дезинфекционных дней проходила сравнительно мирно. Вырвавшихся из бани, серых, необсохших, мятых полицаи встречали спокойно. Переезд — это и уборка, и дезинфекция, и переселение, и общелагерный обыск, затянувшийся на два дня. Жгли солому, выпотрошенную из матрацев. Впервые двери на улицу были открыты. На лестнице стояли полицаи. У костра дежурил Пирек. Должно быть, ему нравилось возиться с огнем. Он топтался по обширному пятну из обуглившейся соломы, кричал на лагерников, выхватывая из рук лагерника вилы или

лопату, сам сгребал и ворошил солому, дожидаясь, пока не пыхнет пламя, не взмоют искры. Разбирали нары, выносили на улицу стойки, доски, на которых лежали матрацы. В дневном свете цвет у дерева был такой, будто его долго подвергали ядовитой, угнетающей обработке. Бывшие фабричные цеха — наши лагерные помещения делались выше и обширнее по мере того, как выносили из них нары. Видно было, что и стены в помещениях долго подвергались угнетающей обработке нашим больным, голодным дыханием. Окна тоже были открыты, ледяной сквозняк тянул по цементному полу, шевелил солому. Пальто у меня уже не было, и мне казалось, что из-за этого я так тяжело переношу холод. Кранков повезли на дезинфекцию последними. Когда мы уезжали, тюрьма наша стояла с распахнутой дверью.

— Ну все,— сказал Соколик,— больше нам здесь не бывать! Гори все синим огнем!

— Разбомбило бы! — пожелал кто-то.

Во дворе оставалось огромное, угольного цвета пятно от сгоревшей соломы, валялись доски, поломанные банные шкафчики из прессованного картона.

— На дезинфекции,— сказал Соколик,— Жирному сломают еще одну руку, а Леве-кранку совсем оторвут палец.

Встречным ветром меня гнуло на дно кузова — машина была открытой. Мне становилось все хуже и хуже, и я думал, что это простуда. Невыносим был запах дезинфекции. Бараки, в которые нас вселяли, стояли с забитыми дверями и окнами, там уже сутки клубился дым от дезинфекционных шашек. Когда двери вскрыли, он вяло вылился навстречу. И запах этого дыма был непереносим.

— Грипп,— сказал мне Костик,— простудился.

Костик утешал меня. В лагере было много больных сыпняком. Их оставили в старом помещении на первом этаже. Начиналась тифозная эпидемия. На третий день меня вывезли из нового лагеря на двуколке, которой управлял француз. Ворота из колючей проволоки нам открыл полицай по кличке Перебиты-Поломаны Крылья. Он даже не взглянул на меня. Я сам взбирался на двуколку. Сам устраивался на покатом ее днище. Испытывал удивительное ощущение: вот мы с французом, простоватым, но, кажется, добрым человеком, едем вдвоем по немецкому городу. Двуколка дергается так, как дергается двуколка, лошадь цокает по булыжнику,

француз причмокивает, но не торопит лошадь. Спина его сутулится в шинели, вот-вот он обернется и скажет мне сочувственно по-своему: «О ля-ля!»

Но он не оборачивается, а мы подъезжаем к воротам, ведущим во двор старого лагерного здания. Француз останавливает лошадь, спрыгивает на землю, сам открывает ворота, которые несколько дней назад тщательно охранялись, и опять, поставив ногу на спицу колеса, влезает на сиденье. Лошадь переступает, когда он давит на спицу. Мусор во дворе прибран, булыжник подметен, угольное пятно от костра смыто, но это не ежедневная насильственная лагерная чистота, а как бы вчерашняя или позавчерашняя. Изморозь покрывает двор, но чьих-либо следов не видно. Лагерную дверь открывает Апштейн, на руках желтые резиновые перчатки, лицо и лысина его лоснятся, будто натертые вазелином. Он отстраняется, когда я прохожу мимо. Хочу попрощаться с французом, но он все не смотрит. Я попадаю в знакомую полутемноту, которая еще сильнее пахнет известью и карболкой. Апштейн показывает, чтобы я поднимался на первый этаж, а сзади бухает термос — француз сгрузил баланду, которую вез в двуколке вместе со мной.

В зале я увидел несколько коек, они стояли у дальней стены, и все были заняты. Большинство больных лежали на матрацах, брошенных на пол. Многие скатывались на пол. Тут все были охвачены, разобщены одной и той же болезнью, сгорали от одной и той же температуры, и я почувствовал, что погружаюсь в эту температуру, начинаю поддаваться общему беспомощству. Страх перед тифозным бараком, который поддерживал мои силы в лагере, надежда, что это простуда, а не тиф, отвлечение ездой в двуколке без конвоира — все отошло. Надо было скорее лечь, найти место. Но не было ни врача, ни санитаря. Два или три человека отметили мое появление:

— Пить!

Я замешкался, и кто-то подсказал:

— Ведро у двери.

Я зачерпнул и понес ему кружку. Это был пожилой человек, подтекающий потом, как после малярийного припадка. Он смотрел на меня снизу влажными отходящими глазами.

— Не мне, — сказал он, когда я протянул кружку. И спросил: — Можешь ходить? Помоги людям лечь на матрац.

Гипс скользил на потной руке, и я сбросил его.

Разносил баланду, проливая по дороге. Дядька меня направлял. Он помнил многих. Говорил:

— У окна пацан лежит. Воды ему отнеси. Всю воду переворачивает. На мокром лежит. Возьми тряпку, вытри. Предлагал:

— Баланда остается. Ешь, если можешь. Жалко, пропадает.

Баланда была без тростниковой муки, диетическая. Но голод отпустил меня.

Несколько раз я находил матрац, около которого сложил свою миску и ложку. Но кто-то звал: «Воды!» — и я поднимался. То ли голос пожилого дядьки меня поднимал, то ли еще какая-то враждебная моему больному телу сила.

Уже обманывали расстояния, болела рука, таял голос пожилого дядьки, таяло его лицо (он умер через несколько дней, и моя больная память не сохранила ни одной его черты). Кто-то потной, как из бани, рукой отталкивал мою руку, сбрасывал одеяло, смотрел прицеливающимися глазами, узнавал во мне кого-то ненавистного, кто-то тянул руку, плакал: «Мама!»

Дальше всего было добираться к тем, кто лежал на койках у стены. Я отнес воды заросшему рыжей щетиной человеку и узнал в нем Стефана.

— А! — сказал он, но не пошевелился.

— А Бронислав? — спросил я.

— Не знаю.

Пожилой дядька подбадривал меня:

— Вот и ты будешь умирать, сознание потеряешь, тебе воды подадут.

Простота, с которой в лагере говорили «умрешь», «не жилец», была, конечно, мне не по силам.

Я сразу признал за пожилым дядькой право распоряжаться. Хотя здесь были еще два-три человека, которые могли помочь соседям, все держалось на нем. В эшелоне, в панике пересыльных лагерей всплывали устроители своих дел, мелкие хищники. Опасность усиливалась, и вперед выдвигались такие, как Юрон-ростовский, Гришка Часовщик, раздражительный. Они загорались, вспыхивали в этой опасности, брали ее на себя, были отовсюду видны; и чувствовалось, что это главные минуты их жизни. Но в обычное время искали друг друга, держались обособленно, а когда, как в тифозном бараке, ни риском, ни отчаянностью опасность нельзя было отвести, уступали место другим. Эти люди чаще всего пожилые, как

Иван Игнатьевич или Зелинский, и раньше могли быть заметны, но нередко за минуту перед этим о них никто не знал. Просто многообразная лагерная опасность должна была так сгуститься, чтобы паника отступила перед еще большим недоумением и растерянностью. И тогда в тишине откуда-то из задних рядов раздавался голос:

— Товарищи! Потеснитесь! Человеку плохо. У кого-нибудь есть вода?

И теснились, передавали воду. Власть этого голоса держалась минуту или час — все зависело от того, как быстро менялись события. Они могли тотчас развести, могли долго держать вместе. Но, как бы ни тасовали обстоятельства людей, всегда находился кто-то, кто произносил как раз те вразумляющие, справедливые слова, которых все ждали. И часто не в самих словах была сила или надежда (надежды вообще могло не быть), а в том, что они отводили унижающую панику. Теснились, распределялись, делились водой. Не давали чувствам суетиться. И мгновенно проявлялась готовность к организованности. В моей жизни это случалось много раз, и, когда я попал в тифозный барак, я сразу узнал человека, на котором здесь все держалось. Место не могло пустовать, даже если не находилось знающего и достойного. Должно быть, в лагере дядька не был замечен и только в тифозном бараке всем понадобился. И я, больной, почувствовал его справедливость и успокоился. Отпал постоянный страх: немцы сюда не войдут, никто из них не сунется, пока мы опасно, заразно больны. И Соколик или кто-то из этой компании, если сюда попадет, тоже подчинится справедливости, почувствует перед болезнью ее неизбежность. Облегчение было таким значительным, что, несмотря на болезнь, надвигающееся беспамятство, я ощутил его. И еще запомнил: пожилой дядька говорил со мной из той глубины, где, наверное, слово «умрешь» возникает само собой. Но я боялся этого слова, отталкивал его.

Привезли еще двоих. Один стонал и свалился сразу, второй выбирал себе матрац, разговаривал с пожилым дядькой, кому-то приносил воду.

Беспамятство настигло меня. Очнулся от рева сирены. Сирена была знакомой, она стояла где-то по соседству с лагерным зданием. В металлическом вое, в свете синей лампы увидел лица бредящих и пополз к окну. Когда ударили зенитки, я сорвал светомаскировочную бумагу. Падала она с большой высоты и деревянной рейкой, на которой была укреплена, сильно ушибла мне голову.

Я пополз к следующему окну, а кто-то навалился на меня. Мы с ним боролись, хватали друг друга за горло. Он был тоже слаб и звал на помощь.

Еще после долгого провала увидел яркий дневной свет и себя на койке. На табуретке рядом были сложены моя миска, жестяная коробка из-под зубного порошка, ложка и чьи-то вещи, среди которых мне ужасно понравился голубой перламутровый перочинный ножик.

— Это мой? — спросил я у женщины в белом халате, которая наклонилась надо мной.

Я не удивился этой женщине. После тяжелой детской болезни и после того, как однажды в пионерском лагере меня неожиданно свалил приступ малярии, ко мне подходили как раз такие, похожие на незнакомых учительниц женщины в белых халатах. А на стуле меня дожидался какой-нибудь подарок.

— Нет, — огорчила меня женщина, — это ножик твоего соседа, — и, должно быть, увидев, как я огорчился, пообещала: — Но если я найду такой же, я тебе его обязательно подарю.

Я знал, как неохотно взрослые дарят мальчишкам ножи, и огорчился еще больше. Однако, как все женщины-врачи, она, должно быть, презирала кисляйство. От халата ее пахло здоровьем, улицей. И я старался держаться, не капризничать.

— Мария, — позвала она, — земляк-то мой очнулся. Задал ты жару, — сказала она мне. — Температурил!

Все было правильно. Она рассказывала то, чего я о себе знать не мог.

— Ну и буйствовал ты!

Это не могло заменить перламутрового ножика, но все же было приятно. Или она думала, что мне это должно быть приятно. Кончился ужасный бред. Я бы и совсем почувствовал себя дома, если бы меня не тревожила красная миска с ушками. Я старался ее не замечать и спросил:

— Мама приходила?

— Приходила, — сказала женщина с такой готовностью, что я захотел ее проверить.

— Как маму зовут?

Женщина вздохнула.

— Скоро, скоро, — сказала она, — поедem домой. Пока ты болел, немцев сильно побили. Вместе домой поедem. Хочешь, вместе со мной? Мы же с тобой харьковские.

Я никогда не бывал в Харькове.

— Мария, — сказала женщина, — принеси земляку воды.

Худенькая сестра в белом халате подала воды, и тут я заплакал потому, что мне очень хотелось пить, а вода была невыносимо горька.

Болезнь вызывала страшную жажду, и она же отравляла воду горечью. Неразрешимое противоречие было и в моем пробуждении от болезни: облегчение, а потом еще большее отчаяние. И в этой фабрике-тюрьме было невыносимое противоречие: дневной свет, белые халаты, цементные полы. Я видел, что женщины не могут его разрешить, и не спрашивал, как они оказались здесь и почему в зале правильными рядами расставлены одноэтажные койки, никто не лежит на матраце, брошенном на пол. Конечно, их чистые белые халаты, их *свободные* лица внушали какую-то надежду. Что-то должно было произойти. Может быть, они могли отправить меня домой, ведь отправляли же куда-то из лагеря неизлечимо больных. Я спросил, и они сразу же согласились. Болезнь вернула меня в недалекое мое детство, дома меня любили, не было удивительно, если бы эти женщины тоже полюбили меня, я капризничал, но все равно видел, что они разговаривают со мной, как с больным. Главного они не могли изменить. И, когда они спросили осторожно, чего бы я хотел съесть — я уже несколько дней ничего не ел, — я, чтобы не поставить их перед неразрешимой задачей, сказал «ничего».

Понять меня мог только такой же больной, как я. Мы немного поговорили с соседом. Потом был провал, когда я очнулся, соседа не было, а перламутровый ножик все так же лежал на табуретке. Но мысль о смерти теперь совсем не пугала меня.

Пришло время, когда я старался удержать бред или вызвать его — не хотел выздоравливать. Приходя в себя, терял представление о равновесии. То, что я думал о женщине-враче, о сестрах, было смесью бреда и фантазии. В зале уже были выздоравливающие, я слышал их разговоры, знал, что врача зовут Софья Алексеевна, а черноволосую сестру — Мария. Марий в лагере было много, у этой была кличка — Черная. Они пришли к лагерному коменданту и сказали, что готовы ухаживать за тифозными и что есть еще много добровольцев. Комендант отобрал нескольких девушек. В лагере для них устроили сборы, так что у Софьи Алексеевны оказались даже шелковое платье и красивая брошка. Появление

Софьи Алексеевны было праздником. О ней много говорили. «Губы не красит». Это было очень важно и всех трогало. Я слышал, как кто-то спросил:

— Доктор, вы и до войны губы не красили?

— Красила.

— А сейчас почему не красите?

К общему удовольствию, она ответила:

— Война кончится, накрашу.

Она держалась так *свободно*, что это вызывало некоторое сомнение. У нее спросили:

— Доктор, вы русская?

— Русская.

Видела, куда клонит спрашивающий, но не стала объяснять подробнее.

Тот, кто спросил, красит ли она губы, чувствовал себя смельчаком. Его отговаривали, он не решался, а потом спросил.

Девушки-сестры жили здесь же, она приезжала. Входила сдержанная, доброжелательная, но все замечали на ее лице не больничное, не лагерное оживление. Халат у нее был такой крахмальной белизны и жесткости, что было видно, не лагерным мылом его стирали. Шла от койки к койке, и те, к кому подходила, слышали идущий от одежды, от ее халата запах воли. Запах вызывал тревогу, отчуждение и внушал надежду. Оттого, что Софья Алексеевна жила вне лагеря, казалось, она что-то *может*. Не меня одного болезнь вернула в детство. Выздоровливающие волновались, хотели записаться на возвращение домой. Были истерики, кто-то считал, что его не записывают потому, что он опоздал. Это были остатки бреда и вера в святость медицины. Пошли же немцы на то, чтобы дать врача!

Больным шелковое платье Софьи Алексеевны, белый халат казались могущественными. Выздоровливающие испытывали ее. В ответ она улыбалась, спрашивала:

— Учимся заново ходить? Получается?

Однажды прямо спросили:

— Софья Алексеевна, кто вы?

— *Врач*.

— Вы понимаете, о чем я спрашиваю.

— А вы подумайте.

Уезжала, и начинались споры. Сильнейшим аргументом в пользу того, что она не поддалась, было:

— Губы не красит.

Спрашивали Марию. Когда Софья Алексеевна уезжала,

Мария оставалась старшей.

— Людей спасает,— говорила она.

Софья Алексеевна была врачом в нескольких тифозных бараках, расположенных в этом и соседних лагерях.

Это вызывало ревность — не только наш врач! Тревогу — в любой момент заберут и кончатся изолированность от немцев, диетическая баланда, разрушится этот странный, зыбкий, совсем не лагерный мир, который, как нам казалось, держится только на уважении, которое Софья Алексеевна вызывала у немцев.

Однажды на обходе она была чем-то отвлечена, пахло от нее духами. Это было воспринято всеми болезненно.

— Надушилась.

Я не участвовал в этих заботах. Мне было все равно. Я не выздоравливал — из дому возвращался в лагерь. К тому же я точно знал, что Софья Алексеевна не поддавалась. У тех, кто отказывался от еды, цеплялся за болезнь, она задерживалась дольше. Присаживалась ко мне на койку, называла земляком, рассказывала, где идут бои.

Обычно об этом нам сообщала Мария Черная. Было замечено, что новые сведения у нее появляются, когда приезжает Софья Алексеевна. Мария оставалась в лагере за старшую, но не выдерживала свою роль. Ей нравилось митинговать, она могла вскочить на табуретку, разыграть сценку из тех, которые во время войны разыгрывали на эстраде, показывали в кино: наши солдаты и глупые, трусливые немцы, сдающиеся в плен, кричащие: «Гитлер капут!» Привычки пионервожатой, темперамент подводили Марию. Начинала она всегда сдержанно, но потом конспирация, на которую она настраивалась и настраивала нас, летела к черту, полы халата ее развевались, из двух-трех табуреток она сооружала себе эстраду, звенящим голосом читала стихи; изображая Гитлера, прилепляла себе усики. Случалось, что Софья Алексеевна заставляла ее во время представления. Мария, ничуть не конфузясь, с вызовом заканчивала чтение, а Софья Алексеевна благожелательно не замечала ее горячности, спрашивала:

— Как прошла ночь?

Мария прыгивала на пол, и обе отправлялись в обход.

— Не ест,— говорила Мария, когда они подходили ко мне.

Должно быть, положение мое было серьезно. Софья Алексеевна задерживалась долго, спрашивала:

— Может быть, тебе чего-нибудь особенного хочется?

Мы с Марией постараемся.

Стронули с места меня выздоравливающие. Когда Софья Алексеевна и Мария уходили, меня начинали ругать:

— Умирать собрался, а доктору голову морочит.

Те, кто меня ругал, не поднимались с коек. Голоса их были слабы, я не мог определить, кому они принадлежат. Но чувствовал, что среди выздоравливающих появляются компании, симпатии. Кто заводил новое знакомство, кто продолжал старое. Я опаздывал. Мой сосед, хозяин перламутрового ножика, умер, койка пользовалась дурной славой, еще кто-то на ней умер. И теперь на ней бредил человек. Я догадывался, что весь наш угол пользуется дурной славой. Здесь лежали те, кого в любой момент могли снести в умывалку. Но страхи и чувства, кроме главного — я опять в лагере! — замерли. Просыпался, вспоминал, и омертвление распространялось на все тело. Но, должно быть, силен был страх оказаться хуже других. Я поел, и с этого момента Софья Алексеевна стала реже подходить и меньше около меня задерживаться. А для меня наступил период полной слабости и слезливости. Я попытался встать и обнаружил, что разучился ходить.

С утра теперь ждал обхода, считал мгновения, которые Софья Алексеевна тратила на меня, был несчастлив, если задерживалась мало и была отвлечена. Отвлечена она бывала все чаще. Среди тех, о ком она спрашивала с порога, меня не было.

Я помнил каждое слово, которое она мне сказала, когда я пробудился от бреда: вместе поедем домой, задал ты нам жару. Выделял «вместе», «нам», думал об этом непрерывно. И в ощущениях моих, и в мыслях еще было много от болезни, и я не противился этому.

Соколик спрашивал (вся комната кранков оказалась среди тифозных):

— Софья Алексеевна, если бы не тиф, вы не объявились бы врачом?

Чем дальше уходила болезнь от Соколика, тем смелее становился его язык

— А вы не боитесь? Врачи тоже умирают.

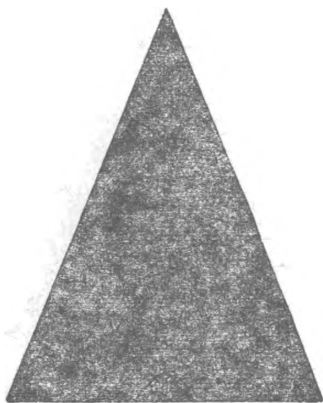
С Софьей Алексеевной он вел какой-то постоянный спор. Истинных причин этого спора она как будто не понимала. И вообще не замечала, что с ней спорят. Исхудавший, заросший щетиной Соколик выглядел благообразно, даже интеллигентно.

— А девушки? — усмехался Соколик.

— Спросите у Марии.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Подозреваемые»



Треугольник зеленого цвета острием вверх

Но тут Соколик уступал. Спорить можно было только с Софьей Алексеевной, которая жила не в лагере, от которой однажды пахло духами и которая, конечно, не лагерную баланду ела. Тогда Соколик заходил с другой стороны:

— Тиф кончится, вас опять на фабрику?

— Скорее всего.

— Значит, для вас лучше, чтобы мы дольше болели.

Чтобы заставить ее подойти, взять меня за руку, я старался нагнать температуру. Она подходила, но рука ее была тороплива и холодна, она не мной была теперь озабочена.

Как болезненно отмирают детские иллюзии! У нее были сотни больных, но я ничего не хотел знать об этом, капризничал — требовал любви. Соглашался выздоравливать только в обмен на любовь. Однажды она передала мне свой обед: картошку, политую соусом-концентратом. Но я не стал есть. Не она сама принесла. Она пришла.

— Земляк, как же мы поедем в Харьков, если ты не хочешь выздоравливать!

Соседи меня ругали:

— Если доктор каждому будет отдавать свой обед...

У меня была надежда: она придет и назовет меня моим именем. У кого-то спросит, узнает... И обида — называет земляком, хотя я никогда не жил в Харькове.

— Я не из Харькова.

— Да что ты! — огорчилась она. — Я думала, земляки.

Она не очень сильно огорчилась, гораздо меньше, чем я надеялся. Никаких изменений такое слабое огорчение не могло вызвать.

На следующий день была озабочена, куда-то торопилась, ко мне не подошла. Спросила на ходу у Марии, кивнув в мою сторону:

— Ну, как?

Это был первый раз, когда она не подошла, и я опять заболел, вернулся в свое омертвляющее чувство и тело состояние. Она подходила, разговаривала со мной, чем-то я стал ей интересен, но и утомлял ее. А мне казалось, что все теперь зависит от того, вспомнит ли меня кто-нибудь в лагере.

Когда внизу грохотал термос с баландой, все тифозные начинали волноваться, ожидали вестей из лагеря, надеялись на какую-то передачу. Это был почти такой же волнующий, тревожный момент, как и приход Софьи Алексеевны. Здоровые помнили о тифозных, нам было

хуже всех. Передачи и записки вызывали ревность. Я был среди тех, кого появление двуколки с баландой приводило в отчаяние. Совсем недавно я даже воспоминаниями опасался себя связывать с теми, кто боялся или не хотел бежать. А сейчас сама жизнь моя зависела от того, вспомнит ли меня кто-нибудь в лагере. Но некому было вспомнить (потом я узнал, меня считали давно умершим), и дела мои становились все хуже.

Софья Алексеевна спрашивала:

— У тебя есть родственники в лагере? Мать, братья, сестры?

Я лежал, отвернувшись, не отвечал.

На следующий день передала мне половину бутылки теплого взболтанного лимонада.

— Костик передал,— сказала она.

Лимонад был поразительнее появления самой Софьи Алексеевны. Значит, все-таки что-то произошло, какое-то невероятное изменение в нашей жизни. Откуда Костику взять лимонад? Но почему неполная бутылка и никакой записки? Однако радость была сильнее подозрений. Это была моя первая передача, и я расхвастался:

— Костик передал!

Сосед потряс меня.

— Это докторша. Ты ж и в бреду: «Костик, Костик!» И сейчас плачешься: «Никто ничего не передает». Я слышал, она спрашивала у Соколика, кто такой Костик. Это ее лимонад. Половину она Ивану Шахтеру отлила. Я видел.

Сосед был старше меня, он тоже не имел передач. Однако слезливость моя исчезла. Полбутылки взболтанного лимонада показали мне, сколько может Софья Алексеевна. Бредовые переживания и представления стали меньше места занимать в моей памяти, перестали формировать мои мысли. Я все так же приходил в отчаяние, когда из лагеря привозили баланду, приносили передачи и записки, но уже радовался движению дневного света по нашему помещению. Просыпался, когда края светомаскировочной бумаги синели. Это была самая дорогая минута — начало свободного дня. Дежурная сестра не торопилась поднимать бумагу — надо было выключить свет. Я просил, и бумага поднималась. Для здоровых эта еще ночная синева была страшной, отравленной голодом и недосыпанием, полицейскими криками. В эту минуту я чувствовал себя счастливчиком: побег, тюрьма, перелом руки, тиф. У меня было больше перемен

тяжелого. Ночная синева растворялась будничной серостью. Выздоровливающие просыпались, говорили, как прошла ночь, что делали больные — ночной бред тяжелее и замысловатее дневного. Сестры носили градусник, которым очень дорожили, помогали умыться к приходу Софьи Алексеевны. Солнце освещало штукатурку на потолке и стенах, а часам к десяти ложилось на одеяла. Яркий солнечный свет внушал неоправданный энтузиазм и надежды. Он не потерял яркости и медлительности с тех пор, как мы перестали его замечать. А произошло это, когда мы попали в лагерь. Все-таки беспамятство, сквозь которое мы прошли, изменило и размягчило нас. «Ждут комиссию Красного Креста», — догадывался кто-то, и с ним не спорили. Врач, сестры, градусник, лимонад, а главное, то, как *свободно* держится Софья Алексеевна, — не просто все это. Может быть, даже произошло что-то еще более важное, но Софья Алексеевна молчит, ждет, пока точнее определится. Я накрывался одеялом, смотрел, как оно медово просвечивает. Подставлял солнцу пальцы, они розовели. Я уже опасался своих надежд, но были выздоравливающие, которые спрашивали Софью Алексеевну о международной комиссии, Красном Кресте. И она не говорила «нет», улыбалась, уклончиво разводила руками. Так что надежды не гасли: войдет и скажет. Она приходила к десяти и с порога щурилась на солнце. Лицо ее розовело и просвечивало. Входила она в халате и шапочке, но, прежде чем начать обход, еще несколько минут готовилась. Выслушивала доклад Марии Черной, чуть заметно кивала на чьи-то приветственные недисциплинированные выкрики, протирала платком стетоскоп, который доставала из кармана халата, выпрямлялась, становилась серьезней и значительней, направлялась к первому больному и уже не отвечала тем, кто окликнул ее. Больным я только такой значительной, с выпрямленной спиной и видел ее над собой. Потом стал замечать, что останавливается она всегда в солнечном свете — греется. Теперь видел, как настраивается, не может до конца согнать тревогу, как часто бывает чем-то отвлечена. Я становился здоровее и яснее видел, как мало она может, как нелегко, должно быть, дается ей врачебное выражение уверенности и значительности. И ненавидал тех, кто шуточками, вопросами сбивал ее, показывал свою проницательность.

Вначале мне казалось, что болезнь изменила и смягчила характеры и Соколика, и Левы-кранка, и Бургомистра,

Бориса Васильевича. Я видел плачущего Леву-кранка, который боялся оставаться среди таких же больных — кто-то в бреду пытался его душить. Лева панически кричал: «Сестра, сестричка! Сестричка!» А когда Мария приходила, просил: «Посиди со мной».

Он что-то лепетал, спрашивал: «Я не умру, не умру?» А когда Мария поднималась, плакал навзрыд.

Плотный Борис Васильевич тяжело переносил высокую температуру. Глаза его были открыты и неподвижны. Он молчал, не отвечал на вопросы, не просил воды. А когда приносили воду, меняли мокрое от пота одеяло, не благодарил. Испачкавшись собственной рвотой, не звал на помощь, соседи звали сестру. Он не показывал, что слышит, когда его ругали за неподвижность и молчаливость. Но только однажды я слышал, как кто-то сказал Марии:

— Зачем вы его лечите? Все равно его надо убить.

И ревниво следили за Софьей Алексеевной, долго ли она задерживается около Бургомистра.

Она задерживалась столько же, сколько и у других, спрашивала его, брала за руку, считала пульс, а он все так же неподвижно смотрел на нее.

— Вы меня слышите? — спрашивала она. — Я врач, вы мне должны ответить.

Он кивал. Она что-то говорила Марии и проходила.

Тверже всех, пожалуй, переносил болезнь Соколик. Почти не терял сознания, не паниковал, был послушен и терпелив. Болезнь обострила его черты, но и сделала благообразнее. Близорукость стала заметнее. Он здоровался с Софьей Алексеевной, когда она подходила, заговаривал с ней. Она его похвалила:

— Хорошо держитесь.

Он был благодарен ей и за похвалу и за это «вы». Я никогда не слышал, чтобы Соколик так вежливо и уважительно с кем-то разговаривал. Я ревновал Софью Алексеевну к Соколику и боялся за нее. Она не могла знать, что по каким-то причинам, может быть, непонятным ему самому, Соколик рано или поздно должен был обидеть даже самого приятного ему человека. Видно было, как раздражение накапливается в нем, но нельзя было понять, с чего оно начинается. Будто борясь с отвращением, отворачивался он от недавнего напарника. Оскаливался, если тот, недоумевая, не отходил сразу.

— Ну что ты, — говорил Соколик. — Иди...

Ярость была сокрушительной, а приятель не знал за

собой вины. Кончалось бурной вспышкой, которую испытали на себе и Гришка-старшина, и Лева-кранк, и Москвич...

Если кто-то в этот момент вступался, Соколик, словно умеряя неистовство, которое ему уже не по силам сдерживать, хватался здоровой рукой за перебинтованную, морщаась от боли, облизывал губы, нянчил руку.

— Все вы... — говорил он.

Эта способность приходить в безудержное неистовство от какой-то тончайшей, видимой ему одному несправедливости, страшная своей невыдуманностью ярость, которая ему самому доставляла страдания, бескорыстность и ярости и страданий — все это привязывало к нему и Москвича, и Леву-кранка, и других ребят из этой компании.

Мне тоже иногда казалось, что Соколик знает или чувствует что-то важное. Не просто же так он приходит в неистовство!

Я видел, что дисциплинированность, послушность Соколика должна была потом как-то взорваться. У него искривились и повлажнели губы, когда Софья Алексеевна показала ему не на ту койку, на которую ему хотелось лечь. Она не знала, что были соседи, которые, по его мнению, достойны были с ним лежать рядом, а были такие, соседство с которыми он считал унижительным. Он не спорил, но она почувствовала сопротивление, и голос ее стал тверже. Он же считал, что над ним совершается несправедливость, а не спорил потому, что не мог торговаться. Когда Софья Алексеевна ушла, он лег так, как ему хотелось, переместив двух человек, изругал изумленного Леву-кранка.

— Все вы... — сказал ему Соколик.

Лева-кранк раздражал Соколика тем, что сделался плаксивым, никак не мог оправиться после болезни. Не мог справиться со своим страхом. Этот человек как будто бы совсем забыл, как он презирал и чужой страх и чужую растерянность. Соколик гадливо от него отворачивался.

— Замолчи ты...

Но на Леву-кранка презрение Соколика теперь совсем не действовало. Главными людьми для Левы теперь были Софья Алексеевна, Мария Черная и другие девушки-санитарки. Казалось, Соколика выводит из себя потеря власти над этой преданной ему душой. Соколик выздоравливал, энергия к нему возвращалась быстро. И, хотя он всегда боялся своей заметности, отворачивался от болтливых, соперничал скрытно, сам глушил свои бешеные

вспышки, говорил и тут же отворачивался, здесь он не мог удержаться от соперничества с Софьей Алексеевной. Вначале отказывался от ее назначений. Говорил, кривя губы:

— Выздоровеешь — выздоровеешь. Умрешь — умрешь...

Почувствовав, что болезнь уходит, говорил:

→ Захочешь жить, выздоровеешь.

Странно, слова эти имели какую-то силу. Выздоровливающие к ним прислушивались. И, хотя большинство еще не научились ходить, не поднимались с коек, я почувствовал, что ко мне возвращается то самое беспокойство, с которым я расстался, когда переступал порог тифозного барака.

Софья Алексеевна приходила все более озабоченной, дольше настраивалась, выслушивая Марию Черную. И было видно, что ее угнетают какие-то тревожные мысли, о которых не знает даже Мария. Не я один это видел. Ее спрашивали:

— Вас не забирают от нас?

Это было главное беспокойство. Софья Алексеевна успокаивала нас все более неуверенно:

— Рано или поздно нам придется расстаться. Так?

Она по-прежнему охотно разговаривала с выздоравливающими, останавливалась у койки Соколика.

— Температуры нет? Не жалуетесь?

Она шутила. Соколик чувствовал себя лучше других. Он вообще не мог жаловаться, не в его это было привычках. И это ей нравилось. Он даже шутку не принимал, кривил губы.

Когда Соколик по-своему распорядился койками и лег так, как ему хотелось, Софья Алексеевна пошутила:

— Могла вас не заметить. Я вас не на этом месте искала.

Однако не стала ничего менять. Но, когда Соколик задумал еще одно перемещение и улегся с двумя приятелями на самом солнечном месте, которое представлялось слабым выздоравливающим, Софья Алексеевна сказала ему:

— Если вы не вернетесь на свое место, я вас завтра выпишу. Вы совершенно здоровый человек и можете идти работать на фабрику.

Сказала мимоходом, не ожидая возражений, Соколик накрылся одеялом с головой и так пролежал, пока не кончился обход. Когда Софья Алексеевна уехала, он

вернулся на свое место и сказал приятелю, который подыгрывая ему, обидно отозвался о Софье Алексеевне:

— Что ты... гад. Она права.

У Соколика получилось так, будто он собирался грязно выругаться, но удержался.

Больше Софья Алексеевна Соколика не замечала. И он во время ее обходов либо отворачивался к стене, либо накрывался одеялом с головой.

Впервые Софья Алексеевна упомянула о выписке. И, хотя сказано было вполголоса одному Соколику, услышали все. Слово было громовым. Оно давно назревало, тут не было вины Софьи Алексеевны: из лагеря перестали поступать тифозные, эпидемия пошла на убыль. И, хотя у нас заболели три девушки-сестры и многие мучались возвратным тифом, было много и выздоравливающих. Однако мысль о том, что Софья Алексеевна должна не только лечить, но и выписывать нас, оказалась настолько неожиданной, что на некоторое время между нами и ею возникло отчуждение. Ведь не только врачебной, но и другой, ужасной властью она должна была опять возвращать нас в лагерь. В тот момент, когда она на кого-то укажет: «Здоров», — она станет как бы работником лагерной администрации.

Отвязаться от этой мысли было невозможно. И свободная манера держаться, крахмальный халат, шелковое красивое платье теперь не только радовали, но и внушали опасения.

Заговорили с ней о выписке. Она сказала:

— Надо вначале выздороветь. Потом карантин. Не торопитесь. Тиф — болезнь долгая.

Она понимала, о чем ее спрашивают.

Но все же было решено устроить ей проверку. Надо было спросить, есть ли у нее муж, воюет ли он или тоже в плену. Кто-то из выздоравливающих, лежавших рядом с Соколиком, сказал:

— Соколик, спроси. Ты с ней часто разговариваешь.

Я ожидал, что Соколик ответит яростной вспышкой. Он был уверен, что все, конечно же, заметили его ссору с Софьей Алексеевной. Но он промолчал. Тот же человек повторил:

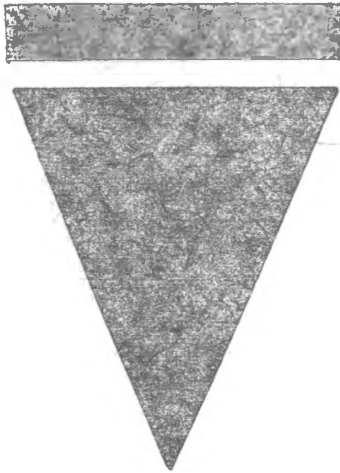
— Спросишь?

— Что ты... привязался? Спросишь, спросишь... Сам спрашивай. Язык есть? Норовите... на чужой спине в рай въехать.

Кто-то сказал:

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Рецидивист»



Полоса и треугольничек черного цвета

— Соколик не спросит. Он в нее влюблен.

Теперь вспышка должна была разразиться, но Соколик и на этот раз промолчал.

Потом, когда еще кто-то затронул Соколика, яростная вспышка все-таки была. Соколик плевался, будто в рот ему попал волос. Погасло еще два-три смешка — никто больше не шутил. И я вдруг почувствовал: сказано не об одном Соколике. Должно быть, только в таком гибельном месте могла возникнуть эта общая влюбленность беспомощных мужчин в женщину, которая не красила губы и держалась так, что люди, приходившие в сознание, не сразу вспоминали, что они в лагере, в тифозном бараке. Я тоже каждый день с напряжением, от которого, казалось, зависит вся моя жизнь, ждал ее появления, ревновал к каждому, с кем она разговаривала внимательнее, чем со мной, мучился сожалением, что так коротка минута, которую она тратит на меня. Она уходила, и я накрывался одеялом с головой, чтобы никто не мешал мне вспоминать, как она подошла, как, не шурясь, стояла, освещенная солнцем. Воспоминания не удовлетворяли меня, я представлял, что я должен был сказать, что могла сказать она. Времени было много, мечта моя плелась непрерывно и приводила нас с ней домой. Когда-то я пережил две детские влюбленности во взрослых женщин: в учительницу математики (она подходила к первой парте, на которой из-за близорукости я сидел, строго смотрела над моей головой в глубину класса, а я видел ее аккуратные, слегка испачканные мелом пальцы) и в соседку по лестничной клетке. Она редко спускалась на улицу с нашего четвертого этажа, у нее было больное сердце. Но теперь было не то. Влюблен, и притом восторженно, я был в Марию Черную, которая, понятно, совсем не замечала меня. Но это не мешало мне, не вызывало ревности. Я бы пришел в ужас, если бы она что-нибудь заметила. Должно быть, зарождающейся юношеской мечте, которую, как я теперь знаю, никакие обстоятельства не могут подавить, нужно было женское лицо. Сама же мечта была настолько восторженной, что расстояние, которое отделяло меня от настоящей любви, казалось мне бесконечно длинной дорогой самосовершенствования. Тиф меньше затронул женский лагерь. Но все же на третьем этаже у нас было женское отделение. Там вместе с больными женщинами жили наши сестры, там же они и болели. Остриженные, плотно повязанные косынками, выздоравливающие девушки иногда выходили на лестничную клетку постоять

с нашими выздоравливающими. Мария Черная гоняла их:

— Стыдно! Война идет.

У Марии была репутация — «ни с кем». Репутация эта как бы присваивалась мужским лагерем. Мария ею очень дорожила. Даже случайно оказаться на лестнице с кем-нибудь вдвоем опасалась. Понятно, для моей мечты не подходили девушки, которые выходили «постоять»...

С Софьей Алексеевной было другое. Слишком много надежд с ней связывали больные. И это не забывалось, когда выздоравливающие видели, как мало у нее лечебных средств, как мало она может изменить в нашем общем несчастье.

О муже у нее спросили. Она остановилась, почувствовала, что спрашивают все.

— Мой муж — настоящий человек, — сказала она. — Я его очень уважаю.

Ее ответы всегда вызывали у нас восторг. Но проходил восторг, и выяснялось, что сомнений не убавилось.

— Давно с ним не виделись?

— С начала войны.

— Он военный?

— Кто сейчас не военный?

— Жив?

— Надеюсь. Еще есть вопросы?

Что-то менялось в наших отношениях. Наступил момент, когда все увидели, что главная ее тревога не здесь, не в нашем тифозном лагере. Какая-то опасность волновала ее. Однажды услышали, как на нее кричал Апштейн. Он шел за ней по лестнице и отстал, когда она вошла к нам. Апштейн был заперт вместе с нами. Еду ему привозили на той же дручке, на которой привозили еду нам. Говорили, что он мажется какой-то дезинфекционной мазью, носит резиновые перчатки и выходит из вахштубы только для того, чтобы открыть или закрыть двери. Не каждый день его посещала жена, приносила белье и кастрюльки. Он ее принимал на улице. И держался с ней так же нетерпеливо и сердито, как и с нами. «Одичал», — говорили о нем сестры. Его не сменяли, хотя кто-то из полицаев приходил в лагерь. Ему предстояло пройти и карантин вместе с нами. Присутствие запершегося в вахштубе Апштейна часто не замечалось, но ощущалось всегда. Вечером он из вахштубы выключал обычный свет и оставлял маскировочный синий, который почему-то плохо действовал на больных. Иногда слышно было, как он кричал на сестер, грозил Марии Черной. Но по лестнице он еще не

поднимался и к нам не входил. Тиф испугал немцев. Эпидемия началась в лагере, но умерли первыми полицейский фельдшер, который накладывал мне гипс на руку, и немец врач. Были случаи тифа и на фабрике среди немцев рабочих. Так что, должно быть, Апштейн считался героем. Возможно, он просто подрабатывал.

Впервые Апштейн вошел в наше помещение вместе с новым старшим лагерным полицаем Фрицем. Фриц появился в лагере в самом начале сорок третьего года. Тогда же появились Бородавка, Перебиты-Поломаны Крылья, Поляк и еще несколько молодых полицаяев. Все они побывали на восточном фронте, знали два-три десятка русских слов (Поляк говорил по-польски), приходили в лагерь в полувоенных мундирах. Левое плечо френча, который носил Перебиты-Поломаны Крылья, задиралось вверх, бледное лицо казалось напудренным, вместо левой руки протез в черной перчатке. Взгляд над головами, не замечающий, страшный. Такой человек раньше выстрелит, а потом скажет. И френч, и рубашка, и галстук, и сапоги такой чистоты и незамятости, будто на стул не присел, не по земле пришел, не этим воздухом дышит. Ни разу его не видели смеющимся или улыбающимся.

Бородавка был тонкоголос и истеричен. Мучился подозрениями, что о нем плохо говорят по-русски. На пересчете набрасывался:

— Вас гаст ду гезагт?¹

Голос делался нестерпимо высоким. Жертва вытирала разбитый в кровь нос (дрался жестоко, но почему-то не мог утратить), а кто-то отвлекал его:

— Бородавку срежь!

Казалось, он обижался. Потом сдавался, уставал, приносил две-три сигареты, словно заключал перемирие, просил считать себя хорошим. Но тут же опять бил и бился в истерику, потому что кто-нибудь кричал за его спиной:

— Бородавчатый!

Его перевели полицаем в женский лагерь, но потом вернули к нам. Женщины держались с ним еще более дерзко, чем мы.

Опы были жесточе, равнодушнее, но и ровнее, чем эти недавние фротовики, пришедшие в лагерь после ранений и госпиталя. Вначале им было любопытно и они как будто рассчитывали на наше любопытство. Спрашивали:

¹ — Что ты сказал?

— Во фон?¹ — Кивали. — Я, я. Их аух Минск..

Фриц, который так и остался без ключки, и Поляк, казалось, готовы были даже завести знакомства. Поляк перешучивался с поляками, подмигивал нам. То есть заходил так далеко, что ему приходилось оглядываться, не смотрит ли кто из своих.

Постоянные кранки раньше знакомились с новыми полицаями, видели их не во время пересчета, а в течение всего дня, замечали, как те вживались в новую форму, усваивали полицейские повадки, походку, интонацию.

В одно из первых своих дежурств Фриц поднялся на второй этаж, где в то время собрались ночники и кранки. Его не сразу заметили, вошел он как-то буднично. На нем была серая рубашка, френч он по-домашнему оставил в вахтштубе. Все замерли, потому что поздно было прятать или прятаться. Он остановился у стола, на котором стояла самодельная шахматная доска. Я проигрывал Лева-кранку. Мы тоже замерли, не знали, как отнесется к шахматам новый полицай. Фриц показал, что мой король долго не продержится.

— Ну?

Лева-кранк, хоть и выигрывал, тотчас уступил ему место. Фриц вопросительно посмотрел на него, на меня и стал расставлять фигуры. Не присаживаясь, сделал первый ход. Было видно, что с шахматами он почти незнаком. Сделал пять-шесть ходов и махнул рукой. Показал на голову — контужена. Покраснел и пошел к двери, не объяснив, зачем приходил.

Он был среднего роста, ходил небыстрой, неподгоняющей походкой, редко кричал. Лицом, повадкой, послегоспитальной усталостью, послеоперационной осторожностью, аккуратностью был будничен, обнадеживающе обыкновенен. Поляк на третий же день кого-то избил, Фриц никого не ударил, и за ним закрепилось — «незлой». Но вдруг мы узнали, что Пирек переведен в рядовые полицейские, а старшим стал Фриц. Это испугало — от Фрица меньше прятались.

Все это вспомнилось, когда Фриц, Поляк и Перебиты-Поломаны Крылья пришли к нам, тифозным. Мы услышали немецкую речь на лестнице. Софья Алексеевна побледнела, посмотрела на Марию Черную, на сестер и, как перед обходом, выпрямилась. Мария вдруг вздернула подбородок.

¹ — Откуда?

— Софья Алексеевна, я уйду! Я не выдержу, наговорю им...

И, не ожидая ответа, пошла к двери. Мы услышали стук ее каблуков и шаги полицейских, поднимающихся по лестнице. Софья Алексеевна не ответила Марии, не заметила, как та ушла. Она стояла спиной к двери, готовилась к утреннему обходу и не повернулась, не отвлеклась, не дала отвлечься сестрам.

За день перед этим на всех наших койках поменяли температурные листы. На новых листах температура у нас оказалась повышенной. Впервые все мы с Софьей Алексеевной были в заговоре. Все понимали, с каким напряжением она ждет немцев.

Она не пошла к ним навстречу, слегка повернулась. Первым вошел Фриц, но его тут же обогнал Апштейн. Он выскочил из-за спин Поляка, напудренного Перебиты-Переломаны Крылья и закричал на Софью Алексеевну, грозя указательным пальцем прямо перед ее лицом. Присутствие в тифозном лагере Апштейна мы ощущали всегда. Но он редко давал о себе знать: почти не кричал, в двери к больным ни разу не заглянул. И хотя скрытое его присутствие было угнетающим, казалось, что он изменился в этом лагере больных. Мы ведь изменились. Казалось, он признал старшинство Софьи Алексеевны — ни разу не вмешался в ее распоряжение. А теперь кричал:

— Саботаж!

Лысина налилась краской, очки запотели.

Апштейн не изменился, изменился Фриц. От его сапог, козырька форменной фуражки шел лаковый блеск. На нем был черный новый мундир. Исчезли госпитальная усталость, послеоперационная осторожность в движениях. Он не посмотрел в сторону Апштейна и Софьи Алексеевны, ждал, пока Апштейн выкричится.

Софья Алексеевна сказала по-немецки:

— В больнице не кричат!

Фриц не повернулся к ней и на этот раз, двинулся между койками. Шел медленно, присматривался к температурным листам. Апштейн и тут обогнал его, принюхивался, на что-то указывал Фрицу пальцем. Глаза в стеклах очков были невероятно расширенными. Было страшно следить за его подкрадывающейся походкой. И вот что поражало: добровольно оставшись полицаем тифозных больных, он ненавидел нас, бессильных, разучившихся ходить. Перебиты-Поломаны Крылья, Поляк, Бородавка были людьми более опасными, но у них не было такого заряда ненависти.

Фриц прошел до конца межкомнатного коридора, быстрыми шагами вернулся к двери и сказал:

— У вас будет настоящий немецкий врач. Скорее поправитесь и начнете работать. Ну? Вам нужен воздух. Работа на чистом воздухе.

Полицейские ушли. Апштейн задержался в дверях. Сверкая слепыми стеклами очков, погрозил пальцем.

— Саботаж!

Мы слышали, как он догонял полицейских, топал по ступенькам вниз. На некоторое время немецкий говор затих — полицейские ушли в вахтштубу, — потом опять возник, грохнул запор на выходной двери, и мы остались с Апштейном.

В этот день я попытался подняться с койки. Я уже сидел, спускал ноги на пол, а тут поднялся, взглянул с высоты своего роста вниз, как с горы. Голова закружилась, и я упал на руки Софье Алексеевне. Я видел, как учатся ходить другие, догадывался, что мне предстоит то же самое, но то, что произошло, ошеломило меня. Я ведь видел лунатическую ловкость и силу бредящих, сам в бреду сбрасывал на пол тяжелый матрац, куда-то мчался. Послебредовое бессилие других казалось мне слабодушием, а не слабостью тела. Детские неловкие движения взрослых людей, детская растерянность на лицах, вскрикивания раздражали меня. Мне казалось, что выздоравливающие притворяются для того, чтобы почаще подзывать к себе Софью Алексеевну, Марию Черную или других сестер. Было стыдно, что они не стесняются обнаруживать перед женщинами свою полную слабость. Софья Алексеевна уже несколько раз спрашивала меня, не пробую ли я ходить. Но я боялся, что сам окажусь таким же слабым, как другие (были самостоятельные и полностью отказывающиеся от самостоятельности), и не мог преодолеть свою застенчивость. Обидно, что подросшая на помощь Софья Алексеевна лучше меня знала, что должно произойти. Я чувствовал, что на лице у меня та самая детская растерянность, которую я видел у других. Только теперь я по-настоящему понял, в какой зависимости я все это время был. Понял значение младенчески растерянных улыбок у тех, кто делал первые шаги. Что-то открывалось человеку. Не «сестра», а «сестричка» начинали говорить в этот момент. Уходили боль и мука болезни, оставалась слабость. Она была так велика, так меняла представление о мире, о расстоянии от койки до койки, о доступном и невозможном, что ошеломленный человек, лежащий на

чистом, укрытый чистым, вдруг все разом вспоминал. Ему открывалось, что только безграничная добровольная доброта удержала его на таком краю, где, казалось, самой доброте и самоотверженности не на что опереться. После болезни он возвращался в ужасный мир, но, просыпаясь, видел перед собой лица Софьи Алексеевны, Марии Черной, других сестер и растерянно, расслабленно шурился на дневной свет. Научившись ходить, человек становился больше сам по себе, но уже не мог забыть того, что ему открылось, когда он после болезни поднимался на подгибающиеся ноги.

Это был, конечно, самый важный урок из тех, которые преподнесла мне жизнь в лагере. И я не «потом», не через много лет, а тогда же это понял (хотя, конечно, теперь я лучше понимаю, каким чудом был этот наш тифозный лагерь).

— Ну, теперь ты пойдешь,— сказала мне Софья Алексеевна.— Еще лучше научись ходить. Как тебя зовут? Сергей? Теперь я в тебя верю.

— А вас не заберут? — спросил я.

— Ты же взрослый,— сказала она мне.— Могут забрать.

Подошла Мария Черная. Вдвоем они уложили меня на койку, и я почувствовал прилив жара. Но это был не температурный жар, а жар слабости, физического усилия.

Мария смеялась. Сказаны были все шутки:

— Плясать будет.

— На свадьбе!

— Он из лагеря бегал. Ему быстрые ноги нужны!

Софья Алексеевна стала серьезней.

— Бегал?

Я кивнул.

— Поймали?

— Да.

Я почувствовал какой-то интерес, потянулся к нему.

— Били?

— Руку сломали.

— Я не знала. Какую? Ну-ка покажи.

Она присела на койку, а не на табурет, взяла руку, помяла кисть, потянула, согнула руку в локте.

— Работает?

— Плохо разворачивается,— сказал я. Мне хотелось, чтобы она дольше сидела рядом, дольше мяла мою руку. Но она вдруг поднялась.

— Вот видишь, какой ты строптивый. И болел

строптиво. Недаром мы с тобой помучались.

Сказала суховато, как бы отстраняясь. Словно решила, что слишком размягчилась со мной.

Они ушли с Марией. Мария задержалась в дверях,ostroила гримасу, показала, как Апштейн грозил пальцем: «Саботаж!»

А для меня началось выздоровление. Возвращалось желание двигаться. Но и от самой слабости своей я стал получать радость. Как в детстве, ко мне, лежащему на койке, все приходило само. Ночью подходила дежурная сестра: «Звал? Спи...» И возвращалась туда, где кто-то не спал, где шли долгие ночные разговоры. И, как в детстве, разговоры взрослых заинтересовывали и успокаивали меня. Жизнь в этих разговорах была долгой, наполненной событиями, которые со мной еще не происходили. Сама длина этой жизни успокаивала. Опять подходила сестра: «Не спишь, отоспался?» — и опять торопилась к разговору, который ей был еще более интересен, чем мне. Утром подступал свет, появлялась умытая Мария Черная. И, наконец, приходила Софья Алексеевна. Ждали ее с тревогой: придет или не придет?

В эти дни не то чтобы отошло, а как-то изменилось отчаяние. Перестало быть омертвляющим.

На второй день я оторвался от койки и удержался на ногах. И соседям было интересно, как я пройду несколько первых шагов.

В это же время выписали первую партию выздоровевших. Здоровых, помогавших сестрам стирать, дезинфицировать одежду тифозных, поднимавших на второй и третий этажи термосы с баландой, было уже человек десять. Однако выписывала Софья Алексеевна только четырех. Все это были пожилые люди. Они пришли попрощаться. Принимали записки в лагерь. Благодарили Софью Алексеевну, сестер. Но с Марией Черной попрощаться не смогли. Мария лежала на третьем этаже в тифозном бреду. Впервые я видел Софью Алексеевну смущенной. Она говорила уходящим в лагерь:

— Не болейте. Старайтесь не болеть.

Кивала, когда ее благодарили. Все понимали, что появление полицейских в лагере не могло пройти бесследно. Но почему выписывали этих четверых? Наверно, сама Софья Алексеевна не смогла бы этого объяснить. Поэтому она и смущалась.

— Кого-то надо было, — объяснил мой сосед.

Кто-то предположил:

— Старики! Сами попрѣсились. Привыкли работать.

Кто-то оскалился:

— Тебя не трогают? Лежи!

Потом Софья Алексеевна объявила, что теперь первый этаж отводится для выздоравливающих. Для тех, кто проходит карантин.

Все поняли, первый этаж — ближе к выписке.

Софья Алексеевна сама объявила, кто остается на первом этаже. Мне она сказала:

— Ты еще болен.

На втором этаже я сразу увидел Андрия. Он сидел на койке, смотрел, как распределяют новичков с первого этажа. Я крикнул:

— Андрий!

Он не услышал и не понял, кому я машу рукой. Рядом с ним было свободное место. Я попросил, чтобы меня положили туда. И только когда меня подвели, он как бы нехотя, не доверяя себе, узнал меня.

— А говорили, ты умер,— сказал он мне своим гнусавым голосом. И гнусавость показалась мне родной.

— Андрий! Где Володя?

— Володя болен,— сказал Андрий безнадежно.

— Где он?

— Болен,— все так же сокрушенно сказал Андрий. И тут я увидел Володю. Его койка стояла ближе к окну. Смуглое Володино лицо как будто покрылось траурным болезненным загаром, а десны побелели. Я видел эту улыбку, но принял ее за гримасу бредящего человека. Володя слышал, как я кричал Андрию.

— Жив? — сказал я.

— Ничего,— ответил Володя.— С Андреем давно не разговаривал. Кричать не могу.

— Давно здесь?

— Там все написано,— слабо кивнул Володя на спинку койки, с обратной стороны которой был приклеен температурный лист.— Скажи Андрею, пусть даст воды.

Я было потянулся за водой. Но Володя остановил меня:

— Скажи ему.

— Андрий,— крикнул я Андрию, ревниво прислушивавшемуся к нашему разговору,— Володя просит воды.

Андрий подхватился и, страдальчески гнусавя, отводя глаза, сказал:

— Ему нельзя разговаривать. Он болен.

Пока Володя пил, он поддерживал его. Сказал с просительной ревнивой хрипотцой:

— Тебе низко? Я тебе свою подушку подложу. Мне не нужно.

— Не надо, Андрей,— сказал Володя. Но Андрий, будто не услышав, взял свою подушку.

Володя сказал мне:

— Скажи ему, что мне не нужно, что мне будет неудобно.

Теперь к Андриевой смущенной гнусавости прибавился ревнивый клетот.

— Ему низко,— объяснил он мне.— У него температура. А мне не нужно. Я днем не сплю.

Он отворачивался от меня. Не мог справиться с ревностью и смущением. Подушка осталась у него. Но он долго не мог успокоиться. Вновь принимался за свое:

— Воло-одя!

Володя слабо махал рукой, Андрий возвращался на место, говорил со старушечьей сварливой убежденностью:

— Не жалеешь себя. На других смотришь. А ты о себе подумай. Какое тебе дело до других!

Володя сказал мне:

— Стефан здесь. И папаша Зелинский. Найди его. Андрею недокричусь. Не захочет услышать, говорит: «Не слышу. Не понимаю». И все.

Стефана я нашел быстро. Его давно уже перевели на второй этаж. Лицо его заросло щетиной, но не осунулось, не похудело, а как бы даже опухло. Поляки держались дружно. Из лагеря Стефану постоянно приходили передачи. Он сидел на койке, объяснял соседу, почему не бреется. Кожа на лице воспалилась.

Я поздоровался, спросил, как здоровье. Сосед, с которым Стефан только что разговаривал, засмеялся:

— Еще Польша не сгинела!

Стефану шутка не понравилась, но он покивал мне, улыбнулся. Чувствовалось, что расспросы соседа о том, почему он не бреется, ему тоже не нравились. Стефан не мог определить, поддразнивают или спрашивают серьезно.

Он показал мне койку, на которой лежал папаша Зелинский. Папаша Зелинский разговаривал с соседом.

— Боятся все,— говорил Зелинский.— Страх — дело обычное. Дело в том, как к своему страху относишься. Нас тут всех испытывают страхом. Можно с ним ужиться?

— Есть страх благодетельный,— сказал сосед.

— Не от разной веры мы с вами идем,— сказал Зелинский,— от разных ощущений. Если страх противен, с ним невозможно ужиться. Рано или поздно вы постаре-

тесь от него избавиться.

Зелинский словно бы видел не собеседника, а слова, которые тот произносил. Человек мог быть глупым, неприятным, мог раздражать. Но слова папашу Зелинского никогда не раздражали. Прикрыв тяжелыми веками выпуклые глаза, пофырвав простуженным носом, он с одинаковой сосредоточенностью отвечал и глупым и умным, и тем, от кого в лагере просто отмахивались. Это была удивительно сильная, завораживающая меня манера разговаривать. И сейчас папаша Зелинский разговаривал с тем самым верующим стариком, который жил в лагере молча.

— Молоток приобрел, — говорил старик, — к нему гвозди. Ты им уже хозяин. Приобрел тисочки — нужны наковальня и точило. Поступил заказ — ищешь помощника. Помощника нанял — нужен второй молоток. Молоток не справляется — придет кувалда. Вот оно как было всегда. Без собственности у человека кривая душа. Без собственности нет оседлости. Нет оседлости — нет страха. Оседлый человек боится соседа. Без этого страха нет стыда. Стыд и религия укрепляют души. Утратил оседлость — по-вашему, летун, а по-моему, кочевник. У кочевника душа ко всему холодеет. И к самому себе, и к государственному делу.

Старик увидел меня, и в глазах его появился оловянный, иконный блеск. Зелинский молчал, глядя на кончик своего простуженного носа. Словно приводил в порядок слова старика.

— Вы рассказываете, — сказал он, — как появляется собственность. Но начинаете с того, что собственность уже существует. *Приобрел* молоток, говорите вы. Кроме того, молоток вы приобретаете вместе с помощником и тем самым лишаете его собственной точки зрения на ваше рассуждение. А это, знаете ли, самая главная ваша ошибка.

Но старик, все так же косясь на меня оловянными, иконными глазами, заговорил горячо и непонятно:

— Религия есть проводник природных и духовных законов в народ. Молитва очищает мысль от грязных слов. Душа молитвой, как птица крыльями, возносится в светлое небо. Обрушились на священный мир... Религия — дуб неподатливый... Гранит неподатливый. Тверже гранита: ее нельзя взвесить, нельзя измерить, а силы в ней... Вера развивается и без доступа света, в темноте, как гриб-шампиньон... Как замерзающая вода. Какое бы давление

ни создавали, она при замерзании увеличивается в объеме и рвет сосуд... Духовная сила сама ведет в храм...

И совсем непонятно:

— Лишение церкви храма... Котел крещения...

Много было в речи старика каких-то сладких слов. И чем слаще они были, тем неприятнее меня поражали.

— Льнут, как пчелы к липе... Как голуби... Каждый молящийся вдыхает в себя запах ладана.

Голуби и пчелы — это уже было для меня, а не для Зелинского. О голубях и пчелах я уже кое-что знал. Когда я еще не ходил в школу, у нас жила няня. Она молилась, а когда родители уходили, пела что-то церковное. Это пение вызывало у меня необъяснимый страх. Будто завели в дальнюю комнату и погасили свет. И, как на погашенный свет, я реагировал криком. Приспосабливаясь ко мне, няня говорила детскими, сладкими словами. А это-то я ненавидел больше всего, хотя ничего не имел против пчел или голубей. Бога никто не видит, говорила няня, потому что, обидевшись на таких, как я, он уехал. «Куда?!» — кричал я. «Далеко». — «На чем?!» — «На поезде». И я опять начинал кричать, протестуя против бессмыслицы. Успокаивая меня, няня предлагала новый вариант: «Улетел на аэроплане».

Костика со мной не было. Некому было сказать: «Повесься, старик!» Поражало, как много и горячо говорил этот всегда молчавший человек. Раньше меня раздражало: что за этим замкнутым лицом? Оказалось, были заперты слова тусклые, как нищенское серебро — олово. Они были стары, как сам старик. Много лет они не менялись. Не менялась и какая-то ловкая связь между ними. Вот сейчас выговорится и опять замкнется. И что хочешь с ним делай, заговорит через год или два — все то же самое. И ведь досадно: такая редкость, такая это ценность — упорство. И Зелинскому нечего тут взять.

В то же время я понимал: хорошо, что старик говорит. Что-то хорошее происходит между ним и Зелинским. Хорошее не только для них двоих, но и для меня и для других. И не в словах тут дело.

Наконец папаша Зелинский почувствовал, что кто-то рядом стоит. Он посопел, собираясь с силами, и на минуту поднял веки. Туман в глазах его прояснился, он опустил веки и сказал:

— Мне говорили, что ты здесь. Я тебя ждал.

На первый этаж я попал вместе с Андрием, Володей, Стефаном, папашей Зелинским. Это была последняя карантинная партия. Вместе с нами проходили карантин и сестры. Их было пятеро, они переболели тифом, ходили плотно повязанные косынками. Койки их стояли на солнечном месте, у окна. Просыпаясь, девушки сразу же поправляли косынки. Спали тоже в косынках. Если во сне у кого-то косынка сбивалась, подружки будили ее, а мы поглядывали искоса — проснется и сконфузится. И точно, конфузилась. У Марии Черной новые волосы слегка отросли и завивались. Они были еще коротки, но Мария, единственная из девушек, не боялась показывать свою мальчишечью голову.

Софью Алексеену мы давно не видели. Что с ней произошло, никто не знал. Спросили у Апштейна, где русский врач. Апштейн уставился яростными слепыми глазами, угрожающе замахал пальцам.

— Руссише арцт! Руссише арцт!¹

Днем Апштейн серел, редко показывался из вахтштубы. Электрический свет, который он сам же включал, преображал его. Кожа, обтягивавшая лысый череп, молодедела, на ней появлялся электрический загар, в очках блеск. Из вахтштубы к нам, на первый этаж, было близко. Апштейн прибегал на всякий шум.

— Руих!²

Очки блестели. Глаз не было видно. Нельзя было понять, куда он смотрит и что заметил.

Теперь он был не один. С ним дежурил сменный полицай. Но Поляк, Бородавка, Перебиты-Поломаны Крылья или Пирек не проявляли энтузиазма. В зал заходили неохотно. Держались от бывших тифозных на расстоянии. Но все же вслед за Апштейном входили в зал два-три раза за вечер. И, пока Апштейн бегал с резиновой палкой по межкочечным коридорам, дежурили у двери.

Сумел удержаться до последней карантинной партии и Соколик.

На первом этаже Володя предложил мне лечь рядом, и я обрадовался — это были как раз те слова, которых я долго добивался.

По соседству были койки папаши Зелинского, Соколи-

¹ — Русский врач!

² — Тихо!

ка, Андрия. К Зелинскому, как всегда, сходились для вечерних и ночных разговоров. Я караулил Апштейна у дверей. Надо было поднять тревогу так, чтобы все успели разбежаться по своим местам. Надо было и самому успеть пробежать по межкочному коридору, лечь и накрыться одеялом с головой. Бежать было довольно далеко. Я не всегда успевал. Тогда я падал на пол между койками и замирал. Сердце колотилось. Но это был не только страх. Мы сами, наверное, не замечали, как изменились после болезни. Апштейн раза три вызывал лагерную полицию. Но, должно быть, Апштейну не очень верили. Приезжал Фриц, проходил по нашим рядам, недоверчиво оглядывал наши истощенные лица, бритые головы, произносил несколько угрожающих слов. Обещал в следующий раз проверить у всех пульс. Пульс покажет, кто действительно спит, а кто нарушает порядок.

— Ну?

Уходил, не глядя на Апштейна.

В этот вечер Апштейн дважды стрелял из револьвера над койками. Все дело было в том, что через день карантин кончался. Как только Апштейн гасил свет, поднимался крик. Закутавшись в одеяло, вскочила на своей койке Мария Черная.

В темноту от двери ударила синеватая короткая молния. Зажегся свет, Апштейн бросился между койками. В воздухе раздражающе пахло окалиной. Звук выстрела, казалось, задерживался в нашем закрытом помещении. Кричали, и нельзя было понять, попало ли в кого-нибудь. У папаши Зелинского было такое лицо, будто он борется с тошнотой. Глаза его были закрыты.

Апштейн, словно оглохнув от крика, выскочил, но свет продолжал гореть. Свет после отбоя мог означать только одно — что-то готовится. Дремавший Андрий сощурился на свет, спросил Володю:

— Проверка?

— Спи, Андрей! — засмеялся Володя. — Спи!

Я взглянул на папашу Зелинского. Он был бледен, словно Апштейн попал в него. Соколик лежал молча, натянув одеяло на подбородок. Не участвовал...

Я привык оглядываться на Соколика. Он по-волчьи чувствовал опасность. Но все-таки я встал и на цыпочках пошел к двери. Горел свет, все лежали на своих местах, я был отовсюду виден, но что-то толкало меня. Недаром моя койка теперь была рядом с Володиной.

У двери прислушался, не дышит ли за дверью

Апштейн. Потом осторожно надавил, дверь отошла. Я выглянул, увидел освещенную лестничную площадку, услышал запах извести и карболки, поднимающийся из умывалки. Секунду поколебавшись, вышел на площадку и сделал всем знак — вот я где! Заглянул в коридорчик, ведущий к вахштубе, и вернулся на свой пост к двери.

Кто-то грозил Бургомистру:

— Смотри, Борис Васильевич! Скажешь, гадина, слово...

У лагерной полиции не было своего транспорта. Полицейские ходили пешком или ездили на велосипедах. Я долго простоял босиком на цементном полу, пока у входной двери позвонили. Когда Апштейн, Фриц и Поляк вошли в зал, я уже лежал на койке, накрывшись одеялом с головой. Мне казалось, что я все успел сделать вовремя. Но Апштейн прошел прямо ко мне, сорвал одеяло, и я несколько мгновений ослепленно и заворуженно смотрел, как, надавливая спусковой крючок, дрожит его палец. У револьвера спуск долгий. Я видел красную от ярости лысину, прицеливающиеся стекла очков, видел ствол большого револьвера, тянущийся ко мне так, будто Апштейну было мало выстрелить, хотелось проткнуть меня. Но не по его лицу, а по лицам Фрица и Поляка я лихорадочно старался понять, выстрелит или не выстрелит. Они стояли за его спиной в мокрых плащах, от которых пахло дождем, улицей, ветром — запахом воли, который мы все здесь так сильно чувствовали. Они ждали. И я сам подался навстречу — так было легче ждать выстрела. Когда дрожащий палец Апштейна ослаб и, дотянувшись, он ткнул меня под ключицу, я не почувствовал боли. Фриц закричал:

— Нумер? — и погрозил пальцем: — Их ниht фергесен!¹

Они двинулись дальше по межкочному коридору. Апштейн тянулся стволом к чьему-то лицу, и палец его дрожал от нетерпения на курке. Одеяла он срывал со случайных людей. Верующий старик и Андрий привлекли его тем, что не старались притвориться спящими. Казалось, Андрия он точно застрелит, так побледнел, так, заслоняясь, вытянул руки Андрий. Старик лишь слегка отвернул лицо, в глазах его был обычный тусклый блеск.

Уходя, Фриц сказал:

— Тот, кто нарушит порядок, завтра выходит на работу.

¹ — Номер? Я не забуду!

Фриц ушел, а в лагере остался Поляк. Свет погасили, оставили синюю маскировочную лампочку.

Андрей бормотал, разговаривал сам с собой. Не возмущался, а оправдывался. Плечо он задирает, будто хотел его прижать к больному уху.

— Андрей! — успокаивал его Володя. — Они ошиблись. Все в порядке! Ты ни в чем не виноват.

— Шумят! — осуждающе сказал Андрей. — Они и сердятся! Зачем шуметь?

А я не мог очнуться. Ощущение стрельбы, внимательных, ждущих выстрела глаз Фрица и Поляка, револьвера, которым нам грозили впервые с тех пор, как мы заболели, было непереносимым. Нас готовили к лагерному режиму, показывали, что ничего для нас не изменилось.

Крик начался сам собой. Дверь тотчас распахнулась — Поляк и Апштейн ждали. Когда Поляк пробежал, Соколик сказал:

— Проклятый Поляк.

Он вернулся:

— Вер гаст гезагт «Поляк»?

Он так истерично кричал, словно кличка напугала его, словно боялся, что об этой кличке узнает Апштейн. Шел на Соколика, а потянул парня с ближайшей койки. Было слышно, как Поляк топтал его. Тот кричал:

— Не я!

Соколик молчал. Я увидел, как Володя вдруг нагнулся под койку и, приподнявшись, швырнул в Поляка деревянным башмаком. Сразу же из коечной глубины полетел второй башмак. И, хотя ни в Поляка, ни в Апштейна не попало, мы увидели, как, ни секунды не промедлив, они побежали. Они так быстро бежали, такие у них были спины, что все сразу почувствовали — это ведь всегда жило в них! Вслед летели деревянные колодки. А Володя вытащил из-под матраца доску и побежал к двери. Он стал у притолоки, и все замолчали, почувствовали — откроется дверь и всех нас, не только Володю, перебросит за ту грань, которую все инстинктивно старались не перейти. А к Володе с доской в руках спешил Стефан. Небритое лицо его было решительным.

Андрей гнусаво и просительно крикнул:

— Воло-одя!

На него замахали руками.

На двери, обитой железом, был запор, оставшийся с тех времен, когда здесь была фабрика.

Володе крикнули:

— Запри!

Володя подождал немного и приоткрыл дверь. На цыпочках вышел на площадку. Вернулся.

— Заперлись в вахштубе.

Погасла синяя лампочка. Свет шел с лестничной площадки.

Соколик, который молчал, когда Поляк топтал парня, кричавшего «Не я!», сказал с ненавистью:

— Сейчас приедут и всех передавят.

Я увидел в освещенном проеме двери плотную фигуру Бургомистра. С одеялом он вышел на лестничную площадку. Крикнули:

— Не пускайте его!

Володя сказал:

— Пусть идет. Кто еще? Идите! Я запрю.

Пригибаясь, захватив одеяла, вышли еще несколько человек. Они поднимались на второй этаж.

Володя сказал:

— Девушки, вы бы ушли!

Девушек уговаривали. Кого-то еще уговаривали. Все стали добрыми. Предложили уйти Стефану. Стефан не ответил. Кто-то сказал:

— Да он ушел.

— Тут, — сказал Стефан. — Я тут.

— Закрываю? — сказал Володя.

Стало темно. Володя в темноте скрипел засовом. Потом я услышал, как он легко лег своим худым телом на койку.

Свет зажегся часа через два. За дверью по лестнице и лестничной площадке топало много ног. В дверь ударили, стали дергать. Слышны были крик Апштейна и голос Фрица. Я взглянул на ряды коек. В сером электрическом свете видны только серые одеяла. Все лежали молча. За дверью произошло какое-то движение, затем стихло.

— Зелинский, — сказал чей-то уверенный и как будто веселый голос, — откройте!

Голос звучал так внятно, будто говорящий нашел в двери щель. Все замерли. Я осторожно взглянул на папашу Зелинского. Он, как мертвый, лежал на спине, и, как у мертвого, выпуклые глаза его были закрыты тяжелыми веками.

— Зелинский, — сказал тот же уверенный, свободный от полицейской суетливой ярости голос, — нет смысла молчать. Я Шульц. Даем пять... три минуты.

Я узнал голос главного инженера. Все смотрели на Зелинского, но он лежал неподвижно. Сердце мое начало

отстукивать минуты, а в дверь уже ударили. Теперь принялись всерьез. Полетела штукатурка. С той стороны на штукатурку наступали сапогами. Слышно было, как расширяется зазор, в котором ходит дверь. Щель теперь все увеличивалась, и голоса, и дыхание ломающих дверь были уже как бы с этой стороны.

— Мерзавцы! — крикнул кто-то и швырнул эмалированную кружку. Кружка со звоном ударилась о цементный пол.

Еще стали кидать. С той стороны слышали. Кто-то скомандовал:

— Осторожно!

Дверь расшатывали. И мы, и немцы одновременно по хрусту штукатурки почувствовали, что она пошла, что держаться ей минуту. Дыхание ломающих стало напористей.

И тут на цыпочках, словно боясь спугнуть ломающих, Володя побежал к двери. Я видел его узкую спину, видел, как легко, почти не касаясь пола, он бежит, и сам, удивляясь тому, что не чувствую босыми ногами цементного пола, побежал туда, где с досками в руках собирались Володя, Андрий, Стефан...

Нас сразу сбили с ног — ворвались не только лагерные полицаи, но и городские жандармы. И только Володя, пропуская всех, прижимаясь к стене, взмахнул доской, когда с ним поравнялся Апштейн. Я видел, каким потрясенным стало лицо Апштейна. Володя прицелился еще раз и сел, опираясь спиной о стену. Сразу же его заслонили спины в шинелях. Меня удивляло, как легко сгибаются рукава этих жестких шинелей. Я бы вздохнуть не мог под крутой форменной грудью, не то что согнуть рукав. Того, кто выстрелил в Володю, я не видел. Догадался, что его видит Андрий. У Андрия было мертвое лицо. Его свалили, а он все повторял:

— Какой ты!

Увели Зелинского, Стефана, Марию утащили Андрия. Володю унесли.

На улицу выгнали на рассвете. Резко для наших отвыкших легких пахло ночным морозцем. На солнце уже поднимался парок. Легкие, привыкшие к застою воздуха, задыхались в этом холоде и чистоте.

Когда пригнали в лагерь, бараки уже были пустыми. Первую смену выгнали на работу. Ночников, вышедших нас встречать, отогнали. Нас ждали дворовой мастер Урбан, Фриц и еще мастера и полицаи. Повели в сарай

разбирать инструмент. В сарае на полу лежал иней. Отполированная рукоятка кирки, доставшейся мне, оказалась скользкой и холодной, как лед.

Надо было рыть траншею под канализацию или водопровод. На дне траншеи земляной окопный холод, нётающая изморозь. Земля со звоном — то ли камень, то ли лед. Должно быть, я слишком долго медлил, и мне стали подсказывать:

— Давай, давай, смотрят же. Ударь пару раз. Они скоро уйдут.

Я махнул киркой и упал — тяжелая кирка потянула меня за собой. Кирку я бросил и полез наверх, чувствуя, как тает иней под моими ладонями. Наверху ждали молча. Кто-то уговаривал меня торопливым шепотом:

— Что делаешь! Плюнь! Убьют. Поковыряй немного. Они уйдут.

Участие согрело меня. Тот, кто говорил, рисковал, что и ему достанется.

Урбан в своей расстегнутой на солнце куртке, напоминающей наш ватник, в фуражке с черным лакированным козырьком, которую на фабрике носило большинство немцев рабочих, смотрел, как всегда, чуть в сторону, не подгонял, не пугал пристальным взглядом. Лицо его было серьезно. Он ждал.

Только теперь я понял, почему тот человек мне твердил: «Они скоро уйдут». Фриц был без плаща, без пальто. Своё форменное пальто он оставил в полицейском бараке, вышел на весеннее солнце в одном мундире. Рядом с людьми в пальто и куртках он казался бодрым, спортивным. Совсем не был похож на того усталого, только что выписавшегося из госпиталя, штатского по натуре человека, которого, как нам казалось, военный случай сделал нашим полицаем.

Фриц тоже ждал. Из соседней траншеи мне сказали:

— Иди сюда. Тут есть кирка полегче. Иди быстрее!

Я увидел, на деревянных ступеньках нашего и французского барачков стоят люди. Заметил, что солнце скоро попадет в траншею и там потеплеет.

— Они же не посмотрят, что ты больной, — сказали мне.

Должно быть, Фриц все-таки учитывал, что я больной. Глаза его угрожающе отвердели, но он не мешал уговаривающим меня. Даже взял за плечо и подтолкнул к траншее.

— Ну?

Я видел, что он сейчас взорвется, преодолет удивление, утреннюю лень, ненастроенность, нежелание пачкать сапоги, но что-то во мне оглохло. Когда ночью жандармы ломали дверь, сердце мое стучало так, что в груди от его ударов до сих пор осталась болезненная память. Потом меня пинали, били, и удары эти не увеличивали, а вытесняли страх. И когда Фриц свалил меня, я попытался подняться, чтобы броситься на него. И все ждал, вот будет главный, болезненный удар.

Два дня меня продержали в подвале. А потом присоединили к довольно большой партии кранков и доходяг, от которых хозяин фабрики Франц Метцгер освобождался. Нас посадили на два крытых грузовика и отвезли в другой город.

12

Городок назывался Лангенберг. Лагерь располагался в пойме бывшей речки. Это была тлеющая тиной сточная промышленная канава. Всю чистую воду забирали фабрики, находившиеся выше по течению. Бараки, образуя каре, упирались в самое высокое место насыпи, ведущей на мост. Цементная водосточная труба, прорезавшая насыпь, предназначенная для спуска паводка, выходила на лагерную площадь. Вход в эту трубу запирался дверью, а сама труба была превращена в бомбоубежище. Весь лагерь с его стандартными, общими для всех германских лагерей бараками (сквозной коридор, помещения по обе стороны коридора; или типа немецкого железнодорожного вагона: вход в каждое помещение с улицы) был как на ладони виден идущим по мосту. Виден он был и из окон трех-, четырехэтажных домов, которые снизу, из лагеря, казались очень высокими с их острыми черепичными крышами. Много раз я пытался поймать чей-нибудь нечаянный любопытный взгляд. Ни разу мне это не удавалось. То ли это было равнодушие, то ли дисциплина. Но в том и другом случаях нечто такое, глубины чего я не мог измерить. В барачных помещениях тоже все было привычно, стандартно: двухэтажные койки, бумажные матрасы, шкафчики из прессованного картона, запах соломенной трухи. Были, конечно, и отличия. Лагерь поменьше. Нам даже оставили имена, не заменили их номерами. Старшиной был не уголовник Грицка со стекленеющими глазами, а красавец Иван с пшеничным сельским чубом, голубыми глазами, молочной кожей, украинским говором.

Его и старшиной назначили за показательную арийскую внешность, высокую гнущуюся фигуру, неувовимо растворенную во всех чертах умственную отсталость. Нежданной значительностью он упивался, как и золотой коронкой на здоровом зубе, как и никелированными часиками на руке. В первый же день, осматривая новичков, сказал мне беззлобно и убежденно:

— Не жилец.

И с другими поделился:

— Я говорю, он не жилец.

Шея у него была любопытная, вытягивающаяся, длинная.

У него были основания так думать. Немец врач, убедившийся, что у меня температура, сказал:

— Это не болезнь — истощение. В лагере от истощения лекарства нет. На работу.

Ночью мы слышали глухие фабричные удары. Утром нас на эту фабрику отвели.

Она могла быть построена в начале века. Старые деревянные ворота в натеках масла, в заплатах, скреплялись металлическими полосами. Поверх выщербленного асфальта во дворе были проложены для одноколесных тачек невиданные мной полутора-двухметровые заготовки из металла. Эта железная дорожка вела в старый цех, в центре которого мы еще издали заметили тусклое струение, какое бывает над паровой машиной. Оттуда раздавались удары, сотрясавшие здание. Фабрика была вальцепроекатной. Главными в цеху были пять вытянутых в ряд тяжелых вальцов. Вращала их вкопанная в землю машина с огромным маховым колесом. Как на старых фабриках с их многочисленными трансмиссиями, передача на колесо была ременная. Но струение шло не от колеса, не от чудовищного ремня. Мерцали стальные катки. Даже когда машина стояла, в них как бы жило скрытое вращение. Тепло расплющенного, раздавленного железа переходило на их стекающую, катящуюся поверхность. Страшно было подумать, сколько железа они раздавили.

Когда работали горячие вальцы, по рольгангам катился вагонный рокот. Холодные вальцы протягивали металл с тележным хрустом. От горячих и шел сотрясающий фабричные стены, сотрясающий землю на несколько километров вокруг удар. Он был смягчен вязкостью разогретой болванки, на которую вкатывался многотонный каток. Удлинившуюся заготовку выталкивало на роль-

ганги, каток падал на свое место. Следовал более звонкий удар. И все повторялось.

Фабрика, в литейном цеху которой я работал, была новой, но и там заливку носили вручную. Здесь по пояс голый голландец огромными, связанными с малой подвесной дорогой щипцами вытаскивал из печи заготовку. Раскрытые поры металла простреливало, просвечивало жаром. На воздухе полутора-двухпудовая болванка вспыхивала и горела огнем, пока голландец вез ее к вальцам. Следовал удар, и уже с той стороны по каткам рольгангов бежали догоняющие языки пламени. В этом огне, которым схватывалось даже холодное железо, когда по нему, как вагон на железнодорожных стыках, грохотала постепенно тускнеющая заготовка, не могли работать обычные люди. Два немца и голландец, обслуживавшие горячие вальцы, казались сказочно огнеупорными. Летом и зимой они работали обнаженными по пояс, и было видно, какой исключительной мощью обладали их грудные клетки. Молодому голландцу нравилось работать по пояс голым. Немцы были широкобедрые, обросшие седеющей шерстью на животе и груди, оплывшие, утомленные жарой и постоянной опасностью. Работали на горячих вальцах по восемь часов без перерыва на обед. Приходили молча, отделялись ото всех пылающими рольгангами и уходили загадочными сверхлюдьми. Хотя, пожалуй, сверхчеловеком выглядел только голландец, заносчивый, поразительно красиво сложенный. Немцы и перед сменой казались усталыми и подавленными.

Обмедненную окалиной вытянутую заготовку переносили на холодные вальцы. Она становилась вороненой и прибавляла в длину. Передвигали к соседним вальцам с более узким зазором между катками. На последних вальцах это уже был вибрирующий четырехметровый стальной язык.

Немец подавал заготовку в вальцы, русский мальчишка принимал на брезентовую ладошку и пятился назад. Вальцы выталкивали железный язык, и второй мальчишка, стоящий у самых катков, подхватывал и поднимал его на верхний каток. Заготовка переваливалась к немцу, и он опять подавал.

В двенадцатичасовую смену маятник качался тысячу семьсот раз в одну и столько же в другую стороны. Норма на вальцы была сто сорок штук. Каждую заготовку прокатывали пятнадцать раз.

Я ощущал, вот вышла, но еще легко, держится сама.

А вот прогнулась, легла на руку, продавila брезентовую ладошку. Пройдет половину — оборвется в животе, но совсем невыносимо, когда заплывет под конец. Чтобы заготовка не прогнулась до земли, под ней длинная деревянная скамья. Ожившее железо бьет о дерево, вырывается из рук.

Верхний каток вращается к немцу. Но заготовку еще надо туда втолкнуть. Сама пойдет, когда перевалит за половину.

И жди снова...

К пятому разу металл нагревается, к десятому жжет через брезент. Ходишь целый день, привязанный к железу.

Себя, конечно, не видишь. Вижу, как стареет пятнадцатилетний Костик, который тоже попал в новый лагерь. Кап, старчески оседая при каждом шаге, пятится шестнадцатилетний белорус Саня с морщинами пожилого лилипута на крохотном личике. Немец не подгоняет, все делается само собой. Иногда немец что-то подмажет длинной масленкой, протрет мерцающий каток промасленной брезентовой ладошкой. Вальцы разделяют нас по грудь. За несколько месяцев почти ни слова. Иногда немцы меняются или нас переставляют с вальцов на вальцы. Все равно мерцающая линия вальцов разделяет нас. Кроме вальцов, в цеху все черно. Темен закопченный потолок, под которым, как в старых складских помещениях, летают ласточки и воробьи.

К немцам, с которыми мы работаем, у нас претензий нет. Меньше нормы сдаться не могут. Больше не делают. Лучше работать с теми, кто энергичней, кто успевает до обеда прокатать девяносто заготовок.

На мне две пары спецовочных брюк. Дыры нижних закрываются лохмотьями верхних. Спецовочный пиджак из колючего стекловолокна на голом теле. Все домашнее истлело или обменено на хлеб. На ногах колодки: задник картонный, верх брезентовый, подошва деревянная. Не то что бежать, двигаться — мучение. На ногах раны, кожа стерта. Подошва сломалась пополам и, как экскаватор, вбирает внутрь грязь и снег. Была цела, снег налипал, как на несмазанную лыжу, нога сваливалась набок.

В первый десятиминутный перерыв немец, сидя на скамейке со своей стороны вальцов, съедает бутерброд, выкуривает сигарету, и сладковатый запах слабого немецкого табака тянет через вальцы на нашу сторону. На время перерыва свет пригашен, и не видно, как мучает нас этот запах.

Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд: ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другое казалось страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому из многих сотен молодых и пожилых, веселых и злобных в голову не пришло дать мне хлеба. У меня ведь особый счет. Они взрослые, а я мальчишка. Я сам был разочарован в себе. Мое лишенное белков, солей, витаминов, истерзанное усталостью тело не давало мне секундной передышки. Страдание переутомлением, голодом, страхом, лагерным отчаянием было так велико, что тело становилось сильнее меня. Только бы сесть, лечь, прижаться к теплу. Они тоже жили на карточки. Сверхнапряжение государственной злобы, оплетавшее их, я чувствовал сильнее, чем они. Было нелогично дать мне хлеба. Но должна же была у кого-то из них в один из рабочих перерывов появиться такая нелогичная мысль!

Не запоздалая месть руководит мною. Был поставлен ужасный эксперимент (я дожил до того времени, когда это слово стали широко применять). Немногое я могу прибавить к тому, что уже об этом написано. Нужно только взять в расчет, что я был подросток и ни одного дня не просидел в концентрационном лагере.

Надо объяснить, как ум очищается от доброты. В детстве было просто. Ум — добр, злоба — глупа. Обидеть может дурак, защитит — умный. Слабость пронизательна. Очень быстро в уличном потоке выделяешь интеллигентные лица. Сама внешность немецких городов была интеллигентна. Интеллигентной внешностью обладали многие фабричные вещи. А все вместе жестокой петлей душило нас. Это был противоестественный ум — ум без доброты. И я ненавидел гладкий асфальт, ровный булыжник и чувствовал, что где-то в глубине подо всем этим лежит огромная, страшная, деятельная глупость.

Буду до конца честен. На другую сторону коромысла положу конфету. Она немало весит, если я ее до сих пор помню. Мы увидели ее на заборчике, которым был огражден железнодорожный переезд. Когда нас гнали разгружать вагоны, конфеты не было. Кто-то положил ее перед нашим возвращением. Малиновый цвет обертки был виден издалека. Наши шарящие голодные глаза сразу выделили его. Конвоир посмеивался, не возражал, но мы

не решались подойти: вдруг это шутка, розыгрыш. Конфета явно была дорогой, конвоир был заинтересован и даже прикрикнул на ближайшего: «Возьми!» Нас было пятеро, но и мне достался кусочек. Я понял только одно — из моего тела совершенно исчезла вкусовая память на довоенные конфеты. Я ощутил вкусовой шок, вкусовую трагедию. Но дело не в этом. Конфета, конечно, могла оказаться на заборчике случайно. Но мне почему-то до сих пор светит яркая малиновая фольга. Доброта в этом государстве и должна была прятаться, бояться быть узнанной. Однако не слишком ли хорошо она пряталась? Почву, на которой вырастает фашизм, надо исследовать тщательнее, чем само растение.

В сорок третьем году на фабрике появились люди, которым целым месяц приходилось хуже, чем нам. Они принесли с собой атмосферу наивности, птичьей неприкаянности, готовности показывать семейные фотографии. Это были итальянцы, «бадолио», как называли их немцы. Переход от положения первых союзников на самую низкую ступень — заключенных немецких лагерей — произошел для них ошеломляюще быстро. Мундиры те же, но это уже угнетающая одежда военнопленных. Сколько раз видел я, как быстро происходит такое превращение.

Они голодали еще сильнее, чем мы. И мы устраивали для них сбор баланды. Однако вскоре что-то произошло, и итальянцам значительно улучшили паек. Народ это был насвистывающий, напевающий.

В новом лагере мы с Костиком устроились на одной двухэтажной койке. Занимая место внизу, Костик сказал:

— Новое — не старое.

Костик менялся. Блатное с него слетало. Теперь он полюбил такие мудрости: «Утро вечера мудренее», «Главное — перезимовать». Произносил так, словно недоговаривал что-то значительное, будто располагал чьим-то опытом, на который достаточно намекнуть.

К моим воспоминаниям о Юроне Ростовском, Гришке Часовщике, Раздражительном прибавились воспоминания о Володе, Андрике, Стефане, папаше Зелинском, Софье Алексеевне, Марии Черной.

— Ну и что? — говорил мне Костик, презрительно отворачиваясь — Чего вы добились? Какой смысл?

Я чувствовал, что смысл есть, но мне тогда в голову не приходило ответить Костику, что он у меня внутри.

Добравшись до койки, я разговаривал с Софьей Алексеевной, Марией, вспоминал, как ворвались к нам

жандармы. Голубой ворс жандармских шинелей пах уличной сыростью, штукатурной пылью. В этом ворсе было больше здорового уличного воздуха, чем в наших отравленных испарениями карболки истощенных легких. Помнил я отвратительно телесное тепло сапожной кожи, которой били меня. Стрелял в Володю Перебиты-Поломаны Крылья. Это к нему стремился добраться Андрий. Помнил я, как, шурша плащом и приглядываясь, шел между койками Пирек, как наклонился и позвал вполголоса:

— Зелинский!

Осторожно взял папашу Зелинского за шею, и шея у папаша Зелинского надломилась, как у повешенного, из носа потекла кровь.

— Все вы заслуживаете смерти, но, если будете хорошо работать, стараться, это смягчит вашу вину и уменьшит наказание, — говорил Шульц и требовал: — Зелинский, переводите.

Папаша Зелинский молчал, и тогда его увели. Почти все в лагере знали или догадывались, что папаша Зелинский — еврей.

Мы с Костиком охладевали друг к другу. Жизнь была одинаковая, но мы готовили себе о ней разные воспоминания.

13

Как ни странно, выжил я, наверно, потому, что от меня отказывались. «Цу лянг, абер цу дюв», — сказал мастер на вальцепрокатном. Я стал старше, но вес, который раньше был по силам, теперь сламывал меня. Ничего нельзя было положить на плечо, так остро выперли ключицы. И в сорок четвертом году я оказался у ворот, на которых было написано: «Фолькен-Борн». Такая же надпись была на бункере большой сельскохозяйственной машины, которая стояла за воротами. Во дворе стояли странные столы на колесах — подвижные электро- и бензомоторные пилы. Фабричное двухэтажное здание было очень старо. Как оно старо, я по-настоящему увидел с крыши. На высоте пятнадцати метров я почувствовал под собой обширную чердачную пустоту. Как будто ступил на прогибающуюся поверхность огромной палатки. На крыше была черная рубероидная жара. Черная крыша пахла смолой и солнцем. Над свежим блаком, который мы растирали со стариком кровельщиком, стояло миражное мерцание. Блак

готовили на заднем двореке. Дворик на уровне чердачного окна, потому что задней стеной фабрика примыкала к горе. Гора укреплена диким камнем, дворик мощен старым кирпичом, но солнце сюда не достаёт, и по камню и по кирпичу мох. И ещё неожиданная радость: две груши, о которых забыли, как забывают на старых чердаках барахло. Они выродились, но это были большие старые деревья, и десятка два мелких падалиц я подобрал на земле. От старика кровельщика, которому меня дали в помощь, пахло, как от рулона рубероида. Это был самый бедный немец из виденных мной. Он даже не работал на фабрике. И я подумал, что, должно быть, беден сам Фолькен-Борн, если у него такая заплатная крыша и если он нанимает такого кровельщика. Я предложил старику груш.

— Комси комса! — сказал старик враждебно.

Этим французским словом обозначалось воровство. Оказывается, старику было тяжело видеть, как я уничтожаю хозяйское добро.

Я изумился. На этот дворик не заглядывали с тех пор, как в последний раз ремонтировали крышу. Груши тронуло гнилью, так долго они пролежали на земле. Неужели Фолькен-Борн будет жрать это дерьмо? Все это я попытался втолковать старику. Но он твердил враждебно:

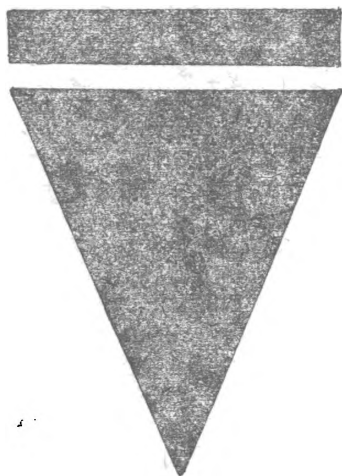
— Комси комса!

Как-то старик взял меня к себе домой — надо было отнести на фабрику смолу и ещё какой-то вар. В комнате, куда я зашел, сарайно пахло толью, блаком. Нести смолу на фабрику нам помогал четырнадцатилетний внук кровельщика. Паренек работал трубочистом. И он сам сказал мне по дороге: «Гитлер капут». Уже дул через фронты такой ветер, уже я слышал осторожное: «Их вар социалист». Был год бомбежек. Ночами с неба падал фосфор, горели Эссен, Дюссельдорф, Вупперталь. А днем мы то и дело разрывы зенитных снарядов принимали за парашюты десантников. К фор алярму — предупредительной тревоге и алярму — тревоге немцы прибавили акут — сверхтревогу, по которой надо было уходить в бомбоубежище. Радиодиктор то и дело требовал внимания: «Ахтунг, ахтунг! Ди швере фобенде энглишес флюгдойг...»¹. И даже указывалось, куда направляются эти тяжелые соединения английских самолетов. Они шли все сюда, к нам, на Рурскую область, но обтекали, не замечали этот

¹ «Внимание, внимание! Тяжелые соединения английских самолетов...»

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

заключенных еврейской национальности после 1944 года



**Полоса желтого цвета
треугольник красного цвета**

маленький провинциальный Лангенберг, от которого до предместий Эссена едва ли было три километра. И мы видели бомбежки, как наблюдают рядом идущий дождь. Ночью полицаи загоняли нас в цементную водосточную трубу, превращенную в бомбоубежище, чтобы мы не подавали сигналов самолетам. Мы еще боялись их, но чувствовалось, что, заботясь о будущем, они уже опасаются нас. И хромой комендант с перекошенным бледным лицом выскакивал из барака, чтобы не заметить запаха печеной картошки.

В уцелевший посреди бомбежек Лангенберг эсэсовцы везли ворованные бельгийские, голландские, французские продукты и на разгрузку эшелонов требовали людей из русского и французского лагерей. А в кочегарку бюргогауза каждый день вместе с гнойными биитами выбрасывали недокуренные французские сигареты, недоеденные бельгийские и голландские консервы. В бюргогаузе был госпиталь. К парадному, украшенному флагами входу бюргогауза подъезжали санитарные машины, и прохожие замирали в ожидании ужасного, болезненного момента, когда санитары распахнут дверцы.

Колосники в кочегарке бюргогауза теперь затекали жутким шлаком. В печи бюргогауза санитары сжигали ампутированные конечности.

Умерших увозили из бюргогауза в бумажных мешках-гробах и хоронили в братских могилах на Лангенбергском кладбище.

Городской гитлерюгенд собирал митинги на площади перед бюргогаузом и на кладбище у братских могил. И там и тут кричали ораторы, им хором отвечали мальчишки в коричневой форме с красными нарукавными повязками, с финками на поясе, на лезвии которых было отштамповано: «Блют унд эра» и «Гот мит унс»¹. На кладбище давали прощальные залпы из винтовок.

Из лагеря гоняли на работу и в бюргогауз и на кладбище, и мы все это знали.

Все рушилось, и только старик кровельщик не хотел взять падалицу, принадлежащую хозяину. Ветки груш ложились на фабричную крышу. Покончив с падалицами, я принялся трясти ветки. На следующий день проснулся с мыслью о грушах. Эта мысль вела меня по фабричной лестнице на чердак. Но на чердаке я разминулся с мастером, который уносил корзинку со свежесбитыми

¹ «Кровь и честь» и «С нами бог».

грушами. Мне он не сказал ни слова. У Фолькен-Борна со мной обошлись не так, как, скажем, обошелся бы Пирек, узнай он, что я украл картошку. Но и не так, как следовало обойтись с астматически кашляющим, температурающим от давнего истощения подростком, которому не жаль скоротать эти полугруши-полудички. Со мной обошлись как с дурным мальчишкой, которому следовало преподать педагогический урок.

В течение двух-трех дней, пока не закончились груши, я утром встречал на чердаке молчаливого мастера с корзинкой. По крайней мере, на полчаса раньше он должен был приходиться на работу, чтобы опередить меня. Старик кровельщик все-таки донес.

Я заставлял голый, подметенный дворик; не обращая внимания на кровельщика, тряс ветки, швырял камни и добывал две-три груши.

Для меня это было звено в той цепи, которую выковывала страшная, деятельная глупость. Конечно, жуткий шлак, который мешал разгораться коксу в отопительных печах бюрогауза, был на другой стороне цепи. Но цепь, несомненно, была одна. Это была страна, в которой дураки взяли верх над умными, жестокие и жадные над добрыми. Это не сейчас, а тогда я так думал и чувствовал.

И все же именно у Фолькен-Борна, особенно в первые дни десять, когда я, пораженный обилием солнца, тишиной, уединенностью, непривычными смоляными запахами, неожиданными грушами, торчал на крыше, именно в эти дни в моей душе открылась заслонка, которая стала пропускать впечатления, ранее туда не проникавшие совсем. Они очнутся во мне через много лет, когда осядут горечь и ненависть, когда я смогу проехать в одном автобусе с громко разговаривающими немецкими туристами и не выйти на первой же остановке. Тогда, должно быть, придет время этим впечатлениям завершить свой долгий инкубационный цикл. И я вспомню, как, *должно быть*, хорош Лангенберг, какие зеленые холмы его окружают и каким, *должно быть*, прекрасным может быть лицо Германии. Странно в человеческой душе перерабатываются боль и горечь. На трехэтажном лагерном здании, на лагерных бараках, на домах и улицах Лангенберга остался след моего взгляда. Но я ведь не смотрел — отталкивался. То, что я видел, было мне чужим; того, что искал, не было. Даже сочная хвойная зелень казалась мне кладбищенской. В своем южном городе я привык к тому, что дожди идут реже, солнце светит ярче и зелень раньше светлеет

и желтеет. Кладбищенской мне казалась темная черепица на высоких крышах. Кладбищенской — серо-зеленая военная и коричневая партийная форма. Мальчишки из гитлерюгенда в своих гетрах, портупях и красных повязках, которые собирались над огромными ямами братских могил, тоже казались мне приписанными к смерти, к кладбищу. Насылая смерть за пределы своей страны, они, возможно, искренне считали себя сверхлюдьми, членами воинского братства, кригскамарадами (сколько еще существует таких ритуальных слов-заклинаний!). В сорок четвертом году они не могли не почувствовать свои мундиры формой собственной приписки к смерти. Ах, как близко отсюда до признания себя человеком! Назвать себя просто человеком — все равно что воззвать к состраданию. И, в общем-то, они, конечно, совсем простые люди. Поэтому-то к горечи воспоминаний всегда примешивается стыд. Поэтому-то я и чувствую неотпадающую связь с местом, с которым много лет назад, казалось, навсегда расстался сердцем и памятью.

Только одним способом совершаются все фундаментальные победы дураков над умными. Под давлением обстоятельств умник сам себя подвергает ревизии, жестокость называет бескомпромиссностью, злобность решительностью, участие в массовых преступлениях долгом или там голосом крови. Но и освобождение происходит сразу во многих душах. Насильственные связи распадаются, понятиям возвращаются истинные имена. В циничном «эгал — етцт криг!»¹ уже содержалась возможность более широкого взгляда на вещи. «Аллес шайзе!»² было уже гигантским шагом вперед, заигрыванием со старой мыслью о всемирном равенстве людей с условием, конечно — поскольку еще есть возможность ставить условия, — что завоеватели и подвергавшиеся завоеванию равно виноваты. Перед чем? Ну, скажем, перед историей. Тут больше, конечно, тоска по практическим вещам: генералы не так хороши, противник не так слаб, как это предполагалось. Но здесь же и мысли о душе, и обращение к философии. Далеко еще до призывов о сострадании. Но призыв отпускать друг другу грехи уже содержится.

Когда в конце сорок четвертого я оказался с ведрком блака на крыше «Фолькен-Борна», всего этого уже нельзя было не чувствовать. С крыши были видны кирха, дома,

¹ Все равно — сейчас война!

² Все дерьмо!

шоссейная дорога. По дороге время от времени шла военная техника: грузовики, тачки. Танки были размалеваны желтой краской, нетрудно было догадаться, откуда они пришли. Видно было, как чихнет эта техника без бензина. Уродливые газогенераторные печки смонтированы не только на грузовиках, но и на танках. Должно быть, ради экономии топлива одно тусеничное чудовище тащило на буксире другое.

На фабриках все мы замечали, как постепенно перерезалась одна питающая артерия за другой. Даже у «Фолькен-Борна» больше не занимались сельскохозяйственными машинами, а электро- и бензомоторные пилы скапливались во дворе и в красильном цеху — их некуда было отправлять.

Что-то разладилось, утратило смысл в рабочем ритме. Накапливалось ожидание. И тут приметам зримым предшествовали приметы незримые. Потом я уже понял, как верны такие приметы. Тогда же я просто ориентировался с их помощью. Это потом я заметил, что определенному слою жизни, определенному ее уровню, состоянию соответствуют определенный цвет стен, стертость лестничных ступеней, длина ожидания и, как сказали бы теперь, определенный цвет эмоций. Тогда же я замечал, как вяло включаются немцы в работу после обеденного перерыва, или поражался, застав двух немцев, забравшихся покурить в кочегарку, осваивавших такие места на фабрике, которые раньше находили и осваивали мы.

То, что на крыше у «Фолькен-Борна» у меня были минуты для созерцательной вялости, тоже было следствием всех этих перемен.

Сам «Фолькен-Борн» — легкая работа, «ляйгт арбайт» — для истощенного подростка тоже стал возможен только в этом году.

«Фолькен-Борн» был даже не фабрикой, а мастерскими. Подвижные электро- и бензомоторные пилы здесь не изготавливались, а только собирались. Работали едва три десятка человек. Французы Жан, Марсель и русский Александр Васильевич Громов, белорус Саня с личиком пожилого лилипута, как и я, дошедший до полного истощения, и несколько немецких парней того наполненного тревожным ожиданием возраста, когда тебя от мобилизации в обреченную, погибающую армию отделяет несколько месяцев или недель, и пять-шесть пожилых немцев, по болезни или по возрасту ушедших от смертельной мобилизационной опасности.

В общем, это было какое-то инвалидное производство. После двенадцатичасового непрерывно грохочущего маятника на вальцецирокатном в цехах «Фолькен-Борна» было неправдоподобно тихо и пусто. Я сразу уловил одну особенность этой тишины, но не сразу решился в нее поверить. Это была вежливая тишина. Мои уши, нервы, настроенные на постоянную опасность, улавливающие крики, угрозы, замахи, даже когда они были не на меня направлены, вдруг обмякли в новой среде. Постоянное напряжение, готовность не отпали — они перестали получать материал для обработки. Отказала и, казалось бы, уже многократно проверенная способность ориентироваться в немецких лицах, быстро оценивать их на злобность и незлобность. Это было не так трудно, как сейчас может показаться. В тех крайних обстоятельствах должны были выработаться и более сложные системы ориентации. А злобность и агрессивность не прятались. Они были проявлениями благонамеренности и гражданственности. Однако старший мастер на «Фолькен-Борне», о котором я сразу решил: «Зол, опасен, будет драться», — ни разу не замахнулся на меня. И хотя можно было понять, что мы с Саней, с пассивностью истощенных людей сопротивляющиеся любой работе, вызываем у него неприязнь, он терпел нас, не очень показывая свое отвращение. Я помню только одно его замечание. Мы с Саней везли из монтажного цеха в красильный бензомоторную пилу и остановились погреться на солнце посреди двора. Во дворе не было никого, в черном проеме двери, ведущей в монтажный цех, никого не было видно. И мы тянули, топтались на месте до тех пор, пока из черного проема не двинулся к нам старший мастер. Было видно, что он давно за нами наблюдал, и шел к нам той походкой, которая яснее слов говорила: «Сейчас вы получите». Он подошел к нам, холодно показал на окно второго этажа и сказал:

— Из этого окна на вас господин Фолькен-Борн смотрит.

Мы ошеломленно взглянули на второй этаж, увидели в каком-то из окон чье-то лицо и покатали пилу дальше.

Я пришел к выводу, к которому и до меня многие приходили. В Германии было легче там, где меньше людей. Отдельный человек был виден лучше. Когда часто смотришь друг другу в глаза, в конце концов захочешь и улыбнуться, и о чем-то спросить, и ответить на улыбку. А последствия этих улыбок невозможно проконтролировать.

Неукротимый ненавистник был и на «Фолькен-Борне». Огромный парень лет восемнадцати с лицом, на котором лиловели юношеские угри, почему-то из нас двоих с Саней выбрал меня. В обеденный перерыв мы подошли к той группе, в которой были Жан и Марсель, и парень (его звали Фридрих) вдруг уставился, а все остальные, напротив, выжидательно уклонялись от взглядов на меня и на Фридриха. Выражение на лицах немцев и французов было неопределенным: полуулыбка, заинтересованность, смущение. И вот еще в чем была неопределенность. Они не решили, кому сочувствовать. Я был новичок, а они, должно быть, давно собирались на обеденные перерывы у этого верстака. Долго делать вид, что не понимаю, как осмеивают меня, мою лагерную болезненность и нищету, связывают их не с лагерем, а моим славянским происхождением, я не мог. Да и Фридрих не собирался останавливаться.

— Никс ферштеен? — сказал он мне. — Не понимаешь? Век! Раус! Понимаешь, русский?

И, передразнивая мой постоянный кашель, он сказал, чтобы я шел кашлять в другое место.

Он очень точно попал. Я сам понимал, что мой разрывающий бронхи кашель может вызвать у здоровых невольную брезгливость и опасение. Меньше всего я хотел бы вызвать у Жана и Марселя неприязнь. Но отступать уже было нельзя. Слава богу, и французские и немецкие ругательства были мне известны. И я ответил Фридриху так, чтобы было понятно и немцам и французам. А так как Фридрих весил вдвое больше, я взял с верстака молоток. Заметил, что неопределенность на лицах Жана и Марселя исчезла, а интерес усилился в мою пользу. Но и немцы не собирались вмешиваться. Не показывали Фридриху сочувствия. Я даже позволил себе постучать молотком по плоской наковальне, поощряя Фридриха к решительным действиям.

Он кричал и ругался, но было видно, что верх взял я.

С этого началось постоянное, изнуряющее меня противостояние.

Мне казалось, что я обману ожидания французов, привыкших к этому спектаклю, если не подойду к компании, в которой был и Фридрих. Он сразу же начинал замахиваться, прогонять меня, ругаться. Фридрих ждал мобилизации, заранее хвастал своими будущими воинскими подвигами, показывал, как будет убивать таких, как я. В местном гитлерюгенде он был кем-то вроде взводного,

обещал принести пистолет и застрелить меня. В ответ я хватался за молоток, зимой, когда собирались у печки, разогревал в углях кочергу и показывал Фридриху ее малиновый, раскаленный концы. Кто-нибудь из французов давал мне сигарету, и никотин приносил минутное жаждущее облегчение от кашля.

Истощенный ненавидящий оборванец и должен был вызывать естественные опасения у сытого, благополучного, хорошо одетого парня. Однако Фридрих не только поэтому так и не пошел дальше угроз. Его не останавливали, но и не поощряли. Но ведь и меня не останавливали. Смеялись, когда я помешивал угли кочергой. Однако и я не мог уловить сколько-нибудь определенного сочувствия. То, что я схватился за молоток, было, конечно, невероятной дерзостью. В другом месте я бы жестоко поплатился. Конечно, и на «Фолькен-Борне» немцам это должно было показаться невероятной дерзостью. Они были просто обязаны придать этой истории политический характер. По-своему они даже рисковали, предоставив нам с Фридрихом решать, кто кого. И старший мастер время от времени появлялся, чтобы молчаливым своим присутствием приглушить страсти. Но и он тоже как бы соглашался «не видеть».

Во время бомбежек молодые немцы неохотно шли в бомбоубежище, куда их загонял мастер. Собирались во дворе поблизости от двери, наблюдали за разрывами зенитных снарядов и тоже часто принимали их за парашюты десантников.

Я выходил и останавливался в стороне. В эти минуты я не чувствовал себя одиноким. Там, в небе, были люди. Немцы, конечно, прекрасно понимали меня. В этот момент у Фридриха появлялись сочувствующие. Мне кричали:

— Ин келло!¹

— Хир ист нихт Русланд!²

Однако дальше криков не шло и в конце концов они примирялись с тем, что я не уходил.

Но самым поразительным из того, что я видел на «Фолькен-Борне», была не дружба даже, а страстная привязанность двух немцев ребят, Вальтера и Гюнтера, к Жану. Дружба эта была шумной, заметная, крикливая, открытая. Сам Жан был человеком шумным. Каждая фраза, которую он произносил, имела два восклицательных знака.

¹ — В подвал!

² — Здесь не Россия!

Первый восклицательный знак ставился в самом начале, когда Жан, негодуя, соглашаясь или собираясь пошутить, произносил свое «О-у!». Говорил он много и охотно, и не раз я не слышал ни одного слова с будничной, серой интонацией. С мастером, когда тот ему давал задания, Жан всегда не соглашался. И вызов был уже в его длинной французской речи, в этом напоре восклицательных, негодующих и иронических интонаций. Понятных и в то же время оскорбительно непонятных. Вызовом было и то, что Жан никогда не переходил на немецкий лагерный жаргон, с помощью которого можно было бы объясниться. Или хотя бы показать, что хочешь объясниться.

Он был плотен, силен, любил закатывать рукава. Чувствовалось, что его говорливость, смелость, подвижность идет от физического здоровья, от какой-то веселой жизненной энергии. И бакенбарды у него были густые и как бы диковатые, и волосы на голове жестко кучерявились. Он был замечен и во французской толпе. И там голос его был слышен. В общем, я прекрасно понимал, почему Жан понравился Вальтеру и Гюнтеру. Вальтер ждал призыва, хотя, как мне казалось, ему было шестнадцать-семнадцать лет. Гюнтер выглядел четырнадцати-пятнадцатилетним подростком. В этой дружбе он был вторым. Дружба и могла развиваться только открыто, потому что вся она проходила во время бомбежек на наших глазах.

Чтобы увидеться с Жаном, Вальтеру и Гюнтеру надо было перейти из немецкого в наше бомбоубежище. Две полуподвальные комнаты разделялись незапирающейся дверью. Она и не закрывалась. Мы слышали немецкие голоса. Оттого, что на время бомбежки все вот так собирались и разъединялись, между нашей и немецкой половинами возникало напряжение. Рвущиеся над крышей зенитные снаряды усиливали напряжение и разъединение. Полуподвальное помещение, в котором мы отсиживались, никак нельзя было считать бомбоубежищем. Фабричное здание строилось в то время, когда о возможности таких бомбежек не помышляли. Я-то знал, какая тонкая рубероидная палатка натянута над нашими головами. Нарастающая опасность вызывала у нас возбуждение. Близко лопался снаряд, и Жан смеялся, выкрикивая что-то угрожающее. За дверью затихали, враждебно прислушивались. Перейти в это время из немецкой половины на нашу было, конечно же, непросто. Но только в бомбежку время и было по-настоящему свободным. Открывалась дверь, появлялся Вальтер, за ним Гюнтер. Входили

нерешительно, потому что в прошлый раз уходили обиженными. Жан встречал их проническим воплем. С Вальтером он разговаривал на немецком лагерном жаргоне. Жаргон сразу же вызывал у него отвращение. Несколько расхожих глаголов и существительных, связанных в немыслимую конструкцию, кого уютно могли выставить дураком. Это было известно всем нам. Однако говоруну Жану оскомина эта была невыносимой. После каких-нибудь «ком, ком... фертиш» (французы произносили «фертиш», а не «фертиг») он очищался длинной французской фразой. Его раздражала ясность Вальтера и Гюнтера. Ему хотелось, чтобы они, как и французы, могли оценить его остроумие. Разговор так и шел: французы отвечали Жану смехом, улыбками, немцы смотрели вопросительно, стараясь проникнуть в значение непонятных слов. Я тоже понимал, что истинный смысл слов Жана отражается в живой игре французских лиц, старался проникнуть в ее значение, боялся, не покажется ли она обидной Вальтеру и Гюнтеру. Я радовался их появлению, и не потому, что Жан устраивал спектакль. Каждое чужое слово, каждая усмешка в этом воздухе казались враждебными, а доверие и симпатии держались всего лишь на междометиях. Бог знает какие опасения должны были преодолеть ребята, чтобы войти к нам, какой опасности подвергали себя и своих близких. Исход войны был ясен, но не для каждого же из нас. Страх не ослаб. Он просто лишился уважения. Как болевщик, я страдал, видя, что Жан как бы нарочно не хочет считаться со всем этим. Шутки его были грубы. Он замучивал, затискивал Вальтера. Рычал, «вешал», называл Гитлером. Свою силу, а главное, энергию он никак не мог соразмерить с энергией Вальтера. И тот, помятый, оскорбленный, покрасневшийся, потный, вырывался, уходил и уводил Гюнтера. Но, наверно, были у них и другие минуты, которых я не видел, потому что, когда я уже начинал жалеть, что все так плохо кончилось, Жан вдруг настораживался, поворачивал свою круглую, в диковатых африканских завитках голову к двери и вопил что-то приветственное. Вроде: «Ага! Это, конечно, ты! Куда ты денешься!» Примирения бывали бурными, нежными, как у влюбленных, которых ссора повергает в отчаяние. Как в старом трамвае, мы сидели на длинных скамейках напротив друг друга, слышали, как рвутся зенитные снаряды, как надувается самолетным ревом рубероидная крыша, следили за тем, как рычит и воркует Жан, обнимающий Вальтера, и как тот краснеет

и покоряется ему. Гюнтера при этом не замечают. Он держится в стороне. Его очередь придет, когда Жан и Вальтер помириятся. Тогда Жан вспомнит и о младшем, загребет его и опять начнет шумную и грубоватую возню. Опять начнутся вопросы: «Гитлер капут?» А дверь на немецкую половину полуоткрыта, и там, конечно, прислушиваются к рычанию Жана, к его домогательствам.

Я бы посчитал Жана типичным французом, если бы рядом не было молчаливого, гладко причесанного, набриолиненного Марселя. Он повыше Жана, покрупнее, но из-за молчаливости, какой-то полной застенчивости, гладкости в одежде и причёске кажется не только незаметнее, но и меньше. Вообще он каждый раз как бы возникает из тени, незаметности, и когда нужна в этом возникновении отпадает, тотчас туда же возвращается. Как ему это удается на фабрике, где все открыто, трудно сказать. В нем какая-то постоянная, опережающая ваши намерения вежливость. Он вам уступал дорогу, а вы не сразу догадались, подумали, что отклонился по своим делам. Здоровается первым, но только если вы уже увидели его. Кажется замкнутым и отчужденным, но, если обратились к нему, вспыхнет радостно. Если что-нибудь нужно, он из тени, из незаметности делает к вам особенный быстрый шаг и, объяснившись, так же быстро отступает. Такой быстрый шаг он сделал ко мне дней через десять после того, как я с крыши «Фолькен-Борна» спустился в цех. Был перерыв — время особенно мучительного голода. Я держался в стороне, а он вдруг протянул мне хлеб, намазанный маргарином. Это была половинка бутерброда. С другой Марсель быстро уходил, сухо кивнув на мое растерянное «спасибо». На следующий день все повторилось. На третий день я стал мучиться ожиданием. Мне казалось, что я вяжу этим своим ожиданием Марселя. Что не только он, но и Жан и другие знают, как я жду перерыва. Боялся попадаться ему на пути. Оказывается, я совсем не замечал его, а он присматривался к нам с Саней. Ничего не менялось: тот же быстрый шаг ко мне, протянутый хлеб, сухой кивок и Марсель уходил. Моя мальчишеская застенчивость натыкалась на его воспитанность, и у нас совсем не получалось того, что происходило между Жаном и Вальтером. А ведь что-то должно было происходить! Но и в бомбоубежище Марсель сидел вежливый и молчаливый. Голод и стыд разрывали меня. Однажды я решил уйти из цеха во время перерыва. Но Марсель отыскал меня.

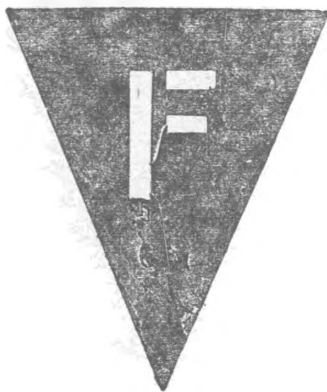
Марселю, как и Жану, было лет тридцать — тридцать пять. Оба в одежде французов военнопленных, они не выглядели близкими людьми. Даже будто раздражали друг друга. Я видел, что грубоватые, шумные шутки Жана коробили Марселя. Я, конечно, был на стороне Жана, восхищался им. Чувствовал себя неблагодарным — не мог восхищаться Марселем так же, как Жаном. Мне не хватало демонстрации нашей близости. Если бы Марсель устраивал со мной такую же возню, какую Жан устраивал с Вальтером, все видели бы, что он мне покровительствует. Стоило, однако, взглянуть на гладкий влажный зачес Марселя, на покатый лоб, составляющий прямую линию с носом, чтобы понять, что это совсем невозможно. Вид истощенного оборванца тоже никого не мог вдохновить на такую возню. Да и догадывался я: Жану и Вальтеру выпало то, что выпадает двоим на сто тысяч, даже на миллион. Это понимали и немцы. Поэтому, должно быть, все следили с сочувствием и завистью. И никто не мешал.

Александр Васильевич Громов был сыном петербургского профессора и француженки. В семнадцатом году семнадцатилетним отец увез его в Париж. Когда немцы напали на Францию, Александр Васильевич добровольно вступил в армию. Поступок свой он объяснял деловыми соображениями. Прожив более двух десятилетий во Франции, он не имел французского подданства, и это в чем-то ограничивало его. Добровольцам подданство обещали. У Александра Васильевича был длинный нерусский нос, длинный подбородок. Лицо для высокого человека. Голову закидывал чуть набок, будто боялся, что рассыплется зачес прямых светлых волос. Эта горделивая посадка крупной головы с крупными чертами лица странно не сочеталась с коротеньким толстеньким туловищем на коротеньких толстеньких ножках. Сидя на скамейке в бомбоубежище, он по-детски не доставал ногами землю, упирался руками в скамейку. Ощущение полной невоинственности, женственности довершали семенящая походка, отведенные назад узкие плечи и кокетливо или безвольно расслабленные руки, которые он поднимал так, будто боялся запачкать кисти или хотел их всем показать. Александр Васильевич работал в красильном цеху. Руки у него всегда были в краске.

В цеху тихо и пусто. Александр Васильевич здесь единственный работник. Красит он малярной кистью, сидя на низкой скамейке. Войдешь — никого. Был бы повыше, голова возвышалась бы над пилами. Лагерные правила не

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

политического заключенного из Франции



Фон красный,
буква белая.

позволяют крикнуть (крикнешь — привлечешь внимание не только того, кого зовешь). Топчешься, пока не заметит. Испытываешь неудобство, когда видишь Александра Васильевича на скамеечке. Детская скамейка как раз ему впору. И, когда поднимается навстречу, возникает мгновенное неудобство — Александр Васильевич почти не увеличивается в росте. Сам Александр Васильевич неудобства не испытывает. Испытывал бы, не откидывал бы голову так горделиво, не разворачивал плечи, не кокетничал руками. Пилотка французского пехотинца сидит на нем кокетливо, как женский берет. Вместо «дети» он говорит «дзеци». Говорит уверенно и обстоятельно. И не только по-русски со мной и Саней, но и по-французски с Жаном и Марселем, по-немецки с немцами. Он единственный француз на фабрике, владеющий немецким. Может быть, поэтому он у себя в лагере что-то вроде профсоюзного старосты. С беспокойством я присматривался к тому, как его оценивают Жан и Марсель — все-таки русский! — не находят ли странноватым. Ничего такого не заметил. И решил, что необычные, на мой взгляд, манеры естественны в той стране, где Александр Васильевич жил.

Я много раз возил ему в цех готовые пилы, прежде чем он обратился ко мне по-русски. Можно представить, как поразил меня маленький француз, назвавшийся знаменитой русской фамилией! Но и осадок какой-то остался: надо ли было так долго присматриваться, чтобы объявить себя русским.

Объявившись русским, он сразу же стал подкармливать нас с Саней. Сказал, что во Франции занимался картинами. Я совсем не был готов к тому, чтобы задавать такому человеку вопросы и выслушивать его ответы.

До войны — художник, в плену — маляр, обрадовался я своей догадке. Она была тем хороша, что искупала и странные манеры, и маленький рост, и неприятное мне объяснение причин, заставивших его добровольно участвовать в этой ужасной войне.

— Вы художник?

Некоторое затруднение в его ответе относилось не к профессии, которая должна была показаться мне малопочтенной. Он приспособлялся к уровню моего непонимания. И я еще раз спросил:

— Специалист по картинам?

Он рассердился на мое невежество. Сказал, что советами специалистов пользуется, но это не главное условие его работы. Надо следить за аукционами, за

близкими к разорению богатыми людьми. Так у нас получалось все время. Его ответы не возбуждали, а гасили мой интерес к нему.

Но кое-что я понял. Догадался, откуда у него редчайшая для военнопленного, дающая почти полную изолированность работа. За годы плена только в этом цеху можно было сохранить кукольные манеры, вьющуюся походку, которая вырабатывается в помещениях, уставленных хрупкой мебелью. Странно было видеть эти манеры облаченными в форму военнопленного, в брезентовом, испачканном краской фартуке.

Однако, видимо, поразительная устойчивость этих манер не снижала другие его способности. Иначе его не выбрали бы на должность, которая требовала коммерческой гибкости.

Меня он не расспрашивал. Вежливо и терпеливо давал понять, что мне нечего ему рассказать. Брезгливо морщился, когда я произносил незнакомые ему русские слова. Говорил уверенно:

— Этих слов в русском языке нет.

Как будто хотел сказать гораздо больше, чем сказал.

Однажды отыскал меня на втором этаже в токарном цеху, куда он никогда не поднимался.

— Тебя хочеть видеть господин Фолькен-Борн.

С сомнением, будто впервые, осмотрел мои лохмотья, убедился, что ничего улучшить нельзя, и пошел впереди, закинув голову, неся на весу расслабленные руки.

— Постарайся произвести хорошее впечатление.

Наконец-то появился человек, о котором я мечтал. Он не просто покровительствовал, пошел гораздо дальше. В своей вежливой, кокетливой манере, ничего не предлагая и не обещая, намекнул, что одинок (во Франции родственница француженка которая присылала ему продуктовые посылки), сравнительно богат, после войны начнет новое дело — картины сейчас не будут иметь спроса, — для которого ему потребуется преданный помощник. Лучше всего молодой и интеллигентный. Со временем он бы его усыновил. Это не было предложением и поэтому не требовало ответа. Ответ даже был невозможен. Мы оба не созрели: он — для предложения, я — для ответа. Я просто должен был принять это сообщение. Ответом могло быть лишь все мое поведение. И я вдруг пожалел Александра Васильевича. Ему хотелось, чтобы на обеденный перерыв я приходил к нему в цех. Александр Васильевич держался изолированно и окрасочный цех

покидал только на время бомбежек. А меня тянуло к Жану и Марселю, к Вальтеру, даже к постоянному противостоянию с Фридрихом, которое Александр Васильевич осуждал.

— Это не обнаруживает твоего ума, — сказал он.

Будто дело тут было в том, чтобы обнаружить ум.

Делая мне замечание, Александр Васильевич поджимал губы и принимал одну из самых своих вежливо-кокетливых поз — воспитанного человека лишь крайняя необходимость вынуждает делать замечания. Было у этих поз и еще одно, даже как бы вызывающее значение: истинное благородство там, где людям прививают эти устойчивые к смене любых обстоятельств манеры.

Тем же тоном, которым, отказываясь слушать мои объяснения, утверждал: «Этих слов в русском языке нет», — он мне говорил:

— Ты же интеллигентный мальчик!

Он был вторым человеком в Германии, который говорил мне это. Первым был фельдшер, наложивший гипс на сломанную руку. Закончив перевязку, он почему-то спросил: «Интеллигент?»

Больше всего Александр Васильевич поразил меня тусклой реакцией на мои рассказы о русском лагере, на мою ненависть. Он отклонял эти разговоры. Это был первый человек, который в ответ на мою настойчивость — я почувствовал его сопротивление — сказал мне обо всем, что я пережил:

— Да, но...

И это тоже как-то связывалось с его манерами, которыми он как бы намекал, что истинная мудрость там, где люди приобретают такие манеры, и что истинная точка зрения и не может быть мне известна.

Он все видел своими глазами, и это потрясало меня больше всего. Значит, и так может быть: все видеть и не возмутиться, не принять в сердце. Конечно, он не русский и не француз. Но ведь человек!

Он и возмущал меня и был чем-то жалок.

Рассорились мы из-за Жана, хотя Жан, понятно, об этом не знал. Я был влюблен в Жана, настроен на его интонацию, запоминал любимые словечки. За каждым словом Жан произносил: «Бон дье!» Я очень раздражал Александра Васильевича, не к месту, естественно, повторяя эти непонятные слова.

— Это очень плохое ругательство, — сказал мне Александр Васильевич.

Как-то, доказывая мне, что французский язык превос-

ходит русский по количеству ругательств, Александр Васильевич хладнокровно перечислил и перевел несколько сильных выражений. И я был удивлен, узнав, что «бон дье» — всего лишь «добрый бог». Тогда Александр Васильевич объяснил, что это святотатственное ругательство времен войны протестантов с католиками и он просит не оскорблять его повторением этих слов.

Русского католика я видел в первый раз. В первый раз почувствовал, какое сильное раздражение уже разделяет нас. «Бон дье» были привычными французскими словечками. Я слышал их постоянно. Следовательно, Александр Васильевич слышал их не реже.

Я бы забыл эту историю, если бы однажды Александр Васильевич не сказал:

— Это тебя наказал бог!

На фабрику я пришел с кровоподтеками. В ночную тревогу полицейские выгоняли из барачков, я спрятался, а была специальная проверка, и меня нашли.

Я спросил, почему бог не наказывает Жана и других взрослых французов, которые святотатствуют со знанием дела. Александр Васильевич ответил, что Жан — такой же большевик, как те, от которых он уже однажды уезжал, и что после этой войны такие Жаны могут взять власть и во Франции. И тогда он уедет в Америку. После такой войны во Франции революция может случиться, а в Америке ее еще долго не будет.

Предупредительную тревогу уже почти не отменяли, она то и дело переходила в тревогу. Несколько раз в сутки объявляли акут. В лагере заговорили о том, что к подходу наших или американцев нас всех расстреляют. Все напряжение прошлых лет вошло в эти месяцы. Конец был виден, и невозможно было в него поверить. У кого из нас хватило бы душевной свободы думать не о сегодняшней крови, не об этой невойне, которую мне и через тридцать лет назвать войной — все равно то приравнять к тому, с чем равенства не может быть.

Я перестал появляться в окрасочном цеху. И вот Александр Васильевич сам пришел за мной. Поджимал губы и кокетничал руками он больше, чем обычно. Голова была так гордо закинута, что я шел за ним и не решался спросить, зачем понадобился Фолькен-Борну.

Живого капиталиста я видел в литейном цеху первой фабрики. Первые недели потрясали тем, что в каждую минуту сбывалось что-то неправдоподобное. Франц Метцгер, хозяин «Бергишес мергишес айзенверк», стоял

в окружении желтых халатов посреди цехового прохода. От него дышало жаром. Поэтому, должно быть, он был одет легко. Казалось, борьба с собственным весом приводит его в ярость. Как чудовищно раскормленный злобный ребенок, он все время выбирал неверное направление, и желтые халаты почтительно уводили его в безопасное место. Была минута, когда он, как неожиданно застигнутый уличным движением, шарахался от тачечников (увидев хозяина, они проявляли рвение). Он был хозяином всего этого, и смотреть на него было страшно.

...У входа в контору я все-таки спросил, но Александр Васильевич махнул рукой: там увидишь!

Фолькен-Борна я видел только в профиль. Очень толстый человек с выпуклыми глазами так, по-моему, ни разу на меня и не взглянул. Он разговаривал с Александром Васильевичем и лишь однажды, как мне показалось, скосил на меня голубой и тоже как бы раскормленный глаз.

— Господин Фолькен-Борн, — переводил Александр Васильевич, — слышал, как ты кашляешь. Его брат, тоже господин Фолькен-Борн, — провизор, хозяин аптеки. Он передает тебе пачку противоастматических сигарет. Господин Фолькен-Борн надеется, что ты хорошо работаешь.

За столами в конторе сидели еще трое или четверо служащих. Один из них поднялся и передал мне серую пачку, на которой было написано «астмцигаретен». Я обрадовался и одновременно, как в тюрьме, когда мне вместо табака всучили вату, заподозрил подвох. Кашлял я уже года полтора. Были страхи и страдания куда сильнее, и на кашель я не обращал внимания. Меня смущало название сигарет. Как бы они ни назывались, лишь бы был табак! В окрасочном цеху Александр Васильевич дал мне прикурить от своей зажигалки. Увидев, как я разочарован, он сказал:

— Но это же лекарство!

Сигаретами я не воспользовался. Однако не рассказать об этой пачке противоастматических сигарет не мог. Конфета в яркой малиновой фольге, которую мы нашли на заборчике, и эти сигареты — теперь я уже сказал все.

Пришел на фабрику прощаться уходящий в армию Фридрих. Его не было несколько дней. Он пробежал по цехам, непривычно чего-то смущаясь, словно не мог найти того, кого искал. Может быть, он действительно не мог кого-то найти, может быть, ему вдруг ненужным показался будничный фабричный порядок, который не менялся из-за

того, что он уходил, но вид у Фридриха был растерянный, как у новичка. Должно быть, он не растратил сентиментальности, приготовленной для прощания, неопределенно махнул мне рукой.

— Ауфидерзеен, русский!

Улыбнулся, показал на меня.

— Домой!

Ткнул себе в грудь.

— Солдат!

И для него все это оказалось слишком серьезно. Мастер и еще кто-то из немцев проводили его к фабричным воротам. Было их всего два-три человека, и задержались они недолго.

Однажды тачку, нагруженную уголковым железом, мастер заставил нас с Саней везти к какому-то клиенту «Фолькен-Борна». Возвращались через центр. Возле бюргогауза увидели множество желтой формы. Только что здесь закончился митинг гитлерюгенда. Возбужденные мальчишки в портупях с финками ломали ряды, разбежались, барабаны уже били беспорядочно, знамена наклонились над толпой. Их уносили в бюргогауз. На трибуне еще стояли взрослые руководители гитлерюгенда и серо-зеленые военные. Мальчишек только что накачивали, заводили. Многие из них работали на фабриках, их отпустили на митинг, им еще предстояло переодеться и вернуться на работу. Мы с Саней оказались в центре этой возбужденной разбегающейся толпы. Каждую минуту кто-то из пробежавших мимо мог указать на нас: «Русские!» И кто его знает, чем бы это кончилось... В этот момент я увидел Вальтера. Я не сразу узнал его в разгоряченном беге и беспорядочной игровой толкотней парие. То ли портупья мешала ему дышать, то ли сползала с плеча, и он поправлял ее. Он тоже не сразу узнал меня — не ожидал здесь увидеть. Испытывая некоторое облегчение, я окликнул его, и он, не скрываясь, не понижая голоса, на том же дыхании, с которым он бежал и перекрикивался со своими, ответил мне. И жест руки был свободным. У него спросили, кто мы, он ответил. Мы приостановились, и Вальтер смутился. Я понял, почему он смутился, показал на его форму, на повязку со свастикой.

— Скажу Жану!

Я догадался правильно, потому что он смутился еще больше, спросил:

— Не надо!

Мы пошли своей дорогой, а он побежал, продолжая

поправлять свою португую.

На фабрике с Вальтером мы кивали друг другу с симпатией. Чтобы показать свою доброжелательность, Вальтер полуутвердительно спрашивал меня:

— Ин Русланд аух штрассенбан?¹

Или:

— Ин Русланд аух фаррад?²

Как будто хотел сказать: «В общем-то, я сам догадываюсь, что в России тоже есть трамваи и велосипеды».

Иногда сомневался:

— Все-таки в русском языке меньше слов, чем в немецком. В немецком: форалярм, алярм, акут. А ты говоришь: тревога.

Я говорил, что «форалярму» в русском соответствует «предупредительная тревога».

«Предпредительная» он выговорить не мог, подсчитывал:

— Пре-ду-пре... — Смеялся: — Форалярм лучше.

Мы оба были плохо вооружены для таких споров. Я знал, что в немецком языке есть слова, которые записываются в несколько строчек, но, конечно, на память не мог привести ни одного. Однако Вальтер и сам показывал, что понимает, как глупы такие споры.

Его мобилизовали, когда казалось, уже обойдется. И он погиб, хотя, по нашим расчетам, на фронт попал за несколько дней до капитуляции.

На фабрику Вальтер приходил прощаться к Жану. Тот тискал его по-своему, спрашивал, будет ли Вальтер стрелять. Вальтер говорил, что стрелять будет в воздух.

Жан рычал:

— Вальте'г! Вальте'г!

Не считаясь с тем, что ставит Вальтера под удар, провожал его к воротам фабрики, оттеснял немцев провожающих.

Без Вальтера Жан был таким же шумным, но почему-то перестал вызывать привычный, казалось, интерес. Я думал, что Вальтера среди других немцев заметил потому, что его выделил Жан. Оказалось, сам Жан поблек без Вальтера.

После освобождения я несколько раз видел Жана. Он ходил с закатанными рукавами, африканские завитки жестче и веселей закручивались на его бакенбардах.

¹ — В России тоже трамваи?

² — В России тоже велосипеды?

Появлялся он и в нашем лагере, звал выделить делегатов в городской антифашистский комитет. Я заговаривал с ним о Вальтере. Конечно, какой у нас мог быть разговор. Жан ругался:

— Бандиты, идиоты! Вальте'г!

Теперь-то я знаю, что вряд ли запомнил бы каждого из них порознь. Они забылись бы, как многие другие, как стерлось в памяти ужасное, которому, казалось, никогда не стереться. На поверхность памяти, в которой уже столько потонуло, Жана и Вальтера выносит то, что они были вдвоем.

И Гюнтер запомнился потому, что он был рядом с ними.

14

В январе сорок пятого года в лагере появились сразу несколько мужчин, которых все называли военнопленными (они сами себя тоже так называли) и еще эссенскими. Они приходили порознь — по двое-трое, говорили, что спаслись из разбомбленных эссенских лагерей, держались вместе. Лагерный комендант, я уже говорил, был хром. Как у людей, долго ходивших на костылях, у него при некоторой перекошенности фигуры были гимнастически развитые плечи и руки. В гневе двигался стремительно, делал какие-то гимнастические броски. Встал над своей негнущейся ногой, подтягивал ее, опять взлетал. Бледнел страшно — вся кровь отливала от лица. Эта бледность в сочетании с аккуратностью в одежде, несомненной впечатлительностью, худощавостью придавала ему вышколенный интеллигентный вид. Руки держал так, будто давал им просохнуть после недавнего мытья. Так держатся брезгливые люди, попавшие в место, где опасаются прикосновений к дверным ручкам, столам, бумаге. Было видно, как много усилий тратит он на то, чтобы владеть своей походкой. В лагерь приходил, опираясь на палку. Но идти старался так, чтобы палка казалась прогулочной тростью. Если случалось на виду у всех спускаться по лагерьной лестнице, палку подхватывал под мышку, сбегал по ступенькам, не касаясь перил. Ступени давались легче, чем ровное место. Вообще с палкой обращался, как щеголь с тростью, не как инвалид с костылем. Поигрывал, покручивал, иногда ухитрялся, упирая в землю, присаживаться на нее. Придя в лагерь, останавливался у дверей вахтшубы. К нему сбегались полицейя, приходил Иван Длинный. Если погода была хорошей, долго стояли

кучкой. Комендант щурился на солнце, менял позу, задавал вопросы, показывал палкой на бараки, сарай, уборную. Он будто постоянно торжествовал победу над своей хромотой, не выходил из состояния повышенной наставнической, начальственной бодрости. И аккуратность его была как бы наставнической. Его можно было принять за школьного учителя, который собранностью, волей одерживает над собственным телом ежеминутные спортивные победы и внушает своим ученикам, что из таких спортивных побед извлекается дополнительное количество бодрости, веселости и собранности. И одежда у него была какой-то повышенной пригнанности и словно бы курортности: светлые плащи, пиджаки, шляпы. В форме штурмовика с нарукавной повязкой со свастикой, в фуражке с высокой тульей он являлся в лагерь очень редко и как бы со значением: смотрите и запомните...

Полицаям в его присутствии надо было часто улыбаться.

— Н-на!— говорил он с выражением человека, очень довольного жизнью, и поднимался в вахтштубу. Дверь вахтштубы оставлял открытой.

На лагерьный двор из вахтштубы выходил по-домашнему: без пиджака и палки. Стремление одерживать победу над хромотой облегчало судьбу тех, кто в гневе попадался ему под руку.

Меня он бил трижды. Я уклонился от дезинфекции. Рассчитал, что все равно побьют, но на дезинфекции еще и измучают. Когда всех выгоняли из бараков, укрылся в умывалке, а когда в лагере затихло, решил искупаться. Нас было трое, и кое-какой шум мы все-таки создавали. Комендант застиг нас голыми. Второй случай последовал сразу же за первым. В воскресенье нас троих выгнали убирать сарай. Там были уголь, дрова и ящик с лимонадом для полицейских. Одну бутылку мы открыли и пустили по рукам. А дежурного к дверям не поставили...

Первого мая сорок четвертого года я не вышел с ночной смены на работу. Мастер, который знал меня в лицо, работал днем, и я надеялся, что все сойдет. Ночью меня никто не тронул. Позвали к коменданту утром, часов в девять. Прибежал Иван Длинный.

— Сидишь! А его комендант кличет!

Дверь в вахтштубу, как всегда, была открытой. В глубине за столом сидел комендант и старший мастер вальцепрокатной фабрики. Я не видел, чтобы старший мастер кого-то бил, поэтому немного успокоился. Я вошел

и остановился на пороге, а комендант поднялся, запер за мной дверь и ключ положил в карман. И я понял, что и два предшествующие раза будут учтены. Комендант вернулся на свой стул, говорил о чем-то с мастером, не обращая на меня внимания. Хотя не обращать внимания в этой тесной комнате было невозможно. Здесь были стол, два стула, узкая кушетка, какие ставят в медпунктах, только покрытая не клеенкой, а одеялом. Как в медпункте, здесь была аптечка с красным крестом на дверце. Коленями я чувствовал телесное тепло, идущее от коленей старшего мастера. Я стоял к нему ближе. Он не снимал плаща и кепки — пришел на минуту и вот-вот уйдет. Шляпа и плащ коменданта висели на вешалке, палка стояла между шкафом и стеной. Наконец комендант спросил, где я был ночью.

— Спал.

— Где? — и он выразительно посмотрел на мастера.

Значения этого взгляда я не понял.

— На койке.

Он вскочил, выставив прямую ногу. Я слеп от ударов, понимал, что все зависит от мастера. Он пришел сюда за этим, если он уйдет или что-то скажет, это прекратится. Но он продолжал сидеть спокойно, только колени слегка отодвинул, освобождая место. Лицо отупело от ударов, язык нащупал разворсившуюся десну, пустое место там, где только что был зуб.

Комендант оставил меня, а по лицу мастера не было понятно, удовлетворен ли он уже.

— Полицай не нашел его на месте, — говорил комендант старшему мастеру. — Ушел в другой барак, а на своей койке куклу из одеяла оставил. Когда с фабрики позвонили, полицай пошел за ним, а там кукла.

Комендант показывал, как я скатываю одеяло, чтобы оно напоминало спящего человека. Он старался, чтобы и я понял. Если мастер увидит, что я понимаю и не возражаю, он поверит, что все так и было, что лагерная полиция проявила рвение, но я ее перехитрил.

Из разбитого носа капало, рот был полон, некуда было сплюнуть. Комендант брезгливо обошел меня, вставил в дверь ключ. Я подумал, что меня отпускают, но комендант дверь не открыл. Долго, отстраняясь всем корпусом от водопроводной раковины, чтобы водяные брызги не попали на одежду, мыл руки, долго вытирал их. Потом открыл аптечку, достал бумажный бинт, подождал, пока я вытру нос и рот, еще дал свежего бинта и открыл дверь.

Когда он бил меня и когда врал старшему мастеру, он не бледнел и не краснел, хотя ложь была нелепой. Если бы ушел в другой барак, зачем мне нужна была бы кукла? Я, конечно, не знал, в чем старший мастер мог обвинить лагерного коменданта и отчего тот должен был защищаться. Может быть, полицаи обязаны были после отбоя всех пересчитывать на нарах, но не делали этого.

До сих пор комендант со всей его жестокостью, чистоплотностью, спортивностью казался мне ужасным, но цельным человеком. Я не думал над этим, просто ощущал так. А цельность даже теми, кто над этим не думает и не знает, что это так называется, ощущается очень хорошо. Должно быть, для всех людей в цельности есть что-то одинаково завидное. Не просто сумма качеств, но самое продуктивное их соединение. Недаром цельность даже во врагах замечается и уважается. Но вот выяснилось, что в лагере на ужасную цельность лагерного коменданта просто некому было покуситься, пока не явился старший мастер.

С порога я увидел Ивана. Он, как дворник, возился во дворе с лопатой, граблями, тачкой. Работая, он обычно громко окликал полицаев, требуя не совета, а участия, признания:

— Герр Фридрих! Герр Пауль!

Сейчас он не кричал, ждал меня. Не он бил, он только ходил за мной. Но и это ложилось на него, присоединялось ко всему, что он уже сделал.

Увидев и оценив мое затекшее лицо, он отвернулся, подхватил свою тачку и куда-то покатил.

Коменданта я теперь запоминал во всех его движениях. Я видел, как он, выходя на порог вахтштубы, словно воду пробует своей больной ногой, а затем, будто легкомысленничая, перепрыгивает через две ступени. Как, увлекая за собой полицаев, бежит куда-то без палки через весь лагерь. Как, приходя в лагерь или уходя из лагеря домой, дает на себя полюбоваться в плаще и шляпе, с палкой, на которую он умеет значительно опираться. Природа дала ему на редкость красивое, запоминающееся лицо. И все волевые, спортивные усилия, которые он затратил для того чтобы победить хромоту, чтобы постоянно быть бодрым, чистоплотным, приятным, как-то на этом лице отразились. А вот жестокость не отразилась нисколько. Может быть, только в темной глубине глаз. Но в глаза коменданту мне не часто удавалось заглядывать.

Должно быть, привычно и бессознательно он бодрился

и кокетничал не только перед полицаями, но и перед нами. А тяжесть ненавидящих, следящих за ним глаз стал замечать и учитывать к концу сорок четвертого года. Стал тяжелее опираться на палку, реже с ней расставаться. Перестал хвастать своей опасной, всех настигающей проицательностью. Стал что-то упускать, не замечать.

В это время к нему и явились эссенские. Полгода назад он сразу запер бы их в карцер — штубу ноён — и вызвал бы жандармов.

Штуба № 9 была попросту неотапливаемым барачным тамбуром. Особенно страшна она была зимой.

С первого взгляда было понятно, что эссенские — беглые военнопленные, которым надо прижиться в рабочем лагере. За побег они могли заплатить жизнью. Но на них и еще что-то могло висеть. Они не сразу пришли к коменданту, вели переговоры через Ивана. Иван носился по лагерю, значительно вытягивая длинную шею, отбрасывая пшеничный чуб. Конспирировал, возмущался, если у него спрашивали:

— Все лезут! Не знаю. Иван, Иван! Без Ивана никуда! — Иван всегда знал, что делает.

Весь лагерь был затронут переговорами. До самого конца нельзя было угадать, как поступит комендант. Трое эссенских вошли в вахтштубу. Дверь за ними закрылась. Вышли вместе с комендантом. Комендант провожал их на порог, опираясь на палку. Был страшно бледен. Отдавал распоряжения дежурному полицая и Ивану, палкой показывал, в какой барак поместить.

Так же бледнел он, когда еще в лагерь приходили эссенские. И потом, когда видел их в лагере, страшно бледнел, старел, опирался на палку, как на костыль.

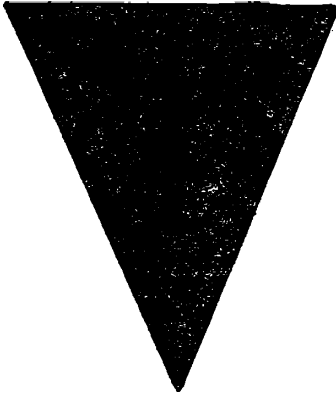
В лагере были умершие, беглые, на их место комендант и принимал эссенских. Не была новостью и причина — «лагерь разбомбило», — на которую ссылались беглые. Но все понимали, что дело не только в этом.

До сих пор в лагере были только истощенные юнцы, вроде Костика, Сани, меня. Или пожилые ослабленные люди. Было два женских барака. Так что помимо всего прочего полицаи всегда имели превосходство зрелого возраста, физической силы. Теперь на пересчетах возникало напряжение. Перемену настроения полицаи улавливали мгновенно. И, хотя эссенские держались осторожно, полицаи обязательно напали бы на них. Так они всегда отвечали на чью-либо самостоятельность, самоуважение, так поступали с кем угодно, чтобы удержать на «рабочем»

уровне лагерный страх. В Лангенберге в этом смысле было полегче, чем в первом лагере. На «Бергишес мергишес айзенверк» били вслепую. В Лангенберге побои можно было объяснить какими-то причинами — три раза бил меня комендант и три раза «за дело». На узкой площади тебе предлагали какой-то выбор. Вообще уровень страха в каждом лагере был, конечно, свой. Колебался он в зависимости от причин, которые можно учесть (например, чем больше лагерь, тем хуже) и которые учету не поддаются. Но, безусловно, была и общегосударственная отметка, к которой полицаи были обязаны дотягивать лагерный режим и которую они могли переходить как угодно далеко, поскольку в конце этого «как угодно далеко» была наша гибель. В арбайтслагерях рабочая сила для Германии только начинала свой путь, завершаться он должен был в лагерях уничтожения. Все это в разное время и ощущалось по-разному. Но ощущалось всегда. Теперь-то я знаю, что мне, пожалуй, повезло на маленький Лангенберг. И даже хромой лагерфюрер был, несомненно, не самым худшим из лагерных комендантов. Но на конечном результате это не сказалось бы никак, если бы не гигантское давление восточного фронта. Не то чтобы в конце сорок четвертого — начале сорок пятого лагерные полицаи как-то сразу изменились (что тут можно было изменить), но какие-то мысли должны были обязательно проникать в их головы. Сжимающий пружину чувствует, с какой силой она ударит. Избегать мыслей о будущем, отмахиваться от них могли только военные: от этих мыслей их в какой-то мере освобождала дисциплина, а если они по доброй воле совершали гнусности, то ведь они ничем не были привязаны к месту, на котором они эти гнусности совершали. Все наши полицаи были жителями этого города. И хотя в таком государстве вряд ли кого-либо можно считать добровольцем, все они были штатскими и, следовательно, добровольцами этой системы. Устраиваясь на свою работу, они, надо полагать, учитывали расстояние от дома до лагеря. Только комендант приезжал на трамвае, остальные приходили пешком. Им было удобно во время дежурства сбегать домой пообедать. Теперь они тоже должны были учитывать это расстояние — то, что надвигалось, неизбежно должно было застать их дома. Разумеется, это сейчас известно, сколько месяцев и дней оставалось до конца войны. К тому же столько было накоплено ненависти и лютой, что перед ними отступал сам инстинкт самосохранения. Как бы то ни было, с приходом

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Должностные преступления»



Треугольник зеленого цвета острием вниз

эссенских, но как бы не по их вине запреты, на которых держался лагерный режим, стали ослабляться и отпадать. И комендант, появляясь на пороге барака, бледнел, улавливая запах печеной картошки, но быстро поворачивался и уходил.

И только эссенские вели себя сдержанно.

Иван смотрел на них голубыми преданными глазами, любопытно вытягивал шею, говорил:

— У меня самого два брата в Красной Армии.

Выгребал для них баланду со дна котла. Это были люди, перед которыми он был чист, которые были обязаны ему.

Они не приваживали, но и не гнали его. Я издали присматривался к ним. У них у всех была одна и та же манера смотреть и говорить. Вернее, недоговаривать. Каждого нового человека они ощупывали глазами, словно опасались, что он их узнает и уличит. Без дела они редко выходили на лагерный двор, расходились по нарам, если кто-нибудь к ним входил. Оставляли одного или двух для разговора. Однако разговор замерзал на каждом слове. Конечно, лагерное напряжение у всех вырабатывало настороженность, стремление уйти в темноту, стать или сесть так, чтобы тебя не видели. У меня самого, конечно, был настороженный взгляд. Естественным было выжидать, пока заговорит другой, не начинать первым. Но тут был другой уровень опасности. И каждый, кто входил к эссенским, сразу же ощущал, что из своего уровня опасности он попал в куда более высокий. И только Иван не замечал или старался не замечать, как на него смотрят.

У меня сердце забилось, когда один из эссенских спросил меня:

— На «Фолькен-Борне» работаешь?

Этого военнопленного можно было посчитать главным среди эссенских. Ему было лет тридцать пять, звали его все по отчеству — Петровичем, он оставался «для разговора», когда кто-то приходил в барак. Он свободнее смотрел, рассудительнее говорил, охотно поддерживал любые темы (другие эссенские были как бы сосредоточены на том, о чем молчали), выходил на лагерный двор, знакомился.

— По шоссе мимо Лахмана ходишь?

Я кивнул. Шоссе было одно до самого Лангенберга. При фабрике Лахмана был лагерь женщин полек. И лагерь и фабрика казались нам загадочными, там было какое-то химическое производство, и я ждал, что Петрович спросит о Лахмане. Но он сказал:

— Разбитый дом знаешь?

Знал я, конечно, и разбомбленный двухэтажный дом. Попадание было прямым. Бомбой дом раскрыло, расщепило деревянные балки перекрытий. Они не провалились, а поднялись вверх, растопырились, держали на себе изогнувшиеся разделившиеся доски пола.

— Кто водит?

Я сказал, что на фабрику водит немец рабочий, иногда полицай. Теперь, бывает, с фабрики отпускают самих.

— Значит, задержаться минут на десять — пятнадцать можешь?

— Могу.

Он кивнул. А через несколько дней, когда я уже перестал надеяться, что разговор был неслучайным, он мне протянул окурок. Нас стояло человек пять, невольно следивших за тем, как укорачивается, подрезается огоньком в его пальцам самокрутка. Никто не хотел начинать знакомства с просьбы. Петровичу надо было самому выбирать. И, хотя я держался в стороне, он протянул окурок мне.

— Чего ж не приходишь к нам? Приходи!

И опять забилось сердце.

С этого времени началась для меня новая (не о Германии будь сказано!), счастливая жизнь. Даже на фабрике я думал о том, что вечером просижу у эссенских до отбоя и каждая минута будет для меня подарком. Может быть, впервые в жизни в бараке военнопленных я ощутил течение времени потому, что каждой новой минуты мне было мало. Не то чтобы мною занимались, меня почти не замечали. Не помню, например, ни одного слова, прямо обращенного ко мне ленинградцем Аркадием. Глаза у него были голубые, но взгляд тяжеловатый, не спрашивающий, а как бы заранее все знающий, отечные веки. И голубизна и какая-то властность замечались сразу потому, что глаза были навывкате, и потому, что для пленного такой взгляд был непривычен. Аркадий не занимался мною, но дело было не в этом — он *включал* меня. Если надо было что-то поделить, он спрашивал:

— Сколько нас? — и сам себе отвечал: — Трое... Пятеро... — то есть называл цифру, которая включала и меня.

В глазах осадок голодной усталости и объединяющее со всеми остальными эссенскими выражение постоянного косвенного слежения: за дверью, за теми, кто в эту дверь входит... Выражение из тех, которые тщательно прячут. Голову, например, на подозрительное движение или шорох не поворачивают. Но, когда несколько человек разом не

поворачиваются туда, куда им было бы естественно повернуться и взглянуть, это становится очень заметным. Чтобы разрядить напряжение, они устраивали «натуральный» шумок, расходились по койкам, но первую минуту настороженности никогда не могли преодолеть. Настороженность людей, готовых разбежаться, была мне знакома. Это была настороженность, оценивающая возможность для нападения. Весь лагерь — не я один — эту особенность улавливал. Я удивлялся глупости Ивана Длинного, который не понимал, как на него смотрят. Будто отыскивают у него на лбу пятно, о котором он понятия не имеет. У эссенских Иван возбуждался, глаза его, как слезой, наливались искренностью — искали ответной искренности. В барачной комнате, которая казалась продолжением фабричных помещений, так все здесь было закопчено, Иван казался самым красивым или самым полноценным живым существом. Голубизна его глаз была моложе, новее, чем у Аркадия, под молочной живой кожей подвижный румянец — жар здоровья. Ни усталости, ни голодной заторможенности в жестах, в гибкой длинной фигуре. Сама способность его глаз наливаться искренностью, просто гореть ею, бесстрашная готовность ругать немцев, хвастать старшими братьями — тоже от предательского здоровья, которое ни разу не угасало на баланде, на фабричной работе. Ел Иван с полицаями на лагерной кухне. Иногда он вскакивал, сутулился, глубоко засовывал длинные руки в карманы, откровенничал:

— Если бы не я...

И перечислял тех, кто уже погиб бы в концлагере или был бы тут замордован.

— Правильно? — обращался он ко мне за поддержкой.

Я помнил, как враждебно он нас встретил, когда нас впервые привезли в этот лагерь, как я по загорелой коже, по необыкновенной густоте и картинности пшеничного чуба, в котором тоже сказывался избыток каких-то сил, просто по тому объему, который в пространстве занимало его тело (все мы давно уменьшились, ссохлись), сразу догадался, кто он такой.

— Городские? — наклоня чуб с высоты своего роста, говорил он. — Смотрите, здесь ваши штучки не пройдут!

Заинтересовался ровесниками:

— Уже брился? Дурак! Я не бреюсь. Один раз побреешься — каждый день придется. Расти начнут.

Ни разу не улыбнулся.

— На что можно хлеб выменять? А что у вас есть?

Голодранцы несчастные!

Пригрозил:

— Был тут один быстрый! Где он теперь?

Цыкнул на своих:

— Чего уставились?!

Поднес к глазам свои никелированные швейцарские часики, и длинная рука в коротковатом пиджаке при этом сильно обнажилась. Ступая длинными ногами, направился к тачке. Подозрительно оглянулся на старых лагерников, окруживших нас.

— Болтайте, болтайте! Все равно узнаю!

Кто-то назвал его странным словом:

— Скракля!

— Сволочь?— спросили мы.

— Старается.

Он и сейчас старался. На виске и на шее так напряглась синяя жилка, что, казалось, кадык в своем движении может ее повредить. Я всегда с опасением следил, как синеватая прозрачная тень на виске, скуле и шее Ивана вдруг набухает ярким цветом. Ивана я ненавидел, а женскую эту жилку почему-то жалел.

— Да ты не кричи,— говорил ему рассудительно Петрович, хотя Иван и не кричал. В голосе Петровича Иван легко мог услышать равнодушие и какую-то опасную неискренность. Странно, Иван еще был хозяином положения, а ведь он о собственной жизни хлопотал.

Он замолкал, как неожиданно остановленный, а жилка под тонкой кожей все набухала, вспыхивала на лбу: тронь ногтем — порвется. Глядя на жилку, я думал: «Может, правда, у него два брата в Красной Армии». Догадывался, это под тонкой кожей у него жизнь пульсирует, кричит.

Иван тоже улавливал что-то опасное в голосе Петровича, но это не останавливало его. Он только запинаясь и вдруг с хрипотцой, с интонацией сообщника рассказывал какую-нибудь ужасную лагерную историю, о которой ни военнопленные, ни даже я не могли знать, потому что происходила она еще в то время, когда нас здесь не было. Как кого-то забили насмерть, сдали в концентрационный лагерь и какое невольное участие в этом принимал Иван. Поражала эта сообщническая интонация, которую, должно быть, Иван сам у себя не слышал, не понимал ее значения, не мог рассчитать, какое впечатление она произведет на слушателей. Он как бы еще раз переживал те события и помимо своей воли переживал их так, как тогда, когда кого-то сажали в штубу № 9, били резиновыми палками.

Я вспоминал, как Иван грозил: «Был тут один быстрый! Где он теперь?»

Жила на лбу мускулисто вспухала, в голосе обида на несправедливость: сам он, успевший в евоей жизни всего лишь несколько раз побриться, всегда среди множества голосов так ясно различал голос своей собственной, единственной жизни, так хорошо ощущал свое здоровье, свою чистоплотность, так просто и естественно принял когда-то неприязнь к голодранцам и вообще к городским, что не чувствовал вины. Несправедливость в этом и была. Виноват тот, кто неискренен. А к коменданту Иван был даже привязан. Сытость, здоровье, чистоплотность всегда были главными признаками жизненной правоты. К тому же Иван только подчинялся. А кто не подчинялся?

— Сергей, скажи!

— Да не надо этого,— говорил Петрович.

— Чего?

— Чтобы Сергей подтверждал. Свидетели нужны в суде. А в жизни хорошего человека и так видно. Правильно? Ты же среди людей живешь.

Иван сглатывал и в знак согласия наклонял чуб.

— А мы тебя не судим.

Опять напряглась жилка — Иван мучительно думал.

Петрович переводил разговор:

— Какой полицай сегодня дежурит?

Иван называл.

— Вот и хорошо,— говорил Петрович равнодушно, а Иван начинал покрываться краской — искренность его не была принята. Он знал только один способ пробудить в другом ответную искренность — рассказывал еще одну историю, называл имена и фамилии, которых никто не мог знать.

Подходил тезка Ивана, военнопленный Ванюша.

— Никто, говоришь, не знает?

— Никто.

— А ты знаешь?

Теперь Иван наклонял чуб так, будто собирался бодаться. На лбу собирались гневные морщины.

— Ну! — из-под нависшего чуба смотрел на Петровича, Ванюшу, меня. — Поговорили! Хватит.

Хлопал дверью, и мы видели в окно, как он, выросший из своих брюк, шел через лагерный двор.

— Укусит,— говорил Аркадий Ванюшке. — Не надо его сейчас раздражать.

— Может,— соглашался Петрович.

А дня через три Петрович и Ванюша объясняли мне, как найти рядом с разбомбленным домом тайник, в котором хранилось два пистолета.

— Пронесешь за два раза,— сказал Петрович.— Они тяжелые. В карман положишь, сразу будет видно.

Брюки мои держались на старом ремешке. Мне дали черный немецкий солдатский ремень с дюралевой квадратной пряжкой.

— На голое тело под ремень засунешь,— сказал Петрович.

Я изо всех сил удерживался от вопросов. Больше всего боялся, что кто-нибудь в самый последний момент передумает, скажет: «Забудь».

Мне казалось, что Аркадий, тяжело глядевший на меня своими выпуклыми глазами, остановит Петровича, отберет у меня черный ремень и скажет не мне, а Петровичу: «Завалится и нас завалит».

Должно быть, на лице моем ясно было написано сумасшедшее возбуждение.

— Остынь,— сказал Петрович.— Как в бараке скажешь про ремень?

Я, конечно, представил себе уже, как Костик спросит меня, а я промолчу и многозначительность будет накапливаться. Я, конечно, изменился. Но, может быть, главный урок, который я тогда не мог осилить, состоял в том, что человек, даже приспособляясь к самым тяжелым обстоятельствам, мало изменяется в чем-то своем. Осилить этот урок я не мог потому, что мне хотелось меняться. Все вокруг меня как будто бы говорило о том, что я изменился. Никто уже не мог третировать меня как малолетку. И если нужен был кто-то на рискованное предприятие, звали не Костика или Саню, а меня. И дело было, конечно, не в том, что я вырос и повзрослел. Я ведь и ослабел тоже и с кашлем не мог справиться. Но вот мне дали черный ремень, и я почувствовал радостную тяжесть тайны. Риск тоже радовал меня — военнопленные называли день и час, а я был готов всей душой. Боялся я собственной жадности и неловкости.

— Скажу, что ремень Ванюша подарил,— сказал я Петровичу.

— Лучше променял. На что бы ты мог променять?

— Не на что.

— Это верно. Ну, пусть подарил. Ивану не попадайся.

Военнопленные работали на «Вальдверке». То есть от лагеря сворачивали на мост, оставляя Лангенбергское

поссе в стороне. Они раньше возвращались в лагерь потому, что от «Вальцверка» до лагеря было ближе, чем от лагеря до «Фолькен-Борна». Тайник я нашел сразу, пистолеты были завернуты в промасленные тряпки. Не разворачивая тряпки, один я сунул за пояс, а второй положил в брючную калошу, перевязав ее у щиколотки веревкой. Я уже говорил, на мне было две пары дырявых брюк, нижние я и перевязал. Каждый шаг ослаблял веревку, и я с ужасом чувствовал, что она распухнет еще до того, как я приду в лагерь. В разбомбленный дом я свернул, сказав немцу сопровождающему, что у меня заболел живот. Он был недоволен, показал, чтобы я не задерживался, быстро догонял, пригрозил:

— Амбер пас маль ауф ду!¹

Мол, разбомбленный дом — чья-то собственность. Наказание за мародерство еще страшней, чем за обыкновенное воровство.

В своих колодках я попытался бегом догнать его и Саню. Немец оглядел меня подозрительно, а я вдруг ощутил, как плотная тяжесть становится ускользающей — калоша освобождалась от веревки.

— Ногу растер? — спросил Саня.

Немец поглядывал с беспокойством и подозрением, покрикивал:

— Люстинг! Лос!²

Как проносят картошку, перевязав кальсоны или такие же, как у меня, нижние брюки, я слышал, но сам ни разу не пробовал. А ведь знал уже, что даже для того, чтобы надежно перевязать на щиколотке веревку, нужен опыт. Может оказаться, что как раз твоя щиколотка для этого не годится. Портянки у меня всегда почему-то разматывались, носки держались плохо. Но, главное, суеверный страх предостерегал меня против лихости, а какое-то упорство все-таки подталкивало.

На пороге к лагерю дорога пошла под уклон. Каждый сбой в рельефе дороги грозил катастрофой. Сквозь проволоку лагерных ворот я видел полиция, пропускавшие колонну. Он лениво охлопывал каждого пятого.

Сквозь проволоку я увидел Петровича, Ванюша сделал знак рукой, а Петрович забеспокоился и придвинулся к воротам. Как стреноженный вошел я в ворота, полиция хлопнула меня по спине, и в этот момент я почувствовал,

¹ — Смотри мне!

² — Живей! Давай!

как пистолет скользнул и лег на башмак. Я сделал еще два шага, и сверток с тряпками вывалился на землю. Ванюша нагнулся и быстро направился в барак. Петрович сказал:

— Сразу не приходи!

У меня вспотела спина. Оглянулся, полицай с кем-то разговаривал через проволоку ворот. Я двинулся вслед за Петровичем, а когда расстался с ним, увидел Ивана. Он ждал меня.

— Что пронес? — Глаза у него сделались грустными.

— Ничего.

Он отвернулся и будто направился по своим делам. Но я знал, что такие игры быстро не заканчиваются. И правда, он остановился.

— Ремень откуда?

— Выменял.

— Ты выменял, а Иван дурак? Да?

Опять отвернулся, будто пропуская меня, но, едва я сделал шаг, он крикнул:

— Стой! Дай-ка сюда! Зачем тебе такой ремень?

Я крутнулся. Иван смотрел мне вслед из-под нависшего чуба.

У себя я залез на нары, припрятал сверток в матрац. Весь вечер лежал на койке, а за час до отбоя вышел в уборную, огляделся и направился к военнопленным. Мне не обрадовались. А когда я пришел на койку к Петровичу и отдал ему второй сверток, он сказал:

— Вот оно что!

Будто он только что меня защищал, а теперь признает, что защищал напрасно.

Сверток тотчас спрятали. Все разошлись по нарам. Петрович меня ни о чем не спрашивал, ни в чем не наставлял, тоже начал готовиться к ночи.

Лишь через три дня Ванюша сказал мне:

— Приходи, посмотришь, что принес.

Сказали бы мне: «Сейчас ты очутишься дома!» — я бы не обрадовался так. («Очутиться дома» — это и из отчаяния и из снов моих давно ушло. Детские бредовые мечты о чуде, которые я замечал и у взрослых людей, были от ошеломления. Чтобы быть воспринятым, чудовищное тоже ведь должно соответствовать какому-то «нормам». Взорваться с полициями, жителями домов, из окон которых так хорошо был виден наш лагерь, — вот чем могла бы насытиться ненависть. Но теперь была надежда дожить, выйти за проволочные ворота, посмотреть на этих людей в их же домах, на их же улицах...) Я только начал

лечиться опасностью от страхов, а меня вновь возвращали к одиночеству и растерянности. Это только на первый взгляд может показаться странным, что с увеличением опасности уменьшается количество страхов. Страхов и так много. Но большинство из них мелки, грозят одиночке. Инстинктивно и сознательно я изо всех сил тянулся к военнопленным. Там повышался уровень опасности, но увеличивалась и защищенность. И наказание я считал бы справедливым. Где все делается только один раз и переделывать невозможно, даже за глупость наказание должно быть серьезным. Но вот все-таки они решили позвать меня.

Пистолеты мне показывал Ванюша. Вначале на дальние нары принес один, а когда я посмотрелся, принес другой. На первом, плоском, невороненом латинскими буквами было отштамповано: «Модель — 7,65». Я спросил: «Можно?» — потянул затвор. Кукишем из-под «рубашки» выглянул тусклый ствол. Рукоятка оказалась пустой. Показали мне и обойму. Однако обойма была не от этого пистолета. Под те же патроны, но от оружия меньших размеров. Сама собой она в рукоятке не держалась. Увидев мое разочарование, Ванюша сказал:

— Стрелять можно. Большим пальцем левой руки придерживать приходится, — и он подмигнул.

Еще больше увеличилось мое разочарование, когда Ванюша дал мне второй пистолет. Это был «парабеллум» с тяжелой и удобной рукояткой, тонким стволом и пустой, выстрелянной обоймой. Досадно было то, что, неотлично похожий на современный «парабеллум», он был изготовлен в самом начале века и современные патроны использовать не мог. Его собственные патроны были выстреляны давно. Так что, даже забравшись на современный военный склад, мы не добыли бы к нему боеприпасов. И ни к чему нам были его удобная, в мелкой насечке желтоватая рукоятка, прекрасно сохранившийся механизм. Я взвесил оба пистолета в руке.

— Хочешь узнать, из-за какого чуть не завалился? — спросил Ванюша. — Из-за этого.

Он направил на меня «парабеллум», глаза его сделались пугающе пристальными, я невольно отклонился.

— Видишь, — сказал Ванюша, — ты же не станешь справляться, в каком году он изготовлен и есть ли патроны.

Я подумал, что один пристальный Ванюшин взгляд может напугать. А вот испугает ли кого-нибудь такой пистолет в моих руках?

Ванюша постучал пальцем по рукоятке, показывая, какая тонкая и прочная пластинка с мелкой насечкой.

— Музыкальная!

Все истории, которые он рассказывал, заканчивались чем-то веселым. В самом начале войны его ранило осколком танкового снаряда в живот. Он стрелял по танку из противотанкового ружья. «Растревожил», — смеялся Ванюша. Но не это было главным в его истории. В госпитале ему вырезали двадцать сантиметров поврежденных кишок. Врач предупредил: алкоголь — смерть! А Ванюша, как только поднялся на ноги, сбежал из госпиталя и где-то ухитрился выпить семь кружек пива. Полумертвым привезли его в госпиталь. Дежурная сестра растерялась: «Что же делать!?» А Ванюша отвечает: «Есть надо. Сразу надо есть». Это был его любимый ответ на все непонятное, на все, во что Ванюша не хотел вникать. Полное пренебрежение к своим и чужим физическим страданиям у него как-то было связано с желанием отшутиться от всех серьезных разговоров. «Молотком стучать можно!» — показывал он шов на животе. Говорил, что легче переносит голод потому, что у него живот меньше, чем у других людей. Но шутником он не был. Он косолапил на ходу, гнул в пояснице. Намекая на ранение в живот, называл это желудочным ревматизмом, но был силен и быстр в движениях и решениях, глаза ст, всегда раньше других замечал опасность и при этом еще успевал отшучиваться. За каждой его шуточкой угадывалась какая-то тень. А в этой тени сам он, Ванюша. Только успеешь простодушно рассмеяться и расслабиться, видишь его внимательные глаза. Я скоро заметил, что опасения он вызывал не только у тех, на кого, как на Ивана Длинного, взглядывал непримиримо, но и у своих, которые опасались его чрезмерной быстроты. Я тоже, как и другие, считал, что поступкам должны предшествовать слѳва. У Ванюши это было не так. Опасность тянула его магнитом, но и убежать он не стыдился, если опасность была не по силам. И потом не стеснялся рассказывать, как убегал. В лагере, понятно, часто приходилось прятаться, спасаться, но говорить об этом никто не любил.

Мне нравились Ванюшина поворотливость, рысья желтизна и пристальность немигающих глаз, обманчивая косолапость. А главное, конечно, нравилась снисходительность, с которой он не заметил мой конфуз. Он был ближе других эссенских ко мне по возрасту. Держался, сохраняя постоянную независимость ото всей компании. Смысла

этой независимости я понять не мог. Сам я был как раз в той поре, когда всякое невыясненное противоречие казалось мне мучительным, требующим немедленного разрешения и устранения. За эти годы я повидал людей, которые с ненавистью и подозрением относились к словам, организуя вокруг своих поступков бессловесную темноту. Это были плохие люди, типа Соколика. К поступкам, которые не могли отразиться в слове, как в зеркале, я относился с опасением. В общем, был в той поре, когда хотелось все называть, всему найти главные слова. Все беды, считал я, оттого, что кто-то не приложил настоящих усилий, чтобы договориться. Сам я стораил от желания исповедаться, принять чужую исповедь. Хотел быть принятым, войти в дружеские души, полностью разделить их ненависть и любовь. Конечно, военнопленные были для меня слишком взрослыми и уважаемыми людьми, я старался понять и усвоить каждый урок, и они, должно быть, не замечали, какую самонадеянность внушили мне мой, разумеется, нешуточный, хотя и невольный жизненный опыт и то обстоятельство, что они приняли меня к себе. Напряженно размышляя о правильной и неправильной жизни, я был уверен, что и другие заняты этим же и с тем же напряжением мечтают объединить свои усилия с другими потому, что если неправильных жизней много, то правильная, естественно, одна. Поэтому и смущала меня Ванюшина обособленность. Однако это он спас меня, а может, и всех от провала. Не осудил меня и не захотел заметить, как это сделали другие. Был доволен, когда я всюду увязывался за ним. А я, когда шел рядом, чувствовал, как мне прибавляется поворотливости, как умалывается опасение перед возможной физической болью, а страх превращается в готовность.

Мне хотелось очистить память, изжить из нее свой конфуз. Для этого надо было еще раз пережить его с тем, кто готов простить. Несколько раз заговаривал с Ванюшей. Он отмахивался: «Брось ты!» Хотя не был со мной молчалив. Учил различать благоприятные и тревожные приметы: например, отправляясь на опасное предприятие, не следует почему-то причесываться и считать, скажем, деньги или сломанные зубцы в расческе. Очень серьезно отнесся к моему рассказу о мстительном католическом боге, который наказал меня за то, что я повторял, не зная их смысла, любимые словечки Жана.

— Шутки шутками, — сказал Ванюша, — а лучше забудь.

Однако самые черные приметы ни от чего Ванюшу не удерживали. Помню, что перед выходом на опасное предприятие приметам устраивалась настоящая ревизия. С шуточками или без шуточек, но все в барачной комнате в нее вовлекались. Не надел ли кто в спешке рубашку наизнанку, кого первым увидели, выходя на порог, мужчину или женщину. Ни архитектор Аркадий, ни слесарь Петрович не пытались возражать.

В начале марта мы с Ванюшей пронесли в лагерь еще два пистолета.

По воскресеньям, когда не выгоняли на фабричные и лагерные работы, желающим разрешалось пойти поработать к немцам в город. Я хотел назвать этих немцев частными нанимателями, но «наниматель» здесь никак не подходит. Не было никакого предварительного уговора; чаще, чем слово «работать», употреблялся глагол «гельфен» — «помогать», нельзя было даже выбрать себе нанимателя. Делалось это так. Утром в воскресенье у вахтшубы собирались пять—десять немцев, которым на воскресенье требовалось по два-три «помощника». Немцы стояли в стороне, распоряжались полицаи. Так что даже немца по лицу (скупой — не скупой, человек — не человек) нельзя было выбрать. О самой работе и об оплате не было и речи. Не берусь утверждать, но, должно быть, все это официально и оформлялось так, что употребляться должен был глагол «гельфен», а не «арбайтен». Можно было догадаться, что противозаконна сама мысль об оплате «помощников», так сообщнически подмигивали полицаи: «брот», «эссен». Мол, хоть и запрещено, а хлеба дадут! Вообще этому воскресному набору «помощников» придавался некоторый оттенок противозаконной уступки, вроде сбора крапивы для лагерной баланды на пустыре, прилегающем к лагерю. Сбор был устроен весной сорок пятого года, и лагерный комендант показывал, что это он на свой страх разрешил.

Иногда полицаи заходили так далеко, что называли профессии нанимающих:

- Бауэр!
- Беккарай!
- Кранкенхауз!

Мол, у крестьянина, в пекарне или больнице все-таки догадаются накормить.

По лицу коменданта было видно, что, отступая от требований режима, он не то то рассчитывает на благодарность, но был бы удивлен, не обнаружив ее. Злоба,

ожесточение, жестокость — это и сейчас можно себе представить. Гораздо труднее представить чувство превосходства, которое по-особому освещало злобу и ненависть. Недостаток каких качеств оно заменяло, возникло ли вместе с фашизмом или само его породило, не знаю. Но в снисходительности оно проявлялось не меньше, чем в многочисленных «ферботен»¹. «Высокомерие», «заносчивость», «гордость» мало что объясняют. Отношение к старым порокам в Германии было таким же, как во всем мире. Высокомерие осуждалось, скромность восхвалялась. Но все это были пороки с разными лицами. Однако и для заносчивых, и для скромников, и для гордецов чувство превосходства над немцами было единым. Как в белой коже европейца, черной — африканца, здесь стиралась разноликость. Фашизм стремился к тому, чтобы каждый немец видел одно лицо и слышал одну интонацию. И я слышал. Все знают эту интонацию. В кинотеатре, в трамвае, в любом общественном месте громко переговариваются нагловатые парни, убеждая друг друга, что они brave ребята.

Разумеется, это только основа интонации. Важно также, что это государственная, форменная интонация. Не все, не всегда носят форму, не все надевают ее полностью. У кого-то, как у главного инженера Шульца или лагерного коменданта, она висит в шкафу. С вами разговаривают, расстегнув верхние пуговицы кителя или сняв фуражку. Лагерфюрер каждый день является в цивильном — так удобнее. Однако, когда эти люди надевают форму, она у них будто из-под утюга.

Постоянное, естественное, будничное носят свою форму простые люди (а наши полицаи, несомненно, простые люди). Бьют, гонят, замахиваются, смеются с такой непосредственностью, будто родились в форме, а не надели ее в зрелом возрасте. Она обмялась на них, обжилась. Но где-то же они ее чистят! И вот хромой лагерфюрер сбегает по лестнице, подхватив палку под мышку, весь вид его говорит о победе над хромотой, над расхлябанностью, мускулистые руки подрагивают от брезгливости. Он очень доволен жизнью, и полицаи при нем разговаривают так, будто вошли в кинотеатр, всех распугали, растолкали и теперь перекрикиваются через зал.

И еще одна особенность у интонации превосходства. Ни на секунду нельзя забыть, что ты в стране, которая на

¹ Запрещено.

гербе своем написала слово «порядок», быт которой отличается наименьшей долей риска: улицу никто на красный свет не перейдет! Возможно, вместе с этим уже инстинктивным, постоянным стремлением к понижению бытового риска порвалась какая-то связь с миром, возникло странное представление о податливости, а не о сопротивлении материалов. Этакое чудовищное и в то же время неразвитое, детское представление о своем месте в этом мире.

«Вир аллес меншен» — «все мы люди» — немецкая формула, осуждающая цели войны и отразившая ее перелом. У русских или, скажем, французов она не могла появиться, поскольку они никогда не утверждали обратного. Надо представить себе, от какой бездны отталкивался немец и какое расстояние прошел для того, чтобы сказать: все мы люди. Для кого-то это был белый флаг, для других — воскресные размышления, и лишь для немногих — убеждение.

«Наниматели» всегда находили по воскресеньям в лагере добровольцев. В лагере все равно загонят на работу. А тут, накормят — не накормят, за проволоку вырвешься, по городу пройдешь. Военнопленные с самого начала мне сказали:

— Город хорошо знаешь? Ходи, запоминай.

Я подбивал Костика. Он смотрел презрительно.

— Зачем это нужно?

Костик совсем ослабел, и, если что-то поднимал, плечи исчезали, шея неимоверно удлинялась. Слабость распространялась на его способность надеяться, на желание в чем-то участвовать. Если кому-то что-то не удавалось, Костик говорил:

— А-а! А что ты думал!

Или:

— А он что думал!

Будто предпринявший что-то на свой риск покушался на главный для Костика жизненный закон. В чью-то удачу Костик не верил, отворачивался, уходил. И, если удача потом для этого человека сменялась неудачей, Костик торжествовал:

— Я говорил!

Словно вел бухгалтерскую книгу удач и неудач. Однако были люди, которым Костик не отказывал в праве искать удачи. И однажды я подбил его пойти в воскресенье поработать вместе с Ванюшей.

Иван Длинный, увидев Ванюшу, закричал на теснившихся:

— А ну пропустите! А ну!

И раскраснелся — навел порядок и оказал еще одну услугу военнопленным.

Мы попали к пекарю. Пекарь, худой человек, молча повел нас. Он шел впереди и чему-то про себя улыбался. Может, смущала роль конвоира, может, неизбежность разговора с нами. Улыбка могла предназначаться только нам, и Ванюша, чтобы только начать разговор, на каком-то уличном повороте спросил:

— Вогин?¹

Пекарь взглянул удивленно — улыбка никакого отношения к нам не имела. Это был тот самый взгляд, которым немец должен смотреть на немца: пристальный, пронизательный и в то же время как бы издали, не различающий лиц и подробностей. В чужом взгляде всегда ищешь свое отражение. Этот — как кислотой его разъедает. Что-то отражается, но не ты, а кто-то или что-то, с чем вот-вот могут произойти самые страшные превращения. Бывают злобные, туповатые или даже благодушные лица, как бы предрасположенные к такому выражению. Они им хвастаются, хорохорятся, угрожают. За минуту знаешь, когда оно у них возникнет. Когда лагерный комендант приходит в форме, у него весь день такое выражение лица. Но у пекаря было очень свое, неглупое лицо. На таких не бывает чужих выражений. Обстоятельства свели нас не служебные, да и профессия у него была очень уж не военной, притворяться ни к чему.

Улица была такой узкой, что пекарня выходила прямо на мостовую — пешеходным тротуарам места не хватало. Вместо тротуаров бордюры, ограничители для транспорта. Улица загибалась круто, и было непонятно, как тут проехал большой грузовик, оставивший кучу угольных брикетов. На улице было еще несколько магазинчиков, витрины их тоже выходили на мостовую. И булыжник, и дома — все было старинным. Старинной была сама уличная теснота.

Сквозь пекарню можно было пройти на другую, тоже узенькую улицу, отделенную от той, по которой мы пришли, только рядом домов без дворов. Это была средневековая часть города. Однако уличный булыжник уже был каучукового, накатанного автомобильного цвета.

Ванюша взял вилы с такими блестящими зубьями, будто это был не домашний инструмент, а вилы, которыми

¹ — Куда?

каждый день перебрасывают тонны кокса и угольных брикетов, набросал корзину, и мы с Костиком понесли ее за пекарем. Полки булочной, на которые мы сразу уставились, оказались пустыми.

— Жадный гад! — усмехнулся Ванюша. — Специально перед нашим приходом убрал.

Пекарь ходил за нами, следил за тем, как подбираем брикеты с мостовой. Покрикивал на нас с Костиком и с беспокойством посматривал на Ванюшу.

— Брот! — сказал Ванюша.

Пекарь заволновался, сказал, что это запрещено. Хлеб по карточкам. Он сам его не ест. Ванюша улыбнулся и пошел к нему с вилами. Тогда пекарь достал откуда-то два крошечных кусочка. И Ванюша сказал ему:

— Сам жри! Фрессен!

После работы в пекарне Костик злился на меня и на себя. На меня за то, что подбил, на себя за то, что дал себя подбить на эти воскресные поиски хлеба. Потерял право всем говорить: «Вот так вас и учат!»

Ревнивец, чем я, Костик считал, что правильной может быть только одна жизнь — которую он сам признает. Работал по-прежнему на «Вальцверке», ходил взад-вперед за стальным листом, и походка у него была припадающая. По старческому затрудненному короткому смеху больше всего было заметно, как Костик истощен. Он смеялся, а глаза становились слюдяными, презирающими. Никто никогда на Костика не обижался. Он мало подрос. Но ни слабость, ни болезненность не помешали ему стать еще красивее.

Когда я опять пошел в воскресенье с Ванюшей работать, Костик сказал презрительно:

— Зарабатывать? На гроб!

Были, должно быть, вещи, которые сами собой не могли прийти мне в голову. Когда они приходили кому-то другому, я тоже долго не мог их освоить. На «Вальцверке» работал немец из разбомбленных переселенцев. Военнопленные договорились, что он сам выберет нас с Ванюшей помогать ему строить дом. Вступить в такой договор с немцем было достаточно сложно. Но разбомбленный немец нужен был только для того, чтобы отпустил нас пораньше и не пошел конвоировать в лагерь. Потом я должен был украсть велосипед и прикатить на нем к другому немцу, который обещал за велосипед револьвер. В револьвер я не верил. Знал почти наверняка, что сегодня мы сами прикатим в ловушку. Считал, что ловушка для

военнопленных, удивлялся их непонятной непроницательности, но не говорил ни слова — так понимал свое место в компании. Однако даже не этим страхом запомнилось мне начало воскресенья. Разбомбленный привел нас к куче бумажных мешков с цементом. Стандартные, налитые каменной пылью мешки напугали меня больше, чем то, что еще предстояло сделать в это воскресенье: Ванюша подал мешок, и будто не мешок, а заводской пресс обрушился мне на грудь. И не было ни одной связки, выдержавшей удар. Дыхание остановилось. Участок круто поднимался, и каждый шаг в гору прибавлял к тяжести на плечах по мешку. Из невозможных моих ощущений родилась поразительная мысль, которую я запомнил навсегда: предел жизни перешагнул, а иду! И мышцы здесь ни при чем. Без их помощи иду!

Второй мешок, который Ванюша помог мне взять на плечи, ударил меня по затылку, я не сразу понял, что упал. Ванюша лил на расцарапанное лицо мутную от цемента воду, немец ругался. Пробежал мимо нас с одним мешком, со вторым, но тоже запыхался. Мы ломали ему рабочий план. Он строил шлаконабивной дом, собирался делать замес, набивать форму, а мы должны были носить цемент и шлак. Что-то нужно было менять, а менять немцу не хотелось. Может, он не доверял нам стену своего будущего дома, может, сам расслабился, перетащив три мешка, первоначальная рабочая энергия в нем угасла, он стал ленивее и неопределеннее браться то за одно, то за другое. Показал на лопату.

— Можешь?

Ребра мне свело, шея вывихнута, дыхание не восстанавливалось. Однако работа была на двоих. Ванюша мог посчитать меня не на все годным напарником. Самое страшное в мешках с цементом было то, что они стандартные. Два года назад в Вуппертале я таскал мешки с картошкой. С тех пор подрос сантиметров на десять. Эти десять сантиметров изменили мою жизнь, увеличили самолюбие, но, видно, полностью выкачали из меня силу. А согласиться с этим было невозможно.

В ту весну открывалось обоняние, кожа отвечала на солнечное тепло. Это было чувство удачи, слабость не могла его приглушить. Я взял лопату. В полдень Ванюша сказал:

— Файрамт!

И немец не стал возражать. И провожать в лагерь не пошел. Ванюша мне сказал:

— Ты вовремя упал!

Мы чистились и отмывались. Но более или менее чистыми остались только пиджаки — мы их снимали во время работы. У Ванюши свой пиджак, у меня — Аркадия. Я мог в него завернуться, как в детстве в отцовский халат. Выдан он мне был, чтобы прохожие не сразу узнавали русского. А чтобы быстрее идти, дали чьи-то туфли. Стелька от пота и грязи стояла горбом, левый мизинец вылезал наружу. Мизинец отделяло от остальных пальцев, при ходьбе резало. Грязь и чужой пот на стельке размокли, нога ездила. Высыхая, отмытые туфли опять приобретали серый цементный цвет, будто я только что вытащил их из замеса.

На украденном велосипеде я должен был приехать к незаконченному городскому бомбоубежищу. Мне там приходилось работать.

— Ко мне сразу не подъезжай, — сказал Ванюша и засмеялся, протянул кусок хлеба — мою часть того, что нам дал немец. — От страха помогает.

— Сразу есть надо?

— Сразу, — довольно смеялся Ванюша. Сигарету, которую дал немец, Ванюша спрятал в жестяную коробочку. — Сейчас не будем — опьянеешь. Приедешь, выкурим.

— Слабая! — пожадничал я.

— Зато мы крепкие, — усмехнулся Ванюша.

Он никогда не загонял шутками в угол. И инструкции, которые он мне дал, были самыми широкими: велосипед лучше взять подальше от того места, где мы работали, ехать к бомбоубежищу лучше кружным путем, на месте надо быстро сориентироваться, а вообще-то как получится. Не важно, как начать. Важно правильно продолжить. Соображать надо. Догадаться. Будешь веселым, все получится. Может быть, Ванюша не так говорил, но так я его всегда понимал. Веселость для Ванюши во всех этих делах была даже важнее всего. К скучным и грустным он сразу настраивался враждебно. Скука и грусть накликали неудачу, как самые черные приметы. В самом Ванюшином пренебрежении к точной договоренности, в этом его «соображать надо» была какая-то опасная веселость. Мне было бы легче обо всем договориться. Но я уже понимал: когда слишком точно обо всем договариваешься, что-то обычно не совпадает и тогда все не получается. А надо, чтобы получилось.

Велосипед я увидел у подъезда двухэтажного дома поблизости от того места, где мы с Ванюшей работали. Он был беспечно приткнут, будто мальчишки катались

и бросили. Было мгновение, когда я, несмотря на страх, поразился податливости руля, легкости педалей, тому, как восстанавливается, казалось, истребленный навык. На первом же пересечении дорог покати под горку. Заметил удивленный взгляд и свернул. Городок я знал частями, кварталами, улицами. И, хотя времени на раздумывание не было, выехал к бомбоубежищу, будто велосипед сам вывез меня к знакомым ржавым отвалам земли. Отвалы были в засохших потоках. Бомбоубежище рыли в подножии горы, почвенную воду не могли остановить, породу вывозили мокрой. Из той же ржавой породы была сложена дорога, которая вела к бомбоубежищу. Ее давно не наращивали, не поправляли. Стояли два деревянных сарайчика, в которых когда-то хранились инструменты. Место заброшенное. Ванюшу и двух, а не одного, как было сказано, немцев я увидел одновременно. Они стояли вполоборота ко мне, и лица у них были полицейски-высокомерными. Поворачивать было поздно. К тому же Ванюша показал немцам на меня, и они, кивнув на сарайчик, не оглядываясь, медленно пошли в гору. И я догадался: один привел второго потому, что опасался нас. Поразительно, однако, было то, что он не побоялся еще кого-то посвятить в эту сделку. Но еще удивительнее было то, что все совпало. Все получилось, как сказали военнопленные. В лагере всегда кто-то торговал немецкими сигаретами. Если были марки, можно было купить даже хлеба. Черный рынок не упускал и таких доходов. Правда, всего этого было так мало и так редко это касалось меня, что оставалось только слабое удивление: что это за люди и как они, не зная языка, находят друг друга и как при таких мизерных доходах рискуют столь многим? Конечно, для лагерника хлеб был самой жизнью, но из-за чего рисковал немец? Какой коммерческий инстинкт вел его? Об этом я не думал. О чем думать, если в первом и втором лагерях цена на сигарету одна! Но растущее самолюбие становилось беспокойней, и все понятное другим и недоступное мне уязвляло. Я не знал, как военнопленные нашли продавца револьвера, но сделали они это быстро. Следовательно, знали и умели то, чего не знал и не умел я. Одна и та же причина заставляла меня брать на плечи непосильный пятидесятикилограммовый мешок с цементом и ревновать военнопленных к их взрослым тайнам. Та же причина заставляла бессильного Костика всезнающе кривить губы и отстраняться там, где ему не удалось бы скрыть свою слабость не только от

других, но и от самого себя. Наши организмы, не имея другой пищи, съедали наши мышцы. Мы росли — так уж совпало — и ни за что не хотели согласиться с этой безмускульной жизнью.

Из-за того, что немца и военнопленных сближала какая-то недоступная мне тайна, мне хотелось ему нагрубить. Но немцы уходили, Ванюша показал на сарайчик, и я завел туда велосипед.

Когда я вышел, Ванюша был у входа в бомбоубежище и звал меня. Мы вошли в сумеречную глубину, Ванюша сунул мне в руку какую-то гирьку. Это был револьвер, но такой маленький, что, если бы не металлическая тяжесть, его можно было бы посчитать игрушечным. Он был заряжен. Я насчитал шесть латунно поблескивающих пулек в гнездах барабана. Вся тяжесть была в барабанчике. Крошечными были рукоятка и ствол с крупной мушкой. Мушка была на всю длину стволика. Она одна и выглядела настоящей на этом оружии.

— Еще патроны есть? — спросил я.

— Все здесь, — сказал Ванюша.

— Гад! — выругал я немца. — Может, он не стреляет. Откуда мы знаем?

— Истрать патрон.

— Всего шесть!

— Одним меньше, — сказал Ванюша.

Мне было жалко, я рассердился. К тому же у меня во рту пересыхало от надежды.

— Ладно, — с немислимой простотой сказал Ванюша, — велосипед нам ни к чему, а это пригодится. Возьми себе. Ты велосипед увел.

Боже мой! И револьвер и жизнь показались мне другими. Все говорили о справедливости, один Ванюша был способен на великодушие. Я укладывал револьвер на раскрытой ладони, накрывал другой, показывал ему.

— Полностью укладывается!

Минуту назад казалось недостатком, а теперь восхищало. Если бы револьвер не был таким маленьким, он не достался бы мне. Но все равно Ванюша поразил меня в самое сердце. Я не смог бы так. А ведь до сих пор у меня не было серьезных сомнений в том, что справедливые и добрые поступки мне по силам. Волна благодарности захлестнула меня. Великодушие выше справедливости — это надо было запомнить.

Я высыпал на ладонь шесть аккуратных маленьких патронов, о которых хотелось сказать «как настоящие»,

несколько раз нажал курок. Пружинка была тугой, щелчок звонким, барабанчик послушно проворачивался.

Ванюша смотрел, как я тискал и мял револьвер, взгляд его стал отрешенным и сосредоточенным. Я всегда улавливал момент, когда Ванюша переставал замечать меня и сосредоточивался на чем-то своем. Момент этот меня всегда тревожил. В это время обнаруживалось, что между нами нет равенства. Ванюша — взрослый, а я его неполноправный напарник. Пацан, занимающий место напарника.

И сейчас я подумал, что утомил Ванюшу мальчишеским восторгом. Ванюша несколько мгновений тем же отрешенным взглядом смотрел на меня и двинулся к выходу из бомбоубежища. Что-то решив, он становился бессловесным. Я зарядил револьвер, сунул его под рубашку и двинулся за Ванюшей. Задавать вопросы было бесполезно. Я знал эту его манеру, она всегда раздражала меня, но сейчас готов был идти за ним, не задавая вопросов, куда угодно. По дороге Ванюша поднял и отбросил одну палку, вторую. Вошел в сарайчик и вернулся оттуда с держакотом от кирки.

— Куда? — не удержался я от вопроса.

Ванюша не ответил. Он полез от бомбоубежища в гору. Я видел его спину, шевелящиеся лопатки, когда он упирался в землю держакотом. Одним видом гора утомляла меня. Все, на что я настраивался сегодня, закончилось, надо было возвращаться в лагерь, а тут начиналось что-то совсем новое. Главное же, от одного вида горы меня тошнило. Вся моя слабость, все пережитое сегодня возмущалось во мне. И эта манера не договариваться, не объяснять и даже не оборачиваться! Будто оттого, что он решил, мне все уже понятно и я на все согласен. Ноги мои дрожали от слабости, когда я полез за ним. Кричи не кричи, все равно не ответит. Уже было: я возмущался, обижался. Самое большее, чего добивался, — непонятного ответа. Посмотрит отрешенно, непонимающе, и как хочешь: отставай, оставайся или иди за ним.

Тут было еще одно: русские на бомбоубежище работали, они могли работать и сейчас. Если кто-то и видел нас, мог не обратить внимания. Но, отклонись мы метров на двести в сторону, нас бы сразу заметили. И уж совсем нечего делать русским в лесу, на горе. На вершине горы поднималась видная отовсюду гигантская радиомачта. Там были радиостанция и лагерь эсэсовской охраны. К радиостанции вела асфальтовая дорога, несколько раз опоясы-

вавшая гору. Если нас заметят в лесу, найдут, конечно, у меня и револьвер-гирьку. К тому же к лесу у меня не было привычки. Он совсем не успокаивал меня. Что-то более или менее достоверное я знал только об уличных акациях и тополях. На дороге мы могли вызвать недоумение, в сквозящем хвойном лесу были подозрительны вдвойне. Все это я хотел сказать Ванюше. Но раньше надо было догнать его. Так мы лезли вверх. Он легко уходил вперед, а я, оступаясь, рискуя на каждом шагу подвернуть неверную ногу, догонял. Одышка, слабость, унижающая меня безнадежная погоня, пот, заливающий глаза, — все это в конце концов заставило в отчаянии остановиться и крикнуть:

— Стой! Я дальше не пойду.

Ванюша сделал еще несколько шагов и остановился. Порыв, должно быть, проходил. Так с ним бывало всегда. Захватит его что-нибудь, слова не вытянешь. В этот момент он будто не понимает, о чем спрашивают. Все и так ясно! Но потом кое-что мог и объяснить.

Он подождал меня. И, когда я, запыхавшийся, жаждущий только передышки, поравнялся с ним, сказал:

— Сейчас попробуем.

Он имел в виду револьвер.

И возразить нечего. Я привык, рискующий прав. И чем больше риска, тем больше правоты. Риск главнее ума, хитрости, справедливости, осторожности. Об осторожности даже и говорить нечего! У всех жизнь опасная, но рискуют немногие. Рисковал Володя. Постоянная тяга к риску и выделяла Ванюшу среди военнопленных. Это была его правота. Другие бывают правы в чем-то и когда-то: один раз правы, другой раз нет. А Ванюша прав всегда. Другие любят поспорить, а он слова в спорах не истратит — пошутит, а то и вовсе промолчит. А поступит, как подскажет риск. И ненависти у него будто особенной нет. И всегда для других считает простым то, что просто для него. Не замечает даже, как я иду.

Велосипед уже, конечно, ищут. Возможно, кто-то видел нас возле бомбоубежища. Сегодня воскресенье — поминальный немецкий день. Утром видели немцев в черном — на кладбище и с кладбища. И, хотя и для немцев лес перед радиостанцией может быть запретным, кого-то можно встретить и в лесу. Нельзя идти, когда тебя вот-вот догонят. И не наш это риск. С самого начала нашим не был. Пиджак Аркадия болтается на мне, сразу спросят: чей?

Ванюша косолапил, но шел легко, выбирал дорогу.

Я спотыкался, лез напрямик. Иногда Ванюша оглядывался, ждал меня. Но передышки не давал. Как только я подходил, нетерпеливо двигался дальше. Я смотрел на него и думал, что в этом немецком лесу мы чужероднее, чем на городском немецком асфальте. Но постепенно усталость вытесняла все мысли. И было только одно: когда же передышка? Уставшим телом я был уверен, ничего не будет. Что может быть, если сил не хватает даже для того, чтобы идти! К тому же если в тесном ходе подземелья, когда мы стояли рядом с Ванюшей, револьвер все-таки казался опасным, то теперь гирька у меня за поясом ощущалась совсем игрушечной. От дерева до дерева выстрелом не достанешь.

В лесу светло и прозрачно. Но как раз прозрачность и была опасной. А у света зеленоватый мундирный немецкий цвет.

Так мы вышли к дороге. Задыхаясь, я выглянул из-за Ванюшиной спины и увидел асфальт. Это был какой-то чистый, курортный асфальт, и я не мог этого не почувствовать. Что-то такое, выбеленное южным солнцем, запомнилось мне еще с тех пор, как мы с отцом жили перед войной в Пятигорске.

Я оглянулся, деревья сбегали по склону. Между ними скапливалась синева, как от тлеющего костра. Спускаться будет легко. Дальше мы не пойдем. Цели у нас не может быть никакой. Цель была одна — добыть револьвер, пронести в лагерь. Однажды я посамовольничал, слава богу, хорошо кончилось. Теперь самовольничал Ванюша. Но и он должен был утомиться.

— Машины прошли, — сказал он.

— Откуда ты знаешь?

— Керосин слышишь?

Я слышал, пахло асфальтом и бензином.

— Нам нужен один, — сказал Ванюша. — Пеший.

Он предупреждал меня. И это было малой частью того, что он обязан был мне сказать! Конечно, он ко многому меня приучил. Я старался быть бодрым и веселым. То есть не лезть с расспросами, не выспрашивать подробностей, которые заранее все равно нельзя учесть. И вообще как можно меньше говорить о деле перед самим делом. Но бессловесности все-таки не научился выносить. Однако и тут у Ванюши была примета: говорил о чем угодно, но не о самом деле.

— Велосипед уже ищут, — не утерпел я.

— Тебе-то что!

— На нас сразу подумают.

— Подумают. Потом сообразят, нам он ни к чему. В лагерь на нем не приедешь. Немцы — не дураки.

Это не успокоило, приблизило меня к Ванюше. Я-то ведь был уверен, что он так тянется к новому риску потому, что старый совсем не держится в его памяти. И вдруг я подумал, что это я сам убедил Ванюшу в том, что будто бы совсем такой, как он. Изю всех сил старался! И сегодня это плохо кончится потому, что я брал на себя больше, чем я мог. Я ждал, Ванюша скажет: «Давай сюда револьвер». Не решится же он неверным рукам доверить единственное на нас двоих полуоружие! Тут важно, кто скажет: «Руки вверх!» — или нажмет курок. Но Ванюша будто забыл обо мне. Я достал револьвер, покрутил барабан.

— Не крути, далеко слышно, — сказал Ванюша. — И звук приметный.

Асфальт был все так же пуст. Казалось, тут ездят на лошадях или мулах. Ни каучукового наката, ни масляных пятен, ни, главное, обязательных для оживленной дороги авиационных воронок. Кажется, мощный этот асфальт вообще не испытывал тяжелых машинных нагрузок. С тех пор как его уложили, он томится под солнцем. И если идти по нему, то приедешь туда, где тихо, малоллюдно, где все ходят в белых панамках и ничего не знают о войне.

— Ездят редко, — сказал Ванюша. — Дорога только к радиостанции.

Саму радиомачту из-за деревьев видно не было.

В полной тишине, едва мы успели спрятаться, промчался с горы солдат-велосипедист.

— Не остановишь, — сказал Ванюша. — Если бы на гору...

Потом услышали автомобильный мотор. На повороте жестокое погромыхающее плечо кузова прошло совсем рядом. И опять над асфальтом некоторое время держалась керосиновая вонь. Грузовик был с крытым кузовом. Я смотрел вслед, в кузове были солдаты.

— Всех, наверное, забрал, — сказал я.

— Может, из города кто-то пойдет, — сказал Ванюша.

— Пешком на гору? — усомнился я. Однако похолодел потому, что в ту сторону даже не поглядывал.

Грузовик прошел давно, тишина успела настояться, и шаги идущего с горы мы слышали издали. Одна подковка у него позвякивала. Кавалерийское это позвякивание приблизилось, он вышел из-за поворота, и солнце

тускло блеснуло на его кокарде. Ремень был затянут так туго, что большая треугольная кобура даже не оттягивала его.

— Я остановлю, — сказал Ванюша. — Подходи поближе.

Ванюша вышел на асфальт, а я замешкался. Брови немца удивленно и угрожающе пошли вверх, глаза стали прицеливающимися. Увидев меня, он чему-то обрадовался, отстегнул крышку кобуры — я заметил, что она вытерта по краям, — в движении руки, достающей оружие, появилась охотничья торопливость. А я, стараясь что-то опередить, куда-то втиснуться, протянул к нему свою гирьку. Выстрелы я слышал затылком. Ванюша, будто спасал немца, бросился под выстрел, подхватил, не давая упасть. Не удержал, крикнул мне:

— Помоги! Давай с дороги!

Я наклонился, близко увидел асфальт, потемневшую от пота внутренность высокой черной фуражки.

— Фуражку возьми! — сказал Ванюша.

От фуражки пахло одеколоном. Пальцами я почувствовал живую влажность пота, тусклую монетную поверхность алюминиевого черепа на месте кокарды.

Я подхватил поддающееся плечо, но разогнуться не мог, мешал Ванюше.

Сквозь деревья снизу доходил натужный рев автомобильного мотора, одолевающего крутой подъем. И я вдруг понял, что слышал его давно, только принимал за далекий самолетный. На какое-то время я переставал слышать рев, а теперь будто кто-то рядом со скрежетом повернул рычаг в коробке скоростей.

— Старайся! — сказал Ванюша.

И, как недавно под мешком с цементом, я не мышцами, а чем-то другим разогнулся и сделал несколько шагов. Но в мертвой тяжести было что-то отекающее, ускользящее из рук. Я не удержался на ногах. И, лишь когда сошли с дороги под уклон, по прошлогодней подстилке, по листьям и хвое стало легче тащить.

— Поднимай! Не оставляй следов! — говорил Ванюша. Лицо у него было воспаленное.

Сквозь деревья увидели нависающий над нами борт грузовика, выползшего из-за поворота.

— Выстрелы слышали, — сказал я.

Мы прилегли, рядом с немцем. Ванюша проводил глазами грузовик.

— Выстрелы слабые, — сказал он. — Их за десять

шагов не слышно. А в машине свой шум.

Немец лежал головой вниз по склону. Я невольно видел веснушчатую щеку с налившимся лесным мусором, воротник в лесной цвели. Чтобы уровнять дыхание, чтобы взять свою ношу и не бросить ее, я должен был часто поглядывать на Ванюшу.

— Ничего! — говорил Ванюша. — В первый раз!

Меня часто так успокаивали. И я сам себя научил думать: если во второй ничего, то и в первый можно! Но тут было что-то другое. Я всем телом запомнил перерыв, остановку в сердечных ударах. И стоило мне задержаться взглядом на веснушчатой щеке, на выпачканной лесной цвелью одежде, как остановка в сердечных ударах назревала опять.

— Хватит! — просил я Ванюшу.

Он не отвечал. Потом спрашивал:

— Долго жить хочешь? Тащи!

Когда я совсем обессиливал, подбадривал, объяснял:

— Искать будут. Надо, чтобы не нашли. Пусть думают, дезертировал.

То он мне казался склонным к любому, даже легкомысленному риску, а тут словно работал и, что бы там ни было, хотел работу довести до конца. Я видел, что и оврагом или глубокой канавой, на которой решил остановиться, он был недоволен. Уступал усталости. Мы обрушили на немца крутую стенку оврага, забросали листьями, хвоей — прошлогодним лесным мусором. Ванюша осмотрелся.

— Ладно, сойдет. Лучше все равно не найдем.

Огляделся еще раз.

— Все!

Словно и себе и мне дал команду выбросить из головы. Но себе ему и не нужно было давать никакой команды. Он очень быстро возвращался к своему обычному состоянию. Высыхал пот, проходила усталость, а вместе с ней исчезало и возбуждение, которое роднило меня с ним. Даже «парабеллум», взятый у немца, рассматривал недолго, передал мне.

— Из этой пушки он наделал бы в нас дырок!

Я сразу почувствовал разницу между тем «парабеллумом», который уже пронес в лагерь, — тяжелая рукоятка, полная обойма! Вернул Ванюше пистолет. Взгляд у него уже стал таким, будто он вдруг вспомнил или увидел вдалеке что-то очень важное. Не задумываясь и не примериваясь, словно не в первый раз, пистолет сунул за

спину, под брючный ремень. Пиджак расстегнул, чтобы свободнее обвисал. Не спросил у меня, хорошо ли, и двинулся вниз, но не в ту сторону, откуда мы поднимались. И по иссушающему раздражению, даже отчаянию, которое вызвала у меня его сноровистая косолапость, я понял, опять предстоит бессловесная гонка. И еще я подумал, что ему будто нестерпимо скучно сделалось в этом месте, до которого я добрался с таким страхом и перенапряжением всех сил. И я закричал:

— Стой! Язык есть?.. Как дурак! Сказать можешь?

Ванюша с удивлением оглянулся, а меня стал душить приступ моего кашля. Вначале я сдерживался, потом с надрывом и стоном кашлял на весь лес, повалился на землю, никак не мог унять судорожный легочный лай. Я кашлял, а Ванюша молча стоял надо мной, не торопил, не мешал. А я в перерывах между приступами выкрикивал несвязные обвинения:

— Откуда я знал!.. Не мог сказать!.. Надо было договориться!

Я понимал, оставив мне револьвер, Ванюша поступил куда более храбро, чем если бы сам взял его. Но легкие мне разрывало, я мучался ужасом или жалостью к себе, представлял смявшиеся рыжие волосы с набившейся хвоей и еще что-то, от чего все время отворачивался, старался не видеть. Ванюша доверил мне свою жизнь, а я хотел ему крикнуть, что мне не надо такого доверия. Я мальчишка и не хочу, чтобы мне так доверяли.

— Вставай все-таки, — сказал Ванюша.

Я поднялся. Он помог мне отряхнуться.

— Ничего, — сказал он. — Не такое перекашливали.

И я задохнулся от нового приступа — такую ненависть у меня вызвала мысль, до которой я уже сам дошел опытным путем, что случающееся в жизни в первый раз случается и во второй, и в третий... С приступом, однако, на этот раз я справился быстро.

— Дураки те, кто войну начинает, — сказал Ванюша. — Человек мягкий. Какой малостью его можно убить!

Хотя теперь мы шли вниз и Ванюшина поясница была скована больше, чем обычно, я вновь догонял, не зная, куда идем. И спрашивать бесполезно: для меня и для него в этих местах каждый шаг новый.

— А ты ловок, — сказал Ванюша. — Я даже не думал. Только я тебе крикнул: «Стреляй!» — ты сразу...

— Ты кричал? — удивился я.

— Ну да. Говорю: «Почувствовал. Стреляй!».

— А еще что-нибудь говорил?

— В самом начале: «Айн момент!»

Я ничего не слышал. И запомнил только один огромный перерыв в сердечных ударах. Мне и сейчас воздуху не хватало и все сбивало на кашель. Телесная и душевная память на остановку сердца была необыкновенно тяжелой. Время от времени тяжесть подкатывала, тогда опять начинался раздражающий легочный лай. Но теперь я не останавливался — хотелось как можно скорей избавиться от тяжести. Я видел, Ванюша помогает мне справиться с кашлем. Не стал бы он иначе возвращаться к тому, что уже прошло. Он знал мою слабость — переживать. Я прислушивался к Ванюшиным словам и вначале не узнавал себя, своей усталости, одышки. Потом подумал, со стороны виднее. Может, правда, ловок, быстр...

— Я думал,— сказал Ванюша,— рассчитывать надо на палку. Думал, твоя игрушка его отвлечет. А получилось, видишь, как!

Держак от кирки Ванюша не бросил. В голосе его уже появилась легкость: под гору идем, свободой дышим.

— Наверно, уже ищут,— сказал я.

— До ночи, а то и до утра не кинутся,— сказал Ванюша.— В отпуск шел.

— Откуда ты знаешь?

— Времени у него было много. Пешком шел. Начищенный.

Было похоже. Я обрадовался, но тут же подумал, что это только бодрые *соображения*. И про велосипед тоже. На самом деле все может быть не так.

— Нам какое дело,— говорил Ванюша.— Иностранцев много. Французы, бельгийцы, голланды. Парашютисты. Найдут, им обо всех подумать надо. Пусть они думают, а ты забудь.

Совет был слишком хорош и потому вызывал раздражение. Но я понимал: так надо. Бодрыми *соображениями* отгоняются мрачные. Хочешь удачи, будь весел. Не хочешь, с самого начала не берись. Да и на самом деле, тех, кто смотрит весело, трудно уличить. Беда и неудача их обходят.

— Куда идем?— спросил я.— В лагерь?

— Куда же еще!— сказал Ванюша.

Я остановился.

— По-моему, не в ту сторону.

— Не надо одной и той же дорогой два раза ходить,—

сказал Ванюша. — Другую надо поискать.

Я почувствовал, опять Ванюша что-то затевает. Не знает он другой дороги. Это оружие подталкивает его. И оправдания придумывает потому, что сам понимает: это уже слишком. Мне всегда была завидна Ванюшина тяга к риску, но я и догадаться не мог, как он жаден. Я давал себе слово, если выпутаемся на этот раз, добиваться в таких делах самостоятельности. Договариваться заранее, запоминать дорогу, не полагаться во всем на Ванюшу, чтобы не оказаться слепым и зависимым, как сейчас. В Ванюшиной жадности к риску было что-то, что я боялся назвать истинным словом. Напомни я ему о том, что мы можем за собой многих потянуть, он только усмехнулся бы.

Мы пересекли неширокий асфальт, и тут нас окликнули. В лесных сумерках мы увидели танкетку и нескольких солдат, хлопотавших возле нее. У них были двое или трое добровольных помощников — по-воскресному одетых гражданских немцев. Звал нас солдат, показавшийся мне механиком: рукава закатаны, руки в масле, только что привычно сидел на корточках, возился с гусеницей. Наше появление солдат не очень отвлекло, а гражданские сразу же устали.

— Ком, ком! — уверенно звал механик. — Гельфен!

Танкетка на повороте почему-то сползла с дороги и села днищем на склон. Провисшую гусеницу бревнами пытались вернуть на дорогу.

Ванюшка как-то сразу пристроился, схватился за бревно. А я замешкался, и гражданский показал на меня механику. Я примерно понимал, что он говорит:

— Какие времена наступают! Ходят без конвоя! Пиджак, наверно, краденый.

Гражданский смотрел скорбно. Механик подозвал меня, вытер тряпкой руки, странно взглянул и опустил передо мной на корточки. Это было так неожиданно, что я не сразу понял — обыскивает! Искал тщательно, однако старался не пачкать. Я с отчаянной готовностью распахнул пиджак, выставил живот — револьвер был под рубашкой. Пряжка закрывала его почти целиком. Механик отстранился, оцупал мне спину и пригрозил пальцем.

Танкетку поставили на дорогу, нам велели лезть в машину — нечего шляться без конвоя! Минут через двадцать лязгающей, раскачивающейся, железной езды остановились у лагерных ворот. Не глуша мотора, механик кркнул полицаю:

— Ваши? Заберите!

Полицай открыл ворота. И вот что я подумал, когда ворота закрылись и в глубине двора я увидел длинную фигуру Ивана: опасности, от которых мы сегодня уходили, догонят нас в лагере. Вот чего я не знал о военнопленных, когда уже считал себя полноправным членом компании.

— Заработал?! — встретил меня Костик.

Я залез к себе на второй этаж, и ощущение было такое, что на матрац меня выбросил поток. Все это было со мной, но сам я как бы ни при чем.

15

Теперь я замечал каждого нового человека, появлявшегося в лагере. И взгляд у меня, должно быть, стал таким же напряженным, как у военнопленных. В эти же дни я впервые подумал, что Петрович не главный в компании, а, скорее, завхоз. Хотя, конечно, никакого хозяйства у военнопленных не было. Главными я теперь считал молчаливого Аркадия и его приятеля Николая. Я заговорил об этом с Ванюшей. Он ответил недовольно:

— Рискуешь? Ты и главный.

Меня похвалил:

— Удачи не портишь.

Несколько раз я ловил на себе задумчивый взгляд Ивана Длинного. Дважды он примеривался, заговаривал со мной.

— Хорошо в воскресенье сходили? Хлеба дали?

Зазвал в уборную, оглянулся.

— Двух русских ищут. Приметы с вашими совпадают. Сказать вам, если что?

По налившейся синим цветом жилки я почувствовал, с какой охотничьей страстью он подстерегает мой ответ. И с ужасом ощутил готовность поверить ему. Не могли же эти скорбные морщины, ясные голубые глаза, терпеливо и внимательно склоненная фигура быть только охотничьим приемом. Ужасно, что я почти не изменился. Ивана всегда считал умственно отсталым, а он так уверенно «покупает» меня. Чтобы избавиться от наваждения, я сказал с интонацией Костика:

— Иди, Длинный, знаешь, куда...

И по тому, как легко Иван уступил, догадался, в какую яму чуть не попал.

Даже интонация Костика вернее моей. Чужие интонации выручают меня. Все время думаю, как надо правильно жить, а интонациями пользуюсь чужими. И каждый раз

они оказываются вернее моей собственной. А уж какими я ни пользовался!

Откуда все-таки у Ивана охотничье беспокойство? Действительно что-то слышал в вахштубе или, может — самое страшное! — я проболтался? Меня в жар бросило, когда я вспомнил, как, придав глазам слюдяную тусклость, с интонацией Костика сказал кому-то: «Пусть Иван заказывает гроб. Ему на заказ нужно...»

Кому, не помню. Помню отвлечение к не своей хвастливой и глупой интонации.

Костику, вызывая его на вопросы, многозначительно намекал:

— Если я не доживу, ты знаешь, как найти моих.

Об Иване надо было рассказать Ванюше. Но надо было все рассказывать. И я томился. А в воскресенье Ванюша опять позвал меня. Я сказал, что в револьвере всего три патрона.

— Я и говорю, — сказал Ванюша. — Для защиты у нас оружия нет. Только для нападения.

У военнопленных уже говорили об этом. Не знаю, что ответили Ванюше — в эти дни я старался пореже появляться в их бараке, — но заметил, что между Ванюшей и остальными наступило охлаждение. Я слышал спор между Аркадием и Николаем. Ванюша молчал, хотя чувствовалось, что спорят из-за него.

— Партизанщина, — говорил Аркадий.

— Кем же нам себя считать? — спрашивал Николай.

— Надо понять, у нас нет условий для партизанской войны. При малейшем подозрении всех перестреляют. Не будут виноватых искать. А людей надо сберечь.

— Чем?

Вот тогда и заговорили, что нашими полутора пистолетами лагерь не защитишь. А при нападении какие-то шансы есть. Можно еще оружие добыть.

Аркадий впервые при мне говорил, так решительно подминая другие голоса. И голос, как и выпуклые глаза, был властным — командирским или учительским. И досада какая-то в нем была. Будто Аркадий еще не собирался себя выдавать, но обстоятельства так сложились. А теперь ничего не изменишь: был один человек, теперь другой. И виноваты в этом Ванюша и я.

— Авантюризм, — говорил Аркадий, — всегда бывает только одного цвета — преступного.

На Ванюшу не смотрел, не ждал возражений. Вначале я хотел, чтобы Ванюша ответил, но потом стал бояться, что

он заговорит и все еще больше почувствуют командирскую правоту Аркадия.

Молчал и Петрович, штопал куртку. Все в бараке как бы заново приспособлялись к новому голосу Аркадия. Он и сам вначале только примеривался: годится ли? Но, видно, время уже пришло для этой командирской, учительской, государственной интонации, которую все легко узнали. И слово Аркадий произнес, разом всех обязавшее, заставившее потупиться, такая в нем была власть:

— Политически правильное решение надо принять.

Совсем не только о том, чтобы как-то выжить, думал я все эти годы. Страх смерти, истощение, голод были неотступны. И сохранение себя на каком-то уровне самолюбия требовало таких усилий, что сами усилия нуждались в непрерывном обновлении и объяснении. Каждый хотел жить правильно. Маленького риска не было. Риск всегда был большим. И не одной ненавистью исчерпывались отношения с немцами. Тысячи черточек похожести связывали немцев с людьми, которых я знал до войны и которых узнавал после. Боюсь кощунственных сопоставлений, но вот как было. В сорок шестом году в аудитории железнодорожного техникума мы встали навстречу преподавателю. Я обомлел. Надо было звать милицию. До румянца на щеках, до чистоплотной дрожи в нервных пальцах, до фанатичной брезгливости этот человек был похож на... лагерфюрера. Не о похожести речь! Это был один и тот же человек! Не хватало хромоты. Орден Александра Невского, гимнастерка, галифе — все, конечно, было маскировкой. Я ждал, когда он меня узнает. Понятно, не узнал. И все-таки много лет я не мог отделаться от мучительного, почти механического сопоставления: голос, цвет волос, возраст. А через несколько лет в газетном портрете знаменитого американского пианиста я узнал Ивана Длинного. Невероятные совпадения! Но разве не тревожит в них нечто сверх слепой игры случая? Вот что может произойти с людьми!

Мир, о котором я думал, был невероятным, страшным, неожиданным. Ужасное держалось жестокостью. И в мыслях моих было много жестокого. И в мерках, с которыми я подходил к другим и к себе. И самолюбивого было много. «Я думаю!» — вот как я ощущал себя. О себе думал: расту, вырабатываю принципы, меняюсь. Выработаю — положу предел изменениям. Поэтому и спорили с Костиком часто и не мирились — дорожили собственными открытиями. Но

вот Аркадий сказал о «политическом решении», и я вздрогнул, как тогда, когда Ванюша предположил, что эсэсовец может появиться не только сверху, но и снизу, из города — что-то важное я упустил.

— Нас никто не демобилизовывал, — сказал Аркадий. — Почему он здесь, каждому еще придется отвечать. А фронт всю войну был один: и первый, и второй, и десятый. И держала его наша армия. А если теперь сюда придут союзники, у нас уже должны быть своя власть и дисциплина.

Союзники так долго обманывали наши надежды, что как бы соглашались с тем невероятным, что здесь происходило. Постепенно мы так и привыкли о них думать. И самолеты их, и бомбы все эти годы ничего для нас не меняли. Сидели за Ла-Маншем, теперь сидят под Ахеном, хотя каждый второй немецкий танк без горючего, а каждый второй автомобиль с газогенераторной печкой. И, конечно, никто лучше нас не ощущал, что это слишком слабая либо нечестная игра. Никогда нам так не открывалось, что такое политика и какой она может быть. И слова Аркадия встретили с сочувствием.

Однако в воскресенье мне были выданы те же выбеленные туфли и тот же обширный пиджак Аркадия. Видно, я улавливал только отголоски споров. Разговор, конечно, не забылся, в глазах Аркадия была какая-то перегородка, когда он взглянул на меня. Но все-таки Ванюшина готовность рисковать была важнее.

Работали у немца на огороде. В обед он вынес по кусочку хлеба с прозрачными следами маргарина. Мы уселись в сарайчике. И вдруг в дверях увидели хозяина с мальчиком. Привыкая к темноте, они рассматривали нас.

— Зис ду волль!¹ — благодушно сказал хозяин мальчику.

Как-то мне пришлось работать в обители милосердия — кранкенхаузе. В больничном парке чистил граблями дорожки и думал, что здесь обязательно накормят. Сестра, которая распорядилась мною, была не просто сестра милосердия, а сестра-монахиня. Тишина была парковая, загородная. Дважды меня звали на кухню, показывали помойные ведра:

— Вылей!

Пришла посмотреть какая-то начальница. Ничего не спросила, постояла и ушла.

¹ — Поглядь-ка!

Ничего не дали.

Возможно (так я думаю сейчас), немцы оплачивали нашу работу лагерю. Но ведь и считая себя с лагерем в расчете, они имели дело с истощенными людьми. Количество ненависти к нам не увеличилось к концу войны, как можно было бы ожидать, а уменьшилось. Ненависть была режимом, ритуалом, а к концу войны режимы обмялись. Даже в полицаях была заметна расслабленность. Особая лень. Они уступали желаниям, которых раньше, наверно, и не замечали, так легко они подавлялись дисциплиной. Слонялись. Выбирали прогретые солнцем места. И пост перед воротами оказывался оставленным. Так что дело не в ненависти. Тут тоже, должно быть, было чувство превосходства.

Расслабленность была заметна и у солдат. Даже по лихим пропыленным маскировочным плащам наблюдателей за воздухом, которые ездили верхом на автомобильных крыльях, было понятно, что это армия, терпящая поражение. Фронт, не защищенный с воздуха.

У нашего хозяина усики и челка наци — «под Гитлера». Рассчитывая вызвать сочувствие, он говорит нам, что вторую мировую войну, как и первую, Германия проиграла. Я пораженно смотрю на гитлеровские усики, а он многозначительно поднимает палец.

— Або дритте!...¹

Уже начинает пророчествовать.

Не метафорически, а на самом деле в ту весну мы стали замечать давление солнечного тепла. Землю стали замечать. И что на ней растет. Цвет крыш, блеск окон.

С того места, где мы работаем, видна радиомачта на горе. Утром она казалась черной, теперь посветлела.

— Дюралевая труба, — говорит Ванюша. — Взорвать бы ее.

Никакого предварительного плана у нас не было, но, когда немец нас отпустил, Ванюша опять повел меня по направлению к мачте. Опять Ванюша раздобыл палку — держак от короткой лопаты или граблей — и бодро нес ее на плече. Двое русских возвращаются с работы. Скоро, однако, я почувствовал, что дорога уводит нас и от мачты и от городка. Ванюше это тоже должно было прийти в голову, но он шел не оглядываясь и задумался только тогда, когда радиомачта оказалась за нашей спиной. Мы сменили дорогу, а первый же встречный немец ша-

¹ — Но третьо!..

рахнулся и долго кричал и грозил вслед.

— Палка!— догадался я.

— Выбросить?— спросил Ванюша.

Решили все-таки, что палка нас маскирует, а немец просто паникер. Однако еще один немец, заметив нас издали, засомневался, туда ли он идет.

— Спросить бы дорогу,— осторожно предложил я и крикнул:— Айн момент!

Немец сошел с дороги и стал спускаться под горку. Ниже была еще одна дорога. Пересекалась ли она нашей, ответвлялась ли от нее, совпадала ли по направлению, мы не знали. Теперь забеспокоился и Ванюша.

— Битте, айн момент!— крикнул он.

Немец, ступив на асфальт, молча погрозил.

Это было плохо. О подозрительных русских немцы обязательно сообщат. А у нас оружие. Некоторое время шли как бы по инерции. Надо было срочно освободиться от оружия, возвращаться и искать дорогу. Я ждал, когда Ванюша это скажет сам.

Шли все медленнее и наконец остановились. Вместе с нами засомневались, туда ли идут, пожилой немец с мальчиком. Они догоняли, а теперь собирались переходить на нижнюю дорогу, но еще искали тропинку. Немец на нижней дороге приостановился, наблюдая. Это были местные немцы, они прекрасно знали, кого можно встретить на дороге. А может, всех паникой заразил первый немец. Он испугался или возмутился (бесконвойные русские!), второй немец услышал его крики, пожилого с мальчиком он встретил — навстречу шел. Я прекрасно знал, как быстро распространяется такая паника. Приобретает форму возмущения беспорядком. И чем мельче причина, вызвавшая испуг, тем сильнее возмущение, яростнее крики. И плохо нам придется не из-за того, что мы намеревались сделать, а из-за того, что первый немец испугался, второй обошел нас и пожилой с мальчиком тоже собирались обойти. Эту остервеющую логику я знал прекрасно. Мнимая вина здесь даже опаснее настоящей. За несколько недель до конца войны все меньше верящих в свое сверхчеловеческое происхождение. Но интонация превосходства еще остервеняет и объединяет. Возмущенный немец не остановится, пока не найдет тех, кто обязан восстановить порядок.

Если бы удалось показать пожилому, что мы неопасны, если бы тот, на нижней дороге, это оценил, может быть, паника перестала бы распространяться. Палка, конечно,

похожа на дубинку. Но теперь нас запомнили со всеми нашими приметами и выбросить мы не решались. Спросят: «Зачем несли?» Слишком далеко мы ушли от того места, где наше появление было бы привычным, где мы сами могли бы держаться, как всегда. Мы здесь ничего не знали, и нас никто не знал. И мой огромный пиджак и выбеленные туфли были на виду. И, конечно, лица и походка, по которым было понятно, что ни дороги, ни цели своей мы не знаем. Ванюшу это будто совсем не стесняло. Он не тратил усилий для преодоления внутренней преграды, словно у него совсем ее не было. В другое время я позавидовал бы ему. Я знал, что внутренние преграды преодолеть не легче, чем внешние. Тех, у кого сильны внутренние преграды, презирают. Особенно изощрялся Костик, у которого, по моим наблюдениям, было множество тайных внутренних преград. «Можно! Можно!» — передразнивал он кого-нибудь робкого. — Нельзя! Кто тебе, дураку, скажет: «Можно!» Сам себе скажи!»

— Сойдем на обочину, — сказал я Ванюше, желая показать немцам, что дорога свободна.

А Ванюша вдруг крикнул:

— Фридрих!

Мальчик вопросительно взглянул на старшего, и я понял, что Ванюша не ошибся.

Немец ответил неопределенной улыбкой. Одет он был бедновато, без воскресной праздничности. Немец на нижней дороге крикнул что-то угрожающее. Ванюша направился к пожилому и позвал меня.

— Хороший человек, — сказал Ванюша. — Вместе в Эссене работали.

Я улыбнулся мальчику. Для разговора с улыбками нам не хватало слов. Просто было ощущение, что такое могло выпасть только Ванюше. Со мною такого не могло произойти. Бог знает где встретить знакомого немца!

— Сергей! — показал Ванюша на меня.

Каждое слово в таком разговоре выкрикивается. И после него еще следуют восклицания:

— О-о!

Фридриха в Эссене разбомбило.

— О-о! — сочувственно сказал Ванюша. Фридрих развел руками:

— Криг!

Еще кого-то разбомбило. То ли ранило, то ли совсем оторвало ногу. На костылях ходит. А они перебрались сюда.

— Скоро войне конец!

— Война — дерьмо.

Как пройти в Лангенберг? По этой же дороге, но в обратном направлении.

Немец с нижней дороги следил за нами, и Фридрих явно томился. И мальчик томился. То ли с нами неуютно, то ли разговаривать с нами на глазах у кричавшего. И тут мы увидели, как немец с нижней дороги замахал руками, показывая кому-то на нас. Мимо, раскачивая педали, словно решившись с ходу проскочить опасное место, промчался велосипедист. И тоже выкрикнул что-то обещающее. Он оглянулся, и лицо у него было, как у пережившего незаконную и незаслуженную опасность. На повороте снова оглянулся и опять что-то пообещал. Мы распрощались и направились в сторону Лангенберга, а Фридрих и мальчик опустили на нижнюю дорогу. Фридрих что-то сказал немцу, но тот не согласился, закричал. Мол, все одинаковы, знакомые и незнакомые. И двинулся по своей дороге вслед за нами. То ли себя подбадривая, то ли нас пугая, ругался, и, судя по интонации, тут были и самые зловещие обещания и общие соображения. Но, в конце концов, собственные заботы отвлекли его, и он отстал.

— За поворотом сойдем с дороги, — сказал Ванюша.

Не дошли, услышали догоняющий автомобильный рев.

— Сойдем с дороги, — сказал Ванюша, — не оглядывайся.

Рев превратился в наезжающий, оборвался за нашими спинами. Надо было оглядываться, но мы еще секунду помедлили. Из кювета я увидел над собой высокую машину, из которой трое целились в нас. Целившийся в меня был возбужден погоней, и еще было в лице его что-то веселое: «Оглянулся?» Секунду держалась отчаянная надежда: машина военная, не полицейская, шофер не глядит на нас. Попугают, и он сразу же погонит дальше. Но трое спрыгнули. Я понял — все! Почувствовал, как обессилила меня надежда. Еще было ожидание Ванюшиного выстрела и ощущение утраченной секунды.

— Хенде!

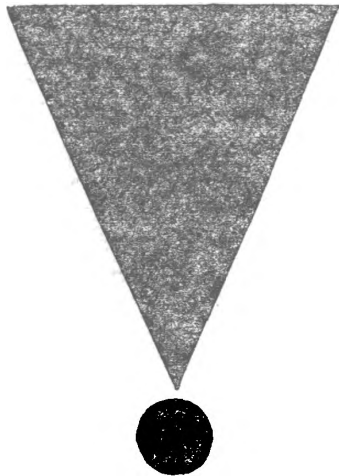
Ванюша выпустил палку и с сомнением поднял руку.

— Шпациреншток?!¹ — таким высоким голосом кричат, возбуждая себя. От удара Ванюша сел на бровку кювета, голову спрятал между коленями. Однако не сразу

¹ — Прогулечная трость?!

НАГРУДНЫЙ ЗНАК

«Штрафники» («штрафная команда»)



Треугольник и точка красного цвета

сел, выбирал место. У солдата был голос новобранца, срывающийся.

Тот, который целился в меня, задержался на дороге. Подстраховывал своего молодого горячего товарища. Кроме того, ему нравился спектакль. У него была улыбка превосходства и над горячностью новобранца, примчавшегося мстить за то, что велосипедист и встречные немцы испугались нас, и над нашими надеждами, что кто-то из солдат допустит оплошность. Так может улыбаться уголовник, обнаруживший, что и на военной службе он занимается чем-то своим. Когда Ванюша сел, он покосился на него и перевел взгляд на меня: «Видел?» И, как недавно водитель танкетки, опустил передо мной на корточки (еще секунду упускаю!), снизу вверх повел руками по брюкам, как портной, охватил поясицу, завел руки под пиджак. Лицо было в такой близости, словно он собирался припасть ухом к груди.

Полы пиджака распахнул. Улыбнулся угрожающе, полез во внутренний карман — улыбка стала уступчивой, загадочной, — провел рукой по пряжке, за которой на голом теле был револьвер, и показал — в машину!

Сердце бухнуло: играет, как кот с мышью!

Ванюша, защищаясь от ударов, отползал за кювет. Потом поднялся, и я так ясно, словно не своими глазами, а глазами всех этих солдат, увидел за его спиной едва скрытый прошлогодней травой и земляным мусором пистолет.

Новобранец спрашивал, где пожилой немец с мальчиком. Что мы с ними сделали? Ванюша с оскорбленным воплем быстро шагнул в сторону от пистолета, показал на нижнюю дорогу.

Они не видели! Не *ожидали увидеть*. Другого объяснения у меня и сегодня нет.

Ванюшу толкнули к машине. В машину подсаживали: высоко и нет дворец, надо перешагивать через борт. Внутри, как в ящике со скамейками. Или как в лодке. Возможно, это и была амфибия. Со скошенным носом, толстыми рубчатыми шинами и широко поставленными, как бы самолетными шасси.

Обыскивавший меня сел рядом, сунул мне под нижнее ребро пистолет. Не сторожил, а как бы спрашивал: «Каково?» Я был уверен, что револьвер под пряжкой он нащупал, но по язвительности характера собирается разыграть какую-то жуткую штуку, приберегает напоследок ее для меня и для всех.

Шофер, который так и не обернулся к нам ни разу, включил мотор, развернулся, и мы помчались в сторону от Лангенберга. В открытом кузове гудел ветер, и скорость казалась огромной. Мой сторож не убирал пистолет, и это все больше убеждало меня, что он прекрасно знает, что у меня за поясом. Но это только смешит его.

Когда Ванюше удался его трюк, я испытал минутное облегчение. Но потом вся тяжесть переместилась на меня. Пока он избавлялся от пистолета, я совсем измаялся. На глазах у нескольких человек нельзя потерять, спрятать большой пистолет. А унижения много. С унижением все будет страшнее и жесточе. Так я думал, пока Ванюша добивался своего. Теперь надо было что-то делать мне, но я не мог придумать что. Если этот, надавливающий мне стволом ребро — я старался не смотреть в его выясняющие глаза, — и не нащупал у меня под пряжкой револьвер, все равно нас везут туда, где обыщут и найдут. Мы не могли выпутаться. Слишком многое для этого должно было совпасть. А так много не совпадает никогда.

— Вот они! Вот! — закричал Ванюша, указывая на две фигурки, идущие по нижней дороге.

Никто головы не повернул. Мой сторож предупреждающе надавил стволом мое ребро. Километра два или три машина мчалась вперед, потом свернула налево, и мы оказались на нижней дороге. Теперь ехали навстречу тем двум и через минуту были рядом с ними.

Новобранец о чем-то спросил Фридриха. Тот ответил. И нам, словно мы задерживали машину, скомандовали:

— Шнель! Шнель! Раус!

Мы прыгнули на асфальт. Шофер, так ни разу нами не заинтересовавшийся, развернул свою серую в коричневых маскировочных полосах машину, и мы услышали удаляющийся рев.

Опять был разговор с восклицаниями: «О-о!» Фридрих разводил руками. Еще раз распрощались и пошли не задерживаясь. Идти далеко, о дороге почти ничего не знаем, и, даже если не остановят еще раз, в лагере все равно придется плохо.

Едва отошли, я схватился за пряжку — может, револьвера и нет! Может, выпал где-нибудь. Гирька была на месте. Но что же означала остерегающая улыбка? Я ощупывался. Во внутреннем кармане пиджака не оказалось бумажника. Даже не бумажника — клеенчатой емоделки, в которой было несколько фотографий. Там была и моя, сделанная в сорок третьем году. И жалость

к себе охватила меня. Будто я онемел или утратил память, без этих фотографий никому ничего не сумею объяснить или рассказать.

Ванюша смеялся.

— Спасибо, голова цела. Сколько хочешь фотографий сделаешь.

Пистолет нашли на том же месте. Нашли легко, и я вновь удивился, как они могли не заметить! Ванюша опять сунул его за спину, под пиджак.

— Ты сегодня не кашляешь, — одобрил он меня. — Перекашлял?

— Не знаю.

У меня, конечно, появилась привычка быстрее преодолевать внутреннюю преграду и давно уже выработались приемы, которые не давали страху обесмыслить все поступки. Но это была не чистопробная храбрость, которая одна имеет цену. Был бы храбрее, не ловил бы ухом все, что сделает Ванюша, выстрелил бы в немца, когда тот присел передо мной на корточки. Это было мгновение, которым я мог распорядиться. То, что нас отпустили, было нелепостью. Но на нелепость нельзя рассчитывать.

В первый раз у меня не было желания догнать Ванюшу, идти рядом, при каждом слове заглядывать в лицо.

16

Но постепенно ходьба, воздух переубедили меня. Мы были живы. Ванюша завел меня, он и вывел. Нам не хватало плана, попадаться мы начали с первых же шагов. Но ведь каждый шаг, каждая дорога были новыми для нас. В зрительной памяти моей только-только начали располагаться улицы, дороги, рожи. Даже те улицы, по которым я когда-то проходил, не задерживались в памяти потому, что не сам ходил, а водили. Не смог бы я, например, показать дорогу в кранкенхауз. Не удивительно, что мы и цели выбрать не могли. Мы ведь и время не выбирали, и место. И жадность у нас была почти детская на узнавание мест, в которых живем. Но оказалось, что и немцы, которые здесь жили, допустили много оплошностей. Их хватило, чтобы перекрыть наши ошибки. У Ванюши, конечно, был опыт. А то, как он прятал голову от ударов, я не скоро забуду. Да и не мог я распорядиться той долей секунды, когда немец присел на корточки и, смущенный неудобной позой, снизу вверх вопросительно глянул на меня. В машине оставались еще трое или

четверо вооруженных, они застрелили бы меня прежде, чем я добыл из-под рубашки свою гирьку. И не мог я решать за Ванюшу — его застрелили бы со мной.

Теперь все было ясно. Ванюшина правота, его предприимчивая смелость, воровское смущение немца — он и пистолет держал под моим ребром, чтобы не дать обнаружить пропажу. Ванюшу посадили на переднее сиденье, и затылок его был мне укором. Все сделал и все-таки пропадет из-за меня! Машина мчалась, а я пытался уговорить себя, *задремать* то, что мне предстоит, обменять на представление о простой боли. Боль можно ослабить, заслав ее наяву. Тогда то, что происходит на самом деле, тебя как бы не касается. О простой боли я знал многое. У меня были приемы. Но то, что предстояло, лишало их смысла. И не избавляло от унижения.

Потом нам велели спрыгнуть на асфальт, и я не сразу понял, что машина уходит, ждал совсем другого. И вот опять остался вдвоем с Ванюшей: с его смелостью, безоглядностью, только что подтвердившейся правотой. Так почему же то, что я думал и чувствовал, мне кажется важнее того, что произошло на самом деле!

Разницу между тем, что происходит, и тем, как чувствую, я объяснял так: у меня нет оружия. Теперь оружие у меня в руках, я даже сам его добыл. И вот мне не хочется догонять бодро косолапящего Ванюшу, идти рядом, заглядывать ему в глаза.

Прошлый выход наш был удачнее, но только сегодня пришла вот такая мысль: оказывается, из самого безнадёжного положения можно выпутаться! Только было в ней что-то жестокое. Я всегда терпеливо сносил придирки и насмешки Костика, но, когда на этот раз он вышел мне навстречу своей шоргающей лыжной походкой и спросил, заработал ли я себе на гроб, я сказал ему:

— Заткнись... доходяга!

А когда кто-то попытался меня усовестить, я засмеялся:

— Да пусть катится со своими дурацкими подковырками!

И еще некоторое время мне казалось, что теперь-то наконец я понял самое главное в жизни, наконец-то поступаю так, как чувствую. Преодолею свою постоянную завороченность то тем, то этим. То слабостью Костика, которого из-за его слабости нельзя обидеть, то значительностью Аркадия, то постоянной правотой Ванюши. Даже взглядом научился поигрывать. Обругал Ванюше Аркадия.

— Сам не рискует! В бараке сидит. А рассуждает!

Но Ванюша не согласился:

— Его много учили. Когда человека научат, он к одному и пригоден. Ему здесь негде развернуться, — и засмеялся: — Меня старались научить — не смогли! Так я ко всему понемногу...

Еще посмеялись:

— Мне хоть война не кончайся. Тут я всем ровня. Закончится, тот же Аркадий перестанет замечать.

У Ванюши желание посмеяться уравновешивалось желанием порассуждать. Спешил восстановить справедливость. Я редко попадал ему в настроение. Ванюша настраивался уклончиво: «Да нет, неплохой человек». И находил извинительные причины и для робкого, и для болтливового, и для скупого. Поражал и возмущал меня тем, как далеко при этом заходил. «Значит, была причина», — говорил о человеке, укравшем хлеб. «Какая же?!» — приходил я в неистовство. «Голод». — «А кто не голоден?!» — «Значит, голоднее». — «Ты мог бы украсть хлеб?» Ванюша смотрел не мигая. «Это как повернулась бы жизнь».

Я смотрел в его рыжие глаза с неподвижными зрачками, ждал, когда изменится выражение нестерпимой пристальности. Ванюша будто спохватывался, усмехался. Я поражался, почему его не застрелили еще в лагере военнопленных. Когда нас схватили, я сразу подумал, что Ванюшу выдадут глаза. Я замечал, как умолкали скандалисты, почувствовав неподвижный Ванюшин взгляд. Какая-то лампочка-мигалка то усиливала рысью желтизну вокруг его зрачков, то гасила. Должно быть, он сам знал силу своего взгляда и потому неожиданно поженски потупливался. Во время споров, в которых он чаще всего участвовал молча, только по глазам и было видно, как вспыхивает и сосредоточивается его упорная и замкнутая мысль. Посмотрит кто-то на него, он потупится. Спорил и рассуждал со мной. Но и тут останавливался там, где слова теряли силу, где я, по его мнению, уже понять не мог. Вообще от споров уходил, будто от чего-то не совсем делового или достойного, что запутывает настоящую ясность. А «жизнь» — это и был порог, перед которым он останавливался. Будто три лагерных года — не «жизнь». Будто «жизнь» — это не то, что каждый день происходит, а нечто другое, где никакие принципы не действуют, где нет слов, значение которых было бы мне понятно. А я с величайшим пылом относился

к принципам. И один из них был: не укради хлеба! Это был простейший и безусловный лагерный принцип. Поэтому я о нем и заговорил. Его и защищать не надо было — никто и не крал. Я запомнил всего один случай. А главное, был в этом принципе пылкий намек на братство. Разговоры же о «жизни» гасили любую пылкость. И этого я не мог вынести. Смотрел в Ванюшины неподвижные зрачки и думал: притворяется! Нет ничего важнее принципов. Я это знаю потому, что... чувствую. И нет ничего важнее пылкости, без которой не существует принципов. То, что говорил Ванюша, означало, что и ко мне он относится без всякой пылкости. И это было совсем плохо.

«Но ведь ты не мог бы бросить товарища в беде? Ну, вот... меня, например?»

Это было трудно произнести. Но я искал что-то неопровержимое, через что и шутя невозможно перешагнуть. Смотрел в мерцающую рысью желтизну Ванюшиных глаз, хотел убедиться, что Ванюша серьезен. Выпрашивал серьезность, так она была мне нужна. Лампочка-мигалка накалялась, потом свет отливала. «Мог бы».

«Товарища в беде не брошу» — так мы с Костином клялись. Так заканчивались наши споры, на этом мы примирялись. Никто лучше нас не мог знать, что такое беда! Другой удивил бы невероятной честностью, но тут же стал бы объясняться. А Ванюшу спросили — он ответил. И ничто в нем не сдвинулось, и не поколебались неподвижные зрачки. Костику я, конечно, десятки раз говорил: «Плюнь мне в лицо, если я слово скажу тому, кто товарища бросит в беде!» Клятвы без клятв не живут. И Ванюша выжидательно смотрел на меня. Похоже, он зауважал бы меня, если бы я решил выполнить свою клятву. Не было слов, которые бы я произносил горячее, из-за них же испытывал теперь омертвляющий стыд. Порвать с Ванюшей не было никаких сил. Какой опрометчивой глупостью было втягиваться в этот разговор! Правда, никого Ванюша не бросил в беде. Не было в лагере человека, который охотней рисковал бы собой. Всем напряжением и радостью жизни я был обязан ему. Но слово было тяжелей.

Ничего удивительного не было в лихорадке клятв. Была лихорадка последнего ожидания и лихорадка риска. Может, и были не захваченные ею. Я их просто не замечал. Самые робкие хотели не упустить свою возможность. И в мыслях моих ничего не было закрытого. Это были

всеобщие мысли. А Ванюшины сидели в засаде.

Ближе всего мне была ясная командирская, учительская, государственная интонация Аркадия. До этой ясности я собирался дорасти и еще кого-то с собой привести. К истине, чувствовал я, в одиночку не идут. Это была бы слишком неполная истина.

И спорили потому, что не успокаивались на чем-то несогласии.

И о Ванюше подумал, что он болеет честностью. И это несправедливо. Все думают о себе хорошо, а он плохо. И дурно это почему-то не только для него, но и для всех нас. И я вдруг подумал, что Ванюша чего-то не понимает, а я понимаю. Мысль вызвала восторг, но потом в ней стало все больше нетерпения и раздражения.

Мне хотелось вернуть Ванюше пылкость, объяснить, что он храбрее всех, кого я здесь знаю, что рискует всегда бескорыстно и потому не должен говорить о себе плохо. Но не мог понять, почему это мучает меня. Почему я страдаю от Ванюшиной честности.

Я сказал Ванюше, что хотел выстрелить в немца, когда он, обыскивая меня, присел на корточки, и жалею, что не выстрелил. Ванюша взглянул, будто я его неожиданно удивил. Я не сразу понял, что неожиданность неприятна. И тон не оценил, когда Ванюша спросил:

— Серьезно?

Я стал объяснять, а Ванюша засмеялся так жестоко, будто нас уже ничто не связывало. Я подумал, что он повернется и уйдет. И это будет ужасно потому, что я побегу за ним, буду спрашивать: «Возьмешь меня с собой?»

Только бы ничего не изменилось. Только бы по-прежнему попевать за его сноровистой походкой, видеть скованную в поясице фигуру, слышать короткий смешок. Смеялся Ванюша так, будто смешное было для него большой неожиданностью и будто он неожиданно что-то узнавал о себе. Каждый раз я хотел разгадать, что же так приятно в его смехе.

— С тобой нельзя дело делать, — сказал Ванюша.

И я с облегчением почувствовал: пронесло!

Однако от острой зависимости, которой я мгновенно переболел, в душе осталось опустошение. На опустошенное место приходят мысли, которых раньше не пускали. Вроде ожесточения, с которым я думал: «Из любого положения можно выпутаться!»

Когда Ванюша засмеялся, я сразу вспомнил, как его

сапогами поднимали, чтобы обыскать. А он специально ожесточал бьющих, чтобы дальше отодвинуться от дороги. Все было на нем. А он как будто и не подумал об этом — слова мне не сказал, когда выпутались.

Оказывается, мог бы сказать.

И я вдруг почувствовал, с какой силой приходят к Ванюше его мысли. Мои могут отделяться от меня. А Ванюша и лицо прикрывал не от ударов, а чтобы глаза не выдали. И в спорах потупливается — ни одна чужая мысль не уживается рядом с его собственной. И спорить, наверно, станет только с тем, у кого такой же пристальный взгляд и зрачки неподвижные.

И еще я подумал, что раньше у Ванюши, как у всех людей, мысли были свои и чужие. Но в эти годы свои мысли приходили с такой силой, что вытеснили все чужие. И мерцание в глазах такое напряженное потому, что все мысли — свои.

И глупо было мне, почувствовав проповеднический жар, лезть с ними к Ванюше. Сам с Ванюшей, мысли — с Аркадием. А Ванюша в чужой мысли прежде всего чувствует не то, правильна ли она, а с какой силой пришла к человеку. Без человека мысль для Ванюши не существует. Человек заслуживает — с мыслью можно познакомиться. И глупо было мне думать, что за несколько походов с Ванюшей я поравнялся с ним.

По глазам бьют — глаз не отводи, тогда и проповедай. Я видел такие глаза у раздражительного, у Володи, Гришки-часовщика и еще у многих. И у верующего старика были такие глаза. И даже у Соколика. Но у старика в глазах оловянная тусклость, а у Соколика иступление. Иступление было у злобных, замороженных своим первым открытием: «Вот она — жизнь!» Такие перед войной не успели ни о чем подумать. И отсталость их вдруг пришлась к месту. Тяжелая мысль заработала, и вот иступление, и злобная уверенность: «Все понимаю! Теперь не обманут!» Эти люди были мне ненавистнее полицейских.

Вначале мне казалось, что у Ванюши та же страсть. Но злобность тогда и выплескивается, когда препятствие устранено. А Ванюша потупливался, едва догадывался, что кому-то от его рысьих глаз тяжело. Я видел, как выростало напряжение его неподвижных зрачков, когда он встречался глазами со скандалистом. Скандалисты ошибались: «Свой!» И тогда Ванюшино лицо меняла улыбка. И скандалисты понимали.

Я копировал даже Ванюшину косолопасть. И — странно! — быстрее ходил. И поясницу мне неожиданно сковывало, как у Ванюши. И взгляд я учился не отводить. Утро начиналось счастливо, если я *естественно* косолопил и ощущал препятствие в пояснице. Если ссорились, косолопасть начинала мешать — исчезал ее любовный смысл. И я был несчастен, что смысл этот не навсегда, что без Ванюши он распадается.

И в Ванюшиной свободе, и в его напряжениях многое мне было одинаково необходимым. Но напряжение мысли в его мерцающих глазах всегда мне было чужим. Оно было слишком его собственным. *Обменяться* мыслями с Ванюшей было невозможно. Ванюшины мысли от Ванюши не отделялись. Без Ванюши они просто не существовали. А постоянное напряжение было оттого, что Ванюша как бы не сводил своих неподвижных зрачков со зла. Расслаблялся он только риском. Риск делал его веселым. Но и в веселости сохранялась суеверная боязнь проговориться, показать свои мысли чужому.

Если я набивался на выяснение отношений, Ванюша с некоторым затруднением говорил:

— И ты парень неплохой, — и добавлял загадочно: — Но все равно вместе не будем.

— Почему?

— Разведут.

— Кто?

— Война, жизнь.

Я думал, что ему неинтересно вглядываться в себя и все равно, что о себе сказать. А мне это казалось невероятно опасным. Скажи о себе хорошо, обяжись — знаешь, ради чего обязываешься.

Но слов, чтобы поговорить об этом с Ванюшей, у меня не было. И не было чужой мысли, к которой мы отнеслись бы одинаково. А можно ли договориться, когда мысли только свои? Я чувствовал и вызов, и слабость мысли, за которую отвечает только один человек. Поэтому меня и привлекала учительская, государственная интонация Аркадия.

Но Аркадий не отвлекался для меня от своих мыслей, раздражений, разговоров.

Барак — много людей. Выделяют интересных. Меня Аркадий не замечал. Не спрашивал, не давал поручений,

которые я, конечно, выполнил бы с наслаждением, лишь бы быть замеченным.

Быть замеченным — очень много. Выделенным — счастье. Но я уже догадался, чего-то во мне нет. Это что-то есть у Костика, есть у Вальтера. Костик брюзжит и смотрит на тех, кого ругает, своими прекрасными глазами. И, как бы он ни брюзжал, это что-то в нем не иссякает. Он мог бы украсть хлеб, кого-то обидеть — к нему не стали бы хуже относиться. Даже немцы его выделяли. Однажды Костика посадили на кран. И неумелый Костик крановым крюком сбил подготовленные к заливке формы. Другой жизнью бы за это заплатил. Костика только обругали. Может быть, это что-то даже не в нем, а в тех, кто на него смотрит. Но до этого я еще не додумался. И завидую Костику. Но еще больше завидую Жану и Вальтеру.

И, конечно, не перестаю надеяться, что это что-то откроется и во мне. И тогда в моей жизни произойдет главное. Чем бы я ни был занят, об этом я не забываю ни на минуту.

Пусть покажется чудовищным, но, когда я смотрел в глаза обыскивающему меня немцу, я не совсем забыл об этом. Поэтому и сбивала меня его улыбка.

Со мной ни разу не было. Но ведь с кем-то бывает.

Я сижу за столом, передо мной нож. Аркадию нож нужен. Он поднимается с нар и делает шаг к столу. Попросил бы — мне только руку протянуть. Но попросишь — обяжешься. А мне всегда казалось, что Аркадий был против моего появления в компании.

Заметить, наверно, так же непросто, как быть замеченным. Аркадий вообще не любит замечать. В этом множестве людей он держится так, будто сосредоточен на какой-то цели. Идет, сидит, разговаривает — выражение сосредоточенности не исчезает. Я завидую людям, которые зависят только от собственных желаний. Когда живут в тесноте и скученности, всегда происходит соревнование желаний. Ничем не отделишься — отделяются друг от друга желаниями. Настоящие люди те, у кого самые мелкие желания устойчивы. Лежит человек или собирается выйти из барака — его не собьешь, не отвлечешь, на свою сторону не перетянешь. Чем слабее человек, тем легче он уступает чужим желаниям. Меня очень легко сбить. Придет Ванюша, скажет: «Пойдем!» Костик презрительно скривится. Он знает, что я обрадуюсь, вскочу. Сам он, даже если ему очень хочется, поторгнется, покапризничает.

Я же боюсь, что Ванюша возьмет предложение назад. Настоящие цели отрезаны от нас колючей проволокой. Самому мне и в голову не придет сказать кому-то: «Пойдем на что-то взглянем». На что смотреть?! Но я благодарен тем, у кого такие цели возникают.

Эти люди всегда видны (и, как я теперь понимаю, нужны). Они всегда чем-то воспалены, чем-то заняты. Они не живут без целей. Вербуют сторонников. Вокруг них всегда собираются те, кто в этих обстоятельствах не находит собственной цели, кто готов на время присоединиться к чужой.

Легкость, с которой я поднимаюсь, никогда не казалась мне чрезмерной. Но из-за того, что Костик так презрительно щурится, мне тоже иногда хочется, чтобы меня попросили, чтобы боялись, что я не пойду. Но вообще-то мне стыдно капризничать. И чья-то зависимость так тяжела, что я сразу же взамен предлагаю собственную.

Однако мне, например, не следует звать куда-то Ванюшу. Может не пойти. И есть очень немного людей, которые могут сказать Аркадию: «Пойдем!»

Как это складывается, как выясняется, не знаю. Аркадий не терпит ни своей, ни чужой зависимости. Может быть, поэтому он так недоступно сосредоточен и замкнут, в такой броне собственных желаний.

А все остальные к нему внимательно прислушиваются. Он мог бы, например, до отбоя погасить свет в бараке. И все стали бы укладываться. Я видел, как он разговаривал с одним из тех ненавистных мне мужчин, которые от голода, опасностей распались, словно раньше у них все держалось только на сытости. У них удивительные глаза, не уклоняющиеся от всеобщего презрения, пустые, бездонные, в которых не обнаружить ничего, кроме настойчивой пустоты. Вам кажется, что достаточно презрения, чтобы оттолкнуть таких, но они липнут к вашему презрению, преследуют вас, если у вас в руках хотя бы самый жалкий окурочок. Взглянешь в глаза, в которых давно выцвела душа, и голова закружится от ненависти. И ведь не сразу поймешь, почему. Какой ущерб могут причинить эти жалкие люди? А ведь какой-то ущерб, несомненно, причиняют, иначе откуда бы ненависть!

Людей этих немного.

Один такой был мне особенно неприятен именно из-за того, что это был рослый человек лет тридцати с открытыми какими-то бесстыдными глазами, молчаливо тянущий руку за окурком, объедками, попрошайничающий у малолеток.

Аркадий у него спросил:

— В армии служил?

Несколько секунд в бездонной пустоте не было ответа. Я боялся, повернется и уйдет, и Аркадий потерпит поражение. Или спросит:

— А тебе какое дело?

В бездонной пустоте не было ничего, что могло бы выпрямить эту душу. Потом откуда-то что-то выплыло и черты лица непривычно определились. Сквозь нищенскую безликость и ласковость проступило что-то даже пугающее. И уже нельзя было забыть, как черты этого лица складывались во что-то высокомерное, должностное.

— Служил!

— Кадровый?

— Был.

— Из окружения?

— Да.

— Выходил?

Опять был момент, когда, казалось, в пустых глазах все угаснет, а на дне останется неуловимый, дразнящий сумасшедший блеск.

Человек развел руками.

— Нет. Куда?

Он мог бы спросить: «А ты-то сам?» Но не спросил. Что-то мешало.

Я восхищался Аркадием.

Никому, кроме Аркадия, в голову не пришло бы задавать этому человеку такие вопросы. Не то чтобы давнего прошлого — вчерашнего дня у этого человека не было. Не связывая никакими резонами прожитые минуты, он отрекался от прошлого и будущего. Это была какая-то крайняя, разрушительная корысть, какой-то противостественный провал во времени. В бездонной пустоте тонуло все, что имеет над нами власть. И жалко этого распавшегося человека никому не было. Ванюша отвернулся бы. Аркадий возмутился. И будто что-то важное я узнал и о себе, и об Аркадии, и обо всех нас, которые насторожились, прислушиваясь к разговору.

Иван Длинный слушал, наклонив чуб.

И возник разговор случайно, и закончился вроде бы ничем, но все почувствовали, в лагере что-то определяется.

Не то чтобы этот человек сразу выпрямился. Для этого его надо было бы много дней кормить. Но власть прошлого он почувствовал. А мы все прикоснулись к какому-то важному резону. После таких разговоров в лагере стал

ощущаться центр, которого раньше не было. В барак к военнопленным приходили «поговорить». Я уходил, чтобы не мешать, но, конечно, понимал, о чем говорили.

Приходили к Аркадию и власовцы. Их было четверо. Появились они в лагере в самом начале сорок пятого года и всех своим появлением поразили. Это были раненые, списанные и разоруженные власовцы. Должно быть, они никак не ожидали такого поворота в своей судьбе и до самой последней минуты не догадывались, куда их определяют. В серо-зеленых мундирах, со стертymi до белого алюминия пуговицами, с траурно-черными пластмассовыми значками, с фляжками в суконных футлярах, пристегнутыми к черным армейским ремням, с гофрированными железными коробками, тоже куда-то пристегнутыми, они рядом с пожилыми полицейскими выглядели настоящими немецкими солдатами.

Полицейских смущали мундиры, черные значки, которые выдаются в награду за пролитую кровь. Но я думаю, их смущало и коварство, чрезмерное даже с их точки зрения коварство, в котором им приходилось участвовать.

К лагерным воротам комендант не пришел, но потом вышел к власовцам на минуту и вернулся в вахтштубу.

Поместили власовцев в отдельную каморку и койки дали одноэтажные. Несколько дней баланду готовили отдельно и пайку резали побольше. Но очень скоро и пайка подравнялась и баланда стала общей. И на работу погнали вместе со всеми.

Раньше всех понял, что произошло, пожилой косоглазый власовец, который сразу же снял пластмассовый значок, ходил, по-бабьи горбясь в своем мундире, зябко потирая руки, засовывая их в рукава. Пилотку он тоже носил по-бабьи, натянув на уши, вывернув, как капелюху. В темных глазах ничего нельзя было прочесть. Как будто специально набиваясь на оскорбления, приходил туда, где было многолюднее, не отвечая, сносил все пинки. Кто-то повернул ему пилотку поперек головы, и он так шутовски и носил ее. Один темный значок его смотрел с жутковатой твердостью и прямоотой, а второй, обнаруживая слабоумие и убожество, скатывался к переносице. Нос всегда был мокрым. Но больше всего все-таки смущало разноглазие. Оно вызывало подозрение, что он не такой идиот, каким старается казаться. Однако безответственность и настойчивость, с которыми он возвращался туда, откуда его прогоняли, скоро всех утомили и его почти перестали замечать.

Самый высокий власовец, как говорят, гремел костями. И грудь под кителем имела выпуклость неживой груди, а грудной клетки. Ходил, как на ходулях. Говорил только о еде и всем, кто соглашался слушать, обещал, что скоро его переведут на положение фольксдойча и подыщут квартиру в городе. Пахло от него немецким мундирным сукном и еще тяжелым запахом гниения. Он очень скоро исчез. В фольксдойчи, должно быть, с самого начала не верил, а в лагере, где его видели во власовской форме, оставаться было опасно.

Полицаев этот побег будто совсем не встревожил, а власовцы затаились. Почувствовали новую волну подозрительности и ненависти, исходившую вовсе не от лагерной полиции. В этом побеге толковавшего только о еде власовца, о котором уже кто-то сказал: «Может, у человека такое несчастье — голода не переносит!» — было что-то, заставившее нас внимательнее присмотреться к ним ко всем. А они не переносили внимательности. Это была какая-то их особенность. Только косоглазому идиоту, казалось, было все равно. Два дня они по вечерам не выходили из своей каморы. Из любопытства я туда заглянул. Трое лежали на койках. Ни слова не было сказано. А я навсегда запомнил и эту полутемную, и незнакомые запахи, и три пары неподвижных глаз, глядевших на меня с одним и тем же выражением застигнутости, волчьего ожидания и томления, в глубину которого мне еще не приходилось заглядывать.

...Через несколько месяцев в последнем пункте перед нашей демаркационной зоной Костик мне сказал:

— В этой казарме французы военнопленные. Пойдем посмотрим.

Французы всегда вызывали сильнейшую симпатию. Мы пошли. В полуразрушенном помещении на соломе сидели и лежали человек десять в хаки, в знакомых пилотках. Наши переправляли французов домой. На улице было солнечно, а в казарме сыро, и я удивился, что они сидят в сырости.

— Французы? — спросил Костик. — Франсе?

Ему не ответили.

— Языки откусили? — сказал Костик.

Никто позу не сменил. И тут нам крикнули:

— Это бельгийцы ээсовцы!

Я понял, что было странного во взглядах этих людей. Их не за тех принимали. Их всегда не за тех принимали. За тех они сами себя не смогли бы выдать.

Вот это было и в глазах власовцев. И еще нечто. Смотрели одинаково, но каждый был порознь.

С самого начала они были порознь. Это тоже была какая-то их особенность. Не тянулись друг к другу, не держались друг за друга. Ни серо-зеленые мундиры, ни траурные значки не объединяли их перед лицом общей судьбы. Уходили на ночь в свою камору, а выходили, будто не успев сблизиться и познакомиться. Это казалось подозрительным, заставляло присматриваться. Если они перекидывались словами, казалось, что обмениваются тайными знаками.

Только один из них с вызовом носил мундир. У него были командирские лычки. Выделился он сразу нервными, чечеточными ногами. Из госпиталя в январе власовцы попали без шинелей и на холоде перетаптывались, переминались. Этот на пересчетах естественно переходил на чечетку. У него была смуглость пляжного завсегдатая, расклешенные мундирные брюки, цыганистая худоба, хватки парня с танцевальной площадки. Он хвастал нашивками, медалью и заключение в лагерь переносил не так, как другие его напарники. Считал не просто неприятным поворотом своей волчьей судьбы, с которой никуда не приткнешься, а несправедливостью, которой надо бросить вызов. С вызовом проходил мимо полиция, охранявшего ворота, и останавливался уже с той стороны проволоки. Стоял, глубоко засунув руки в карманы, покачиваясь с каблуков на носки, показывая себя прохожим, полиция и нам. Раза два этот его вызов оставался без ответа, и кто-то даже взволновался — может, появится хоть такой противовес полиция. Но скоро полиция получили какие-то инструкции и перестали подпускать его к воротам. Все мелкие послабления власовцам быстро сворачивались. Их еще не били, но на цыганистого уже однажды замахнулись. Глаза его сделались бешено припадочными, худоба — щучьей, полиция отшатнулся, а цыганистый схватил его за грудь и потрянул. И это ему сошло! Опять он ходил с вызовом к воротам, во время бомбежки выходил из трубы-бомбоубежища на воздух, стоял рядом с полицаем. У цыганистого появились болевщики. Полицаяв мы ненавидели больше и дольше.

Я лучше знал четвертого власовца. Недели две он работал на «Фолькен-Борне». Было удивительно идти рядом с этим немецким солдатом, которого конвоировали так же, как меня. Еще удивительнее было наблюдать, как проступают под серо-зеленым сукном русские черты. Он

был невысок, со спорой солдатской походкой, и эта спорая походка очень сильно отличала его от нас. Лицо его было затаенно радостным. Человек был рад самому себе. Он был подхватист, сразу включался, когда требовалась помощь, и в эти минуты больше всего были видны его сила и привычная рабочая готовность. Мы тянули ногу, шоргали — чем позже придем, тем лучше, если даже идти требовалось в соседний цех. Он словно торопился прийти, всегда настраивался на быструю и дальнюю ходьбу. Без шинели зимой он, по нашим меркам, все же был тепло одет. Здоровым был ворс на невытертом сукне кителя. И запах от него был зимним, здоровым, уличным. Он был нормален — это в нем замечалось прежде всего. И эта нормальность, и это в меру курносое благополучное лицо, в котором ни заискивания, ни отчужденности, ни задней мысли, казались загадочными. У меня были ограниченные представления о том, почему человек может стать власовцем. Я спросил:

— Тебя раскулачивали?

Он удивился:

— Почему?

— Тебе советская власть что-нибудь сделала?

— Ничего!

Он будто даже не понимал, куда я клоню.

— Ну, тебе плохо было при советской власти?

— Хорошо!

И, шагая все той же спорой солдатской походкой, стал рассказывать, как ему было хорошо. Как работал шофером, как хватало денег и в кино, и на танцы, и на модельные туфли.

Чем больше вспоминал, тем радостнее становился. Этого я никак не ожидал.

Довоенные воспоминания у него были богаче и обширнее моих — я ведь учился в школе! Я очень ревниво относился к тем, у кого довоенные воспоминания были ярче моих. Жизнь, прерванная войной, у них была богаче, и то, что предстоит после войны, у них будет ярче и значительнее. Ни воспоминаниями, ни ожиданиями я не мог с ними сравниться. Истинное значение человека, думал я, определяется тем, что он может о себе и о жизни вспомнить. За два с половиной года я вырос и многого набрался, но недостатка довоенного опыта это никак не могло возместить. И я сильно чувствовал свою ущемленность, которая, например, Аркадию мешала заметить меня. Для Аркадия я был попросту человеком, с которым не

о чем поговорить. Поэтому я завидовал тем, кто многое мог вспомнить о довоенной жизни.

— Ты хотел, чтобы победили немцы?— спросил я.

— Что ты!— изумился он.

— Чтобы царь вернулся?

— Зачем он мне?

Я помню все свои вопросы потому, что это были «детские» вопросы, потому, что других я не знал и не мог придумать.

— А чего же ты?— показал я на его мундир.

— А-а!— нисколько не смутился он, но и объяснять не стал.— Да мы только во Франции воевали.

И с радостной готовностью стал рассказывать, как они ударили по немецкой дивизии, которая бежала под напором англичан, и как потом били англичан.

И никакого сомнения не было, что с наибольшим удовольствием он вспоминает о том, как они били немцев. Хотя и о разбитых англичанах тоже говорил с гордостью.

По отступающим немцам они стреляли, выполняя приказание других немцев, но, конечно, тут были и собственное желание, собственная ярость, и они поусердствовали, раз уж дорвались. О праве бить англичан он и не задумывался. Но было у него ощущение, что и это похвально. Что с того, что на нем серо-зеленый мундир! Бог располагает, а не человек. На других этого мундира нет, но ни по немцам, ни по англичанам им ударить не пришлось. Сгнили от голода, и никакой от них пользы.

Я уже кое-что знал о хитростях разума. Хитрости разума я уже не раз принимал за доводы разума. Многие охотно практикуются именно на подростках и малолетних. Знал, что люди разные. Догадывался, что они слишком сложны, чтобы тут годились какие-то простые объяснения. Люди не всегда поступают так, как думают и чувствуют, и упорно видят разное в одном и том же. Многие не ищут свою судьбу — она сама их находит. Видел я также людей, которым до справедливости не было дела и которые вовсе не справедливости добивались. Все это было нерадостным знанием. И я еще от него отворачивался. Я чаще замечал людей, которые искали сближения, видел, какая у них на это душевная потребность и как много они тратили, чтобы в одном и том же видеть то же самое. И вообще первый мой порыв был поверить, согласиться, проникнуться симпатией. Но такой разницы между мыслями, словами и поступками я еще не видел. Это было какое-то особое простодушие. И я вспомнил, какое выражение застигнуто-

сти, выжидания и волчьей тоски было в глазах этого человека, когда я неожиданно открыл дверь в их каморку. И я понял, из какой глубины он смотрел на меня, в какой угол загнал свою судьбу. И еще я догадался, в какой ярости искали выхода эти люди, поднимая свое подлое оружие и на тех, кому служили, и на тех, кто мог бы быть их союзником.

И еще подумал, что у этого человека легкие мысли. Он и не спорит с ними, и не старается их подогнать потому, что они ему не мешают жить. На жизнь уходит много сил и времени, а на мысли остается совсем немного. Жизнь в будни, тут и сноровка нужна будничная, а праздничные мысли по праздникам. Вспоминаются приятно, но в дело не идут. А кто говорит, что праздничные и будничные мысли у него связаны, тот просто хвостун.

Вдвоем с цыганистым они ходили к Аркадию. Я почему-то был уверен, договорятся. Немцев власовцы ненавидели, в этом сейчас на них можно было положиться. К тому же это были отчаянные, здоровые и обученные люди, а в лагере было мало здоровых мужчин. Но не договорились. И я испытал особое удовлетворение оттого, что ошибся. Взрослые, считал я, склонны к отступлениям и уступкам.

Тот, который работал на «Фолькен-Борне», вскоре сбежал — ушел менять имя и судьбу. А цыганистого избили полицаи. Когда он во время ночной тревоги вышел на улицу и, независимо заложив руки в карманы, стал рядом с дежурным полицаем, тот бросился на него. Полицаи договорились заранее. Рядом оказались еще несколько полицаев. Цыганистого полумертвым оттащили в штубу № 9.

Это было последним свирепым избиением в лагере.

А во мне заключение власовцев в лагерь укрепило уверенность, что всех нас в последний день перестреляют.

«Фолькен-Борн» закрылся в начале марта. Весь двор был забит пилами.

Еще раньше начался голод. Баланда стала совсем пустой.

Марсель, который не подходил уже два или три обеденных перерыва, однажды вдруг направился ко мне. У французов тоже был голод, посылки перестали поступать, я это знал, но Марселю нужно было объясниться.

— Ничего нет! — показал он развернутые ладони. — О-о! Теперь скоро!

И погрозил кому-то кулаком.

Из лагеря гоняли чистить снег, разгружать вагоны, рыть бомбоубежища.

В городе было много войск, но во время налетов не била зенитная артиллерия. Воздух был сдан. В воздухе Германия на западе уже капитулировала. Немецкие истребители и все зенитные пушки воевали на восточном фронте. В тишине был слышен свист крыльев маленьких пикировщиков. Одномоторные «тиффлиги» гонялись за автомашинами.

Потрясающим был первый артиллерийский удар. Не снаряд, а сердце лопнуло, разорвалось от радости. Этот снаряд ждали так долго, так давно, что нужны были силы, чтобы вынести эту радость. На том конце совсем недалеской траектории кто-то вложил снаряд в пушку и выстрелил. Это было непостижимо! Рушилось нечто такое, что с самого начала верило в свою бесконечность. Жестокости, не опасавшейся расплаты, самоуверенности, которая, казалось, сколько хотела раздвигала свои пределы, приходил конец. Было несколько минут тяжелых сомнений, когда все напряженно всматривались в небо. И вот, как по первому следу, в небе натянулась вторая траектория.

На порог вахштубы вышел комендант. Он взглянул на небо, и глаза у него поголубели.

У всех в городке глаза были в прищуре.

Был момент, когда сердце заторопилось: кого-то обогнать, опередить, не проморгать, уйти от общей судьбы. Судьбы начнут разбегаться, и важно это почувствовать вовремя.

Кто-то завесил мешковиной койку — отделился от других. Это было нарушением важнейшего лагерного запрета. Комендант бледнел, выслушивая объяснения.

В глазах его появилось неестественное выражение доступности. Ему объяснили, что завесившийся мешковиной болен, и он согласился, будто это для него могло иметь значение. Выражение доступности изменило бы коменданта до неузнаваемости, если бы не было за этим какого-то опасного лукавства.

Запреты не имели объяснений. Раньше в глазах коменданта главное выражение было — твердое отстранение всяких резонов.

У полицаев глаза были глумливыми, охотничьими, злобными. Полицай не слушали, не выикали — замахива-

лись, хватались за дубинки. Но у полицаев глумливость, охотничья злобность противоречили только их пожилому возрасту. Они иногда грубо шутили, но лукавства в их поведении не было. Они могли проявить снисходительность, попустительство, но и в этом ничего не было загадочного.

У коменданта за чистоплотностью, благопристойностью, спортивностью была причина. И сдержанность не сама по себе, а почему-то. И дисциплина. А во взгляде твердость, отвергающая всякие резоны. Но ведь резоны, однажды начавшись, стремятся охватить весь мир. Вот что мучило меня!

Я был как раз в том возрасте, когда каждая мысль приходит с силой, потрясающей все существо. Это ведь загадка, как она приходит! Мысль важнее меня. Я не властен ее выбрать, изменить. Она может изменить меня. Она приходит — и все тут! А это значит, что та же мысль — хочет комендант этого или не хочет — приходит и к нему. Когда он бил меня, он знал, что мужчина не должен избивать истощенного подростка, с которым и договориться толком нельзя, которого привезли насильно. И лукавство в глазах его было не потому, что он врал старшему мастеру.

Бывает лукавство уголовников. И лукавство властителей. Таким же было лукавство коменданта, которого я за это ненавидел еще больше.

Полицаи были просто пожилыми псами. Их резоны не поднимались выше ближайших забот. Где природная злобность, где злобная распушенность, где бдительность и рабочая добропорядочность, разобрать было нельзя. Чистоплотной дрожью в брезгливых пальцах комендант отличался от них. Он и хотел отличаться, и здесь у него тоже были резоны. Но и чистоплотность, и благопристойность, и дисциплина были особенно гнусными оттого, что не смыкались с той простейшей мыслью, что сильный мужчина не может избивать истощенного подростка!

И вот теперь, когда тяжелые снаряды с вагонеточным гулом скатывались со своей траектории, поголубевшие глаза коменданта наконец, казалось, обретали доступность. И было что-то страшное в этой доступности.

И у Ивана Длинного в глазах появилось пугающее лукавство. Слово он никак не мог понять, замолил ли перед военнопленными свои грехи, продолжать ли замаливать или, пока не поздно, поступить так, как он еще в силах поступить.

Снаряды скатывались с большой высоты — город был окружен холмами. Траектория становилась все накатанней, привычней. Когда прошла первая радость, выяснили, что обстрел медлительный, тревожащий. Снаряд через три-четыре минуты. Стреляет тяжелая дальнобойная пушка, фронт не близко, а до свободы еще надо дожить. Глаза коменданта потускнели, и слухи об уничтожении лагерей становились все упорнее.

Старший мастер «Вальцверка», тот самый, из-за которого меня бил лагерный комендант, приходил на работу с револьвером, грозил: «Ждете? Я сам раньше семерых убью!»

Немцы обычно сразу разделялись на злых, равнодушных и осторожных. Злых узнавали первыми. Злобность не ждала случая, сразу заявляла о себе. И потом к этому мало что прибавлялось. Разве что равнодушный рядом со злобным вдруг почувствует прилив патриотизма, покричит, замахнется, донесет. Бывали, конечно, ошибки. Шумных, педантично добросовестных, убежденных в немецком превосходстве легко было спутать со злобными. Но тут и граница была зыбкой. Шумный дурак мог оказаться опаснее злобного наци. Его тоже надо было обходить стороной. Но опаснее всех были те, кто выявлялся не сразу. Для меня здесь была опасность вдвойне. Если человек в этих обстоятельствах не проявлял злобности, то просто по особенностям характера я начинал испытывать к нему симпатию. Когда через открытую дверь вахштубы я увидел рядом с комендантом старшего мастера, для меня это был человек, который вызывал симпатию. Он несколько раз видел меня уклоняющимся от работы, но ни разу не кричал, не замахивался. Природная уравновешенность, казалось мне, мешала ему это сделать. Одной природной или воспитанной уравновешенности, думал я, достаточно, чтобы испытывать неприязнь ко всему, что здесь делается. У него было открытое лицо, он носил рабочую немецкую фуражку, которая идет открытым лицам.

Когда, стоя рядом с ним, я чувствовал телесное тепло от его коленей, я смущался потому, что еще испытывал симпатию.

И потом, после того, как меня избили, у меня осталась память не только на избиение, но и на симпатию. И удивление, которое, как я заметил не только по себе, никакой жизненный опыт не делает меньше и слабей. О дурном, о гнусностях можно знать как угодно много, но это не избавляет от удивления, когда сталкиваешься

с новой гнусностью или только узнаешь о ней. У нормального человека привычка к гнусностям, слава богу, просто не образовывается.

То, что я принимал у старшего мастера за уравновешенность, было лишь крайним высокомерием. Он *знал*, что с нами в конце концов должно было произойти. Теперь же, когда ни за свою судьбу, ни за наши судьбы он поручиться не мог, он словно взбесился. Несколько человек из-за него попали в концлагерь. На работу ходил в форме штурмовика. Глаза стали присматривающимися, уязвляющими. По воскресеньям вместе с такими же активистами устраивал в лагере обыски. Однажды грозил револьвером Ванюше.

У Ванюши в глазах появлялось выражение нестерпимой пристальности, когда он видел старшего мастера. При этом переставал слышать, что ему говорили, не отвечал на вопросы. Притронешься — чувствуешь, как напряжен. И разбудить в этот момент невозможно. Встряхнешь — взглянет отрешенно или переведет на тебя свой пристальный взгляд. Я опасался Ванюшу в эти минуты, не любил это его состояние.

К тому времени мы уже несколько раз выходили ночью из лагеря. Цементная труба-бомбоубежище была с внешней стороны заложена кирпичной стенкой. Задышаться в трубе начинали через несколько минут. Лампочки светили тускло, словно от нехватки воздуха. Полицай закрывали дверь — начиналось удушье. Во время тревоги каждый старался войти в трубу последним, чтобы остаться поближе к дверям. Много раз поднималась паника, казалось, нас собираются удушить. Вдоль всей трубы шла скамейка. Но сидеть и стоять можно было, только согнувшись. Спасаясь от удушья, и попытались разобрать стенку. Кладка оказалась слабой, кирпичи вытащили, выглянули наружу, увидели пустырь, склон к реке, фабричный мусор. После отбоя кирпичи ставили на место. Ванюша открыл этот выход совершенно самостоятельно. В первый раз попал в бомбоубежище, прошел в глубину, ощупал стенку, вытащил кирпичи и вылез наружу. Сделал это, не примериваясь, не присматриваясь, не спрашивая: попал в новое помещение — ищи выход.

— Закройте, — сказал снаружи тем, кто был поближе к дыре.

Когда вернулся, все жадно накинулись:

— Что там?

— Ничего, — сказал Ванюша, — железо, проволока.

Потом стал брать меня с собой. Я был близорук и, хотя

старался запоминать дорогу, чтобы не терять самостоятельности, начинал паниковать, едва Ванюша пропадал в темноте. Не мог сказать: набирался опыта. Но дерзости набирался. Шарили в немецких сараях, искали еду. Выбирались на Лангенбергское шоссе, к трамвайным путям, присматривались к военным патрулям, к ночным жандармским постам.

Выйти было проще, чем вернуться. Всегда томило, что там, в лагере, произошло. Подойдешь, а тебя уже полицаи ждут. К тому же Ванюша каждый раз будто забывал, что надо возвращаться. На возвращение ему не хватало ни времени, ни интереса. Я начинал ему напоминать:

— Сейчас отбой загудит!

Он отзывался:

— Ничего!

Или:

— Успеем!

Иногда подбадривал:

— Судьба рискованных любит!

У него было много таких словечек. Я их не повторял, не хвастал ими перед Костиком, чувствовал — не по мне.

Еще перед выходом договаривались:

— Сегодня не будем опаздывать.

Ванюша и не возражал. Просто у него очень быстро пропадало то самое чувство, которое заставляет человека оглядываться, следить за временем.

Однажды вышли к трамвайной остановке, увидели солдат, которые освещали фонариком какую-то дверь — что-то искали. Увидев нас, они позвали:

— Эй!

Мы остановились, и кто-то из них направился к нам. Мы понялись, солдат что-то спросил. И, только когда мы побежали, они крикнули:

— Хальт!

Ванюша показал мне в какой-то переулок:

— Туда!

А сам бросился в другую сторону. Я побежал за ним. Слышал, как неумоимо и твердо цокают солдатские ботинки, как возмущенно кричат патрульные, еще не догадываясь, что гонятся за русскими, и больше всего боялся отстать от Ванюши.

Среди сараев на пустыре мы потерялись. А патрульные явились в лагерь. Ходили по баракам, светили фонариками в лица. Ванюша мне сказал:

— Надо было разбежаться в разные стороны.

Я промолчал потому, что подумал, случись что, опять за ним побегу.

Когда мы с ним застрелили эсэсовца, у меня осталось такое чувство: пережить один такой день — и все. Лег на нары — летел. А события еще и еще раз догоняли меня.

Догоняли не так, как я их запомнил. То есть не так, как запомнил их в той лихорадке. Какое-то выражение лица эсэсовца, следы в лесу, которые невозможно скрыть. Ощущение, что стрелял во что-то такое, что сразу должно меня уничтожить. Удивлялся, почему жандармы не торопятся. Весь день был в лихорадке, а теперь память как будто стала трезвой. И то, что жандармы медлят, тоже было понятно. Куда мы с Ванюшей денемся? Я старался получше воспользоваться их медлительностью. За эти годы я научился считать минуты, как хлеб по крохам. Хлеб и отдых уходили, не возвращая сытости и бодрости. И я надеялся, в следующий раз буду умнее. И, хотя с тем же хлебом и отдыхом и в следующий раз ничего не получалось, прибавлялось недовольство собой, неумением получше и поумнее распорядиться тем, что есть. Много раз решал я эту задачу, пока наконец смог ее представить себе. И теперь пытался растянуть минуты, остановить их. Пока дойдут до вахтштубы, пока вызовут коменданта, пройдут через двор, войдут в барак. И это время мое. И, если не суетиться, ничего не говорить, я о многом успею подумать.

Но минуты проходили, дверь в вахтштубе отворялась, на кого-то кричал полицейай, пробегал Иван Длинный, а я никому не был нужен. И лихорадка постепенно возвращалась. Надо было сделать что-то еще. Поговорить с Ванюшей.

Ванюша мне сказал:

— Не майся. Не думай.

Я должен был бояться следующего раза, но все время торопил его. Боялся, что Ванюша передумает или не возьмет с собой. Словно то, что было плохо в первый раз, требовало переделки. А потом мы нелепо попались, и, когда выпутались, я подумал, что солдаты, и жандармы не все сразу видят, не обо всем догадываются. И нет безнадежных положений. И потом к этой мысли все время что-то прибавлялось. Все делать хорошо никогда не научишься: идешь в темноте тихо и вдруг с грохотом ударяешься о пустую канистру. Но даже в этом ночном мире есть место и для жестяного грохота, и еще для чего-то, что самому кажется последней ошибкой. И дело не в том, в каком порядке все делаешь, а какой порядок у тебя внутри.

И Аркадий, и Петрович, и Ванюша были разными, но, даже когда спорили, казались мне признающими что-то одно. Это что-то имело власть и над их страхами, и над желаниями. Вообще для меня здесь не было ничего нового. Я понимал правила, искал их. Мальчишкам это естественнее, чем взрослым. Костик шагу не ступил, не гордясь тем, что делает это по самым лучшим правилам. И Соколик, и верующий старик, и Александр Васильевич Громов, и власовцы, и даже Москвич показывали, что живут по правилам. Правила всегда выдвигались вперед, а за правилами скрывалась непривычная для меня человеческая мерка. Я ненавидел власовцев и Соколика вместе с их правилами. Но еще большую ненависть у меня вызывала их человеческая мерка. Александру Васильевичу я должен был казаться неблагодарным мальчишкой. И я изо всех сил тянулся к тому, что объединяло Аркадия, Петровича, Николая, Ванюшу. Я уже, конечно, думал, кто мы такие, попавшие в фашистскую неволю. Нас было много. И это, пожалуй, было ответом. Здесь были смелые и трусливые, упорные и слабодушные, штатские и военные, малолетки и взрослые, мужчины и женщины. И я, конечно, оценил и невероятную тяжесть обстоятельств, и то, что человек может против обстоятельств. И понял собственную слабость. Но человеческая мерка моя от этого несколько не понизилась. Ведь кто-то эти обстоятельства побеждает! Но даже если бы осуществился самый жуткий бред и только кто-то один на самом краю света ценой жизни победил бы фашистские обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой. И, о чем бы ни спорили, я чувствовал, что всегда спорят об этом — какая мера человеку по плечу.

Я видел, что взрослые со взрослыми иногда говорят так, как они говорили бы с подростками.

— Не все надо объяснять или доказывать, — говорил Аркадий Николаю.

— Как? — спрашивал тот.

— Так. Есть вещи, которые даются жиненным опытом. Да и не все можно объяснить или доказать. Есть жизненный и есть нравственный опыт.

Я прислушивался к спорам и мучился из-за того, что у меня не было слов, чтобы запомнить, а потом пересказать Костику, а у него любопытства, чтобы разбираться и выслушивать. Душевный интерес мой был страшно обострен, а память не подготовлена. Но эти слова Аркадия я запомнил. Где-то должен быть умный мир, в котором

я найду ответы на свои мучительные вопросы. И это даже хорошо, что он не близко. Не может быть, чтобы ответы на такие вопросы были где-то рядом. Надо много знать, долго трудиться, только тогда заслужишь ответ. Я замечал, как гордятся люди, знающие ответы на какие-нибудь и не очень сложные вопросы жизни. Как будто они их не просто узнали, а заслужили. Как будто узнать и заслужить — одно и то же.

Ванюша потупливался. Слова Аркадия не вызывали у него того же чувства, что у меня.

Ванюша был, конечно, рисковей Аркадия, он был мне ближе, но вот какая вещь — мне нужен был дальний. Впервые я начинал понимать, какое соединяющее и разделяющее значение имеет не только то, как живешь, но и что о жизни думаешь. И еще думал, что мысли отделяются от человека. Человек может нравиться, а его мысли нет. И наоборот. Я не понимал, как это получается, но уже чувствовал, что с хлебом легче расстаться, чем с мыслью.

Аркадий не гордился своими знаниями. Когда разговаривал с Ванюшей или Николаем, казалось даже, что он досадует на то, что знает больше их. Будто это чем-то раздражает его. Знай он меньше, ему было бы интереснее разговаривать и спорить.

И я замечал, что он иногда уступал. И даже как-то возбуждался от этого. Будто самого себя убеждал, что не уступает, а делает так, как надо. Когда решили казнить старшего мастера, Аркадий сопротивлялся, а потом и руководство перешло к нему.

Однажды Петрович на заводском грузовике перевозил старшему мастеру кокс. Вернулся и сказал, что тот живет в большом бауэрском доме. Дом в двух-трех километрах от города. На машине — несколько минут.

— Откуда ты знаешь, что его дом? — спросил Аркадий. — Может, родственники живут или кто-то еще.

— Сам сказал. Похвастался. Я даже уточнил: далеко на фабрику ходить. А он свое: мускулы, здоровье, велосипед. Я спросил, а кто же пашет и сеет, кто за скотиной ходит. Говорит: «Фамилия».

Старшему мастеру так часто желали смерти, что все почувствовали: вот оно! Больше просто так не скажешь: «Чтоб ты сдох! »

Ванюша спросил:

— Туда и обратно одной дорогой ехали?

— Одной.

— Запоминал?

— Когда ехали обратно, старался. Я же не знал, что к нему домой едем, — сказал Петрович.

— Понятно. Из машины не очень-то дорогу запомнишь.

— Да, в общем, просто, — сказал Петрович.

— Из машины только крупное запоминается, — сказал Ванюша. — Пешком — все другое.

— А ночью? — спросил Петровича Аркадий.

— Если по шоссе, то и ночью. Да ведь по шоссе не пройдешь.

— А дом ночью узнаешь? — спросил Ванюша. — Они у бауэров похожие.

— Дом я запомнил.

— Приметный?

— Здоровый! Двухэтажный барак. В таком доме двадцать человек свободно могут жить. И коровник к дому пристроен. И сарай под уголь и кокс. Там не только дом — двор приметный.

— А с другой стороны выйти, узнал бы?

Петрович подумал.

— Засомневался бы. Въезжали и выезжали через ворота. Со стороны ворот и сориентировался бы.

— Все эти разговоры ни к чему, — вдруг твердо сказал Аркадий. И все будто даже с облегчением замолчали.

Но сто раз скажут: всё! Сто раз сам себе скажешь. А через какое-то время облегчения как ни бывало. Резоны, которые уравнивали ненависть, не забываются, но полностью теряют силу. Новые резоны накапливаются и отбрасываются, а напряжение становится все сильнее. И настоящее облегчение наступает, когда понимаешь, что с главной мыслью никакими соображениями не развязаться.

На следующий день опять заговорили о доме старшего мастера.

Я уже начинал представлять себе этот скрепленный металлическими полосами двухэтажный дом, который вместе с пристроенным к нему большим коровником образовывал букву «Г». Дом и коровник — две стороны бауэрского двора. От свободного, тоже перекрещенного металлическими полосами торца дома идет низкий, по пояс, заборчик. В заборчике примыкающая почти вплотную к торцу калитка. Далее ворота. То есть тот же невысокий разъемный заборчик. За воротами сарай, в который Петрович сгружал кокс. Калитка не запирается. Вход в дом со двора. Дверь узкая, в двери маленькое

квадратное оконце. Наверно, в дом можно попасть и через коровник. Окна, выходящие во двор, только на уровне второго этажа. Как выглядит фасад дома, Петрович не знает. Не представляет, где в этом доме комната старшего мастера.

— Если даже в дом попадешь, заблудишься, — сказал Петрович. — Гостиница!

— В дом и входить нельзя, — сказал Ванюша. — Тогда не скроешь, что русские.

Все замолчали.

Аркадий сказал:

— Нелепость.

И вновь я почувствовал, как отлило напряжение. Тупик! Но кто-то спросил:

— Туалет во дворе?

— Есть и во дворе, — сказал Петрович. — Но в доме тоже, наверно, есть.

— А бомбоубежище? Какой-нибудь подвал? Куда они во время тревоги прячутся?

— Может, и не прячутся. Там не бомбят.

— Нужен кто-то, кто по-немецки вызовет его на улицу. Мол, нарушаешь светомаскировку. Или срочный посыльный с фабрики, — сказал Николай.

— Только рот откроешь, — сказал Аркадий, — тебя сразу узнают.

— Я не буду открывать. Это ты вывески читаешь.

— Выйти может и не он, — сказал Петрович. — Я ж говорю, там двадцать человек свободно могут жить.

— Многих видел? — спросил Ванюша.

— Старуху и старика. Но днем работники в поле, а ночью дома.

— Двадцать человек, — сказал Аркадий, — и, конечно, оружие есть. А мы можем пойти втроем-вчетвером. И только один стоящий пистолет.

— Не в том дело, сколько человек, — сказал Ванюша. — Сколько мужчин.

— Поблизости еще два или три бауэрских дома, — сказал Петрович. — Что-то вроде хутора. Даже если удастся его выследить или выманить, взять всех на испуг, они потом опомнятся, догонят. Все дороги нам перекроют. А мы знаем только одну.

— А телефон в доме есть? — спросил Аркадий.

— Не знаю, — сказал Петрович. — Не подумал.

— Может быть.

Обо всем этом говорилось много раз. Потом я стал

замечать, что при мне заминаются. И догадался, что появился план и что меня в него не включают. Понял, что план от Аркадия.

В лагерной тесноте никакие секреты не держатся. Даже мелочи трудно сохранить в тайне. Сам секрет, может, не сразу разгадывается, но люди, группирующиеся вокруг него, видны. Секреты, к которым ты не допущен, и обижают, и тревожат. А для людей типа Ивана Длинного секрет — предмет страстной охоты. Однако тянутся они к чужим секретам не для того, чтобы немедленно их сбыть. Ни Иван Длинный, ни Гришка-старшина не доносили на тех, кто воровал картошку. А скрыть ее от них было невозможно. Нельзя было укрыть от них и многое другое, что, однако, не достигало полицейских ушей. За два с половиной года в двух лагерях мне не запомнилось ни одного случая добровольного доноса. И это, конечно, нужно отметить особо. Значит, существовали причины, которые удерживали даже Бургомистра Бориса Васильевича. Но у Ивана Длинного или, скажем, у Гришки-старшины были, конечно, другие причины. Выданный секрет уже ничего не стоит. Выгоднее запускать его в бесконечный оборот. Кого-то припугнуть: «Иду к коменданту!» Порезвиться: «Боишься?» Кому-то показать: «Знаю, но молчу. Пока ничего не требую». Тут множество оттенков, и все жуткие. На самого смиренного в лагере давит множество разоблаченных нарушений. И все они многократно усиливают власть Длинного. А он, может быть, все эти невыданные секреты хранит и копит, как самый ценный свой капитал, который можно будет предъявить и тогда, когда власть поменяется.

То, что мы с Ванюшей во время ночных бомбежек уходили из лагеря, знали все. Иван Длинный, казалось мне, догадывался и о большем. О чем, я не знал. Это еще усиливало лихорадку. Мне казалось, я чувствую, как наши тайны идут по все более широкому кругу, а освобождение приближается слишком медленно. Что опередит?

Каждый раз, когда Длинный разговаривал с полицаем или комендантом, я напрягался. Иван чувствовал наше напряжение и лишний раз подходил к коменданту.

— Ты ведь еще совсем молодой,— сказал ему Ванюша.— И жил недолго.

Иван упер в бедра руки, вылезшие из коротких рукавов, и закричал:

— Гротишь! А ну повтори!

Синяя жилка на виске его напряглась, глаза воспали-

лись. Глаза Ивана теперь всегда были воспалены.

Полицай обернулся на крик. Иван и кричал, увидев, что полицай рядом. Игра Длинного была понятна: если вмещается полицай, Иван его не звал и даже не видел. А если и видел, не брал в расчет, так был возмущен.

Иван был тоже напряжен и в любой момент мог сорваться. Иногда казалось, что он ищет подходящий предлог.

Должно быть, Аркадий и решил участвовать в покушении на старшего мастера, чтобы взять под контроль эту гонку напряжений, чтобы сплотить колеблющихся. А может, конечно, это был азарт последних дней, перед которым никто не мог устоять.

Дыра в бомбоубежище не годилась: дверь в бомбоубежище запиралась на замок, ключ был в вахтштубе у дежурного полицая. Кроме того, вход в бомбоубежище хорошо просматривался из окна вахтштубы.

Две ночи возились — делали дыру в проволоке за крайним бараком, рядом с лагерным туалетом. Тот, кто ночью идет сюда или отсюда, не вызывает подозрений.

Проволока оказалась ржавой, хрупкой. Отхожее это место давно не инспектировалось.

Оказалось, что в плане Аркадия было место и для меня. Я должен встречать их ночью у лаза. Ушли они во время тревоги: Ванюша, Аркадий, Николай, Петрович. Тревога была дальней, звуки бомбежки глухими. Где-то горело небо, В-52 сыпали фосфор. Кто-то вверху трогал колосники гигантской топки, искры уходили за черный горизонт, и, как в прочищенном поддувале, все окрашивалось ровной краснотой. Топку чистили долго. Мы знали, багряному цвету соответствовала температура в тысячи градусов, по фосфорному ковру бросают тонные фугаски, которые вызывают у нас землетрясение. Над бараками, над городом слепо пролетали тяжелые бомбовозы. Как появлению товарного поезда, им предшествовали оконная и жестяная дрожь, хруст межэтажных перекрытий. И, только когда фосфор встречался с землей и в топке вдруг открывалась тяга, кожа невольно отвечала этой вспышке красного света.

Кто-то решился выйти из бомбоубежища. Полицай покрикивали лениво. Земля горела уже по всему горизонту, но, судя, по голосам, настроение у полицаяев не было подавленным.

Поддувальный свет освещал их возбужденные лица, портупей, сапоги. Угольная краснота плавилась в окнах

бараков. Ясно были освещены бараки, лагерная площадь, мост, лестница, ведущая на мост, городские дома, окна которых издавали то самое паническое стеклянное дребезжание.

За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может, больше, чем живой человек. Кровеносными сосудами она связана с твоей жизнью. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Но чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче в этом коротком времени самые страшные несчастья. Старчески уступчивой делается память, сталкиваясь с новыми интересами. А живое, сегодняшнее нетерпение готово многим пренебречь. Однако чем правдивее воспоминания, тем больше в них дела.

Мы радовались железнодорожному грохоту в небе, страшному огню, сжигавшему целые промышленные районы, города. Горел гигантский военно-промышленный комплекс, сплавленный страшной идеей превосходства одних людей над другими, и в другом огне сгореть не мог. Через много лет после войны я прочитал, что в этом огне гибли невинные люди. Тогда это и в голову не приходило. Да и как взвесить вину, как отделить ее от людей? Если не досрости до сознания своей вины, значит ли, что не виноваты? А если нравственный долг не по силам, извиняет ли это нас? Практика склоняет к снисходительности. Но и сегодня я вижу тот огонь сквозь колючую проволоку, которую он должен был разрушить.

И полицаев огонь возбуждал. Они стояли в освещенном пространстве, называли друг друга города и городки, над которыми шла бомбежка, и словно радовались своей проницательности. До освобождения оставалось двенадцать дней. Никто этого знать не мог, но это уже было в воздухе.

Когда военнопленные вернулись, Ванюша сказал:

— Заблудились. По шоссе патрули. Фронт! Десант ждут.

Они еще дважды ходили ночами и как будто сумели выйти на тот самый бауэрский хутор, но было уже поздно, и они вернулись. На следующую ночь Аркадий предложил пойти и мне.

— Дом очень большой, — сказал он.

Ванюша держал проволоку, пока мы выползали. Потом

я подержал. В темноте сразу потерял ориентировку и уже не смотрел по сторонам. Мы скоро сошли с асфальта, и я в первый раз в жизни оказался ночью за городом. Я не запоминал дорогу, отчаивался своей неспособностью отличить пройденный участок от того, по которому идем, но навсегда запомнил гул открытого пространства, выпуклость ночных звуков и поразивший меня собачий лай. Не знаю, что уж было неожиданного для меня в этой деревенской собачьей переключке. Но что-то замерло во мне, когда четкий, как над речной поверхностью, пришел откуда-то собачий брех. Первой собаке отозвалась вторая, им, будто совсем издалека, из-за горы, ответила третья. А за горизонтом, углубляя мое представление о ночном пространстве, неразборчиво застонали еще несколько собак. Едва я успел сообразить, что это вовсе не хор, что у тех, за горизонтом, есть свои причины для лая, а у этих свои, как где-то рядом залился пес. Он провожал нас. И я понял, что поражает населенность темноты. Для собак наше присутствие — не секрет. Я почувствовал прозрачность темноты, ее холод и световую зыбкость. С самого начала решив, что смотреть по сторонам мне не нужно — запутаюсь, испугаюсь и других запутаю, — я шел, всматриваясь в спины Ванюши и Петровича. Вначале впереди шли Аркадий и Николай, но на какой-то развилке они засомневались, и вперед вышли Петрович и Ванюша.

Первым двигался невысокий Петрович. На нем были старый немецкий солдатский китель и толстые спецовочные брюки из стекловолокна. И китель, и брюки были велики. Брючные калоши и рукава кителя подвернуты и подшиты. Хозяйственного Петровича часто рызыгрывали, советовали отрезать лишнее. Он неохотно втягивался в разговор, отмалчивался, потом не выдерживал.

— Тебе не мешает? — спрашивал пристающего.

— Нет.

— Мне тоже.

— Все-таки, Петрович, лучше укоротить.

— Понадобится.

— Зачем?

— На латки.

— И так будут латки.

— Отрежу — вещь испорчу. Зачем портить вещь?

Сердился, будто досадовал на неожиданное неудобство. Голос делался напряженным и словно застенчивым. Но пристающие не унимались.

— А если бы большой кусок кожи на подметку прибил, лишнее отрезал бы?

— На язык тебе подметку надо, чтобы не стерся. Ты любую вещь погубишь.

Сердиться Петровичу было как бы несподручно, не по характеру. Утомительное состояние. Особой мягкости я у него не замечал. Но человек он был явно уравновешенный.

Портняжное или сапожное ремесло было как раз по нему. Ботинки у него были с несношенной подошвой — на подошву набивал резину или кожу. «С запасом» у него было все: и ботинки, и одежда. И шел из-за этого подпрыгивая, и брюки оттопыривались на зад. Я никак не мог понять, по каким признакам он в этой темноте узнает дорогу. Но наконец и Петровичу не хватило чутья. Он подождал Ванюшу. Некоторое время они двигались почти рядом, потом Петрович будто смирился, отстал.

Несколько раз останавливался и Ванюша, и тогда я понимал, что в ночных звуках, в собачьем лае поражает еще и некая похожесть. Будто это и не Германия вовсе...

Неожиданно наткнулись на колючую изгородь, попытались обойти, потом перелезли через нее, шли по вскопанному, грузли в мягкой земле, опять лезли через изгородь. И, когда все уже устали верить Ванюше, он сказал, что помнит направление и все время ориентируется по автомобильному шуму, который доносится с близкого шоссе.

Шоссе мы иногда видели: то с горки, то рядом, сквозь деревья.

Потом ноздри мои уловили какое-то изменение в воздухе. Это был запах коровника, соломы, крестьянского жилища.

— Вот! — сказал Ванюша, и я увидел, что сгусток темноты, на который он показывал, приобретает те самые очертания, которые я уже много раз представлял себе.

Дом действительно оказался очень большим. И, когда мы собрались в тени его, я почувствовал, что и четверть дела не сделаны. Или что оно еще дальше отодвинулось от нас. Ванюша толкнул калитку, прошел вдоль стены к двери, надавил, потянул и вернулся.

— Плотный засов. Не шевелится.

Петрович и Аркадий зачем-то пошли в сарай. Пробыли там довольно долго. Когда вернулись, Петрович сообщил:

— Этот дом. Сарай я хорошо запомнил.

Под ногами Петровича хрустывало, и говорил он громко.

— Тише, Петрович, — сказал Аркадий.

Меняя место, Петрович чертыхнулся и нашумел еще больше. На него шикнули и посмотрели на окно. В густой темноте единственное на торце дома окно долго не замечали или считали дальше, чем оно было на самом деле. Кроме того, от возбуждения, должно быть, темноту ощущали непроницаемой и для глаз и для слуха. А теперь темнота немного рассеялась и вспомнили, что уже давно переминаемся, хрустим, громко шепчемся и даже посмеиваемся. Этаж высокий, но даже спящего можно растревожить. Все замолчали и долго всматривались в черноту стекла.

Вернулся Николай, ходивший к соседним домам удостовериться, что там все спокойно, и опять возник шум.

— Э-э! — с опасением позвал он, не различая и не узнавая нас в темноте.

— Тише! — ответили ему.

— Что такое? — спросил Николай и, увидев, куда мы смотрим, тоже взглянул на окно. Мне показалось, что чернота за стеклом на секунду сгустилась и отхлынула. Я посмотрел на Николая, Ванюшу, они молчали, и я промолчал тоже. Потом уходили Аркадий и Николай, возвращались, звали с собой Петровича. И каждый раз их возникновение из темноты казалось опасным. Приходили возбужденные, но я чувствовал, что плана нет и что он даже не созревает. И уводит Аркадий с собой Петровича и Николая просто потому, что они ему симпатичнее нас с Ванюшей.

Наконец Аркадий, Петрович и Николай явились еще раз и Аркадий сказал, что они втроем попытаются проникнуть в дом через коровник. Там непременно должна быть внутренняя дверь. Ванюша должен сторожить фасад, мне надо оставаться на месте и следить, чтобы никто не вышел из дому. Они найдут ход, откроют дверь и позовут нас. Если произойдет что-то чрезвычайное, бежать надо к роще и там не искать друг друга, а в одиночку пробираться в лагерь. Либо, по обстоятельствам, уходить, искать место, отсиживаться до освобождения.

Вот это и было самым страшным. К этому я совсем не был готов.

— Где роща? — шепотом спросил я Ванюшу. И он прежде, чем исчезнуть в темноте, куда-то показал рукой.

Ванюшин жест растворился в темноте и никак не помог мне сориентироваться. Аркадий, Петрович и Николай, чтобы не оказаться под окнами, пошли к коровнику вокруг усадьбы, а я остался один и испытал страх слепоты.

Минуту я пытался вспомнить, куда же показывал Ванюша, но темнота подступала одинаковой со всех сторон, и я толкнул калитку и вошел во двор, чтобы лучше контролировать дверь, в которую в случае удачи нас с Ванюшей должны были впустить. Шорохи шагов замерли, и установились темнота и тишина. Я прислушивался, но ни в коровнике, ни в доме ничего не было слышно. Никаких звуков не было и тогда, когда они, по моим расчетам, должны были появиться. От напряжения я временами слеп. В один из таких моментов мне показалось, что из двери что-то вытекло. Пока я с оборвавшимся сердцем понял, что дверь открыли, и открыли бесшумно, кошка пробежала через двор к сараю. Я еще надеялся, что дверь открывали специально, чтобы выпустить кошку, когда кто-то рослый и будто смущающийся отделился от двери. Движения его были спрашивающими. Постоял, взял рядом с дверью не замеченные мною вилы и словно показал их. И первый шаг его был спрашивающим. Меня он не видел. Там, где я стоял, тень была гуще. Я отступал к калитке и вспомнил о револьверчике только тогда, когда уперся в нее спиной. Калитка открывалась во двор, и теперь, чтобы выйти, надо было сделать шаг или два навстречу тому, с вилами. Я присел под заборчик и только тут почувствовал в руке маленькую рукоятку. Под бойком в барабанчике была пустая ячейка. Я щелкнул. Словно ждал этого звука, человек остановился и... кивнул. Я передохнул, увидев его оцепенение, и шепотом скомандовал:

— Цурюк!

Кивая, будто в заговоре со мной, он так же осторожно отступил, и я услышал, как он закрывает и запирает дверь. Это было все! Надо было давать знать нашим.

Пока шли сюда, я во всем на них полагался. В дороге было много опасного, невыясненного, рано было о чем-то думать. К тому же взрослые столько раз возвращались ни с чем, что и я был готов к этому же. И не огорчился этим. Главное — со всеми! Мысли о цели были заморожены. И я не торопился их размораживать. А когда мы все-таки добрались, мне показалось, что и Аркадий, и Петрович, и Николай, словно как и я, еще по дороге полностью удовлетворили свою страсть к риску и только скрывают это друг от друга. Зачем иначе кружить вокруг дома, а меня одного оставлять против главной двери? Вот и случилась

¹ — Назад!

нелепость. Старший мастер был передо мной — в конце концов я узнал его, — а я его вернул в дом, дал возможность запереться и приготовиться. Я пошел искать Ванюшу и едва не столкнулся с ним. Он шел узнать, как у меня дела. Я с облегчением вглядывался в него, как будто бы темнота должна была растворить его, а вот вернула. Или он вынырнул, пробыв под водой несколько часов. Едва я успел рассказать ему о том, что со мной произошло, как, обходя дом со стороны фасада, появились Аркадий, Петрович и Николай. Возбужденные, еще более сдружившиеся, занятые своим, они не удивились, увидев нас вместе.

— Нет входа из коровника, — сказал Аркадий. — Стена. Все осмотрели.

— Тихо! — сказал Николай.

Окно, под которым мы стояли, распахнулось. Открывалось оно наружу, и кто-то старался выглянуть из-за стекла. Должно быть, в темноте стекло было полностью непрозрачным.

— Поздно таиться, — сказал Ванюша, когда окно закрылось. — Все равно нашумели. Расскажи, — сказал он мне.

— Да, — согласился Петрович, когда я кончил, — в темноте не сразуобразишь.

— Растерялся, — сказал я. — Надо было его остановить, на револьвер свой не понадеялся.

— Каждый бы растерялся, — сказал Петрович.

Николай стал перечислять:

— У мастера пистолет. Есть, конечно, в доме охотничьи ружья.

Оружие, которое может оказаться в доме, уже много раз учитывалось.

Стояли в сомнении.

— Я пойду постучу, — сказал Ванюша и, не ожидая ответа, пошел, прижимаясь к стене. За ним, преодолевая смущение, неуверенность и несогласие, пошли Аркадий, Николай и Петрович. За ними я. Шли, прижимаясь к стене, ожидая выстрела из окон второго этажа. Стали по обе стороны двери, а Ванюша постучал и отклонился так, чтобы его нельзя было увидеть из дверного оконца.

Но чернота за оконцем оставалась пустой. И вдруг Николай, которому не хватило места под стеной, показал наверх. Над дверью — межэтажное лестничное окошко. И там пристальное, невидящее, не замеченное нами, распластанное лицо.

— Полиция! — сказал Ванюша.

Человек забеспокоился, отодвинулся, лицо смазлось туманом.

Через несколько мгновений то же лицо приникло к дверному окошку. Человек освещал себя карманным фонариком, показывал нам револьвер.

— Тюр ауф!¹ — угрожающе сказал Ванюша.

Наверху с грохотом распахнулись два окна, и мужские голоса прокричали что-то угрожающее. Потом один стал увещевающе и рассудительно звать:

— Гайнц, Гайнц!

Ванюша ударил дверь ногой. Я удивился — человек осветивший себя фонариком, был старшим мастером. Не станет же он открывать дверь! Но тут я поразился — раздался осторожный щелчок, и дверь приглашающе приоткрылась. Была секунда колебания. Ванюша ударил еще. Дверь распахнулась, и мы услышали по узкому коридорчику топот убегающего. Ванюша бросился за ним, подтолкнул меня, кого-то подтолкнул я, в темноте узкого коридорчика бился плечами о стены и вдруг ослеп — в глаза мне смотрел яркий рефлектор. Сквозь свет увидел узкие ступени — мастер убежал по лестнице. И вдруг рефлектор дважды взорвался огнем. Я понял, в меня стреляют, и тоже выстрелил. Как сквозь вату, слышал еще выстрелы и топот. А потом ощутил пустоту коридорчика и тоже выбежал в темноту, пораженный и напуганный согласованным, неожиданным и непонятным грохотом. Били в пустые кастрюли, ведра, хлопали кастрюльными крышками. Будто в темноте разом обнаружили десятки лавок жестянщиков. Била в кастрюли и кричала вся окрестность. Кричали в доме старшего мастера. Колотушкой били во что-то жестяное в соседних бауэрских домах. Кто-то быстроногий перед нами улюлюкал и пританцовывал. Кастрюльный грохот и крик передавались за холм. Ничего подобного я представить себе не мог. Пока мы секретничали, шептались, нас обложили. Хруст веток, наше дыхание прослушивалось. Я понимал только одно — постыдно пропали. Видел, что и взрослые испытывают то же самое. Мои силы были на исходе.

Слышали рев автомобильных моторов на шоссе.

Темнота не рассеивалась, но было ощущение, что вот-вот начнется рассвет.

В какой-то момент почувствовал, что крики и кастрюльный гром уходят в сторону. Я еще не догадывался,

¹ — Открой дверь!

что неожиданная самооборона увела от нас жандармов и солдат. Загонщики знали местность. У них были свои соображения, куда мы должны укрыться. А может, никто не мог предположить, что всех переполошили пятеро почти безоружных лагерников, все искали парашютистов. А мы шли единственной дорогой, которую знали, — в город.

На улицах была темнота. Под мостом, у лагерной проволоки, долго прислушивались, в лагере было тихо. Не было видно и дежурных полицаев, которые обычно прохаживались между бараками.

Утром погнались рыть бомбоубежище. Полицаи лениво выкрикивали фамилии. Многие скрывались в бараках. Я ждал и сразу затесался в строй, хотя никто меня не вызывал. Привели к подножию горы. Разобрали кирки и лопаты, но работать не стали — куда-то сразу исчез фохарбайтер. Склон горы просох под апрельским солнцем. Я выбрался на траву. От пережитого, бессонницы, от слабости и голода, оттого, что на земле тишина, а в небе солнце и шелест снарядов, меня впервые отпустил страх — не за свою жизнь, а куда более обширный и мучительный, — и я заснул.

Разбудили меня земляной холод и привычный ужас, что допустил оплошность, которая может оказаться последней в моей жизни. Я услышал негромкие немецкие голоса. Однако не отпускала и сонливость. Надо было перебраться на прогретое солнцем место. Приподнялся и увидел десятка два немецких солдат. Это были раненые из ближайшего госпиталя. Их я не боялся. Это были те же кранки. Они приходили греться на солнце. Я прекрасно знал их психологию.

А ведь когда-то казалось, что они заговорены от смерти своей самоуверенностью, техникой, даже своим непонятным языком, который скрывает какие-то секреты. Теперь я видел в бюргогаузе заготовленные впрок мешки-гробы, ямы их братских могил, шлак, которым затекают колосники в котельной госпиталя. Видел, как страданием им заламывает головы, когда их переносят из санитарных машин в бюргогауз. Слышал, как в панике они пытаются защититься кастрюльным громом. Пришло время мне думать, что умирают они, пожалуй, даже слишком легко.

В госпитале они нанюхались гниющей плоти, знали, чем пахнут их собственные бумажные эрзац-бинты — в такую войну на все раны настоящих бинтов не напасешься. И никому из них в голову не придет причинить мне вред. А были бы здоровыми, обязательно

нашлось бы несколько крикунов.

Они тоже прислушивались к снарядным траекториям, и в тихих их голосах, в доверительных интонациях было слышно облегчение.

По дороге в лагерь видели новобранцев-батарейцев, которые в шеренгу выстраивались за лафетами своих пушек. По команде унтер-офицера они бросались к своим местам. В каждом расчете был один, которому нужно было обежать щит и поднырнуть под ствол. Он стремительно сгибался и разгибался. Упражнение не из легких потому, что пушки приземистые, а повторялось оно непрерывно. Новобранцы были узкие, на новеньких пружинках. Заняв места у пушки, они вновь по команде выстраивались в шеренгу. В ответ на команду вся шеренга с-готовностью вздрагивала, срывалась, охватывала пушку, изготавливалась к выстрелу. Унтер-офицер кричал, и они рассыпались кто куда. Новая команда, и опять дрожь готовности пронизывает тоненькую шеренгу. Я смотрел на тех, кому надо было подныривать под ствол. Ни разу они не схалтурили, не обежали ствол. Петели на ярком апрельском солнце. Новобранцы почему-то были в темных мундирах, а унтер-офицер в обычном серо-зеленом. И никакого запаздывания на команду. Будто не видели раненых на горе, будто не прояснило им зрение приближение неизбежной капитуляции.

Пушки стояли среди редких деревьев. С позиции видны городские дома, дорога, мост и наш лагерь под мостом.

Потом была ночь, когда невыносимы стали каторжные барачные запахи. Они полезли из всех щелей. Секунды нельзя было оставаться в этом воздухе. Среди ночи обнаружили, что в вахштубе нет полицейских и лагерные ворота не охраняются. Сломали замок в сарае, вооружились лопатами и кирками, поставили к воротам добровольцев. С каким напряжением все старались уловить приближение главной минуты, может быть, заметней всего было по лицу Ивана. Длинная, любопытная шея его вытягивалась, он тревожно всматривался в наши лица. В барачном рассвете его обычно румяное лицо стало серым. Давно Иван начал рассказывать всем, что у него в Красной Армии два брата. Но неизбежное приближалось, и он чувствовал, что главной минуты ему не пережить. Когда поблизости ударили пулеметные очереди, Иван вдруг бросился к лестнице, которая вела на мост.

— Иду встречать братьев! — закричал он. Его не задерживали.

Я уже говорил, что в лагере было два выхода. Узкая лестница на мост, по которой бежал Иван, и выезд в город, закрывавшийся воротами из колючей проволоки. У этих ворот в панике переодевался в штатское солдат. Он бросил и военный мундир, и винтовку. Таких винтовок мы за утро подобрали несколько штук. Еще трудно было понять, способны ли эти винтовки защитить лагерь, когда по лестнице на лагерную площадь скатились несколько солдат с винтовками наперевес. Ни на одном уже не было полного мундира. Форменные брюки, штатские пиджаки. Их привел лагерный полицейский. По лицам их было видно, как они спешили. Прислушивались к тому, что делается наверху, в городе, пытались согнать нас к земляному откосу, ведущему на мост. Там, рядом с водосточной трубой, уже стояли человек пятнадцать. Солдаты направили винтовки, полицейский кричал, чтобы сдавали оружие. Этим полупереодевшимися в штатское солдат собрали в самый последний момент. По их худобе, по тому, как быстро они бежали по лестнице, рассыпались по лагерю, по всем хваткам было видно, что они опытные солдаты. Но они уже пережили одну панику, переоделись, их было мало, они все время оглядывались, посматривали на лестницу. Снизу лестница казалась очень высокой и узкой. Полицейский кричал, а они вскинули винтовки. В этот момент по ним выстрелили из наших четырех винтовок и револьверов, совсем рядом заработал пулемет, весь лагерный двор наполнился людьми, солдаты побежали к лестнице. Я думал, что все бегут догонять солдат, и что было сил побежал тоже, споткнулся на лестнице, схватил брошенную винтовку, выстрелил и в этот момент понял, что бегут не к лестнице, а к воротам, и сам побежал туда же.

Кто-то кричал:

— Танки!

Но я еще не мог понять, почему бегут, какие танки, почему в голове толпы возникло замешательство. Увидел незнакомые машины, десантников в непривычной форме на броне, увидел французов — военнопленных, окруживших танки, понял по их восторженным крикам, что это американцы, но никак не мог сообразить, почему офицер-танкист урожающе кричит на нас, прогоняет, размахивает пистолетом. Танк дернулся, крутнулся на одной гусенице, показал на секунду днище, повел качнувшимся хоботом. И опять мы побежали, но теперь уже в лагерь. И вновь я не успел разобраться, почему бегут. Кричали:

— Пушки!

Я увидел разрыв, не мог понять, почему американцы по нам стреляют. Догадался, что танки бьют над нами, а по американцам стреляют пушки, стоявшие на горе. Я слышал топот, крики, звонкие танковые выстрелы. Видел разрывы, возникавшие в самой толпе, но не слышал их. Каким-то птичьим, легким воздухом наполнилась моя грудь, когда я с теми, у кого было оружие, бежал по мосту и по горе к пушкам. Когда мы прибежали, там уже никого не было.

Танки ушли, а в лагере задержались два американца санитары. Раненых снесли в цементную трубу-бомбоубежище. Санитары, рослые, в касках, с квадратными белыми сумками через плечо,гнулись под низким сводом. Увидев раненых, они побежали за толпой в лагерь, а когда собрались назад, танки уже ушли.

Несколько часов они сидели в бомбоубежище, пока мы охраняли лагерь.

Кто-то, вышедший в город, прибежал и крикнул с изумлением:

— Простыни вывесили!

Это было невиданное зрелище — белые простыни, свисающие из каждого окна.

На лагерной лестнице появился Жан с бутылкой вина в руках. Он кричал. Надо было спешить, чтобы куда-то не опоздать. Вышли в город, шли мимо сожженных военных грузовиков. Какой-то немец, похожий на переодетого солдата, о чем-то спросил меня, я ответил ему. И вдруг поразился тому, что отвечаю, не затрудняясь поисками нужного немецкого слова. Память сама выдавала слово за словом, хотя за секунду перед этим я ничего, казалось, о них не знал. Это было чудо, и я боялся, что оно вот-вот иссякнет. Немец был доброжелательный и тоже, кажется, на белые флаги смотрел с облегчением. Слава богу, кончилось — вот какое у него было выражение. Он был не один. Их было пять человек с худыми, жилистыми солдатскими лицами. Один из них сказал доброжелательному:

— Отбери у него оружие! Ишь, с винтовкой ходит!

Наши прошли вперед, мы задержались с Костином. Я закричал, прицелился в немца. Он не испугался, но доброжелательный стал всех успокаивать. Они ушли, мы с Костином побежали догонять своих. И пока бежали, я испытал странное ощущение: было чудо, а теперь на его месте пустота. Это я про себя пытался повторить слова, которые говорил немцу. И к первому восторгу, переполнявшему меня, примешалось досадное чувство потери.

Никогда не повторилось то, что случилось со мной в первые минуты победы.

Ванюшу, Аркадия, Петровича, Николая и еще нескольких из нашего лагеря мы застали у трехтонного ЗИСа, который когда-то, должно быть, стал немецким трофеем и вот попал сюда. Приборная панель у него была разбита, но Николай что-то соединил «на прямую», в баке оказался бензин, мотор завелся, в кузов набилось много вооруженных лагерников, а я сел так, как давно мечтал, — на крыло. Николай вывел грузовик из кювета на дорогу, сзади меня поддавало все сильнее и сильнее, а впереди была только дорога, разбитая авиационными воронками. Как будто осуществлялся давний, невозможный сон. И я это был и не я. И этот грузовик на непривычных для него рурских дорогах. И в кузове мои товарищи, характеры которых я хотел понять и перенять потому, что своему собственному еще не доверял. И Костик, которому я давно перестал завидовать.

Остановились для того, чтобы набрать из брошенных машин бензину, и я больше всего боялся, что кто-нибудь захочет сесть на мое место. Но никто на него не посягал. С каждой минутой я все больше доверял Николаю. Он совсем не забыл свое шоферское ремесло, и даже я, сидевший на крыле и закрывавший часть обзора, не мешал ему вести машину. Николай вел ЗИС к радиостанции. Опять перед нами был лес, курортные повороты выбеленного солнцем горного шоссе. Только воздух, который переполнял мою грудь, был птичьим, легким. И, когда грузовик остановился в самом центре эсэсовского лагеря, я спрыгнул и с винтовкой наперевес побежал к рослым военным, угрюмо смотревшим на наш грузовик. Огромная мачта радиостанции была взорвана. Казалось, на полкилометра легла чудовищная цинковая или алюминиевая труба, лишь слегка повторяя изгибы почти ровной местности. Падая, труба даже не повредила приземистое, похожее на большой бетонный дот здание аппаратной...

Потом были сумасшедшие воскресные дни освобождения. Невидимый под солнцем огонь трещал на лагерном плацу. Горело сухое, травленное нашим дыханием дерево — бессонные лагерники жгли вытащенные из барачных нары. Рушилась с танковым лязгом империя, а здесь впервые за десятки лет была такая тишина, что слышно было, как солнце светит. Не ухали горячие вальцы, не гудели мостовые краны на соседней фабрике. Ни машин,

ни трамваев, ни даже велосипедов. Лишь после такой разрушительной войны из-под асфальта, булыжника, железнодорожных шпал, из-под металлических сочленений станков могла выступить такая первобытная тишина.

Бумажным и табачным пеплом истлевала солома из выпотрошенных матрацев. Движением горячего воздуха пепел поднимало вверх. Лица наши были испачканы, кожа опалена солнцем и огнем. Смотрели на огонь, но щурились на солнце, отвыкли от него.

И в один из этих сумасшедших дней на лагерной лестнице я увидел коменданта. Ни на кого не глядя, он шел к вахштубе. Болезненно подрагивая на больной ноге, поднялся по ступенькам, толкнул разбитую дверь. На секунду сжало сердце. Неужели договорились с американцами? Кто-то вспомнил о приказе оккупационных властей всем явиться по месту работы. Он шел на свое место! Лицо медленно менялось. Ждал, когда увидим. Справлялся со страхом, услышав наше молчание. Наконец пришло воспоминание о бывшей твердости, когда ему дали подняться в вахштубу.

Через несколько минут его уже вели в штубу № 9. Он откидывался, проваливался при каждом шаге на больную ногу. Хромота придавала ему вид благородной жертвы. Дверь штубы забивали досками.

— Вечером будем судить, — сказал Аркадий.

Ни о чем больше нельзя было думать. Около штубы № 9 все время были люди. А часа через четыре на лагерную площадь прикатили два «доджа». Американские солдаты с повязками военной полиции — эмпи — направились к штубе № 9, и старший потребовал, чтобы дверь открыли. Никто не подошел. Поднялся крик. Американцы прикладами сбивали доски. Дверь открыли. Старший показал коменданту: «Выходи!» К нему бросилась жена и дочь в белых гетрах, с бантами в волосах. Американцы их почему-то привезли с собой.

Комендант долго ловил больной ногой воздух над ступенькой — никак не мог решиться на нее ступить. Эмпи взяли под руки и посадили в машину.

Если американцев было пятеро-шестеро, среди них всегда находился кто-то, кто говорил по-русски, по-украински или по-польски. Был такой и среди эмпи. Американцев ругали:

— Фашистов спасаете!

Русского американца звали Алик, он был сыном калифорнийского фермера и занимал много места в про-

странстве. Они все занимали много места в пространстве, и, может быть, впервые я почувствовал, как мы за эти годы истощились, ссохлись и уменьшились. Кому-то особенно яростному Алик сказал:

— Застрелишь его?

— Да!— сказал тот.

Алик протянул ему свою тяжелую винтовку. Тот схватился. Алик потянул назад.

— Э нет!— сказал он.— Ты застрели, но чтоб я не видел. А у нас приказ.

Коменданта потеснили на сиденье. С двух сторон подсаели эмпи, и машины укатили.

Нас перевезли в бараки бывшей охраны радиостанции. Потом пришло время прощаться с Ванюшей и военнопленными — тех, кто помладше, отправляли в Крефельд, пообещав самолетами перевезти к своим. Однако самолеты почему-то перестали летать. И мы с Костиком и Саней, протомившись недели три и не получая никаких известий и обещаний, решили вернуться в Лангенберг. Лагерь почти не охранялся, уйти было нетрудно, но за пределами лагеря мы оказались среди чужих, во враждебной стране. Дорогу в Лангенберг мы, естественно, представляли себе плохо. Сели на вокзале в Крефельде на поезд, идущий в Дуйсбург. Мосты через Рейн были взорваны, но кто-то нам сказал, что дуйсбургский мост уцелел. На какой-то станции увидели русского парня, он сказал, что сам с той же целью ездил в Дуйсбург, моста там нет. Пересели на поезд, идущий в обратном направлении, и к вечеру, миновав Крефельд, вышли, не доезжая Дюссельдорфа. Не доезжая, потому что и у Дюссельдорфа моста через Рейн не было. Спросили у немца, как пройти к переправе.

— О!— сказал он.— Сегодня не переправитесь.

Если взорваны мосты, на переправах должны быть заторы. Но все же то, что мы увидели, нас потрясло. Что-то ужасно знакомое было в одежде людей, выстроившихся друг другу в затылок. Километра на два тянулся этот хвост. Серо-зеленые пилотки и мундиры, фуражки с высокими тульями, черные мундиры. Тут были пехотинцы, танкисты, летчики, эсэсовцы, моряки. Знакомо расстегнутые на груди кители, закатанные рукава, короткая стрижка. Выпущенные из лагерей военнопленные группами и в одиночку добрались сюда. По дороге домой они встретили затор и собрались в армию. Армия сама

управляла собой. Нигде не было конвоиров, эмпи. Было бы не так страшно, если бы эта толпа была смешана со штатскими. Армия выстроилась на пустыре. Стать в очередь — значило заночевать с ними. И мы решились, двинулись вдоль очереди вперед.

Истощенным, едва смывшим лагерную грязь, нам эти люди казались здоровяками. К тому же выстроились они будто по росту. Самые огромные были впереди.

Нас скоро заметили. Мы слышали ворчание и выкрики. Мы прекрасно понимали, какое настроение у этих людей, которым предстоит переночевать прямо на земле, не выходя из очереди — до начала комендантского часа и, следовательно, до конца переправы оставалось не больше сорока минут. Я видел, как, окаменев, шел Костик, еще не отвыкший от своей шоргающей, лыжной походки. Саня с углубившимися морщинами на старческом личике. Не все выкрики были одинаково враждебными, но самое главное ждало нас, конечно, впереди.

У переправы возмущенные выкрики усилились, но все решил чей-то благодушный и как бы начальственный голос:

— Зи хабен дох рехт! ¹

Рослые крикливые распорядители пропустили нас за деревянные перильца, отсчитали партию, и мы оказались в моторке. За трехминутную, короткую переправу от одного каменного берега Рейна до другого я не успел рассмотреть ни реки, ни своих соседей. Рустая темная вода без признаков течения даже не колыхалась в бетонных или каменных берегах. В моем родном городе набережная была гранитной, а левый берег свободный, песчаный. Но больше почему-то запомнилось похожее. Моторка была уменьшенной копией парома, который в нашем городе перевозил отдыхающих на пляж.

В Дюссельдорфе пассажиры парома быстро разошлись, и мы пошли вслед за самой большой группой, решив, что не только нам нужен вокзал. Приближение комендантского часа нас всех торопило. Мы поглядывали по сторонам, присматривая себе на крайний случай убежище в развалинах. Однако мало было развалин, в которых сохранилось что-то, что можно было использовать как убежище. Кроме того, все такие места был заняты. Солнце стояло низко, оно красным светом освещало город, переработанный в красную кирпичную щебенку. Бульдозеры, расчищая дорогу

¹ — Они имеют право!

военной технике, сдвинули кирпичные осколки, кирпичные цементировавшиеся блоки, кирпичную крошку к тротуарам, к основаниям бывших домов. Над основаниями стен красная щебенка холмообразно возвышалась. Над тем местом, где раньше были бомбоубежища, подвалы, кочегарки, опускалась. Это была огромная холмистая кирпичная пустыня, и низкое солнце ее освещало потому, что не было стен, которые преградили бы солнечному свету дорогу.

Проходила военная машина, и в красном свете поднималась красная пыль.

Вообще-то дороги чистились тщательно, булыжник уже накатали до глянцежитости. И эта рабочая, каучуковая чернота булыжника и асфальта посреди кирпичной пустыни казалась удивительной.

Попадались затененные кварталы. Здесь развалины сохранили этажи, обнаженные перекрытия. Кое-где среди перекрытий горел огонь — то ли спиртовка, то ли керосиновая лампа, то ли маленький костер. Для костра, однако, в застывшем кирпичном море трудно было найти материал. Все, что могло сгореть, сгорело давно.

На перекрестках издалека светили своими белыми поясами и кобурами эмпи. Они не останавливали, не мешали немцам, припустившим бегом. Но было понятно, что военная полиция вышла на улицы перед отбоем.

Выбежали на площадь перед развалинами, в которых с облегчением узнали бывший вокзал. И вслед за немцами — делать нечего! — нырнули в подземный ход. По живой, шевелящейся навстречу входящим темноте, по казарменным запахам, огонькам зажигалок, по голосам мы поняли, что здесь еще одна армия — военнопленные, переправившиеся через Рейн. Мы шли в поисках свободного места, но всюду натыкались на лежащих, сидящих, разговаривавших или дремлющих. При свете спичек, которые иногда зажигали, были видны отблески в настроенных глазах. Нас узнавали — русские! — и нам казалось, что за нашими спинами что-то смыкается. Мы ведь пришли вслед за теми немцами, с которыми ехали в моторке, которые видели, как мы прошли на переправу, минуя очередь.

Так мы ходили по подземному вокзалу; пока Костик не сказал:

— Давай выбиратья, пока живы!

— Предупредительная сирена гудела, — сказал Сания. — До отбоя несколько минут.

— Там хоть на улице, — сказал Костик. — А тут придавят, как в могиле. Вон двое уже привязались.

Я тоже замётил двух длинных в штатском, но с солдатскими прическами, как у Павки-парикмахера. Они каждый раз оказывались там, куда мы приходили.

В темноте не сразу нашли выход. Выбрались благополучно и сели на ступени — ни на улице, ни в подземелье.

— Идут, — сказал Костик. — Чего им надо?

Двое шли к нам, но смотрели по касательной: на нас и не на нас. Один остановился, второй прошел. Первый спросил:

— Русские? — и вздохнул с облегчением. — Теперь нас пятеро.

И объяснил:

— Солдаты хотят придавить. Отбоя ждут. Вот ходят, компанию собирают.

Я представил себе живую, враждебно шевелящуюся темноту подвала и не понял, что тут могут сделать пять человек.

— А что случилось?

— Двух побили.

Все, на чем можно было сидеть или лежать, в подземном вокзале было занято, и они решили согнать двух солдат. С тех пор солдаты ходят за ними, ждут темноты. Это была какая-то особая лихость: завязать драку в таком месте, отвоевать место, которым все равно нельзя воспользоваться — убьют! И я ужаснулся энергии, с которой мы добрались сюда. Но плохо это или хорошо, делать нечего, нас пятеро. Мы поднялись и впятером — подошел и второй — стали прогуливаться около входа в подземелье. А параллельно нам прогуливалась группа молодых солдат. К ним кто-то подходил-отходил — чем ближе к отбою, тем больше группа таяла. А когда их осталось четверо или пятеро, они помялись немного и все разом ушли. Облегчение было минутным — подвала нам не миновать. На площади уже маячили эмпи. Стрельбу после отбоя они открывают без предупреждения. А двое новых знакомых правились мне все меньше. Переимчивы! Даже в складках рта что-то такое, будто вот-вот заговорят по-немецки. И разговор угасает на подступах, словно друг друга не за тех принимаем.

— Тоже решили остаться? — спросил первый.

Теперь все сошлось. Немецкая одежда, одиночество в этом разрушенном городе и блатное стремление во что бы то ни стало отвоевать себе лучшее место.

— Нет, — сказал я. — Хотим скорее домой.

— Домой! — сказал первый. — Дурачье! Всех посадят.

Ссора могла иметь для них, а теперь и для нас самые сокрушительные последствия. Мы поспорили и... разошлись. Они направились к развалинам, а мы с Кости́ком и Саней, прижавшись друг к другу, так и просидели до утра на ступеньках у входа в подzemелье. Утром сели в поезд и через разрушенный город и через такие разрушенные города приехали в Лангенберг.

Потом я много раз рассказывал, как мы с Кости́ком и Саней ехали из Крефельда в Дюссельдорф, как переправлялись через Рейн. Вначале это был хвастливый рассказ о том, что мы не побоялись пройти мимо целой армии раздраженных солдат, которым ничто не могло помешать свернуть нам головы. Затем была гордость — вот как хорошо быть гражданином страны-победительницы. Было удивление — традиционное, впрочем — перед немецкой готовностью соблюдать порядок. Но каждый раз я с тревогой чувствовал, что что-то важное остается неисчерпанным. Вот эта темнота и теснота подzemелья без электричества, без огоньков сигарет, с длинными перерывами между вспышками зажигалок или спичек. Разговоры вполголоса не из-за тесноты, а из-за невероятных развалин наверху. Как будто каждый боится, что обвинят именно его. Как будто давят не темнота и потолок, а воспоминания о чем-то ужасном. Как будто все здесь опасаются, что их примут *за тех*, кем они являются на самом деле. Совсем они не были похожи на знакомых мне французов военнопленных.

И еще какие-то жуткие противоречия между страшными разрушениями и пассивностью этой толпы, которая при таком перевесе сил отказывается защищать от унижения двух своих кригскамарадов. Словно их военная выучка, военная энергия никак не связаны с их собственной волей.

В августе под Магдебургом нас передали нашим. Под Берлином мы демонтировали военный завод «Ардельт». Там меня разыскал отец, который со своей частью дошел до Кенигсберга. К новому, 1946 году я был дома. Вернулся с ощущением, что знаю о жизни все. Однако мне потребовалось тридцать лет жизненного опыта, чтобы я сумел кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях.

ПЛОТИНА

ЧАСТЬ 1

1

И через пять месяцев после освобождения и победы у меня не было сил. Я не мог работать топором, держа его за рукоятку одной рукой, кирка тянула меня на себя вперед, я боялся высоты и вообще быстро задыхался и выдыхался.

Мы, сотни четыре таких же, как я, ребят, ожидали призыва в армию в рабочем батальоне. Не везти же нас из Германии домой, а потом из дому опять в Германию — так объяснили нам.

А вообще в нашей работе было много приятного. Приятно крошить молотом бетонные фундаменты под станками в цехе, где до сих пор валялись короткие стволы так и не собранных автоматов. Они гремели у нас под ногами, мы подбирали уже почти готовое оружие, удивлялись грубости и простоте обработки: шершавая зеленая краска на кожухе охлаждения, грубая проволока приклада, стволы не полированы, на нем нестертые следы токарного резца. Спешили немцы, гнали изо всех сил, не до красоты им было. В другом цехе свалены странные металлические конусы, говорят, это части «фау». «Фаудва». Сотни таких конусов ржавели тут. Никогда им уже не стать корпусом летающего снаряда.

Ночевали мы в бараках, в которых жили русские военнопленные, работавшие на этом заводе. В бараках ни нар, ни столов, ни скамеек — только крыша и полы. В день освобождения военнопленные переломали и сожгли все, что можно было ломать и жечь. Мы понимали их, потому что в день освобождения поступили точно так же. Мы и минуты не могли тогда оставаться в своих бараках. Ночевали во дворе лагеря, а потом совсем ушли из него

и поселились в казармах, из которых удрала немецкая охрана большой радиостанции.

Конечно, начальству виднее, но возвращаться после работы в бараки для военнопленных неприятно. Почти так же, как слушать наше главное начальство, майора Панова. Для бесед с ним нас выстраивали четырехугольником. Удивительно часто Панов находил предлоги, чтобы назвать себя перед нами «старшим офицером».

— Вчера трое из вас в обеденный перерыв вышли за пределы заводской территории. Их задержали в немецком магазине. Даже мне, старшему офицеру...

Или:

— Эй, ты! Как твоя фамилия?! Как стоишь?! Строй для солдата — святое место! Земля под тобой проваливается, а ты должен стоять! Я старший офицер, но и мне...

— А мы не солдаты!

— Кто это сказал?! Я спрашиваю, кто это сказал?! Будете здесь стоять, пока не сообщите, кто это сказал!

Минут через десять молчания:

— Р-р-разойдись!

К счастью, Панов какой-то общий начальник. От его имени исходят все запреты, но видим мы его редко — в дни чрезвычайных происшествий и разом все четыреста, выстроенные четырехугольником. Работаем же мы с военными инженерами и техниками, людьми занятыми, которые не выделяют и не отделяют нас от старых солдат-саперов.

Капитан, у которого я работаю, сказал нашей бригаде, что надо остаться на ночь грузить вагоны. Отпустить лишь явных доходяг, чтобы они не поубивали самих себя и других ящиками не задавили. Я доходяга самолюбивый, и я остался.

Грузили на железнодорожные платформы стальные баллоны. То есть не сразу грузили. Баллоны эти, похожие на увеличенные в сто раз огнетушители, были вертикально укреплены на стене какого-то специального цеха. Чтобы снять их, мы подняли на крышу две швеллерные балки, укрепили их, на балках установили тали, снизу под баллоны подвели помост. Черт его знает, как мы их спустили, а все-таки спустили.

Когда вкатывали баллоны на железнодорожную платформу, я уперся руками в стальную стенку. Пожилой солдат, из тех которые руководили нами, сказал мне:

— Ломик возьми. На руки не больно уповай.

И правда, куда уж мне было уповать на свои руки! Очень тонки.

Под утро мы справились, вагоны ушли. Начинаясь новый рабочий день, и капитан, пообещав, что объявит перед строем благодарность, повел нас на новый участок.

После ужина мы обмывались под водонапорной колонкой. Я закатал брюки выше колен — снять совсем стеснялся — и было дождался своей очереди, когда вдруг выкликнули мою фамилию. Я оглянулся. Среди полураздетых мужиков, вытирающихся полотенцами, рубашками, тряпками, кто чем горазд (мы же еще не солдаты, казенного у нас ничего нет), стояла писарша из штаба, единственная женщина в части, не носящая военной формы. Она сурово и даже презрительно — ей неудобно под нашими взглядами — осматривала нашу очередь. Сурово и равнодушно она взглянула на меня. И я понял, она меня не знает, и несколько секунд соображал, не лучше ли мне смыться и где-нибудь пересидеть. Хватит с меня на сегодня. К тому же недавно поругался с нашим старшиной, а он человек мстительный.

Однако парень, стоявший за мной, подтолкнул меня.

— Тебя вызывают.

Я нехотя вышел.

— Бегом в штаб, — сказала писарша. — Там твой отец приехал.

Кажется, первое, что я почувствовал, была какая-то пустота. Наверно, я просто не в состоянии был соединить с собой то, что она сказала. Ни из дому, ни от отца я еще не имел ни строчки. Домой я не писал три года. Вначале не писал из Германии потому, что, сбежав один раз, готовился к новому побегу, потом не писал потому, что из лагеря противно, противоестественно писать, наконец, потому, что город мой опять отбили наши, а через фронт письма не ходят. Когда закончилась война, я оказался в американской зоне и лишь совсем недавно, с месяц назад, опустил в почтовый ящик первую открытку. Всю войну я о своем доме думал, как о чем-то незыблемом. А вот когда надписывал адрес на первой открытке, испугался: война ведь там проходила! И еще, странно сказать, испугался: а вдруг я забыл адрес?! Вроде помню, а на самом деле забыл. И чем больше дней проходило, тем больше я боялся — и дома нет, и адрес я напутал. А тут вдруг отец...

— А вы не слутали? — хрипло спросил я.

Я все еще не испытывал прилива счастья. Понимал, что я счастливейший человек если не на всем свете, то, во всяком случае, среди тех четырехсот, которые живут в этом лагере, но радость ко мне не приходила. А вокруг

нас уже собирались ошеломленные ребята.

— Да беги ж ты! — сказали мне.

— Дайте я помоюсь, — сказал я, и все расступились, пуская меня к колонке. — А как же комендантский час? — спросил я у писарши. — Восемь часов уже, не задержат?

Мыться я не стал, не стал и ждать ответа на свой вопрос. Я побежал, откатывая на ходу брюки. Видно, очень плохо и очень медленно бежал, потому что писарша все время меня опережала, а она-то на бег не переходила совсем. К штабу надо было пройти через всю заводскую территорию, дорога шла на подъем, и я совсем задохнулся и выбился из сил.

Штаб располагался в здании бывшего заводоуправления. В окнах первого этажа горел свет, я заглянул в окно и сразу увидел отца. Он сидел спиной к окну. Мне были видны только его затылок и плечи, волосы его побелели, одет он был в гимнастерку, но я сразу узнал его. Сидел он так, как всегда сидел среди чужих — чопорно-вежливый, напряженный, стесняющийся своей глухоты человек. И гимнастерка у него была как раз такой, какой она должна быть у моего отца, — не новой, но почти как новой: выстиранной и выглаженной будто не в прачечной, а своими руками и будто не позже, чем сегодня утром.

В комнате, куда я вбежал, отец поднимался, поднимался мне навстречу и никак не мог подняться со стула. А я смотрел на его плечи. Пока я бежал сюда, я надеялся — раз уж мне привалило счастье, — что отец по званию окажется старше майора Панова или, по крайней мере, будет равен ему, а отец был совсем без погон...

Потом он долго и беззвучно плакал. Вытрет слезы платком или ладонью, решительно так вытрет — все, кончил плакать! — и тут же глаза его опять начинают страдальчески таять. Так мы с ним молча сидели несколько минут, и я все время с неудобством чувствовал, как много в комнате людей. Наконец он решился заговорить. Голос еще не повиновался ему:

— Уже, наверно, куришь?

Я кивнул. Отец достал пачку папирос, вытащил одну, неумело сдвинул мундштук и неумело прикурил. А может, мне только казалось, что неумело — до войны отец не курил.

— Как же ты нашел меня? — спросил я и почувствовал, как отвык от него, мне трудно и непривычно говорить ему «ты».

Глаза у отца опять начали страдальчески таять, он

виновато оглянулся на людей.

— Знаешь, я уже говорил, если первое твое рождение досталось матери, то второе...

К нам подошел начальник штаба, старший лейтенант, парень лет двадцати пяти с приятным лицом веселого и чуть нагловатого малого. Почтительно и громко — уже понял, что отец плохо слышит, — предложил:

— Идемте, я вас проведу в свою комнату, — он показал наверх, — там вам будет удобнее поговорить.

— Пусть и ночуют там, Николаев, — сказал кто-то.

И начальник штаба охотно подтвердил:

— Конечно, и ночуйте. А я где-нибудь пересплю.

Он пошел вперед, за ним мы с отцом, а за нами военные, которые все время сидели в комнате. Они шли за нами как привязанные. Они ничего не говорили, только шли за нами и смотрели на нас.

В комнате начальника штаба пахло духами, пудрой. Широкая двуспальная кровать была покрыта крахмально-белой накидкой — начальник штаба недавно женился на той самой писарше, которая приходила за мной в лагерь.

Столик, за которым мы с отцом присели, тоже был крахмальным и кружевным, уставленным флаконами и баночками.

На минуту в комнате появилась сама писарша, улыбнулась мне успокаивающе, поощрительно.

— Разговаривайте, разговаривайте, — сказала она. — Я только взять одеяло. А вы спите на этой кровати. — Потом спросила меня вполголоса: — Отец плохо слышит?

— Он контужен, — гордо сказал я.

— А я сразу поняла, что ты его сын. Ты спрашиваешь, не ошиблась ли я, а я вижу, что не ошиблась. И волосы те же, и лоб.

И еще она сказала:

— Правда, это как в сказке — отец в Германии нашел сына? Все просто потрясены.

Отец не вслушивался в то, о чем мы говорили. Он был контужен давно, еще на первой мировой, и привык к тому, что вполголоса люди при нем говорят о своем.

Когда мы остались одни, я попытался рассказать отцу о том, что было со мной в Германии, но, как ни силился, что-то главное никак не мог передать ему. Больше всего мне хотелось, чтобы отец почувствовал, каким бывалым, все видевшим и все испытывшим мужчиной я стал.

Я показывал ему шрам во всю тыльную сторону левой кисти — сам выжигал кислотой, чтобы не работать. Говорил:

— Теперь я, знаешь, какой выносливый?! Могу работать по двое суток без перерыва. В Лангенберге на вальцепрокатном была норма — сто сорок листов в смену. Каждый лист — килограммов двадцать, его надо поднять на грудь пятнадцать раз да каждый раз пронести шагов по десять. Вот и помножь!

Тут с отцом сделалась судорожная икота. Когда он немного успокоился, я показал ему свою правую руку: до сих пор, когда умываюсь, проливаю воду из пригоршни — мастер железной палкой перебил мне предплечье, а кость неправильно срослась.

Я не жалел отца. Я собирался просить у него папирос и заранее старался, чтобы он дал побольше — многих нужно было угостить у себя, в бараке. Даже мстительное чувство у меня стало разгораться, когда отец сказал, что еды у него с собой нет. Консервы из своего сухого пайка он оставил в номере гостиницы.

Эти забытые в гостинице консервы портили мне радость свидания. У отца есть консервы, и он не догадался, как они мне нужны! Придется соврать в бараке, что отец кормил меня тушенкой. Дал целую банку — ешь!

И вообще мне казалось, что отец чего-то не понимает. Вот и без погон сюда приехал! Хоть из-за своего слуха он и не был боевым офицером на этой войне, хоть и служил начфином в своей части и еще до победы демобилизовался и перешел на положение вольнонаемного, а мог бы приехать в погонах.

Искал меня отец трудно. Открытку, которую я послал домой, мать переслала ему в часть под Кенигсберг. В открытке я почему-то не назвал городок, где работал, сообщил только, что нахожусь под Берлином.

— Может, цензура вычеркнула? — спросил я.

Отец показал мне открытку — цензура ничего не вычеркивала. Я сам неведомо как забыл написать название городка. На минуту я ужаснулся этому провалу памяти — не решился бы отец искать меня по номеру полевой почты, и не сидел бы он сейчас передо мной.

Потом отец рассказывал, как ехал до Берлина, как ему всюду помогали, стоило ему лишь сказать, что он ищет сына. В Берлине он оставил свой чемодан в камере хранения на Бранденбургском вокзале, захватил самое необходимое и отправился разыскивать управление воен-

но-полевых почт. Нашел, хотел поговорить с начальником, но задержался около почтового грузовичка. И надо же, грузовичок вез почту с тем самым номером, который я указал в открытке. И, хоть это было против всех правил и инструкций, шофер и экспедитор взяли отца с собой. Грузовичок остановился против ворот нашего завода.

— Я сердцем, понимаешь, сердцем почувствовал...

И еще он рассказывал, как благодарил шофера и экспедитора, как был благодарен начальнику штаба нашей части, который сразу же принял его, установил, что я здесь, послал за мной и обещал всяческое содействие. Как всегда, когда отец говорил со мной, весь мир у него оказывался наполненным прекрасными людьми, а веселый, франтоватый и нагловатый малый, не дурак выпить, неплохой парень, наш начальник штаба выглядел таким чутким, благородным, блестящим офицером. Все это отец говорил не только для того, чтобы я знал, как он добирался сюда, — по старой привычке он воспитывал меня, хотел, чтобы я вместе с ним был благодарен всем этим людям. И о себе он тоже наивно и красиво сказал, что второе мое рождение досталось ему.

У меня не было слез, когда писарша сказала, что приехал отец, я не прослезился, когда вбежал к нему в комнату штаба, а тут мне неудержимо захотелось плакать. Он говорил, а я вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии. О том, как тяжело и страшно мне было там, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь.

— А ты не был ранен? — спросил я.

Отец смутился.

— Ты же знаешь, я не был на передовой.

Потом мы перебирали наших родственников-мужчин, и это было тревожно и, несмотря ни на что, радостно, как возвращение домой. Один мой дядька в госпитале, попал

туда перед самым концом войны, но, слава богу, с легким ранением. Старшему моему двоюродному брату как-то очень горько не повезло: сам он цел, ни одной царапины, хотя с первого дня на фронте, а вот сын его четырехлетний и жена умерли — сын в сорок втором в эвакуации, а жена в сорок пятом, вернувшись из эвакуации домой. И среди знакомых — тот убит, тот потерял семью, но вообще много и живых. Живых больше, чем погибших и пропавших без вести. Со мной вместе одного паренька из нашего двора в Германию угоняли, недавно объявился. И еще кто-то объявился, хотя считали его погибшим.

Так мы разговаривали с отцом, курили папиросы и привыкали друг к другу.

А часов в одиннадцать к нам постучался начальник штаба. Лицо его было растерянным.

— Черт его знает, — скороговоркой сказал он мне, — начальство, понимаешь, не разрешает, чтобы отец твой на территории завода оставался ночевать. — И громко: — Извините! У нас есть распоряжение: посторонние после отбоя не могут оставаться на территории завода. Я думал, что можно будет сделать исключение, но, оказывается, нельзя. Мы с женой, понимаете, готовы, но нельзя.

Отец, напряженно всматривавшийся и выслушивавшийся — волнуясь, он хуже слышит — в то, что говорил начальник штаба, покраснел, поднялся, снял со спинки стула ремень, стал перепоясываться.

— Что ж делать, если нельзя, — говорил он. — Инструкция — это инструкция. Зачем же нарушать инструкцию...

— Да вы не спешите, — сказал начальник штаба, — у вас еще есть время. — Он взглянул на часы. — Вы располагаете... Еще двадцать... — он запнулся, — десять минут в вашем распоряжении.

Когда он вышел, я спросил отца:

— Ты заберешь меня отсюда?

Мне давно хотелось спросить его об этом, с той самой минуты, как я увидел, что он без погон, а теперь я по-настоящему испугался.

— Конечно! — сказал отец.

Провожавший нас начальник штаба на минуту задержал меня.

— Понимаешь, я хотел тебя завтра освободить от работы, чтобы с отцом день побыл, но не получилось. Панов не разрешил. Ты приходи сюда после ужина, я старшине скажу, он отпустит. А в воскресенье

я постараюсь достать для тебя отпуск в город, чтобы ты с отцом погулял. Хотя вообще с отпусками в город трудно... А сейчас я дам тебе провожатого, а то тебя по дороге задержат.

В бараке меня ждали, ждали моих папирос — на папирасы тут стали рассчитывать, как только узнали, что ко мне приехал отец. Я сказал, что наелся тушенки, что и завтра отец принесет мне целую банку, так что я, может быть, отдам кому-нибудь свою баланду. Сказал, что сам начальник штаба оставлял нас у себя ночевать, да Панов запретил. В комнате закурили, завздыхали, заворочались. Я улегся рядом со своим земляком Костиком на его одеяло — свое одеяло я по глупости оставил в вагоне поезда, которым американцы довели нас до нашей демаркационной зоны, — и, кажется, наконец-то почувствовал себя счастливым. Случилось невозможное: я, недобытчик, доходяга, смог угостить папиросами пятнадцать человек да еще пообещал отдать кому-нибудь завтра свою баланду.

— Костик, — сказал я, — если отец завтра принесет тушенку, я тебе отдам баланду. Хочешь?

Счастье — это такая штука... такая штука! Им нужно делиться, и я показывал, что счастья у меня через горло.

И на следующий день счастья у меня было через край. Старшина, с которым я перед тем поругался, сам предложил мне работать на электрокаре — водить мощную машину по всей заводской территории! — проехал со мной от одного цеха до другого и похвалил:

— А ты здорово водишь эту штуку!

Хотя, честно говоря, не так уж здорово я ее водил!

Старшине я сказал, что мой отец демобилизовался в чине капитана. Он кивнул.

— Ага. Я был вчера в штабе, видел. Седой. Чистый.

И вообще старшина говорил со мной так, будто все время между нами что-то стояло. Что-то особенное, чему не подобрать названия, чего просто так не объяснишь. И хоть по-прежнему он мне говорил «ты», получалось это у него как «вы». И все другие будто чувствовали это особенное и тоже словно говорили мне «вы».

Целый день на участок нашей бригады приходили с других участков, чтобы посмотреть на меня. Некоторые подробно расспрашивали, как там, на Родине, что об этом рассказывает отец, но большинство ограничивалось одним вопросом:

— Это к тебе отец приехал, да?

— Ко мне.

Постоит человек минуту и уйдет.

Вечером мы с отцом встретились перед штабом, ходили по двору, принимали поздравления военных, а часа через два нас арестовали...

Случилось это так. Отец пригласил меня в офицерскую столовую, он сделал это запросто, всегда обедал в офицерских столовых и сегодня ждал меня, чтобы поесть вместе. Я пошел за ним. Часовой у ворот пропустил нас. До офицерской столовой было всего шагов пятьдесят, но это были особые, запретные для меня шаги по неохраняемому пространству. Я знал, что для отца слова «можно», «надо», «нельзя» издавна святы, он и меня всегда учил тому, что это главные слова (поэтому-то он и не рассердился вчера при мне, когда нас выпроводил из комнаты начальник штаба). Но сейчас он чего-то никак не мог понять. Он с самого начала не мог этого понять. Я это видел по тому, как он принимал поздравления, по тому, как он рассказывал начальнику штаба, что пришлось мне пережить в Германии: «Мы отступали, а наши дети...» По тому, что он приехал сюда без погон.

В столовой доброжелательная, хотя и несколько удивленная моим появлением официантка согласилась принести нам кое-что из того, что заказал отец. Мне было зябко в пустом, тихом зале, я старался поменьше разговаривать с отцом — ведь для того, чтобы он услышал, надо почти кричать, — еда не радовала меня, но отец не торопился уходить. Когда мы вернулись к воротам, прогудела сирена отбоя. Часовой приветливо кивнул нам, и мы двинулись к штабу. Было еще совсем светло, солдаты не уходил со двора, и я начал успокаиваться и даже жалеть о том, что в офицерской столовой ел плохо и мало. И тут-то мы с отцом упустили важную минуту — во дворе вспыхнула паника, приближалось начальство. Мы с ним столкнулись посреди двора.

— Кто такие?! — закричал Панов, глядя не на нас, а на сержанта, который, отстав на полшага, сопровождал его.

— Это тот, что к сыну приехал, — ответил сержант. — Начальник штаба им разрешил.

— Что он хочет? — спросил меня взволнованно отец.

— Отец плохо слышит, — сказал я Панову.

— Кто такие?! — будто и не замечая наших ответов, повторил Панов. — Сержант! Посадить до выяснения!

И нас посадили. Помню, как у входа в подвал потрясенный отец отстегивал от гимнастерки медаль, как передавал смущенному сержанту свой ремень, помню, как

встретили нас двое отнюдь не подавленных своим заключением солдат. Они попали сюда дня три тому назад за то, что где-то выпиди, успели соскучиться и были рады новым соседям. Вначале они не верили в нашу историю, а когда поверили, не очень потряслись ею: подвал — не место для сильных чувств. И вообще им немного смешным и нелепым казался седой глуховатый человек с дрожащим от ярости голосом, дрожащими руками, который никак не мог уразуметь что-то совсем простое, который обязательно хотел узнать, за что на него этот необъяснимый позор.

Отца выпустили часа через три. Тут же в подвале ему вернули ремень и медаль. Сержант подождал, пока он перепояшется, приведет себя в порядок, почтительно пропустил вперед, подмигнул солдатам: «Не скучаете, братцы?» И, хоть сержант ничем этого не показал, я почувствовал, что он стал чуть иронически относиться к отцу, словно этот нелепый арест запачкал и меня и отца.

Некоторое время я ждал, что придут и за мной. Но меня не выпустили. Днем вместе с проштрафившимися солдатами я подметал двор перед штабом, ночью спал на нарах в подвале. Освободили меня дня через три. Сержант пришел утром, потоптался и как-то неопределенно сказал:

— А ты еще здесь? Иди, что ли...

Будто не был уверен, правильно ли поступает.

В бараке меня встретили с сочувствием и в то же время чуть иронически. Я и сам за это время понял, что это почему-то смешно: ехал человек черт знает откуда, разыскивал сына, взбудоражил всех, а его взяли и посадили в каталажку.

Больше отца на завод не пускали. И меня с завода к нему. Начальник штаба, когда я пришел к нему, сказал, что у него нет времени со мной разговаривать. Потом все-таки вернул меня и объяснил:

— Отец хлопочет в Берлине, чтобы тебя отдали ему. Разрешат — езжайте. А на территорию завода посторонним вход воспрещен.

В воскресенье через дырку в заборе я выбрался в город и пошел разыскивать гостиницу отца. Выйдя в город тайком, без пропуска, я совершал тяжкий поступок и потому боялся встречных наших и немцев. Все же мне приходилось обращаться за помощью к прохожим, и они указали мне дом, в котором располагалась гостиница отца. Отца я нашел на втором этаже. Он был обескуражен, растерян, торжественно проклинал майора Панова: «Проклятье этому извергу!» Сказал, что второй день не выходит

на улицу — отпускные документы у него просрочены, могут задержать как дезертира. «Мое отцовское проклятье этому негодяю!» Если в самое ближайшее время мое дело в Берлине не будет решено, отец будет вынужден уехать.

— А как же я?

— Но ведь я уже почти дезертир!

— Лучше бы ты не приезжал совсем! — крикнул я.

— Ты не имеешь права так говорить!

Не слушая ответа, я выбежал на улицу.

И все-таки меня отпустили с отцом. Оказывается, над Пановым был еще начальник. Это он приказал Панову выпустить отца с гауптвахты (из-за меня он ссориться с Пановым не стал), а потом замолвил за нас словечко в репарационном управлении, и там было решено позволить мне переехать в лагерь, расположенный примерно в том же районе, где дислоцировалась часть отца. Нам выдали бумагу, в которой говорилось. «Репатриант такой-то в сопровождении отца направляется...» По дороге мы обязаны заехать в Штеттин, где я должен пройти фильтрационную комиссию.

На прощание я встретился с Пановым — ходил в канцелярию подписывать документы. За столом он сидел в фуражке, наверно, собирался уходить. Писарь передал ему мои документы, он надел очки и сразу сделался благообразным пожилым человеком. Бумаги читал медленно, беззвучно шевеля губами, а расписывался быстро, привычно ставя какую-то закорючку. Справку, в которой было сказано, что я «показал себя инициативным рабочим, за что дважды командованием части была объявлена благодарность», вернул писарю.

— Незачем выдавать такие авансы. — И ушел, не взглянув на меня.

Писарь проводил его глазами, вздохнул, поставил на справке «за нач. штаба», расписался и отдал справку мне.

Ярким солнечным осенним полднем я вышел за ворота завода. Там меня уже ждал отец. Первая удивительная минута, когда можно идти направо, налево — куда захочется... И можно было бы закончить эту историю, если бы мы с отцом тут же не поругались. То есть не поругались — отец еще не мог со мной ругаться, он настаивал, чтобы мы с ним пошли поблагодарить того самого начальника, который хлопотал за меня в Берлине, а я наотрез отказывался.

— Но ведь невозможно так уехать,— краснел от негодования отец,— это же!..— Он разводил руками.— Человек специально ездил, добивался, говорил!

— Не пойду!

— Но объясни хотя бы! Ты обязан объяснить!

А я не мог объяснить. Я твердил свое «не пойду». Я был уверен, что за справедливость, за правду нельзя благодарить, потому что они перестают быть справедливостью и правдой, становятся чем-то другим. Я это чувствовал, но не мог объяснить.

— Но это же упрямство, неблагоприятное упрямство!— сказал отец.

— А я у него ничего не просил. И вообще ни у кого ничего не просил,— зло ответил я.

Так я и не пошел к большому начальнику, который хлопотал за меня в Берлине. Отец, собиравшийся «раскрыть по-настоящему глаза на майора Панова», отправился к нему сам. Вернулся расстроенным — начальника не было. И весь путь до вокзала отец шел расстроенным и в поезд садился расстроенным. Со мной он говорил только о самом необходимом...

Не помню, как мы добрались до Штеттина, помню, что приехали вечером и до глубокой ночи разыскивали лагерь. В лагере нам выдали сухой паек, накормили завтраком и после короткого опроса у офицера фильтрационной комиссии отпустили. Через весь город по огромным пустынным кварталам брели мы с отцом к порту, надеясь, что нам удастся морем добраться до Кенигсберга. Чемодан с нашими пожитками самолюбиво тащил я — бывалый, все прошедший человек! Сердце у меня колотилось, я обливался потом, тяжесть в несколько килограммов была для меня непосильной. Отец тревожно посматривал па меня и наконец отобрал чемодан. В порту нам сказали, что никаких пароходов на Кенигсберг нет и не может быть. И опять мы шли через весь город к вокзалу, не очень еще представляя себе, как ехать по железной дороге, чтобы попасть к отцу в Инстербург. Потом в вагоне с разбитыми окнами ехали в Познань, где-то пересаживались, опять ехали, ночевали в том, что осталось от вокзалов, и ночью на пограничной польской станции сели в товарный эшелон, который шел на Инстербург. На этот эшелон нам показали, когда он уже тронулся. Мы бежали к нему через рельсы и потому не сумели выбрать вагон — прыгнули на подножку первого попавшегося. Это была большая цистерна с тормозной площадкой. На тормозной площадке

одно сиденье для кондуктора. Поезд все набирал и набирал скорость, последние жидкие станционные огоньки исчезли, и вокруг была только темнота. Особая послевоенная темнота, когда в городах и селах уже нет светомаскировки, но еще нет и электричества. Из темноты вырывался холодный ветер, грохот колес гулко отдавался в пустом теле цистерны, и лишь этот темный ветер да грохот колес показывали, что мы едем.

Я стал замерзать. Отец надел шинель, на которой мы с ним уже несколько раз спали, сел поглубже на кондукторское сиденье, расставил ноги так, чтобы и я мог сесть вплотную к нему, и запахнул на мне полы шинели. Шинели не хватало на нас двоих, но все же она грела. Грели меня и руки отца, которыми он поддерживал на моей груди полы шинели. Ветер и колеса били в цистерну, цистерна гудела, а отцу становилось все тяжелее меня держать, но он держал и даже уговаривал: «Ты подреми, подреми — быстрее дорога пройдет». И я бессовестно задремал, навалившись ему на грудь и руки. И сквозь дрему мне мерещилось, что я дома, потому что шинель пахла домашним отцовским запахом. Запахом, который он пронес с собой сквозь всю войну.

2

В декабре сорок пятого года поезд, в котором я ехал, остановился на той самой товарной станции, с которой в октябре сорок второго меня увозили в Германию. Не в силах дожидаться, пока состав еще минут двадцать будет тянуться до главного вокзала, я выскочил из вагона. Чтобы добраться домой, я проехал несколько тысяч километров, пересек несколько границ и просто не в состоянии был оценить длину последнего десятка домашних пеших километров. Нетерпение должно было сделать это расстояние неощутимым. Не стал я вмешиваться в толпу, насмерть штурмующую старенький довоенный трамвай. Он долго не мог тронуться, потому что кто-то, цепляясь за веревку, отрывал штангу с роликом от провода. Однако легкий мой чемодан с каждым шагом делался все тяжелее. Я переключал его из руки в руку, поднимал на плечо и, как всегда, даже в борьбе с небольшой тяжестью, чувствовал свое слабосилие. Особенно досадна была боль в плече. Она показывала, как костляв я как раз там, где у здорового мужчины должны быть мышцы.

В другое время я по-другому ощутил бы свою

болезненность. Я был очень молод, и, несмотря на истощение, жизнь не могла не приливать ко мне. То, что я шел по этому городу, было чудом. Измерить это чудо можно было, только вернувшись на ту же товарную станцию в сорок второй год.

Но чудо измерить нельзя. Другим не выпало — мне выпало. И, хотя то, что происходило со мной, было как в детских снах или в невероятных историях, когда-то прочитанных мной, я все так и ощущал: и то, что это чудо, и то, как мало я его заслужил. И, когда приду домой, это рано или поздно обнаружится.

Среди других переживаний мысль эта вовсе не была незначительной. Мне было восемнадцать, а чудо было так велико, уходило в глубину таких событий и страданий, что, когда я о них начну рассказывать, вопрос, что ли, о моем соответствии этим событиям и страданиям возникнет сам собой.

Борясь с тяжестью чемодана, с непосильной для меня длиной пеших километров, я понимал, что с каждым моим шагом к дому чудо прибывает. И оно же с каждым моим шагом отходит от меня.

Мне не хватало сил на то, чтобы нести чемодан, и потому не хватало сил на радость. Недостающую мне радость я ожидал увидеть в глазах матери и тех, кто встретит меня.

Досадно было то, что я так нерасчетливо выпрыгнул из поезда. Когда он ушел, я увидел, что выпрыгнул один и, значит, все остальные оказались умнее. Нетерпение их было не меньше моего, но они подождут еще двадцать минут и увидят дом на два часа раньше, чем я.

Город сопротивлялся узнаванию. Дома его понизились, расстояния увеличились. Декабрьская морозная пыль была степного, дорожного цвета. Городу не хватало асфальта, снега, этажей. Не хватало трамваев и троллейбусов. Что произошло, я понял, когда вошел в подворотню нашего дома. Три года я носил с собой воспоминания пятнадцатилетнего мальчика. Подворотню сжало временем. Побило и асфальт во дворе нашего дома. А земля на клумбах осела, как на могилах, за которыми не ухаживают.

Сгнили и разрушились скамейки, которые когда-то одновременно служили и оградой клумбам.

Клумбы меня поразили особенно. За эти годы я видел, как роют землю для окопов и бомбоубежищ. Узнал, как липнет к лопате могильная глина. Цвет вышедшей на

поверхность глины был мне особенно ненавистен.

До войны клумбы не очень интересовали меня. Но, должно быть, вырослел я, выросли мои воспоминания, и дворовые клумбы занимали в них все больше места.

Клумбы были не просто заброшены. Под осевшей, политой помоями землей было что-то похоронено. И я подумал, что, пожалуй, в доме теперь другие жильцы. Они не знают, что весной клумбы вскапывались, рассаживались цветочной рассадой, что летом их поливали из леек и шланга, что осенью на них жгли листья, а зимой сюда завозили уличный снег.

И на лестничной клетке была какая-то особенная заброшенность. Когда за мной закрылась дверь, я понял, чего еще не хватало городу, — тепла. На лестничной клетке было так же холодно, как и на улице.

Я уже прошел подворотню, двор; дверь парадного закрылась за мной. Я переводил дыхание, специально медлил — кто-то выйдет из квартиры на лестницу... Но никого не было. От голодной пешей усталости, от холода, политых помоями клумб у меня появились тоскливые предчувствия.

На третьем этаже я долго всматривался в нашу дверь. Она закоптимлась, но была такой же, как до войны. Звонок не зазвонил — был сломан. Однако меня словно пронзило электричеством, когда я надавил кнопку. Переждав сердечные перебои, я постучал.

Слышно было, как из нашей комнаты в коридор открылась дверь, звякнула цепочка, мамин голос спросил:

— Кто там?

Лампочка освещала ее сбоку, она щурилась, всматриваясь в лестничные сумерки. Должно быть, глаза ее отказались сразу пробежать расстояние в три года. Потом она сказала слабо:

— Сережа?

И я, еще не заходя в комнату, отметил и этот слабый голос, и сухость маминых глаз, и голый, безбажурный электрический свет, и стол под старой клеенкой, и ватин, лезущий сквозь подкладку брошенного на пол отцовского пальто. Этим старым пальто еще в первую военную зиму подтыкали дверные щели — берегли тепло.

По-женски кутаясь в полуистлевшую шаль, за маминой спиной стоял невысокий мужчина. Очки его блестели от заинтересованности. Под шалью был самодельный ватник без рукавов.

— Это Исаак Абрамович, муж Розалии Соломоновны, — сказала мама.

Розалию Соломоновну, нашу соседку, я всегда помнил одинокой пожилой женщиной, и вот, пожалуйста, муж! И я с раздражением отметил и шаль, которую он поженски придерживал на груди, и самодельный ватник, и лицо, сохранявшее благодушное выражение даже при такой заинтересованности.

В прихожей была та же вешалка с медными крючками. В узкое коридорное пространство выдвигался какой-то ящик или комод. Исаак Абрамович сказал:

— Слава богу! Ваша мама давно вас ждет.

Память моя была обожжена. Но я и вез ее обожженной. А от Исаака Абрамовича, от его самодельного ватника, от шали, скрещенной на груди, от благодушного выражения лица исходило нечто такое, словно он собирался сказать: «С этого момента все, что происходило с тобой, начнет забываться или терять свое значение...» И мне захотелось кричать. Выкричаться...

3

Кричал я, кажется, дня два. Заходил Исаак Абрамович, кивал, но я видел, как исчезал из глаз его интерес. Мать смотрела с опасением. Потом позвала мою двоюродную сестру. Всегда считалось, что Аня может повлиять на меня. Говорила она густым голосом, на верхней губе ясно просматривался юношеский пушок. Я и до войны помнил ее в тесных юбках и кофточках — быстро росла, а одежды никогда не хватало. От густого голоса, от юношеского пушка на верхней губе, от тесных юбок, оттого, что была на четыре года старше, я и впрямь в ее присутствии испытывал замороженность. Удивительнее всего было то, что я тотчас вспомнил эту замороженность и захотел ее преодолеть. Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, будто меня не было в комнате:

— Они все сейчас кричат. Перекричит и будет нормальным пареньком. Постарше Сергея мальчишка вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, а сейчас отошло. Они все взбесились у себя на фронте и в плену, а в общем, нормальные ребята.

Она говорила так, будто ее звали на консультацию. Аня заканчивала медицинский. В этом-то и был мамин расчет. Война не война, неудачные родители — одноглазый отец, всю жизнь со своей берданкой проходивший сторожем возле каких-то складов, малограмотная мать, — а человек выучился. И сила в каждом слове слышна потому, что не

за обстоятельствами идет, а себе их подчиняет.

— Он водки требовал,— пожаловалась мать.

Аня засмеялась.

Опасение в маминых глазах раздражало меня. Оно было вместо другого чувства, занимало его место. Но силу в Аниных словах я ощущал. Я ей сочувствовал. За три года пушок на ее верхней губе превратился в жесткие усики. Голос огрубел, а в смехе спускался на такие басовые ноты, что я замирал от неудобства, ожидая, что она засмеется вновь.

Это было несчастье. Но я видел, что Ане оно словно добавляет силы. Она не сдерживала своего басового смеха, то ли приучая меня к нему, то ли желая показать, что перед чем-то главным это чепуха. Однако в понимании главного я не продвинулся так далеко.

Может, я и не почувствовал бы в ее словах правоты, не понял бы вообще, что кричу, если бы не Анин грубый голос. Она ушла, а я уже не мог забыть, как смеется моя двоюродная сестра.

Мама почти не изменилась. Не изменилась особенно и наша соседка, Розалия Соломоновна, хотя мама оставалась в городе, а Розалия Соломоновна недавно вернулась из эвакуации. И в комнате пахло будто по-прежнему. И только когда пришла Аня, я с непонятной тревогой почувствовал, что время в эти годы не останавливалось, не обрушивалось в яму, не пропадало — шло без меня.

В Москве я ночевал на полу под окном железнодорожной кассы. В вагоне лежачей оставалась третья, багажная полка. Трое суток я видел перед собой сапоги тех, кто сидел на второй.

В Москву из Кенигсберга отец посадил меня в офицерский вагон. Там у меня была своя полка и соседи-летчики, кормившие тушенкой, поившие спиртом. С одним из них я выскочил на станции что-то купить. Возвращаясь, мы увидели толпу. Она штурмовала подножку нашего вагона.

— Никого не пуцу!— кричала проводница.

Безумие толпы передалось ей. Она всех сталкивала с подножки. И была минута, когда, казалось, поезд уйдет, а мы так и не сумеем пробиться сквозь толпу. И еще была минута, когда поезд уже тронулся, а проводница слепо упиралась руками в грудь летчика, державшегося за поручни одной рукой.

— Голубчик!— ласково сказал ей летчик.— Голубушка!

И проводница, так и не^оузнав его, все-таки пропустила нас.

В вагоне я услышал, как кто-то за шахматами или просто в разговоре сказал:

— У них есть чему поучиться.

Мне казалось, я угадывал звания по голосам: лейтенант, капитан, полковник. Этот тянул на майора. Кто-то настроенно спросил:

— Чему же?

И тот, не уловив угрозы или самолюбиво пренебрегая ею, ответил:

— Организованности. Порядку. Посмотрите, как много зелени у них в огородах. Или такая мелочь как печка. На редкость экономичны.

Попав в этот вагон, я завидовал сам себе. Людей, которые ехали со мной, чувство собственного достоинства украшало больше, чем ордена и нашивки за ранения. Долгие остановки поезда не были мне в тягость. Не путь удлинялся — праздник. И все это вдруг должно было сломаться.

— Какой же порядок? — спросил голос, в котором я уловил что-то вроде скрипа открываемой кобуры. — О каком порядке говорите?

«Майор» объяснил, но голос был нацелен туда, где слова уже не имеют значения.

И о какой нормальности речь! Мне надо было ночь провести на полу московского вокзала, лечь обязательно головой к кассе, чтобы утром закомпостировать билет. И печки экономичны. Я это точно знал. Но каждым своим словом «майор» совершал непоправимую ошибку.

Я и сам по приливу мгновенной враждебности узнавал человека, в котором сохранилось подобие довоенного благодушия. Бог весть как оно удержалось в нем!

Увидев женскую шаль, скрещенную на груди Исаака Абрамовича, его самодельный ватник, уловив испуг в маминых глазах, я нарочно взвинчивал себя. Нормой стало ненормальное — вот о чем я кричал.

В офицерском вагоне я неистово завидовал судьбам своих соседей, тусклому свету их орденов, кожаному запаху их портупей и понимал, что не скрипом кобуры их можно напугать.

В Инстербурге отец устроил меня на работу в воинскую часть. И надо же! После всего, что со мной случилось, я стал медрегистратором в госпитале немцев военнопленных. То есть это был наш госпиталь, с нашими

врачами и сестрами, но в графе «ран-больные» стояли только немецкие фамилии.

Пожилой пленный фольксштурмист по утрам растапливал печь. Выписанных из госпиталя принимал огромный немец по фамилии Шульц. Оглушал их своим голосом, подавлял ростом, фельдфебельской, дублированной на открытом воздухе кожей. Командовал, будто вновь призывал в армию, расписывался в моей сопроводилровке.

В госпитальной мастерской немец портной перешил мне из отцовской шинели короткое пальто.

Госпиталь занимал полный городской квартал. В начале и конце квартала у передвижных заборчиков дежурили наши солдаты — бывшие «ран-больные» этого же госпиталя. Они помнили себя больными, одеты были кое-как и службу несли соответственно. Да и не было у них причин для служебного озлобления. Никто из немцев добровольно госпиталя не покидал. В госпитальных пределах все подчинялось врачебному милосердию: обращение, лечение, еда. Мне рассказывали, когда пришел приказ принять раненых немцев, были крики и заявления с просьбой перевести в другую часть. Но дисциплина, жалость и любопытство постепенно взяли верх. И госпитальные нормы остались теми же: операции, белье, внимание.

А за пределами госпиталя были пустые кварталы оставленного немцами города. Я видел, как вопросительно вытягивались лица тех, кого готовили на выписку.

Враждебную неопределенность, которая была за пределами госпиталя, ощущали не только немцы, но и я.

Едва обжились в Инстербурге, как отец запряг двуколку, и мы отправились туда, куда, согласно бумаге, он и должен был меня сопровождать.

Он с вечера сказал мне об этом.

— Не хочу! — сказал я.

Он развел руками. Больше мы не сказали ни слова. Я понимал, с бумагой отец тянул сколько мог. Но вот теперь ему действительно предстояло «сопровождать» меня. То, о чем всерьез нельзя было подумать, завтра должно было произойти.

Выводил из конюшни лошадь, запрягал ее в двуколку отец сам. Непривычным, огрубевшим, раздражительным голосом он осаживал или поощрял ее. Эта молодецкая игра раздражала меня. Детские воспоминания разогревали отца, но я видел, что он отвык от лошадей, «тирует» без нужды. А главное, я думал о том, что бумага-то в наших руках и, будь отец другим человеком, мы бы могли ее просто порвать.

И езда в двуколке с отцом не развлекала меня. Цоканье копыт по булыжнику и асфальту отдавалось в пустых домах. Город был покинут в панике перед приходом наших войск. Какие-то здания тронуло снарядами или огнем, много было сожжено, но много и уцелело. В трехэтажном уцелевшем доме мы с отцом жили в одной комнате и спали на одной кровати. В этом же доме и в том же коридоре еще две или три комнаты занимали наши госпитальные работники. Жили по несколько человек, хотя разместиться, конечно, можно было просторней. Но то ли не приходило в голову, то ли в пустом городе всех тянуло собраться потесней.

И раздобыть еще одну кровать отцу почему-то не приходило в голову.

Как просторно можно разместиться в этом пустом городе, говорили заградительные рогатки, поставленные на проезжей части улицы. На рогатках доски с надписями: «Проезд запрещен».

В городе был комендантский час, и однажды ночью меня задержали на улице. Мы с нашей соседкой, медицинской сестрой, возвращались после двенадцати домой (кто-то принес спирта-сырца, и мы засиделись после дежурства в госпитале) и наткнулись на луч карманного фонаря. В слепящей бесцеремонности его были власть и угроза.

Веселость моя быстро испарилась. Остались только ожоги от спирта в горле. Фонарик продолжал светить жестко, а документов у нас не было.

— Мы из госпиталя, — сказал я.

— Иванов, веди в комендатуру, — приказал тот, у кого был фонарик.

— Ребята, — сказала сестра, — госпиталь же рядом.

— В комендатуре разберемся, — ответили ей.

И мы пошли: сестра, будто развеселившаяся от приключения, и я, напуганный.

По дороге я еще пытался объяснить — проходили мимо дома, в котором жили с отцом. Достаточно было задержаться на минуту и подняться на третий этаж. Но все было напрасно.

— Разберемся! — с какой-то уклончивостью сказали мне.

Уклончивость, с которой произносилось это слово, все больше пугала меня. Разберутся и выяснят, что мне надо быть не здесь, а в другом месте. А главное, не должен был я идти на риск, который лишь веселит мою спутницу.

Причина мелка — последствия могут быть огромными. Перед отцом стыдно. Столько сил он затратил, а я не остерегся. Противоречие между моим легкомыслием и тем, что за ним может последовать, мучило меня особенно. Но больше уязвляла веселость спутницы. Вернее, то, что десять минут назад я эту веселость не угадывал, десять минут назад рядом со мной шла уравновешенная женщина, а теперь сорви-голова. С каждым шагом мы с ней раззнакамливались. Не на будущее, а на прошлое, за которое мне с каждым шагом становилось стыднее.

Ничего мы с ней в этом прошлом друг другу не были должны. Сидели за столом, переглядывались, потом шли вместе, я рассказывал о своих несчастьях, а она слушала. И, хотя несчастья были подлинные, переполнявшие мою память, я не должен был о них говорить. Я и тогда с беспокойством улавливал не соответствующий рассказу блеск ее глаз, а теперь понимал, что не бедами своими я ее должен был развлекать, а сделать или сказать нечто такое, что вызвало бы ее нынешнюю веселость.

Вот ведь идет в комендатуру рядом с патрульными, а веселится! И я почему-то понимаю и правоту этой веселости, и то, что все мои несчастья тут ни при чем.

В комендатуре горела керосиновая лампа. Керосин ли был на исходе или заправлена не тем, но света от нее шло не больше, чем от печного поддувала. В копотном красноватом этом свете потолок был низким, стены ободранными, а пол грязным.

— Привели! — сказал Иванов, но к нам никто не повернулся.

— Пусть ждут! — сказали Иванову.

Нас посадили в дальний угол комнаты. Свет сюда уже почти не доставал, но все равно я видел, каким нетерпеливым блеском светятся глаза сестры. Не от меня она ждала ответа на свою веселость, и я с ней не заговаривал.

Часа через два тот же Иванов потряс меня за плечо. Он вывел меня во двор, дал топор.

— Дров нарубишь, воды нагреешь, баба полы помоеет, и по домам. Не психуй!

И я стал догадываться: и взяли-то нас, чтобы утром было кому в комендатуре мыть полы.

— А баба твоя... Глазами так и стрижет. «Сто мужиков — одна я!»

Он грязно выругался.

Я вызывал у него любопытство, потому что привели меня с женщиной.

Сколько диких, тоскливых, враждебных разговоров о женщинах наслушался я за три лагерных года! Фантастического в них было столько же, сколько и грязного. И фантастическое поражало не меньше. В преувеличениях соревновались, будто речь шла о враждебном племени.

Затевавшие эти разговоры и не заботились о правдоподобии. Зрелые люди, у которых, по их же словам, дома оставались семьи, фантазировали не меньше неопытных юнцов.

Может, людей этих было не так уж много, но уж очень сильна была у них страсть измазаться. А главная мука моя была в словах. К словам у меня не было никакой привычки. О них можно было уколоться, обжечься, порезаться. Каждое имело свой цвет, вкус, запах. Как и все, я был болен изолированностью. Но свое незнание заполнял другими словами.

Швестер Матильда из лагерного лазарета, перевязывавшая мне бумажным бинтом обожженную руку, представить себе не могла, как много я о ней думал. Слушая болезненные разговоры, от которых негде укрыться, я оскорблялся за женщин, которых хоть раз видел, и за тех, кого не видел никогда. Они мне казались ближе к справедливости уже по одному тому, что о них так несправедливо говорят. Может, это было возрастное, может, лагерное, но в каждой женщине я видел возможную возлюбленную.

Нечестным, однако, было бы скрывать, что в ругани женоненавистников я находил какое-то удовлетворение. Так обнаруживалось, что страх перед мужским одиночеством знаком не только мне.

И ругань Иванова вызвала во мне те же смешанные чувства. Получалось, что у меня были веские причины не отвечать на экзаменующую веселость моей спутницы.

Трудно было понять, сколько Иванову лет. В просторном его одеянии, казалось, не хватает пуговиц или крючков, так все обвисало. На шапке-ушанке отпечатался след звездочки, а самой звездочки не было. Он напоминал нашего «ран-больного», для которого возвращение к строевой службе утратило смысл потому, что война уже закончилась.

— Ей с утра перевязки делать, — сказал я Иванову. — Она медицинская сестра.

— Вот и нагрей получше воды, чтобы руки не застудила, — ответил он. — Воду наносишь вон тем ведром.

И пошел в комендатуру, оставив меня одного во дворе.

После этого случая отец и заторопился...

Вожжи он держал двумя руками, встряхивал ими, как мне казалось, не в такт ходу лошади и время от времени без нужды покрикивал и чмокал губами. С лошадьми отец не имел дела уже лет тридцать и, наверно, невольно опасался, что лошадь его не поймет и сделает что-то не так.

Мне тоже, конечно, приходилось ездить на лошадях. Но ощущение это было куда более запоминающееся, чем езда на машине. Я видел, что лошадь и без отцовских понуканий привычно делает свое дело. И понимал, что на месте отца тоже похлопывал бы ее вожжами по бокам и покрикивал бы, чтобы подбодрить себя.

У меня не проходило ожидание, что лошадь вот-вот остановится и дальше не пойдет. Мы с отцом чужие ей люди, не мы ее кормим и запрягаем. И сбруя, надетая на лошадь отцом, давит ее и стесняет движения.

Но лошадь продолжала бежать. Это была работа всего большого тела. С тяжеловесностью хромого ударяла копытами о дорогу, кивала в такт шагам головой, раздувала бока, роняла на булыжник парующий навоз.

Если бы навстречу попадались лошади, машины или хотя бы прохожие, наша двуколка не была бы так заметна.

Сбылись самые неистовые мечты. Мы вдвоем с отцом ехали по отвоеванному у немцев городу. Ничто не могло оттеснить эту мысль. Давно утратив свою силу, она не могла не являться, когда мы поворачивали из одной пустой улицы в другую.

Сотни километров проехал я по разгромленной Германии. Видел из окна вагона черные лоснящиеся лица американских негров, белые кобуры и пояса эмпи, красную кирпичную пустыню, кирпичное крошево разбомбленных городов. Из Дюссельдорфа в Вупперталь поезд шел сквозь сплошное зияние сгоревших крыш. Когда-то здесь был тесный коридор из стен фабричных зданий.

Мысль, пытающаяся охватить эти гигантские разрушения, завораживала всех, когда, постукивая на стыках, поезд шел километр за километром.

Попадались и чистые домики, уцелевшие городки, железнодорожные строения. Пегие коровы паслись на зеленых лугах. Но не это, естественно, западало в память. Коровы и луга были и в сорок втором году, когда нас осенью гнали в глубь страны. На станциях из дверей товарного вагона мы видели тогда людей в форме. Может,

поэтому под осенним дождичком вся Германия лоснилась лакированным сапогом.

Начищенный сапог по-особому смотрится, если вас могут им ударить. Германия тогда наносила удар. С какой же силой он вернулся!

От сгоревших домов, мимо которых бежала лошадь, еще пахивало печным дымом. Запахи, в общем, уже испарились. Но моей обожженной памяти не много было нужно.

Я смотрел на отца, потряхивавшего поводьями, и никак не решался задать ему главный вопрос. Лишь когда выехали за город, я не выдержал:

— Ты меня там не оставишь?

Он ответил неопределенно:

— Может, там не так уж плохо. Тут ведь близко. И я всегда рядом.

Я хотел закричать, что он не имеет права на эту слабость, на эту неопределенность, но спросил только:

— Сегодня ты меня не оставишь?

И он опять не возмутился, не закричал.

Двор, в который въехала двуколка, напоминал мне о чем-то своей вытоптанностью. Три или четыре слонявшихся без дела человека посмотрели на нас выжидательно.

— К нам? — спросил меня один из них, и я испугался этого быстрого узнавания.

— Да вот с отцом, — сказал я.

— А! — сказали мне с интересом и отступили.

Капитан в накинутой на плечи шинели принимал нас в комнате, в которой был один табурет. Слушал отца и читал нашу бумагу, стоя, потому что отцу некуда было сесть. Капитана знобило, в глазах его была болезнь.

— У тебя только один выход, — сказал он отцу. — Ты сюда не приезжал, я тебя не видел. А привез — ничего не обещаю. У меня пересыльный пункт.

Он посмотрел в окно на лошадь и двуколку. И поторопился:

— Я обязан его забрать.

Когда мы выезжали со двора, я боялся, что лошадь заартачится и не пойдет...

Это во мне и кричало! Летчик, который вместе со мной едва не отстал от поезда, уехал бы следующим. Госпиталь-

ную сестру все равно выпустили бы из комендатуры. И даже отец, пока комендант ему этого не сказал, не догадывался, что для меня есть только один выход.

Дыхание судьбы слишком тяжело, чтобы ощущать его непрерывно.

В тот город, в котором отец меня нашел, нас везли через Берлин.

На берлинских улицах водители наших грузовиков останавливались, чтобы узнать дорогу, а мы выпрыгивали из кузовов, рассматривали развалины. Все мы переживали чувство невесомости, не знали, куда везут, были заняты своим, но берлинские развалины поражали и наше привычное воображение. Артиллерийское мы отличали от авиационных, узнавали натеки копоти от пожаров. В этом мы стали специалистами. Знали, где много разрушений — мало людей. Гибнут люди или уходят — кирпичное крошево становится пустыней.

День был жаркий, августовский, гимнастерки солдат выбелило солью. Над берлинскими улицами стояло марево, а сквозь память что-то упрямо проступало. Какие-то поблескивающие стекла, мостовые, сиреневый дым между домами.

Может, осенью сорок второго года вот эти улицы промелькнули перед моими глазами. С высокой железнодорожной эстакады, по которой шел поезд, были видны закопченные паровозным или фабричным дымом дома, четкая брусчатка мостовой. И все лоснилось, смоченное мелким, не останавливающим движение дождем.

И в этом сиреновом дыме, мелком дожде, промышленном нагромождении жилых домов и фабричных зданий, в поблескивающих стеклах и плащах было несомненное ужасное единство.

«Берлин», — прочел или догадался кто-то, и это обрубил все.

За стуком эшелонных колес надежда наша давно перестала попевать. Но самое ужасное было в том, что город этот действительно существовал. И ни одного метра железной дороги нельзя было вернуть, чтобы он опять ушел из моей жизни. Не потеряй надежды — потеряй самой судьбы это было.

В вагоне нас больше сорока. Но и на миллион свою вину не разложишь. А от общей потери только тяжелее.

Сколько сил я потом затратил, чтобы вернуть себе власть над собственной судьбой! Но вот мы опять едем через Берлин, город разрушен, а соединения с собст-

венной судьбой не произошло. И это чувствуют в нас даже самые молодые солдаты в выцветших гимнастерках. Даже те из них, которые попали в Германию уже после войны...

Из городка, где нас застало освобождение, первыми уезжали французы. Они начали готовиться к этому сразу же после того, как немцы были выбиты. На главной улице стояли изуродованные, сожженные, выведенные из строя машины. С ним-то французы и начали возиться. Оказалось, что не вся эта техника безнадежно испорчена. И однажды колонна автомашин тронулась на запад.

Французы где-то раздобыли духовые инструменты, машины украсили цветами, оркестр играл что-то браваурное, а у меня было щемящее чувство упущенной возможности, зависти к простоте, с которой решается и такая проблема. Был даже какой-то страх. Упущенные возможности — это ведь недостаток чего-то. Повторившись, они опять могут оказаться упущенными.

И возвращение домой будто отдалилось, а не приблизилось после отъезда французов. Тогда и явилось ощущение судьбы. Кому выпало уехать, тот уехал. А нам надо ждать.

Потом удивили поляки. Прошел слух, что они едут в Канаду. Мне всегда казалось, что поляки держатся замкнутее нас. Значит, более привязаны друг к другу и к дому. Было непонятно, как они решились и почему в Канаду. Но еще больше потрясло, что после стольких лет такой разлуки они решаются уехать от дома еще дальше. И никаких разъяснений нельзя было получить, потому что не было разъяснений, которые хоть как-то могли нас удовлетворить.

В ходу были такие разговоры:

— Дали бы миллион, остался бы?

— Ни за какие миллионы!

Никто, конечно, не предлагал, но дело было не в ограниченности нашей фантазии. Ничего не могло противостоять тяге домой. Не оставались даже те, кому ехать было до первого нашего пограничника, до первого офицера фильтрационной комиссии. Кого от возвращения домой должен был удерживать инстинкт самосохранения. По больным глазам этих людей было особенно заметно, что это за тяга.

Косоглазому власовцу в первый же день освобождения надели на шею блестящую бляху немецкого жандарма. Пообещали:

— Снимешь — убьем!

Дня два носил он на груди эту железку, а потом

сбросил. Вначале его не трогали, потому что он словно сам подставлялся под руку — лез туда, где больше людей. Потом его перестали замечать или отталкивали раздраженно: «Да отойди ты!» Зеленую свою форму он сменил на серые брюки и пиджачок. Ждали, что теперь уйдет из лагеря. Но он не уходил.

И постепенно удивление — не ушел еще! — стало переходить в некое смутное чувство, некое ожидание. Никто ведь не сторожит, не удерживает. Неужели не чувствует, как накапливается на нем обреченность? Или — странно! — сам на нее идет.

Он, конечно, валял дурака. Но от чего это спасает? И вокруг него и еще двух-трех таких же образовывалась пустота. С каждым днем она становилась все устойчивее, все тверже, и все меньше было желающих переступить ее черту.

Они не общались друг с другом, не пытались сбежать и вообще как-то уклониться от судьбы, словно были парализованы ею. И вид бесполезного заискивания перед судьбой, завороченности ею был так тяжел, что никто их и не трогал. Хотя желающих «тронуть» не надо было искать. Они находились сами.

К моему смущению и удивлению, скоро и косоглазого власовца захотелось защитить от тех, кто увязывался за ним, пинал, следил, чтобы не снял шутовской жандармский жетон. В ослепительной вспышке страстей, которую вызвали первые дни свободы, жажда возмездия и природная жестокость на минуту совместились. Но мы хорошо знали друг друга. Ночью в нашем бараке со звоном разлетелось окно. Что-то грохнуло об пол. Кто-то зажег фонарик, и тут же раздался крик:

— У кого есть сигареты?! Сейчас начнем обыск.

На полу валялся топор, его кидали в темноту, и только чудом он никого не задел. Это был подарок блатных.

Жестокость грозила лагерю, а не только власовцу.

Утром узнали, что той же ночью в женский барак нагрянули американские солдаты. Привел их голландец, работавший на горячих вальцах «Вальцверка». Солдаты и голландец были пьяны.

Было почему-то особенно досадно, что наводчиком оказался именно он. Силой и красотой голландца все восхищались. Да и дружелюбным он казался. Память на это дружелюбие и обжигала.

Я и сам дал захватить себя страстям тех дней (говорю «дал», потому что было во мне нечто, сопротивлявшееся

им. Но у страстей был ясный язык: «Тебе что, эту власовскую суку жалко?» А у того, что сопротивлялось, как будто и не было слов).

Из окна барака я высовывался с винтовкой и целился в немцев, идущих по мосту, под которым был наш лагерь. Это была мстительная игра. Винтовку заметили, и обращенная к лагерю сторона моста опустела. Игра требовала какого-то продолжения, когда наверху показалась воскресно одетая семья. Немец в зеленой шляпе с пером, немка в светлом пальто и мальчик в белых гетрах. Им крикнули или они сами заметили, но мать и сын шарахнулись в сторону, а немец в шляпе, окаменев от вызова, продолжал идти...

Болезельщики были, конечно, и у немца, и у меня. И палец на спусковом крючке одинаково давило внимание и тех и других.

Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно. Видел, что немец выдержит до конца. И не знал, как выйти из игры.

В те сумасшедшие дни все могло случиться. Память на то, как мальчишки в белых гетрах бросали в нас камни, а женщины в светлых пальто не останавливали их, была слишком свежа. К тому же еще шла война, а немец вел семью на прогулку в холмы — на ту сторону моста по воскресеньям ходили гулять.

Три года натягивалась пружина. Была потребность не просто сбросить унижение, а дать знать об этом городку, который окнами домов все эти годы сверху смотрел на нас. И возмущенные крики мальчишки в белых гетрах и немки в светлом пальто действовали на меня совсем не так, как можно было бы предположить.

Не крики спасли меня от выстрела. Я затеял игру блатных, а сам их ненавидел так же, как полицаев.

Когда блатные первыми принялись за власовца, я подумал, что в эти дни и их проняло. Но зло кивало на зло. У них были другие цели и страсти. Власовец оказался только доступнее остальных.

Вот какая мысль омрачила радость тех дней. Зло и не догадывается, что его разгромили на поле боя. Оно тут как тут. И звать не надо, само наготове.

С того момента, как я попал в эшелон, ненависть моя между полицаями и блатными делилась поровну. Блатные были лагерной сверхтяжестью. Как кровососущие насекомые, они ни на минуту не давали забыть, где мы находимся. Их не умеряло ни общее горе, ни чья-то

болезнь. И дело не в том, что однажды побили. Побои были хуже полицейских. Противоестественной.

Блатная жизнерадостность расцвела на несчастье. И главным в ней было предательство. В сорок втором году его невозможно было не ощутить.

Это было сознающее себя предательство. Веселящееся этим сознанием. Предавались не только родина и ближайшие товарищи, но и главные законы жизни. В этом замахе и было блатное веселье.

Поражения и победы на фронтах никак не меняли их отношения к жизни.

И все утверждалось, доказывалось или подкреплялось невероятной жестокостью. То, что не было подкреплено жестокостью, в глазах блатных как бы не имело цены.

Формировала ли этих людей лагерная жизнь или в лагерь они попадали уже блатными, но они очень быстро находили друг друга. Мгновенное это узнавание было их отличительной чертой. И не писать о них можно было бы только в том случае, если бы они не занимали так много места в той нашей жизни.

Иногда мне казалось, что таких, как Соколик, держат в плену противоестественные мысли. Увы! В лагере я узнал, что мысли эти распространены, что и по ним люди находят друг друга и даже быстрее сколачиваются в компании.

Странные это были компании. Взаимное унижение должно было их взрывать. Но от вспышек жестокости, от неперемного взаимного унижения они только укреплялись. И это подростков и притягивало. Вспыхивала, казалось, не жестокость, а оскорбленная честь. Именно она ослепляла в такой вспышке. Казалось, человек той же мерой предлагает измерять и свои поступки.

Здесь-то и был вызов! И когда я вел винтовку вслед за немцем, надеясь, что он все-таки испугается, я понимал, что палец на спусковом крючке напрягается не только от жажды расквитаться, дать немецкому городку почувствовать унижение, которому нас подвергали три года, но и потому, что в эти радостные и сумасшедшие дни я заразился той самой жестокостью, которую сам же ненавидел. И удержать меня от нее может лишь то, что есть во мне самом.

Но за мной следили. В глазах Костика не было любопытства. Он давно научился вытравлять его из глаз. Костик смотрел так, будто его утомила возня с немцами, идущими по мосту, и он на время доверил винтовку мне.

И снисходительно ждет, когда же я выстрелю.

— Сука!— сказал он о немце.— Гитлеровские усы не сбрил!— и усмехнулся презрительно. Отмерил снисходительность, с которой ждет от меня выстрела.

Нарочитое равнодушие Костика раздражало меня. Оружия в руках не держал, не стремился его добыть, глаза только научился делать ледяными, но и это давит на меня.

Колька, по прозвищу Блатыга, высунувшись из окна, кричал немцу:

— Пацырь! Дрюкки порум! Дрюкки шнорум!

Никто из нас не поручится, что на самом деле есть такие слова. Блатыга работал с голландцами и принес словечки в лагерь. Считалось, что это особо оскорбительные голландские ругательства. Произносить их надо, выбрасывая руку вперед. Блатыга и грозит немцу кулаком.

На носу у Кольки темные очки. Он глядит поверх стекол. Манжет рубашки охвачен ремешком наручных часов, которые Блатыга уже где-то раздобыл. Брюки подвернуты и заправлены в носки. Фикса у Блатыги довоенная. Чтобы она была на виду, он постоянно презрительно кривит губу.

За эту привычку он и получил прозвище. Но только теперь видно, как он его оправдывает.

— Положи его!— кричит он мне.— Чтобы не ходил!

Совсем недавно Колька лишь для смеха откликался на свою кличку. И коронка на зубе не казалась фиксой. А теперь запенилась слюной.

Только что он разбил грузовик, на котором в первый день освобождения мы приехали в лагерь. Я услышал крики, увиделдвигающийся рывками «ЗИС», разбегающихся людей. Потом грузовик скрылся за бараком, опять появился на горке и врезался в бетонную стойку лагерных ворот.

Всем было жалко грузовик, но Блатыге дурацкий этот подвиг прибавил сил.

Его всегда отличали широкие плечи и жизнерадостность. Да еще уверенность, что удача выпадает удачливым. Нас истощала фабрика, а он на работу и с работы ходил один—был грузчиком у немца, владельца грузовика. Почти все такие машины мобилизовала армия, а хозяину Кольки повезло — его оставили в распоряжении городских властей. Немец в рассказах Блатыги был чем-то похож на самого Блатыгу. Сын к нему приехал с фронта в отпуск на две недели и тоже оказался весельчаком и ругателем. Получалось, весь отпуск потратил на соревнования

с Блатыгой в ругательствах и физической силе.

Главный выигрыш Блатыги у судьбы был в том, что работа оставляла ему охоту для соревнований. Энергия эта светилась в Колькиных глазах.

Нас угнетало лагерное и фабричное однообразие, и Колькины поездки с немцем шофером казались роскошью. Но чем веселей и хвастливей были Колькины рассказы, тем больше мы удивлялись, почему хозяин не учит Блатыгу своему ремеслу. Проездить столько времени на машине и не уметь ее водить — это было понятное всем унижение.

— Обещал! — хвастал Колька.

Но теперь было ясно, что хозяин ни разу не сажал Блатыгу за руль. А Колька, уцелев в катастрофе, настроился на что-то большее.

— Дай ему! — кричал он мне.

Щеки его раздулись. Губа над фиксой дрожит, как у волка. Раньше он ее задирает, чтобы напроситься на кличку, которая чем-то льстила ему. Теперь он настоящий Блатыга. Это видно хотя бы по тому, как он меня заводит. Не берет винтовку сам — ищет дурнее себя.

Эти дни всех нас поменяли.

Колькин час пробил, когда полупереодевшиеся, нервничавшие солдаты сгоняли нас к насыпи перед мостом, а лагерный полицейский, который привел их, вызывал:

— Кто понимает по-немецки?

Брюки у Кольки были по-клоунски заправлены в носки. Цепочка свисала из брючного кармана. Темные очки он уже где-то раздобыл. Мы все примерно одинаково понимали по-немецки. Но шагнул вперед Колька.

— Я! — сказал он.

Солдаты, которые видели его в первый раз, и полицейский, который знал его, что-то заподозрили. Но они торопились.

— Две минуты! — истерично стучал по часам полицейский. — Оружие сдать! Через две минуты стреляем!

Блатыга поглядел поверх очков.

— У кого оружие, приготовьтесь, — сказал он.

Освещенный солнцем, в дурацких очках, в клоунски заправленных брюках, он паяспичал под направленными на него винтовками.

Таким он запомнился не мне одному. За эту фразу об оружии ему и простили разбитый грузовик. Правда, когда все бросились за убежавшими солдатами, Колька остался на месте. Блатному не положено делать то, что делают все.

Когда ночью в наш барак влетел топор, я различил Колькин голос. Блатыга требовал сигарет и грозил обыском...

— Пацыр! — сказал он мне, заметив, что я не решаюсь выстрелить в немца.

5

В сорок первом году, уходя в армию, отец оставил запертым один ящик письменного стола. Стол был с массивными тумбами. В них хранились бухгалтерские справочники, конторские книги, американские журналы с фотографиями счетных машин на толстой глянцевой бумаге. Когда в квартире гас свет, отец на ощупь лез в верхний левый ящик, доставал огарок свечи, отвертку, волосок расплетенного электропровода и направлялся к щиту с пробками. Ящик этот, естественно, интересовал меня, но центральный, запертый просто разжигал любопытство. Иногда мне удавалось заглянуть в него. Отец сам показывал большую готовальню, логарифмическую линейку, коробку из-под канцелярских кнопок с набором перьев «рондо», складной нож в замшевом чехольчике. Ручка ножа была из желтеющей слоновой кости. Почему-то отдельно от всех в этом ящике хранилась старая фотография: любительский оркестр. Пятеро мужчин в косоворотках навыпуск с балалайками в руках. В одном из них улавливалось сходство с отцом. Однако сам я этого сходства не заметил бы.

— Твой родной дядька, — со странной усмешкой сказал мне отец. И, увидев, что я жду объяснений, добавил: — Мой брат. Старший. Во Франции живет.

Странная усмешка и относилась к этому «во Франции».

Но меня поразила даже не Франция, а балалайка. Франция далеко, но балалайка в каком-то смысле может оказаться еще дальше. К тому времени я довольно бегло играл на фортепьяно и даже благополучно переходил из класса в класс музыкальной школы. Но именно из-за ежедневных музыкальных занятий, к которым мать принуждала меня, я рано догадался, что есть нечто, чего никаким прилежанием не достичь. Отца я себе с балалайкой представить не мог. И потому спросил, был ли дядька способным.

Отец удивился. Он ничего об этом не помнил.

— Может, фотографировался за компанию, — сказал он.

Во Францию дядька попал с русским экспедиционным корпусом в империалистическую войну, женился на французенке и не стал возвращаться домой. Теперь я вглядывался внимательнее. Когда против воли везут, и во Францию попасть легко. Но, чтобы жениться на французенке, надо убедить ее, что ты лучше знакомых ей мужчин. А как этого добиться, не зная французского языка? И я вглядывался в фотографию, на которой человек, отдаленно напомилавший отца, сжимал балалайку привычной рукой.

Заметив, что возбудил мое воображение, отец сказал:

— Ты об этом... не очень... распространяйся.

— Почему? — спросил я и сразу вспомнил, что о заграничном родственнике до сих пор ни от отца, ни от матери не слышал.

— По-разному можно истолковать, — сказал отец. — Люди разные.

И опять запер фотографию.

Когда отец ушел в армию, этот ящик и остался закрытым. Ключ от него лежал там, где хранились свечи и слесарный инструмент. Шла война, город бомбили, а я никак не решался нарушить отцовский запрет.

Увы! В ящике, когда я его открыл, в том же порядке лежали готовальня, утратившие для меня интерес перья «рондо» и ножик в чехольчике, лезвие которого оказалось сломанным. Дохнуло на минуту отцовским запахом, но и это рассеялось.

В наш дом попал снаряд, в город вошли немцы. После конторских книг на подтопку уходили американские журналы. Я сам стал от матери запираю в ящик гранаты РГД, запалы от гранат, четырехгранный штык. Но каждый раз, когда я поворачивал ключ, руке что-то передавалось.

Среди того, что вернула память, когда я увидел отца под Берлином, было и смутное чувство вины. Я удивился, когда догадался, в чем дело. После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным. Я ведь изо всех сил отбивался от того слабого, презираемого, не знающего жизни мальчишки и только по ночам давал ему волю. Да и какое значение после всего мог иметь тот давний отцовский запрет! Не то что стола — нас самих могло не быть на свете.

Отцовская глуховатость всегда у меня как-то связывалась с тем, что отец знает о жизни. Теперь у меня не было сомнений, что я знаю больше. Но, словно давний запрет не утратил силы, наши отношения складывались

так же, как и до войны.

Не мог я, например, рассказать ему о том, как целился в немца, как в ночь перед тем с Костиком, белорусом Саней и Василием Дундуком воровали кроликов.

Клетки с кроликами я давно заметил метрах в пятистах от лагеря на пустыре рядом с сараями. Риска не было никакого, но я взял с собой пистолет и все время держал его на взводе, пока Василь и Саня ломали клетки, а Костик подавал советы им и мне.

Свой парабеллум с легкостью, к которой я так и не мог привыкнуть, дал мне Ванюша.

— Приятелей своих позови, — сказал он, когда я предложил ему сходить вместе. — Костика, Саню... как его... Дундука. Сами сходите.

Это было как раз то, что мне хотелось самому.

— Тогда дай свой пистолет, — сказал я.

Когда ждешь заведомо отказа, просить нельзя. Но я не удержался. Я ждал, Ванюша скажет: «Ни к чему это». Или: «У тебя свой есть». Или что-то в том же роде. Но он встал из-за стола, сунул руку под матрац, протянул:

— Возьми.

Пронзительная эта легкость всегда была для меня каким-то упреком. Она казалась болезнью, роднящей Ванюшу с Москвичом. Тот тоже, не глядя, через плечо отдавал окурки, сигареты каждому, кто попросит. И Ванюша не знал затруднений, естественных для других. Была тут для меня какая-то обида. Я с таким напряжением решался попросить, а он так легко отдавал, что напряжение выпадало в душевный осадок. Не давала мне покоя одинаковая непривязанность к своим вещам этих двух разных людей.

Москвича, казалось, она унижала. Когда ему везло, он на всякий случай заискивал перед всеми и перед судьбой. Так, думал я и понимал, что это не вся правда. К Ванюше же она не имела никакого отношения. Москвич чаще протягивал руку, чтобы попросить, чем для того, чтобы дать. Ванюшу просящим я не видел никогда.

Его даже дележка хлеба не возбуждала.

— Живот меньше, чем у других, — объяснял Ванюша это своим ранением. И если кто-то, завидуя или шутя, говорил, что ему выпал большой кусок, Ванюша тотчас предлагал: — Меняемся!

Вначале это казалось блатным высокомерием (и что-то, наверно, тут было). Потом вызывало ревность. В лагере были специалисты просить. Их узнавали по вкрадчивости,

по личуности, по тому, как тянули руку ко рту закурившего или получившего окуроч, по нечувствительности к упрекам. Покурич в одной компании, они тотчас переходили к другой.

— Убери руку!— говорили им.

Они продолжали тянуть или многозначительно продували пустой мундштук, пока раздраженный человек не отдавал окуроч.

На них очередь курящих всегда обрывалась. За ними не занимали — брезговали.

Может, их сжигала какая-то болезнь. Такой голод всегда был в их глазах и так жадно втягивались их щеки, когда они дорывались до окуроч.

Об одном из них говорили, что он дым пускает глазами. И правда, когда курил, голубые, навывате глаза его задымлялись.

Ванюша не отказывал и таким.

— Откуда ты знаешь,— говорил Ванюша, когда я его убеждал, что он делится с недостойным,— может, я хуже их.

— Брось ты!— возмущался я, а Ванюша смотрел на меня своим невыносимо пристальным взглядом и добавлял:

— Или ты.

Я старался вспомнить, чем перед ним провинился, пугался и умолчал. И потом никогда не мог разобраться, шутил Ванюша или говорил серьезно. Я даже специально присматривался к попрошайкам. Но отвращение к мужчине с задымляющимися глазами, к его развинченной походке, безотчетный страх перед самим его приближением, перед пустотой его глаз мешали мне хоть как-то понять Ванюшу. В голубых, навывате глазах жизнь вспыхивала только в тот момент, когда попрошайка догадывался, какое отвращение внушает. Человек, казалось, торжествовал. Тянул руку к чужому рту, и окуроч ему отдавали, как отмахивались. Но он не уходил. Вставлял окуроч в мундштук и, неприлично всасывая щеки, затягивался.

Эти люди обладали проничательностью на слабость и доброту. Настойчивость их не ослабевала, пока можно было что-то выпросить. Я ревновал, считая, что Ванюша жертвует моими интересами.

— Ты на минуту задумайся, а потом отдавай,— говорил я ему.

Ванюша смеялся.

— Подумаю — не дам. Я жадный. Лучше не думать.

За три года я прочно усвоил, что всем оставляют докурить, добытым сверх пайки делятся с друзьями, попрошаек гонят, а высокомерие вроде Ванюшиного «Меняемся!» позволяют себе по праздникам.

Костику, Дундуку, мне или другим малолеткам такие праздники почти не выпадали. Мы были недобытчиками. Костик к тому же не курил, но никогда не упустил случая сказать попрошайке: «С длинной рукой под церковь!» Мне тоже этими же словами хотелось отшить того, с задымляющимися глазами. Но было в этих словах такое, обо что самому можно обжечься. Будто на себя же накликал. Словно открывался предел, за который я из страха не давал себе заглядывать, за который мне чудом удавалось не переходить.

Но я так часто и так близко к нему подходил, что давно догадался: за тем пределом главный источник душевных бед и доблестей. Споря с Ванюшей, я завидовал ему. Я бы завидовал и Москвичу, если бы он был другим человеком.

Однако пистолет не был обыкновенной вещью. Его нельзя отдать, не передав с ним слишком многого. Мне нужны были остерегающие или ограничивающие слова. Я это почувствовал, потому что они не были сказаны.

Я, конечно, хотел похвастать Ванюшиным доверием перед Костилом, Саней и Дундуком.

За день перед тем Колька Блатыга и его дружки избили Ивана Шахтера.

Это был длинный унылый человек лет тридцати. Прозвище он получил за темное, в пороховых крапинках лицо, за вечно грязную шею. Лежа на матрасе у себя на втором этаже, он незлобно отбивался от тех, кто упрекал его в нечистоплотности.

— Не смызается. Уголь! Я же в шахте работал.

— А умываться пробовал? — оттачивал кто-нибудь на нем свое остроумие.

— Так что пробовать? — лениво отзывался Иван. — Это же антрацит.

— А с койки чего не встаешь?

— А на что силы тратить?

Ему на койку приносили докурить, сюда же приходили, чтобы взять «бычок».

И в выражении его лица и в фигуре была та же унылость, которую остриякам не терпелось растревожить. Однако, если очень донимали, унылость его исчезала и становилось видно, что это крепкий и нетрусливый человек. Не я один позавидовал, когда в первый день

освобождения увидел в его руках большой офицерский «вальтер». Иван принес его после того, как бегал догонять немецких солдат, врывавшихся в лагерь. Днем Иван охотно показывал свой пистолет, а на ночь спрятал его не в бараке, а под крышей лагерной уборной. У всех остались опасения, что ночью кто-то придет и обыщет.

За этим «вальтером» блатные к нему и пришли. Ивана вызвали из барака. Блатыга ему сказал:

— Покажи ватаргу!

Иван не понял. Он не знал, что это воровское слово означает пистолет.

Блатыга закатил истерику:

— Пропала ватарга, а он неграмотного корчит!

Тщеславное желание этих ребят считать себя шпаной Иван знал давно, но удивления преодолеть не мог. Он удивлялся темным Блатыгиным очкам, брюкам, заправленным в носки, клоунским манерам его дружков. Все-таки это были старые знакомые, и Шахтер попытался объяснить. На него закричали:

— Кончай темнить!

Тогда он повел их к тайнику, достал «вальтер», показал Блатыге. Тот закричал:

— Мой!

На Ивана бросились разом. Никто Блатыге не поверил, но выворотная жестокость не могла не ошеломить. Нормальному человеку трудно представить, что бьют потому, что дорвались.

— Это не все! — сказали Шахтеру. — Мы тебя умоем!

Витек (все они звали друг друга уменьшительными именами), за блеклость волос и ресниц прозванный Сметаной, пригрозил нам:

— Берегитесь, падлы! У меня тоже такая машина пропала. Лучше сами отдайте!

Мне бы выпалить в его блеклые глаза — в кармане у меня лежал револьвер-гирька. Но ведь и Шахтер только что держал в руках пистолет, из которого мог перестрелять всю эту сволочь. Не было у меня доказательств, что Блатыга врет, но ведь и сомнений не было. Колька брал на воровскую наглость: «Ты видел?!» Все знают, что хуже всех будет тому, кто вмешивается, когда не трогают его самого. Да не в этом дело! Разве можно выстрелить в своего на том же самом месте, где всего несколько дней назад немецкие солдаты едва не перебили нас всех! Ведь это Блатыга вышел тогда вперед. К тому же он мой приятель. Он и сейчас не отказывается. Вертя в руках

отнятый у Шахтера «вальтер», светит мне фиксой. Ему и в голову не приходит, что сердце мое отбивает: «Выстрелить — не выстрелить!» И каждый удар выпадает в душевный осадок. Мы ведь останавливаемся там, где блатные не оглядываются.

Пистолет Блатыга не просто крутит в руке. Как бы ненароком направляет на кого-то из нас.

— Шахтер, — говорит Блатыга Ивану, — тебе же он все равно не нужен.

Блатыга доволен и готов что-то смягчить, но дружки распалены его удачей.

— Опустит руку! — говорю я, когда Сметана опять замахивается на Шахтера.

Сметана поворачивается ко мне, но Блатыга останавливает его:

— Хватит!

Блатыге надо закончить с Шахтером и указать Сметане его место. Он учитывает, что я дружу с Ванюшей, хожу к военнопленным, которые еще неизвестно как на все посмотрят. К тому же он навешивает на меня должок. Такие уступки блатные ценят дорого.

Главная блатная добродетель — жестокость. Оправдывая свою кличку, Блатыга пожалеть Шахтера не может. Он может «уступить» его мне или Сметане. Тут все навыворот. Меня Колька уже не вправе «уважать». Однако сейчас ему так выгодно повернуть.

Нормальному человеку кажется, что жестокость не просуществует. Что совесть и ум не потерпят ее рядом с собой. Но главный обруч, скрепляющий блатных, названная жестокость. Не в один день я это узнал. О «блатных» законах слышал и раньше. Но думал, что это уличная болтовня. Преступления совершаются из жадности и из злобы. Опасных размеров злоба или жадность — такое же уродство, как горб. У кого-то он есть. И ничего с этим не поделать. Но у других-то нет! Однако у Костика, когда он прибывался к блатным, уродства я не замечал. У Блатыги тоже. Их тянули «блатные» законы, «права».

Как это могло быть, я не понимал. Я чувствовал злобность Соколика, которую тот сам сдерживал, злобность Сметаны. Но ни Костик, ни Блатыга злобными не были. Они учились злобности. Зачем это слабому Костику, еще можно догадаться. Но зачем злобному смешливому здоровяку Блатыге?

Не в первый раз блатные обижали людей, не в первый раз я об этом думал. Но случай сейчас был особый.

Лагерные репутации создаются не в один день. Они никуда не записываются, но не становятся от этого менее прочными. Иван Шахтер, несомненно, был уважаемым. Не сразу и разными путями попадают в это число. Но и выпадают из него редко. Некоторые странности Ивана делали его еще и симпатичным. А это много значит. Иван позволял смеяться над собой. Однако пределы смеха определял сам.

Как сказали бы теперь, он был составной частью лагерного фольклора. Он был из тех, кто делал нашу жизнь немного веселее. Блатыга, Сметана и их дружки знали это прекрасно. Им ведь тоже от этой веселости перепадало. Возможности и пределы своей репутации человек в лагере ощущает довольно точно. И другие тоже ощущают эти возможности. На такого человека, как Шахтер, блатные еще не замахивались.

Тут было еще одно. Блатыга, Сметана могли искать оружие, там где его взял Иван, но предпочли отнять у своих.

Их лихости и мстительности, казалось, сейчас было где развернуться. Может, впервые людям этого типа история дала несколько дней для проверки легенд, которые они сами о себе создают. Выпал случай показать, что за душой у них есть хотя бы примитивное деление на своих и чужих, а не только похотливая жадность и злоба. Когда они в первый день свободы принялись за косоглазого власовца, я подумал, что на очереди комендант и полицай. Но ни Блатыга, ни Сметана не спешили выходить за лагерные ворота, хотя теперь они были открыты.

Грузовик, который Блатыга разбил, не он пригнал в лагерь. Нашему бараку блатные грозили ночным обыском. Теперь вооружались против своих.

Шахтера били с яростью. Взрыв жестокости ослепляет жертву и возможных сочувствующих и помогает справиться с противоестественностью, которую не может спрятать от себя сам насильник.

Блатные и не закрывают глаза на эту противоестественность. Скажите Блатыге: «Ты ворует!» — он в заслугу себе поставит последовательность: «Все воруют». Но другие таятся, а он открыто на этом стоит. Поэтому все — «дешевки», а он — человек. У этой последовательности ошеломляющая сила. На этой смазке такие, как Блатыга, могут ехать долгие годы. Она им дает веселость и окончательное понимание жизни.

На второй после освобождения день к нам в лагерь

спустились два француза военнопленных. В лагере было пусто — все ушли в город. На койке, вытащенной из барака, сидели Блатыга и Сметана. Должно быть, Блатыгины очки, брюки, заправленные в носки, показались французам странными. Смutilo их, наверно, и привычное для Блатыги и Сметаны угрожающее выражение лиц. Угрозу в эти дни все научились быстро улавливать, даже не доискиваясь ее причин. Никого, однако, больше во дворе не было, и французы спросили, где найти старшего.

— Я старший! — сказал Блатыга.

Значительность он тоже понимал как угрозу, и потому лицо его стало еще более угрожающим. К тому же торопился опередить Сметану.

Подозревая подвох, французы объяснили, что они делегаты. В городе создается антифашистский комитет. От нашего лагеря ждут представителей.

Блатыга презрительно молчал. Сметана спросил:

— Что там делать?

Смысл вопроса был понятен, и французы объяснили: выявлять фашистов. Ответа не дождались. Блатыга презрительно отвернулся, и французы, еще помешкав и недоуменно пожимая плечами, ушли.

Сметана сплюнул.

— Представители!

Кому это непонятно, просто не знает, какие блатные казуисты и как жестоко блюдут свою «чистоту». Враждебность — их главный ответ на мысли и чувства «дешевок». А французы для Блатыги и Сметаны, несомненно, были «дешевками».

6

Вот какая мысль приходила в голову, когда в августе сорок пятого нас везли через Берлин.

Не упорство межэтажных перекрытий, не крепость каменных связей сдерживали здесь наших солдат. Не только о силе удара говорили развалины — об упорстве сопротивления. Дух, который заставлял немцев жечь чужие страны, сжег все и в их собственной стране. Где он теперь? Погребен под страшными развалинами, принял их как последнее доказательство или живет в том немце, который охотно объясняет нашему водителю, как проехать дальше?

Как этот дух связан с убогим миром «блатных» антимыслей и античувств, я не знаю. Но связь несомненна.

Ощущение это, увы, явилось в самые радостные дни свободы. Сметану и Блатыгу, конечно, отталкивали сами слова «представитель», «комитет». Но, главное, ни к бывшим полицаям, ни к американцам, изнасиловавшим наших девушек, ни к голландцу-переводчику у них не могло быть претензий.

Однако не в Блатыге дело. Взяв Ванюшин пистолет, я повел Костика, Саню и Дундука за кроликами.

Клетки стояли рядом с ближайшим жилым домом. От лагеря надо было пройти шагов двести. Издали крольчатники выглядели ветхими, но оказалось, что сделаны они и заперты надежно. Я с пистолетом смотрел за входом в дом, Саня и Дундук пытались бесшумно взломать дверцы, а Костик давал советы им и мне.

Пистолет нехорошо его волновал. Костик говорил Сане и Дундуку:

— Что шепчетесь? Шепотом все равно не откроете. Стукни, чтобы сразу развалился!

— Сам стукни!— рассердился Дундук. Он поцарапал о проволочную сетку палец и отсасывал из ранки кровь.

В крольчатнике было темно и тихо. За дверцей никто не подавал признаков жизни. Спичек или фонарика не было. И стало казаться, что там никого нет. Когда, просунув руку под оторванную проволоку, Саня вытащил какой-то комок, я даже вздрогнул.

— Держи!— протянул он кролика мне и опять полез рукой.— Еще один. Наверно, крольчиха.

Я ожидал сопротивления, но кролик не шевелился.

— За уши!— сказал мне Саня.

Живое тепло быстро прогрело руку и грудь. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взял кролика за уши и отстранил от себя.

— Еще ломать?— спросил Саня.

— Нашумели!— сказал я.

Костик усмехнулся в темноте.

— Четверо ходили, двух кроликов принесли.

Он был прав. Перед освобождением в лагере больше месяца почти совсем не было еды. Двух кроликов мало.

— Ночь длинная,— угрюмо сказал Василь Дундук,— дорогу покажем. Пусть сами ломают.

Переживания все-таки утомили нас, и мы двинулись в лагерь.

— Засмеют,— сказал Костик.

Все с подозрением оглянулись на него. Когда вокруг нас в бараке соберутся люди, Костик возмущенно

всплеснет руками и скажет: «Я ж говорил! Уважающий себя человек за двумя кроликами не пойдет!» И это прозвучит у него, как у блатного.

— Сам бы и ломал,— сказал Василь.

— А ты, Дундук, тут зачем?

Василь засопел. Этот слабый Костик раздражал его больше, чем других.

Однако в бараке было мало людей. Почти все перешли ночевать на улицу. Только Иван Шахтер, свесившись со своих нар, посмотрел на нас.

— Варить? Или жарить?

— Тебе, Шахтер, все равно не перепадет,— сказал Костик.

Живое тепло и от ушей проникало в руку.

Шахтер сказал:

— Мой сосед-крольчатник двумя пальцами их убивал. Возьмет за уши и двумя пальцами по носу.

Все по очереди попробовали. Была надежда, что жизнь в этих зверьках непрочна.

К утру, однако, кролики были сварены, съедены, остатки, чтобы скрыть следы, закопаны, а мы расхвастались по лагерю, как ходили, ломали клетки, как щелкали кроликов, а они только жмурились, как Костик сказал Шахтеру:

— Чтобы тебя Блатыга двумя пальцами по носу щелкнул!

Пока возились с кроликами, я заметил, что в окно проникает солнце. Это меня удивило, потому что до этого я как будто бы и самого барачного окна не замечал.

Окно открыли, я высунулся наружу, увидел над собой мост и немцев, идущих по мосту. Тогда я взял винтовку и прицелился. И все было не очень страшно, пока не появился Блатыга.

Он сразу захотел получить свой должок. Жизнь Блатыги была теперь в непрерывном отвоевывании престижа. Он не просто хотел иметь пистолет — не мог допустить, чтобы «вальтер» был у Шахтера. И в той игре, которую я затеял, ему сразу надо было стать главным. Чтобы и все слышали, как он командует:

— Давай! Уйдет!

Как будто и не было совсем недавно удачливого и смешливого Кольки со здоровьем в широких плечах, с азартным блеском глаз, которого лишь в шутку звали Блатыгой и который так весело орал: «Эх, тумба, тумба, Исаакиевский собор!»

Задолжал я ему жестокость. Каждому, кто хоть как-то знает блатных, это понятно. Нет смелости — покажи жестокость. Нет ума — найди силы на нее же. Хочешь быть не слабее других, не умом сравнивайся с ними, не добротой — жестокостью.

Я тоже бил кролика двумя пальцами по носу. Надеялся, что жизнь оставит зверька легко. Но жизнь была прочна. И теперь меня мутило. И, когда с пистолетом охранял Саню и Василя, ломавших клетки, не знал, как поступлю, если появится хозяин. Три года не сомневался, на третий день свободы заколебался.

Винтовку я взял, чтобы поугадать собственную слабость. Пришла минута расквитаться, которую так долго ждали, перед которой клялся страданиями миллионов людей. И немец, в которого я целился, несомненно, был фашистом. Ни в повадке, ни в партийных усах не мог я ошибиться. И возмущенные крики его жены и сына только возбуждали мою память.

— Пацыр! — сказал мне Блатыга, когда немец прошел мост. — Не можешь — не берись.

История эта не забылась. Но я ее никому не рассказывал. Что ж рассказывать, если выстрела не было! Отцу, однако, не мог рассказать совсем по другим причинам. Хотел было, но почувствовал, что это почему-то невозможно.

Я не догадывался, какая сила в этой самой невозможности.

7

Через много лет история эта вдруг обессилит меня воспоминанием. И облегчение будет как при нечаянном избавлении. Уже было оступился, но вдруг услышал в темноте то, что и услышать нельзя — дыхание глубины.

Тогда, однако, главным ощущением была досада на слабость. Мог ее не показать, но ведь сам затеял непосильную игру. И должок Блатыге увеличился. Долг блатным всегда растет, а не остается тем же самым. И Костику позволил презрительно хмыкнуть.

Но самое досадное — обнаружил, что слишком слаб для возмездия. Оказалось, оно требует сил, которых у меня нет. Это было открытием. Три года ненавистью клялись. Возмездие казалось не только желанным, облегчающим — обязательным. Без него не вернуть власть над собственной судьбой. Да что там! Дышать будет нельзя...

И вот не могу выстрелить.

К тому же я «выставился». На глазах у всех схватился, да не удержал — рукам горячо! Другие не суетились, не лезли и теперь могут смеяться надо мной. Но еще хуже — сам же углубил пропасть между собой и собственной судьбой. Все обернулось стыдом. А стыд обостряет жажду возмездия.

В сорок втором году по дороге в Германию в Познани была дезинфекция и проверка на венерические заболевания.

Это было первое массовое унижение, которому нас подвергли.

Через коридор, в котором мы раздевались, гнали голых женщин. Смуцавшихся, приостанавливавшихся полицейские хлопали ниже спины. В пару и дыму нас били резиновыми палками солдаты-дезинфекторы. С резиновой палкой к нам выбегал молодой, с офицерской выправкой врач. В кабинет к нему загоняли по десять человек.

Лицом к нам у окна стояла немка, даже в тот момент показавшаяся мне ослепительно красивой. На ней не было халата. По небрежной позе, в которой она оперлась о подоконник, было件нятно, что к медицине она не имеет отношения.

Врач строил нас шеренгой. Под халатом у него был мундир, в руках что-то вроде длинного деревянного пинцета, которым из выварки достают кипящее белье. По-русски он не говорил.

Он показывал нас немке, а она пришла на нас смотреть.

— У этих уже были женщины, а у этого еще нет, — сказал он, когда подошла моя очередь.

Он сказал по-немецки гораздо грубее. Некоторые поняли, повернулись ко мне и засмеялись.

В дорогом костюме немки, в ее шелковых чулках, в позе была невыносимая, возмутительная в этом месте праздность. Ее женская привлекательность была еще ужаснее белого халата на военном мундире врача. Разглядывая нашу шеренгу, слушая солдатские шуточки, она, должно быть, чувствовала, как наше внимание, прикованное к врачу, переходит на нее. И во взгляде, который она старалась сделать ледяным, отражалось это понимание.

Нас сталкивали в бездну. Но больше всего в этот момент меня мучил стыд. Ранил и смех напарников. Униженные, они будто напрашивались на невозможный для них мгновенный союз с немкой и врачом. Преимуще-

ство, которое, стоя босиком на мокром полу, они праздновали, быть может, невольным смехом, обнаружилось, когда с нас всех содрали одежду.

— Лос! — погнал нас врач дальше.

И все пстонуло бы во множестве таких же мучительных эпизодов, которые уже были со мной и которые еще только предстояли, если бы не эта немка и не этот стыд. Он, несомненно, был связан со всей жизнью. И действовал даже в опасных для нее обстоятельствах. Его можно было пережить. Но, кажется, не было испытаний, на которые я не пошел бы, чтобы избежать этого унижения.

Хотя, с какой стороны ни посмотри, стыдиться было нечего. Пятнадцатилетний, я стоял со взрослыми. И смеялись они не зло. К тому же был и такой способ справиться с обстоятельствами — считать их невероятную жестокость нормальной. Были люди, голос которых грубел на глазах. «А ты что думал!» — словно ликовали они. Оживление их не гасло, даже когда им самим попадало дубинкой. «Что мы за цацы! Если не нас, так кого же бить!» Словно торжествовали какую-то давнюю догадку о жизни. Их бескорыстное холуйство было мне странно и ненавистно. Будто в исступлении они на время теряли слух, зрение и чувствительность кожи. Но ликовали недолго. Немцы учили быстро.

Вообще-то было не до этих людей. Но хватало и бокового зрения, чтобы увидеть и запомнить их непонятный восторг. Должно быть, давно у этих людей возникла тяга к всеразрешающему порядку. Жестокость и казалась кратчайшим путем к нему. А воля к жестокости — волей к порядку.

Они хотели добра и с некоторым риском для себя выступали вперед, когда обстоятельства накалялись.

— Тише! — кричали они, когда врач выбегал к нам с дубинкой.

Они сочувствовали врачу, а не тем, кто с шумом вырывался из бани. И, если доставалось им самим, они считали себя жертвой тех, кто шумел, а не тех, кто бил.

Убеждения их только крепили от этих ударов. Бескорыстие давало право говорить громче. Они искренне страдали от нашей неорганизованности и первыми смеялись шуткам полицейских и переводчиков — обеспечивали сочувствие проводникам порядка.

В эти минуты я ненавидел этих людей так же, как полицейских переводчиков. Вблизи этих людей мысль моя делалась беспомощной. Я не мог понять, как они думают.

Однако в Германию они приезжали уже ошеломленными. С пониманием, что в этом порядке им воли не дадут. В лагере быстро скисали. Лишь немногие пытались принять «блатную» веру. Тем, кто бил, бескорыстная любовь к порядку была не нужна.

Полицаев я, конечно, ненавидел больше. Но чувство справедливости сильнее обжигалось этими любителями жестокости и порядка. От их готовности осмеять всякую доброту страдало мое представление о мире. В расчетах они чаще всего были порядочны. Сами редко становились насильниками. Но всегда были готовы сочувствием поддержать насильника и осмеять жертву: «Умнее будешь!» И, если кто-то при них хорошо говорил о женщинах, они тотчас перебивали: «Да брось ты!»

Таким был попрошайка с задымливающимися глазами. И я, дождавшись, когда он протянет руку за окурком, говорил с мстительным торжеством:

— С длинной рукой под церковь!

Моя тяга к Ванюше, может, и была попыткой с помощью лихости застраховаться от этих людей, очиститься от них, желанием заработать понятное им право говорить: «С длинной рукой под церковь!»

Конечно, я не знал женщин. Но мысли свои о них я знал. Они появились гораздо раньше, чем меня голым выставили на дезинфекции в Познани. И стыд был невыносим потому, что одежду содрали как бы не с меня, а с моих мыслей. На них был детский запрет, подростковая невозможность. Но и этот запрет, и невозможность, и волнение крови были одинаковой силы и справиться друг с другом не могли. Здесь-то и было мучение. Жар его в любое время мог стать болезнью. Его уже нельзя было отделить от всего, о чем думал и что делал, а жить надо было так, будто его нет совсем.

Разлука с домом стократно все усилила. Чем больше отчаяние, тем сильнее нужна надежда. Когда ее вытесняют из того, что видишь каждый день, она захватывает мечты и сны, которые не ей предназначены. К своим мыслям о женщинах я никого не допускал. Но и себе с каждым днем затруднял туда дорогу.

Уже не детские, а лагерные запреты были между нами и нашими девушками. А если я смотрел на швестер Матильду, то тут же вспоминал, что за связь с немкой иностранцу и самой немке полагается петля.

Стерильность швестер и наша каторжная загнанность делали эту угрозу излишней. Но такие запреты учитывает

и самая отчаянная мечта. Она считается с голодом, с собственной ослабленностью, с одеждой, в которой работаешь, а случается, и спишь. Учитывает, что той, разлука с которой накапливается, не за что, в общем-то, тебя полюбить. А значит, негде взять силы, чтобы преодолеть все невозможности и запреты.

Вообще-то отсюда мечта и начинается: «Эх, тумба, тумба, тумба...» И тех, кто говорил: «Да, брось ты!» — я ненавидел потому, что они покушались на мою мечту.

Ничего не зная о любви, я не то чтобы догадывался — допускал, что она находит силу не только в достоинствах любимого человека. Иначе слишком многим людям не на что было бы рассчитывать. Но ведь женатым был даже презираемый всеми бургомистр Борис Васильевич. Жены были у фюарбайтера Пауля, Гусятника, верующего старика. А когда фашистов прогнали и отпали лагерные запреты, первым в женский барак проник попрошайка с задымляющимися глазами. И поразило не то, что он оказался проворнее других, — избранницей его стала самая красивая девушка в лагере.

Конечно, попрошайка отъелся, спина его разогнулась, щеки надулись, в глазах появился фарфоровый блеск. Но с целой сигаретой в новом мундштуке, с манерами уважаемого человека он стал еще противнее.

Я помнил, как бросилась жена к лагерному коменданту, когда американцы взломали дверь и выпустили его из штабы № 9. Ей не было никакого дела до нас и до справедливости, с которой он обращался точно так же, как с нами.

Когда машина эмпи выезжала из лагеря, мы видели, как дочь и жена прижались к лагерфюреру с обеих сторон. Они собой защищали его от опасности, которая еще могла грозить ему на лагерном дворе.

У несправедливости были и более мелкие приметы. Например, красивые лица Ивана-старшины и поварихи Галины — одной их тех девушек, которые привели американцев, освободивших лагерфюрера.

Я любовался обнаженными по локоть руками Галины, которыми она хватала наши миски, а она из своего раздаточного окна смотрела поверх наших голов и никогда не возвращала наполненные миски в руки, а толкала их по оцинкованному прилавку так, чтобы и ты уходил в том же направлении и освобождал место следующему. И в лице ее, и в руках всегда была неприступность сытости и чистоплотности.

В детстве отец непрерывно проверял чистоту моих рук. Но мне в голову не могло прийти, что у чистоплотности может вдруг оказаться какой-то страшный смысл. Здоровые, чистые — по одну сторону, загнанные, каторжные — по другую.

Как только эмпии уехали, кто-то дознался:

— Поварихи привели!

Все бросились в женский барак.

— Остричь!

Гэлину и ее напарницу не нашли. Они отсиживались на квартире лагерфюрера.

— Ну, суки! — ругался Блатыга.

А я ужаснулся: откуда взяли на это силы? Что чувствуют в доме, куда десять дней назад их ни за что не пустили бы? Так хотели туда попасть или так не любили нас? Неужели то, что видишь, так сильно зависит от того, с какой стороны раздаточного прилавка стоишь? И еще: ну, вот сидят, а что дальше? Иван-старшина был понятен, и когда исход войны не определялся, и когда становился все ясней. А этих в чем обвинишь? Ну, были надменны. Им легче было сохранить чистоплотность. Но, может, они хотели сказать, сыт или голоден, не роняй достоинства, держись!

Тревожила какая-то грандиозная непонятность. В такой момент против всего лагеря! Будто не лагерфюрер посмотрел своим отстраняющим, форменным взглядом, а сосед, на сочувствие которого ты так долго рассчитывал.

Да что сосед! Соседа я лишними достоинствами не наделил бы. Не стал бы тревожиться, что за все время тот не понял, что у лагерфюрера такая же зыбучая память, как у «блатных». Надменности я не простил бы. А тут надменностью любовался! Она за что-то ручалась, что-то охраняла. Без надменности не выстоять столько времени над нашими взглядами.

И опять: не может лагерфюрер измениться! Не потерпит он их у себя. Выгонит, как только американцы привезут домой.

Однако эмпии отвезли его в больницу. И мы поразились. Сам штрафников в штубе № 9 сутками морозил. Голодом морил. А просидел несколько часов, и на руках в машину выносили. Ступеньки ногой нащупать не мог.

— О чем же ты, паскуда, раньше думал?! — разводил руками Блатыга.

А поварихи вернулись через несколько дней. Их не сразу заметили. Потом кто-то сказал взволнованно:

— Вернулись!

Но охотников, жаждавших проучить, уже не оказалось. Косоглазого власовца еще дергали, и я даже удивлялся, почему Галине сошло. Встречал ее так редко, что к удивлению каждый раз что-то прибавлялось. Как ухитряется не попадаться на глаза! И погрубела, будто никогда не была красивой. И досада от этого. Словно потерял и не знаешь, что потерял.

Потом догадался. Раньше видел ее чаще других женщин. Каждый день она стояла в раздаточном окне. Вместе со всеми я целый день ждал, когда можно идти за баландой. А здоровье, сытость и надменность принимал за красоту.

Догадаться я, может, и догадался. Но ощущение потери осталось. И появилось недоверие к своим недавним, казалось, таким точным впечатлениям.

8

Антифашистский комитет, который собирали французы, не начал работать. Американцам он не понадобился. Жажда возмездия усиливалась тем, что мы были голодны. Праздник сытости быстро кончился. Начался он за несколько часов до прихода американцев, когда мы с немцами растащили ближайшую армейскую пекарню. Кто-то увидел людей, несущих хлеб, и возбуждение, сходное с паникой, охватило весь лагерь. Все было невероятным в длиннейшей очереди, в которой я выстоял два раза. И неожиданное равенство с немцами. И свежесть хлеба, говорящая, что это выпечка последней ночи. И то, что с борта крытого грузовика хлеб раздавал немец солдат. Очередь притягивала опасность. Но еще больше ее притягивал к себе стоявший на возвышении молодой солдат.

Хлеб не успел остыть. Теплота его показывала, как недавно действовали законы, которые солдат нарушил. Не навсегда — на час они могли вернуться. С минуты на минуту могли появиться американцы. И за судьбу человека в немецкой военной форме никто бы не поручился.

По количеству буханок можно было спределить, сколько человек уже бросили свою часть. Раздававшему хлеб помогал еще один немец, подносявший буханки из глубины кузова. Приступы паники, электризовавшие очередь, достигали и солдат. Но дела они не оставляли.

Конечно, в тот момент меня меньше всего манило сочувствие солдатам. Беспокоило и даже ожесточало, даст хлеба или не даст. Василь Дундук, попрошайка с задымляющимися глазами, Ванюша, которые были впереди меня, отошли с буханками. Наконец на секунду я увидел смущенные глаза солдата, догадался, что это ответ принятой на себя опасности, и, схватив буханку, опять побежал в конец очереди.

Крохотный этот эпизод оказался на задворках того огромного дня. В лагере нас едва не перестреляли полупереодевшиеся солдаты. Паясничал под направленными на него ружьями Блатыга. Рвались снаряды, и американцы перевязывали раненых. Мы бегали отбивать немецкие пушки, а потом в трофейном грузовике мчались к эсэсовцам, охранявшим радиостанцию. И в промежутках происходило невероятное. Обнимались с французами военнопленными, ходили к ним в лагерь удивляться тому, что и у них такие же, как и у нас, двух-, трехэтажные нары. Катили бочку со смальцем, тащили оплетенные баллоны с ромом. Последним, что мне запомнилось в тот день, была алюминиевая кружка, шедшая по кругу. Когда ее передали мне, я под ожидающими взглядами, под поощряющими выкриками сделал несколько глотков и пошел на улицу. С порога ужаснулся вертикально вставшей земле. Попытался к ней прислониться и провалился в темноту.

Хлеб подходил к концу. Надвигавшиеся события должны были совсем вытеснить из памяти двух немецких солдат, раздававших выпечку последней ночи. Но и через много лет этот эпизод живет в моей памяти наравне с другими. Свет добровольно принятой на себя солдатами опасности спасает его от забвения.

Городок был в самом центре сильнейших бомбежек. До Эссена несколько километров. Чуть дальше до Вуппертала. Пожары Дюссельдорфа были видны. В последние месяцы сирены гудели в день по несколько раз. Объявляли тревогу, звучал отбой, а бомбы падали не у нас. Поэтому в городок стягивались эсэсовские склады. Лагерфюрер разрешил собирать крапиву на прилегаемом пустыре для нашей голодной баланды. А подвалы городских фабрик наполнялись вывезенными из Франции, Голландии, Бельгии консервами, вином, сигаретами. Мы знали об этом потому, что нас и французов гоняли на разгрузку. Единственный раз в жизни я тогда видел смертельно пьяных людей.

Возможно, первую тачку опрокинули нечаянно. Тот, кто ее вез, со страхом оглянулся на эсэсовца.

— Тринкен! — показал тот на разбившиеся бутылки.

Вино попробовали, однако охотников на него не нашлось. Это было белое кислое вино.

Один эсэсовец дежурил в железнодорожном вагоне. Другой принимал ящики с бутылками в подвал. Туда вел длинный сводчатый коридор. Должно быть, в самый жаркий день в подвале и коридоре сохранялась прохлада. Слабый электрический свет усиливал ощущение подземной сырости и замкнутости. Наверно, поэтому эсэсовец, который должен был дежурить в коридоре, часто присоединялся к тому, который стоял в вагоне. Специалистов к концу войны не хватало. Эсэсовцы были юнцами.

Вторую тачку опрокинули умышленно. Конечно, привлекло и само вино. Но ведь по молодости лет мало кто из нас о нем что-то знал. Волновали этикетки, яркая пищевая краска, причудливые бутылки. Не алкоголя искали — какой-то еды. И нашли. Цветом и густотой вытекшее из разбившейся пузатой бутылки напоминало гоголь-моголь. Это был питательный яичный ликер. Крепость его оценили не сразу.

Самые истощенные и жалкие заплатились особенно жестоко.

Однажды на моих глазах человек выпил древесного спирта. На плите варилась картошка. Он схватил кастрюлю и крутым кипятком попытался залить огонь, сжигавший его изнутри.

Объевшиеся или опившиеся айерликером безумели постепенно. На вторые сутки лагерфюрер пришел в барак посмотреть на их покойнички заострившиеся лица. Уже Блатыга сказал:

— Жадность фраера сгубила.

Были жалевшие:

— До конца войны не дожили.

Кто-то интересовался:

— Надо бы узнать домашние адреса.

Сознание к ним возвращалось на третьи-четвертые сутки. Несколько дней не могли подняться с матрацев и все ждали, что сделает лагерфюрер. Однако он их не замечал.

В те дни на улице видели пьяного француза военнопленного. Он слепо упирался в стены, в столбы с электрическими проводами. Обнимал их, пытался расшатывать. На ногах у него были деревянные башмаки,

и шума он производил много. Француз был знакомый, потому что французов военнопленных мы знали в лицо. Рядом на трамвайной остановке стояли немцы. Они не смотрели в его сторону.

Происходило невероятное. Наши пьяные и этот оставленный на улице француз, и немцы, глядящие в сторону. Еще месяц назад лагерфюрер, конвоиры французов и эти немцы на трамвайной остановке знали бы, что делать.

Эсэсовцы загружали подвалы. Но уже всем было понятно, на какое веселье это вино пойдет.

Когда защитного цвета «джипы» и «доджи» втянулись на улицы Лангенберга, мы уже могли угощать американцев табачной продукцией ограбленной немцами Европы: французскими, голландскими, бельгийскими сигаретами. И одно из первых открытий — американцы отказываются от европейских сигарет. Свои им больше нравятся.

Пришла богатая, почти не воевавшая, не сносившая на фронте и одного комплекта обмундирования армия. При всей готовности к симпатии это было тем, что делало непонимание почти непреодолимым.

За то, что опыт их был таким, а не другим, миллионы людей сложили головы. Те, кто сидел в «джипах», и «доджах», мало что об этом знали. Им страшно повезло, и мы не могли им этого забыть. Хотя и винить их как будто не за что. О немцах, их жестокости, военной ожесточенности американцы знали не с чужих слов. Они ведь сами воевали на этих лучших европейских землях, на лучших европейских автострадах. У них был собственный воинский опыт, и именно это делало непонимание почти непреодолимым. Мы были участниками одной и той же войны. Но их война лишь отдаленно напоминала нашу. Нам казалось, что страх смерти, который испытали они, легче всего сравнить с испугом. Они не знали других его лиц. Голодного удущья, истощения унижением, непосильным трудом. Не знали того, о чем рассказать можно только тому, кто сам это испытал. Ведь пропустивший обед говорит о себе: «Я голоден». А проработавший сверхсрочно час: «Я устал». И спорить бесполезно. Собственный опыт несомненное всякого другого.

Мы сразу заметили, как много места они занимают в пространстве. А они, должно быть, поразились, нашей изможденности. Но, может, худобу они невольно отнесли к нашим природным качествам. Ведь, честно говоря, нам самим уже трудно было представить себе, какими мы были до войны.

У каждого нашего истощения была своя история, свое лицо, свои гибельные этапы. Мы сами не понимали, как уцелели на каждом из них. Что же об этом можно рассказать тем, кто их не прошел?

Сорок первый год поделил нашу жизнь на довоенную и военную. Наша память долго цеплялась за то, что было до войны. Но и это прошло. Теперь помнили только войну. Раньше довоенная память спасала. Теперь стала источником страхов, Встретимся ли в послевоенной жизни с родными и близкими, найдем их здоровыми или искалеченными?

Дома американцев были целы, родные в безопасности. Тем американским солдатам, кто уже избежал тяжелого ранения, не было оснований делить свою жизнь на довоенную и военную. Они были здоровы. Война не успела стать для них жизнью. Мы же, в лучшем случае, были выздоравливающими. И нам бы не выжить, если бы война со всеми ее законами давно не стала нашей жизнью.

Из той глубины, где о тебе говорят «Не жилец!», мы смотрели на американцев, приехавших спасать нашего лагерфюрера. Впрочем, может, мы и не сознавали этой глубины, а чувствовали только ревность к здоровью, размерам, сытости. Лагерфюрер тоже был сыт и чисто одет. И мы догадывались: подобное тянется к подобному.

Ревность тоже усиливала жажду возмездия.

Мы видели мускулистую массивность эмпи. Их неуязвленность невзгодами, которые так хорошо были знакомы нам. Их готовность защищать немцев от нас. Союзническое равнодушие. И не ценили, что нас как бы попросту разводят с немцами. Ведь нам не было сделано никакого внушения.

Когда хлеб подходил к концу, кто-то сказал, что на опушке леса видел оленей. И лес, и олени (если эти звери — олени) были помещичьей собственностью. Помещичий дом был на той же поляне, где мы залегли с винтовкой.

Лес был небольшой рощей, а поляна примыкала к шоссе, так что все наши охотничьи приготовления были сразу замечены.

Пальбу мы открыли, когда убедились, что два желтых пятна, действительно появившихся на опушке, больше не приближаются к нам. Стрелял Петрович, настроивший прицельную рамку на довольно большое расстояние.

Когда пристально следишь за целью, улавливаешь и движение пули. Оказывается, глаз способен проследить

и за таким движением. Особенно если расстояние велико.

Траектории замыкались рядом с оленями. Животные насторожились, а потом скачками стали уходить к лесу. И вдруг показалось, что одно из желтых пятен и траектория сомкнулись. Перед тем как скрыться в лесу, зверь споткнулся.

— Попал! — крикнул Петрович и побежал к лесу.

Увязая в густой зелени, как по колено в воде, мы побежали за ним.

Роща оказалась еще реже и меньше, чем ожидали. Несколько раз оленя видели сквозь деревья и кусты. Может, Петрович даже и не поцал. Но и за раненым нам было не угнаться. Стреляли из пистолетов. Для пистолетной пули расстояние каждый раз оказывалось слишком большим. Винтовку Петрович оставил на том месте, где была засада.

Задохнувшиеся, почувствовавшие собственное слабосилие, раздраженные и возбужденные неутомимостью раненого животного, неудовлетворенные безрезультатной погоней, возвращались мы в лагерь. Шли не по шоссе, а напрямую, лесом. На поляне, окруженной, по немецкому крестьянскому обыкновению, проволокой, увидели несколько коров и крупную телку.

Проволока делит луг или поляну на участки. Коровы съедят траву на одном участке, их перегонят на другой. Назначение у этой проволоки почти такое же, как у наших плетней — защита от домашних животных. Постепенно мы в этом разобрались. Но все же сходство проволочных ограждений с военными и лагерными нас раздражало.

Петрович пригнул нижнюю и приподнял верхнюю проволоку в ограде, пролез на поляну и направился к телке.

— Маня, Маня, — уговаривал он, делая короткие шажки и нацеливаясь рукой на веревку, которая была у телки на шее.

Телка несколько раз отходила. Но все-таки он поймал веревку, телка пошла за ним. Где-то рядом в ограде был проход, но телку проталкивали сквозь проволоку в том месте, где перелезал Петрович. Опять было охотничье возбуждение и азарт. Но, шагая со всеми в лес, я еще не понимал, что мы сделаем с телкой. Слишком это было громоздкое существо. Телка неохотно переходила в галоп, когда ее подгоняли.

— Здесь! — показал Петрович на маленькую полянку.

Ванюша охватил передние ноги телки брючным

ремнем. Петрович был потен. Он спешил. Надо было свалить телку и заломить ей голову так, чтобы натянулась кожа на шее. Первый страх отступил, когда из горла телки пошел воздух.

Подстелив мешок, который захватили для оленины, Петрович стал на колени.

— У нас в части был калмык, — сказал он. — За двадцать минут тушу разделявал. Лошадь или корову.

Выкаченный белый глаз телки уже не пугал, мы все помогали Петровичу. Но прежде чем, набив мясом мешки, ушли с поляны, прошло много времени. Петрович явно не был мастером.

— В детстве жил рядом с бойней, — говорил он. — Видел, как работает боец. Пояс широкий, как у грузчика. На поясе кобура с несколькими отделениями для ножей и для точильного камня.

Петрович задумался над тем, где удобнее сделать новый надрез, и рассказывал, как боец примеривался где-то за рогами огромного быка и бык рушился со всех ног, казалось, прежде, чем удар короткого ножа достигал цели. А боец выхватывал из кобуры большой нож и одним движением перехватывал быку горло так, что белые позвонки появлялись раньше, чем их успевала закрасить кровь.

Петрович был потен, не только потому, что спешил. Он первый раз в жизни резал и разделявал телку. Рассказывая о калмыке и бойце на бойне, он готовил самого себя. Не только юнцам вроде меня в той же нашей жизни с ходу приходилось браться за новые дела. Много раз я видел, как, возбуждая себя рассказами о малознакомой профессии, взрослые брались за то, что им никогда не приходилось делать. Но брались обычно те, от кого этого уже ждали. Скажем, попадись нам по случаю фортепьяно, послали бы за мной, потому что я как-то рассказал, что учился в музыкальной школе.

Я не думал, что к этому отнесутся с таким пристрастием, что не забудут и за три года и вновь и вновь будут возвращаться, испытывать, осмеивать: «Вон в том кафе пианино. Попроси хозяина, чтобы разрешил сыграть. Мы слушаем!»

С таким же пристрастием и недоверием относились и к рассказам о других профессиях. Но слушали жадно. Почему-то очень важно было знать, что у нас в лагере есть свой парикмахер, часовщик, музыкант. Ими хвастались. И в случае нужды звали того, за кем кличкой закрепилось:

Портной, Доктор, Инженер.

Петровича никто не называл Мясником. Но, когда собирались идти за олениной, он готовил мешки и набирал в специальный мешочек соль. Он взял все на себя потому, что другие к этому были еще меньше подготовлены.

— Жара! — объяснял он свою заботу о соли. — Без соли за несколько часов пропадет.

Мешочек с солью несли по очереди. И каждый, кто брал его на плечо, говорил:

— Еще будет ли мясо?

Теперь Петрович следил, чтобы каждый кусок густо солили.

— Надо было еще соли захватить! — жалел он.

Его жестокие рассказы о кровавой профессии бойца на бойне были понятны. Он хорошо сделал свое дело. Если бы не он, мы остались бы без мяса. К тому же нам каждую минуту приходилось оглядываться, не идут ли хозяева угнанной телки!

В лагерь вернулись с мясом в повлажневших мешках. Рубахи на спине тоже повлажнели. Дня два ждали, что хозяин телки явится в лагерь с претензией. Но никто не приходил.

9

Самоснабжение сделалось нашей главной заботой. То, что удавалось добыть, тащили Петровичу. Он действительно стал завхозом. И, когда американцы выдали хлеб и суп, выяснилось, что мы можем не становиться в очередь к бачку. Это невероятное торжество оценит тот, кто годами зависел от бачка. Хлеб был забытой белизны, выпечка — довоенной воздушности. В супе много мяса. Но мясо теперь у нас было свое. Петрович варил на всю компанию.

— Куда? — с нарочитым равнодушием спрашивал я Костика, когда он с миской направлялся в столовую. — За супом? Возьми и мою порцию. Я все равно не получаю.

Хлеб мы все-таки брали американский.

Я теперь перебрался к военнопленным. В очередь чистил картошку, подметал, вместе со всеми садился за стол. Слушал утренние, дневные и вечерние разговоры.

К еде не могли привыкнуть. Она означала слишком многое. Наестся можно было и супом, который выдавали американцы. Густая смесь картошки и тушенки была ничуть не хуже того, что мы сами себе варили. И вызов тут не было. Его бы и не оценили. Тушенку с картошкой

американцы выдавали раз в день, но без всякого учета. Тот, кто пробовал получать дважды, два раза и получал. Но долгожданной радостью было не получать. И вызов тут, конечно, был. Была попытка вернуть власть над собственной судьбой, разорвать с зависимостью, в которую попадаешь, становясь в очередь к бачку.

Из нашего лагеря под мостом американцы перевели нас в бараки бывшей эсэсовской охраны радиостанции. В бараках было чисто. Даже запах тех, кто жил здесь когда-то, успел выветриться. Перевод из города на поросшую лесом гору встретили с подозрением. Место, казалось, должно было привлекать тех, кто когда-то здесь служил. Время страхов и подозрений не прошло. Успокаивало лишь то, что вместе с нами поселили поляков. Они заняли один барак, зажили отъединенной от лагеря жизнью.

О том, что они собираются в Канаду, мы узнали, когда поляки стали продавать вещи, которые с собой за океан не захватишь.

Прежде всего расстались с вещами, которые ни к чему в невоюющей стране. За кусок сала, который для этой цели выделил Петрович, я выменял у поляка бельгийский пистолет с запасной обоймой.

Как и мы, поляки в переходные дни добывали себе оружие.

То, что они ехали в Канаду, почему-то считалось тайной. Показывая мне пистолет, поляк глядел с подозрением. И сам был подавлен вниманием соседей. Общая тайна лишала его самостоятельности. Мы сидели на его койке, и я, как и он, невольно старался не смотреть по сторонам.

Общая тайна держала их вместе. Не то что из лагеря — из барака они выходили редко. А нас тянуло на улицы города, в трамвай — просто в те места, куда раньше не пускали.

Конечно, нас вело любопытство. Но, садясь в трамвай, вмещиваясь в толпу, заходя в кафе, в котором не было ничего, кроме безалкогольного пива, мы не чувствовали себя шатающимися без дела.

Мы искали то, чего нас лишали несколько лет. Полицая, который приводил в лагерь солдат, мы так и не нашли. Лагерфюрера американцы увели из-под носа. Еще одного полицая встретили в соседнем городке и побили. Но и он остался жив. До сих пор мы не сделали главных шагов, чтобы соединиться с отнятой у нас судьбой.

Входя в кафе, мы с вызовом приглядывались к тем, кто сидел за столиками, ждали, не скажет ли кто-нибудь из них нечто такое, что еще месяц назад непременно бы сказал.

Однажды вслед за нами в трамвай поднялся немец с дочкой и женой. На полном его лице выступали капельки пота. Это был плотный, сильный человек. Его раздражали трамвайная духота и теснота. Но его просто взорвало, когда он понял, за кем поднимался в трамвай и с кем рядом стоит.

С нерасчетливостью бешенства — нас было трое — он заорал тем самым голосом, который мы так хорошо знали. Привычным жестом сильной руки показал нам на выход — воц! И первый услышал тишину, которая наступила в трамвае. Руку он опустил, но продолжал орать, уже обращаясь не к нам, а к трамвайным пассажирам.

Может, все произошло неожиданно для него самого. Сработали привычка и раздражение. А теперь было поздно отступать.

Я видел, как расплзается серое пятно пота на его белой рубаше. Боковым зрением видел его жену. Она тоже была в чем-то белом или сером. Лицо ее было таким, будто она не успела мужа от чего-то удержать. И только в глазах девочки была ясность. Она ждала от нас послушания. Это было хуже всего.

Тем же боковым зрением я улавливал движение в трамвае, смущение моих напарников, которые еще нерешительно — тоже прислушиваясь к тому, что делается в вагоне, — начали теснить немца к стене.

Мы искали этот случай, чтобы усилить ослабевавшую решимость к возмездию. Но мы не ждали такой тесноты. Не ждали, что рядом с немцем окажутся дочь и жена и что трамвайная тишина сложится в нашу пользу. Но, может, труднее всего было от вежливых полуулыбок, с которыми мы только что сторонились, освобождая место немцу и его жене, сразу перейти к чему-то другому.

Кто-то из пассажиров сказал немцу что-то укоризненное. А он, уступая нашим засунутым в брючные карманы рукам, отходил к стене трамвайной площадки. Это тоже смущало нас. От неукротимого здоровяка мы ждали яростного сопротивления. Присутствие жены и дочери должно было возбуждать его самолюбие. А он, не прекращая бешено орать, послушно отходил под нашим несогласованным напором.

Лучше трамвайное окно, в которое он уперся своей

белой рубашкой, было бы подальше. По смущенным лицам напарников, по собственному смущению я чувствовал, что наши брючные карманы так и останутся оттянутыми. Никто из нас не решится в трамвайной тесноте ответить яростному ненавистнику так, как он этого заслуживает.

Плюясь и проклиная, немец сошел на ближайшей остановке. За ним дочь и жена. Он грозил нам той рукой, которой помогал им сойти по трамвайным ступеням.

Мы проехали еще две остановки.

— Ванюши с нами нет, — сказал я, когда мы тоже вышли из трамвая.

— Блатыгу сюда, а не Ванюшу, — ответил Костик. И повернулся к Дундуку: — Что ж ты его не шарахнул? Он же тебя первого обругал!

Василь угрюмо засопел.

— Я ж в стороне стоял, — сказал Костик. — Между мной и им был человек.

— Он всех ругал, — сказал Василь.

Костик всплеснул руками.

— Заговорил! Дундук!

Василь остановился.

— Сам дундук!

Это было неожиданно. Я не думал, что Василь когда-нибудь этому научится.

— А! Не нравится! — побледнел Костик. — Дундук несчастный!

Василь вздохнул в тот самый момент, когда, как мне казалось, он ударит Костика.

Мы двинулись дальше, и Костик все всплескивал руками — переживал минуту, в которую Василь едва не ударил его. Все шло будто по-старому, но минута не забывалась.

— Зачем Блатыге немец? — сказал Василь.

— «Зачем»! — обрадовался Костик. — Затем! Все тебе объясни! Все растолкуй!

— Ты сам как Блатыга, — отвернулся Василь.

Ход мысли Костика мне был понятен. Разве с таким Дундуком кашу сварить! В лагере Костик расскажет, как из-за Дундука упустил фашиста.

Но, чтобы рассказывать без помех, Костик должен завербовать меня в союзники или восторжествовать надо мной, как над Дундуком. Что можно вообще не рассказывать, нам и в голову не приходило. И, споря, мы вновь и вновь переигрывали ту же историю — отвоевывали себе достойное место в будущем рассказе о ней.

Василь шел, молча посапывая. Упорного молчания я не любил. Человек так уверен в своей правоте, что наглухо запирается. Собственной правоты ему достаточно. К тому же в молчании какой-то непереносимый упрек. Василь Дундук додумался, а ты нет. И правота как бы не собственная, а деревенская, бессловесная, с которой он когда-то стоял перед нами набыченный и которая опять нет-нет и скажется в его упорном молчании.

— Блатыга немца не шарахнул бы? — спросил Костик.

— Лучше он нас кого-нибудь шарахнет, — не сразу ответил Василь.

Я и сам так думал, но почему-то с сочувствием услышал, как возмутился Костик:

— Понимаешь! Дундук! Ты шарахнешь? Да?

Василь опять замолчал, и раздражение от его молчания накапливалось. Без слов нельзя спорить. Без спора не договориться. И потом, если слов нет, на чем же держится правота?

Это было знакомое раздражение. Оттого, что чаще говорили мы, а Василь молчал, нам с Кости́ком казалось, что он соглашается с нами. Но потом оказывалось, что это не так. И это «не так» держалось не на словах, которые можно было бы понять, а на молчании, к которому неизвестно как подойти. Из глубины этого молчания возникало что-то совсем уж неподобное.

— Зачем немца шарахать? — сказал Василь, словно решил выговориться до конца.

— Он же фашист! — сказал я. — Месяц назад он бы тебя живьем съел!

Василь молчал, и я возмутился:

— Что же ты молчишь?

С той же набыченностью Василь ответил:

— Пусть.

— Что пусть? — взорвался я.

Василь отвернулся. Иногда мне казалось, что я слишком рано взрываюсь и Василь отворачивается от крика, от возмущения, на которое не хочет отвечать тем же. Я пробовал другой тон, но и тут Василь улавливал раздражение или останавливался перед неизвестной мне пропастью, которая разделяла нас.

Ощущение пропасти и заставляло меня взрываться. Я чувствовал, что перейти ее Василию мешает не то, о чем спорим, а множество других мыслей и ощущений, связанных так, что он невольно отворачивается от Костика или от меня.

Когда он отворачивался от Костика, мне было понятно. Я сам от него отвернулся бы охотно. Но, пока Василь не погружался в глубины своего молчания, нас с ним связывала симпатия, а симпатия возвращается.

Иногда мне казалось, что Василь уже перебрался к нам со своей деревенской стороны. Ходил с нами за кроликами, понимал писанные и неписанные лагерные законы, не давал себя в обиду. И не тем, что бросался с кулаками, а вовремя показывая эту готовность. В лагерной тесноте это умение важнее способности ответить на обиду кулаком. Тут надо и угадать возможного обидчика, и не дать ему зайти слишком далеко. Чтобы все обошлось без больших потерь для самолюбия с обеих сторон.

Во всем этом Василю было трудно разобраться. Ведь явился к нам он набыченным и бессловесным. Но разобрался. И даже не очень много времени на это потратил. И теперь только мне и Костику позволял обижать себя в спорах. Мне по дружбе, Костику — потому, что ему это позволяли все.

— Пусть другие шарахают, а ты посмотришь, — сказал я. — Так? Твое дело — сторона. Но кто-то же должен?

— Ему не надо! — злорадно сказал Костик.

— Кому надо, пусть шарахает, — упрямо ответил Василь.

Я понимал, словами тут ничего не выпоришь. Дело не в словах, а в том, что мы только что пережили в трамвайной тесноте. Мы столкнулись с какой-то невозможностью. Костик и я никак не могли с нею согласиться. А Василь сразу же ее для себя признал. Легкость, с которой он на это пошел, нас страшно возмущала. Он отделялся. И деревенское упрямство, которое никакими словами не пробьешь, казалось нам и глупостью, и предательством.

— Что ж с нами ходишь? — спросил я.

— А с кем ему ходить? Кто его возьмет? — сказал Костик.

Это было похоже на празду. Как и Костику, мне уже начинало казаться, что фашиста упустили потому, что именно решимости Василя нам троим и не хватило.

Когда мне не удавалось победить свой страх или жалость, я стыдился. У Василя же было раздражавшее меня бесстыдство признать правильным то, что чувствуешь. Словами я убеждал самого себя и заговаривал свои неправильные ощущения. Все мои ровесники этому учились. И упорство Василя было очень заметно.

— Вот Дундук! — всплескивал руками Костик. — Дервня!

Я догадывался, однако, какая нужна сила, чтобы устоять перед словами, которые все считали правильными. Я за собой такой силы не ощущал. Куда легче было справиться с собственными страхами или жалостью. Василь и говорил мало потому, что опасался ловушек, которые есть в словах. Иногда, правда, казалось, что Василь стал поступать и говорить так, как от него давно ждали. Но потом оказывалось, что это не так. Когда это выяснилось, мы возмущались. Костик ругался, а я с подозрением присматривался и прислушивался к молчанию Василя — что там вызревает опять!

Но сейчас случай был особый. Победа была на фронте. Но нас-то три года угнетало нефронтовое оружие! Три года истошающих страхов и ненависти — это было покрепче клятв. Оружием отнимали у нас судьбу. Оружием надо было ее вернуть, В этой войне у каждого из нас была своя вина и расчеты у каждого должны быть свои. Три года унижения нельзя было везти домой. А мы упустили случай за случаем, будто воля к возмездию с каждым днем слабела.

Вот из-за чего мы ругались с Василем.

Женился друг Аркадия Николай, вдвоем с женой они заняли двухэтажную койку, занавесив нижний этаж одеялом. Входя в комнату, теперь надо было кивком или глазами осведомляться, дома ли, одеяло всегда было опущено. Выбирать слова или говорить шепотом вначале казалось обременительным. Обременительной была тишина, наступавшая после того, как гасился на ночь свет. Неудобна была и какая-то непроходящая ласковость Николая. И то, что женился именно он, казалось неожиданным. От него не ждали, что он что-то сделает первым.

Следы ласковой сонной помятости на его лице не проходили и днем. Поднимались они с женой позже всех. Спали после обеда. Жена Николая вначале вообще большую часть дня проводила за занавеской. Обморочная эта сонливость, которой гордились оба, казалась ответом не только на женитьбу, но и на конец войны, на безопасность, которая лишь замаячила, а вовсе не наступила совсем.

Жену Николая звали Марусей. Нашу комнату она проходила потупившись. Кожа на ее лице была распаренной, как после бани. Первое время она часто убегала

в женский барак к подругам, от которых Николай ее увел. В этой потупленности, в семенящей походке, в расцветенной сном и сытостью коже, в шепотах и смешках за одеялом, в смелости, с которой она пришла в мужской барак, было раздражающее надеждой противоречие.

Волчья, беспокойная подвижность Николая почти исчезла совсем. От койки он пересаживался за стол. Сидел расслабленный. Я догадывался, что это за лень.

— Ты на меня ласково не смотри! — говорил ему Петрович.

Николай, усмехаясь, подпирал ладонью подбородок.

— Не думал, что так быстро привыкну, — говорил он. — Хороша девка. — И изумлялся: — Заботливая! Еще месяц проживем, расстаться будет невозможно. Я, говорит, знаю, что я тебе жена до первого семафора. Но все равно жена, а не любовница. Домой приеду, родителям скажу: «Я замужем».

Он смеялся этим льстящим ему тонким различиям.

— Я ей объясняю: «Не до семафора — до военкомата!» Договариваюсь: «Поедешь домой, а я напишу». Плачет!

— Откуда она? — спросил Петрович.

— Из Винницкой области.

Все усмехнулись. Где Винница, а где Ленинград, из которого Николай родом!

А я понимал: ленится, не смущается, ни к чему не стремится Николай потому, что чувствует себя всего достигшим.

Выражение достигнутой у него было таким полным, что поднималось удивление: а где же многолетнее беспокойство? Неужели ответ на все так прост? Лень и сонливость вызывали чувство превосходства: «Мир для нас никогда так не сузится!» Была догадка: «Вот в чем Николай первый!» Был интерес к Марусе — что в нем нашла? Было бы понятней, если бы плакала из-за Аркадия или Ванюши! Была зависть: это ее смелость вызывает у Николая ощущение достигнутой. Никому ничего и доказывать не надо. Задушенные смешки и шепоты доносятся с его койки.

И было, конечно, ошеломление от этих шепотов. От взгляда на цветущее Марусино лицо. И ревность. К любой лагерной удаче можно было присоединиться: к дружескому разговору, к куреву, к сытости. А тут человек счастлив, а ты ни при чем! И уж совсем странная ревность: такое счастье Марусе внушить мог только ты, а не кто-то другой.

В этой ревности нельзя было признаться даже самому

себе. Да и не ревность это была, а мечта. Сам я с девушками знакомиться не решался. Но, если кто-то знакомил меня со своей подружкой, мечта моя тотчас перекидывалась на нее. Это была еще детская ревность, и переходила она в детскую мечту. Не к кому-то я ревновал, а к полноте чувства, по робости недоступного мне самому.

Счастливицы, переступившие порог в мир, о котором я мечтал, были у всех на глазах. Да и дверца — вот она! Сколько разговоров я слышал, что открыть ее — раз плюнуть! Однако сквозь охраняемые ворота бегал, под проволокой лазил, а в эту защищенную лишь страхом отыда дверцу не решался войти.

«Эгаль — етт криг!» — говорили немцы. «Все равно — сейчас война!» Не очень-то представляя, что именно должна «списать» война, я тоже повторял эти лихие фразы. Уж если бараки, теснота, короткая жизнь, то и ухаживание должно быть коротким. Так говорили Костик и Блатыга, так думал я, пока однажды не пришло мне в голову, что ни у Костики, ни у Блатыги, ни у Дундука, ни у многих других моих знакомых, которые охотно говорили об этом так же, как все, вообще нет никаких ухаживаний — ни коротких, ни длинных. Вроде пустяковое открытие, но оно показало мне разницу между тем, что есть на самом деле, и тем, как об этом говорят.

Только одно любовное приключение пережил лагерь до освобождения. В мужских бараках следили за всеми его подробностями потому, что героем приключения был глуповатый, добрый, но прибывавшийся к блатным Стасик. Он постоянно надувался и таранился от шумной храбрости и вообще был из тех, кто не умеет говорить тихо. Но дело было не в одной его крикливости. Хвастовством он завоевывал себе место среди блатных. К тому же он чувствовал, что впервые его слушают так заинтересованно.

В решающий день его собирали всей компанией. Нашелся даже носовой платок в карманчик пиджака. Кто-то протянул самодельный деревянный гребень:

— Волосы не выпадают.

Стасик истово причесал свою густую шевелюру. Подношения он принимал серьезно и советы выслушивал как наставления с кем-то расквитаться, кому-то пригрозить.

Женские бараки были под жесточайшим запретом. Но не с полициями и их запретами готовился расквитаться Стасик. Не этим объяснялась его воинственность. Был март сорок пятого, запреты доживали последние дни.

Стасика подогревала «блатная» воинственность. Глупость и добродушие, малые переживания сохранили ему ясность глаз, чистоту кожи. Непомерная шевелюра сельского модника, платок, наполовину выставленный из карманчика пиджака, сочетались с немецкими обносками. Это не вызывало смеха, хотя какое-то противоречие мы улавливали. Истощенные и оборванные, над чем мы тут могли смеяться! И «блатные» претензии Стасика никого не удивляли и не отталкивали. Даже Василь Дундук привык уже не по-деревенски, а «по-блатному».

К тому же на Стасике лежал ослепительный отблеск удачи. Запреты, хотя и доживали последние дни, могли больно ударить. И риск был более свободным, чем тот, который требуется, скажем, для воровства картошки. Но, главное, Стасик не один на него шел — кто-то рисковал для него. Кому-то нужны были его слегка косящие глаза, его крикливая храбрость.

Этот «кто-то» и заставлял смотреть на Стасика с новым интересом.

Мы ведь были ровесниками. Спешили друг перед другом взрослеть. Okликнешь привычно кого-нибудь, с кем месяц или два не встречался, а в ответ останавливающий взгляд. И видишь, плечи у человека другой ширины, голос другой и глаза посветлей. Не хочет он, чтобы его по-старому окликали. Чувствуешь себя обозначившимся. К новым отношениям ты не готов, на старые тебя лишают прав. Момент не очень-то приятный. Особенно если не остерегся, окликнул при других.

Может, и Стасик повзрослел. И только не заметил, как крикливость его перешла в настоящее удалство, а глупость — в ум. А Колька Блатыга и Сметана заметили. Стасику с ними хорошо — на меня он и не смотрит. Углы губ запениваются от громких слов, глаза таращатся от возбуждения. Блатыга и Сметана поддакивают значительно, и Стасик возбуждается еще больше. Если специально не прислушиваться, слышны только ругательства и угрозы. Кому грозят, сразу не поймешь. Но в том-то и дело! Грозят прошлому, настоящему, будущему. Разогревают себя, запугивают слушающих. В этот момент к ним лучше не подходи! Неузнающий взгляд, презрительная усмешка.

Взрослели мы, хвастаясь друг перед другом: не тяжело, не холодно, не страшно! Всю жизнь я искал храбрость. Понимал, нет без нее чувства собственного достоинства, а без него достойной жизни. Вот и Стасик ищет свою храбрость у блатных. Ищет свою достойную жизнь. От признания пришло к нему чувство удачи. От «блатной»

истины посвѣтели глаза. На всех смотрит, будто напоминает прошлые обиды.

Обид, конечно, было много. И память на них свежа. Но у Стасика не больше, чем у других.

Девушку Стасика никто не знал, хотя он пытался ее описывать, объяснял, в каком бараке живет. Все слушали внимательно, но потом Блатыга с досадой говорил:

— Покажешь!

— Покажу! — с радостной готовностью схватывался Стасик. Он и показывал, но издали, в колонне, на пересчете. Ни описывать, ни показывать как следует глупый Стасик не умел. К тому же в колонне интерес пропадал. А имя мало что говорило. Кто знал двух Сень, кто — ни одной.

Сейчас это может удивить. Бараки были рядом, баланду получали из одного раздаточного окна, на работу гоняли в одной колонне. Но удивлял как раз Стасик, которому хватало предприимчивости. Удивила бы и меньшая предприимчивость. И дело было не только в запретах и лагерной ослабленности. Не в них одних. Лагерные запреты усиливали возрастную робость. Так что разговоры и мысли о женщинах были сами по себе, а наши ровесницы в соседних бараках жили сами по себе. И связи тут никакой не было.

Чаще мы видели их всех вместе: в колонне, на пересчете, в кухонном бараке. Как ели мы сами, я не замечал. Но было страшно смотреть, как снуют ложки в их руках, как стучат о дно мисок. О двух смельчаках, которых полицаи с собаками вытащили в женском бараке из-под нар, рассказывали жуткую историю.

Только на время тифозной эпидемии расстояние между нами и нашими девушками сократилось. Но и в тифозном бараке болезнь и загнанность разделяли нас. Потом дистанция полностью восстановилась. Мы стеснялись нашей изможденности, зависимости от полицейских окриков. Угнетенное самолюбие подавляло мужскую предприимчивость. Оно же рождало ревность. Мы ревновали девушек к французам и бельгийцам, к тем, у кого больше еды, кто мог себе позволить лагерную франтоватость.

Девушки получали ту же пайку, что и мы, но лагерный режим давил на них чуть послабее. Ни по каким другим причинам, просто из-за того, что они девушки. И чувствовали они себя немного свободнее, и самолюбие их было не так угнетено, как наше, не так растоптано. Наша ревность это тоже отмечала.

Мы были неровней нашим девушкам — вот что ужасно! — Французенка! — говорил Костик вслед какой-нибудь хорошенькой лагернице. — Шоколадница!

— Откуда знаешь? — спрашивал кто-нибудь.

— С французом стояла!

Девушки быстрее запоминали иностранные слова, были предприимчивей нас. Однажды в каком-то фабричном коридоре разговаривающей с французом была замечена Мария Черная. Бывшие тифозные, помнившие, как она добровольно пришла в тифозный барак и как там себя вела, не хотели этому верить. Казалось, ее репутации «ни с кем» должно хватить до самого конца войны. Но в том же коридоре с тем же французом ее увидели опять. Кто-то упрекнул:

— Мария, с французом?

Она возмутилась:

— Это мое дело!

Мы поняли: ухаживать за тифозными совсем не то, что постоять с кем-то в фабричном коридоре.

Но, в общем, порознь мы наших девушек видели редко. В голодные рабочие перерывы они собирались в темном фабричном закутке, тоскливо пели: «Ой, гудут, гудут вражья вороги, хотят разлучиты нас...» Или: «Завьязи очі темной ночи тай веди до риченьки...» Эти украинские песни я с тех пор нигде не слышал и не знаю, правильно ли запомнил и записал две строчки.

Подходил немец и что-то недоброжелательно спрашивал. Девушки не сразу разбирали.

— Молитесь?

Почувствовав, что смысл вопроса понят, немец показывал на станки, на фабричный потолок.

— Здесь не церковь!

Пение раздражало немцев, но только один мастер по фамилии Брок разгонял поющих девушек, подкрадывался к ним за станками в темноте, замахивался резиновой палкой.

Напротив дверей мужской и женской уборной в механическом цехе дежурил фабричный полицаи. Это был непомерно толстый, озлобленный своей обязанностью человек. Каждый раз, когда он направлялся в туалет с проверкой, шея и щеки его багровели. Как напоминание каждому, стоял он под большими электрическими часами в широком цеховом проходе и наливался кровью от одного того, что все его здесь видят. Обязанности свои он выполнял все с большим озлоблением. Вслед за нами входил в

уборную, открывал дверцы, с которых специально были сорваны замки. И скоро перестало казаться, что неожиданное поручение начальства унижает его.

Женщин от него некоторое время защищала естественная, что ли, стыдливость. Он им грозил блокнотом, в который заносил их номера и имена. Но однажды двинулся к дверям женской уборной и выгнал оттуда стайку русских девушек. И то, как входил туда и как выходил оттуда, было замечено всеми. Немцы смеялись, посмеивались и немки. Девушки, которых он выгонял, тоже отшучивались. Один он был непреклонен и багров. Под смех и выкрики провел двух девушек к их мастерам, чтобы те могли наказать их или сделать им внушение.

Все происходило напротив цеха, в котором я тогда возил тачку. На двух машинах работали немки Инга и Кристин, им помогала русская Христина. Так что в цеху были две Христи — русская и немка. Русская была среди тех, кого полицаи выгнал из уборной. В черном клеенчатом фартуке она шла впереди всех и что-то громко говорила полицаяу. Того, что с ней происходило, всегда, казалось, было слишком мало, чтобы испортить ей настроение. Не то чтобы мне это не нравилось, а просто было не по силам. Жизнерадостными в этом месте могли быть только блатные. Простой веселости я понять не мог.

Я уже знал, веселость — сила. Но в иные минуты думал, что как раз такую силу называют дурной. Не замечая моей унылости, Христия толкала меня мокрым — она работала с щелочной водой — животом, показывала свои чистые зубы и спрашивала, знаю ли я, как называется место, в котором не было, нет и не нужно зубов. Она была старше меня лет на пять, и я поражался тому, что взрослая женщина может так шутить с подростком. Это не было заигрыванием. У заигрывания есть надежда на продолжение.

Христинина веселость делала осторожнее и немцев. Они тоже чувствовали в ней силу, которая шла ниоткуда и ни от чего не зависела. На полицаю, который привел ее к мастеру, она махнула голый по локоть рукой.

— Унтерменш!

Усатый, состарившийся в фабричных полицаих, он багровел, ожидая, что мастер накажет ее. Свой долг он выполнил и ждал, чтобы его выполнили другие.

Мастер погрозил Христе пальцем и кивком отпустил полицаю.

Сцена продолжала вызывать у всех любопытство, и я сказал Кристин и Инге:

— Так и вас, как Христю, с полицаем!

— Нет,— ответила Кристин,— нас нет!

Инга засмеялась.

— Нас нет!

Чтобы я понял, они еще раз повторили, что их-то из туалета с полицаем не поведут!

Инга и Кристин тоже устраивали себе в уборной рабочий перерыв. Иногда прихватывали с собой и Христю. Она шла тогда, с вызовом поглядывая на мастера и полиция.

Инга приходила на работу с синими полукружьями под глазами. Ее спрашивали, спала ли она ночью. «К сожалению, спала»,— отвечала она. Ее утренние синие полукружья возбуждали воображение шутников. Но, как и в Христе, в ней была сила, не убывающая от этих шуток. На Ингу смотрели, будто место, где она стояла, ярче освещено. Подшучивающий над ней тоже будто разом ступал в ярко освещенное пространство. И тотчас ощущал напряжение. «И долго ты выдержишь?»— говорил весь вид Инги. Так она держалась и с мастером, когда тот ее отчитывал.

Мастера звали Альфред. У него было невероятно худое лицо. Никак нельзя было сказать, что сам мастер очень худ. Но чисто вымытая кожа обтягивала кости черепа, будто совсем лишены мышцы. Череп к тому же был кривоват. К жуткому этому впечатлению нельзя было привыкнуть, хотя я уже видел такие немецкие лица и, значит, был готов увидеть еще одно. Пронзительный деревянный или костяной голос усиливал впечатление от обтянутого кожей несимметричного черепа.

Носил Альфред чистый синий комбинезон из хлопчатки. Это выделяло его среди мастеров, посивших желтые халаты. И руки у него были такой чистоты, будто он не притрагивался к деталям, которые обрабатывались в его цеху. Скрипучесть голоса усиливалась тем, что он стремился говорить медленно и рассудительно. Назидательность так и скрипела в его деревянном или костяном горле.

Похоже, что он гордился своей сдержанностью и назидательностью. В мире криков и замахований он свободно их выбрал.

В общем, он был не хуже, а может быть, и лучше других. И не его вина, что смотреть на него было невыносимо. Или, напротив, что, как от Инги, глаз от него нельзя было отвести. Все время хотелось проверить свое первое впечатление.

Оно было ужасным. И дело не только в его несчастном лице. В мире, где череп и скрещенные кости носили на своих мундирах и фуражках сотни тысяч людей, его уродство приобретало неожиданный смысл. Казалось, и мастером его назначили из-за его лица.

Все это он, конечно, прекрасно понимал.

Решетчатая контора его была посреди цеха. Она была хорошо освещена дневным светом или большими цеховыми лампами. Когда же Альфред работал за своим столом, он включал настольную лампу, и кожа на его черепе становилась красноватой, как от сильного загара. Сбоку ли, с затылка ли на него в этот момент посмотреть — отовсюду был виден его ужасный череп.

Со своей тачкой я оказывался с разных сторон конторки. От работы спасался в уборной или в другом укромном месте и потому все время следил, на месте ли Альфред. Он знал, что я плохой рабочий. Другим рабочим у него тоже не было оснований доверять. Но сдержанность его сказывалась еще и в том, что, сидя в конторке, он редко поднимал голову от стола.

Ни мне, ни другим побряжек он не давал. Только редко поднимал голову от стола и, когда собирался выйти в цех, делал это у всех на глазах неторопливо. За все это я стал его постепенно уважать и даже испытывать к нему род странной благодарности.

По прихоти той ужасной системы, для которой Альфред работал, сторонником которой он, несомненно, был, он из уroda превращался во что-то вроде живой эмблемы. Эта жуткая система давала человеку с его лицом единственный в своем роде шанс. Это видели все, этого не мог не понимать он. Но шанс надо было использовать — так работала система. А он избрал сдержанность.

И, ругая своим пронзительным, скрипучим голосом Ингу, рискуя увидеть в ее глазах нечто неприятное для себя, он не переставал быть сдержанным.

Конечно, и уважение, и странная благодарность, о которой я говорил, были тогда в самой глубокой тени страха и настороженности. После каждой провинности, а за день их накапливалось много, я ждал, что сдержанность оставит его и он уступит обычному в этом месте желанию размахнуться и ударить. Ведь между токарным цехом Брока, где дрались, и цехом Альфреда никакой перегородки не было. Перегородка была в ужасном черепе Альфреда. Не природа наградила его сдержанностью. От природы он был возбудимым человеком. Много раз бывшие

причиной его ярости, я видел, каким возмущением загорались в мертвых глазницах его глаза, слышал, на какую пронзительную высоту поднимался его голос, следил, как подрагивали нервные пальцы, и понимал, какому испытанию в этот момент подвергается та самая перегородка. Ярость его не переходила границу, за которой мастера начинали драться, но каждый раз перегородка выдерживала. С облегчением я замечал в его глазах отлив, прислушивался к тому, как смягчалась в голосе ярость, переходила в привычную назидательность.

— Абер некте маль!.. — грозил он.

Но и в следующий раз все повторялось.

Он мог и разыграть возмущение, но с каким-то странным пониманием и даже сочувствием мог и улыбнуться страху, который сам же на меня нагонял.

Не улыбка — возможность улыбки всегда жила в его страшноватом лице. Глядя на него, я вымогал улыбку. В самый разгар распекания где-то в его глазницах возникала догадка, преодолевая сопротивление, приходила, улыбка, он покачивался с пяток на носки, говорил: «Ну-ну!» — некоторое время пытался совладать с лицом, закладывал руки за спину и уходил. Со спины это был довольно крепкий и даже не очень худощавый мужчина в синем комбинезоне.

И в памяти почему-то оставалось не то, как ругался, а то, как поддался моим домогательствам и как в самый разгар угроз между нами проскочила искра понимания. Отойдя на несколько шагов, он иногда возвращался: искра, которой он дал проскочить, беспокоила его. Говорил еще раз что-то угрожающее и уже не позволял себе улыбаться.

Счет моим провинностям день ото дня рос, страх накапливался, искра понимания проскакивала все реже, потому что разумной меры между работой и уклонением от нее я не выдерживал. К тому же начались мероприятия по ужесточению дисциплины. Полицай, стоящий под цеховыми часами напротив мужской и женской уборных, был одним из них.

Заводская продукция упаковывалась в картонные пакеты, те — в плоские деревянные ящики с веревочными ручками. Склад ящиков и пакетов был в дальнем конце цеха. Я поднимался по ящикам, как по ступеням, под самый потолок, там у меня было убежище, которое я выстелил картоном.

Я прятался здесь дольше, чем раньше в уборной, и выходил, когда подсказывали страх и осторожность. Но

страх перед работой и усталость оказывались сильнее осторожности. Альфреда я заставлял в ярости. Он набрасывался на меня:

— Во бист ду ден?!

— Аборт,— отвечал я.

Показывая на полиция, Альфред кричал, что в уборной меня искали и там меня не было.

«Искали» — это очень плохо. Когда не только глаза Альфреда, но и еще чьи-то на мне сойдутся, Альфред поступит как все.

Возможность того, что Альфред поступит как все, с каждым днем увеличивалась. Когда он меня ругал, мог подойти Брок. Кто-то мог узнать о моем убежище и донести. Терпение самого Альфреда могло лопнуть. Как бы ни повернулось, не избежать мне собственных упреков в глупости и неумеренности, из-за которых я не поладил с таким мастером. Вот что было досадно. Ведь каждый шанс, который здесь давала судьба, мог оказаться последним. Боязнь его потери — особый страх. В убежище среди ящиков мысль об этом не оставляла меня ни на минуту. Возвращаясь из убежища, я каждый раз боялся застать в цехе грозу. Но не всегда она разражалась из-за меня.

Инга и Кристин тоже делали самовольные перерывы в работе. Снимали клеенчатые фартуки, вешали их в шкафчик, вытирали мокрые от щелочной воды руки, гасили на машинах свет и отправлялись в уборную. И то, как неторопливо вытирали тряпками голые по локоть руки, как откатывали рукава кофточек, как шли мимо полиция к дверям туалета, как иногда останавливались на поддороге и кричали Христе: «Кристин!» — замечали все в цехе.

Инга и Кристин были хорошими работницами. Они выкраивали себе перерыв, а не брали его, как я, и потому чувствовали себя хозяевами своего времени.

Это был не то чтобы узаконенный, а привычный перерыв. Возражать Альфред мог только против того, что женщины коллективно покидали рабочие места. Но, когда он об этом заговаривал, видно было, что тема для него деликатна, а Инга, Кристин и Христя этого нисколько не боятся.

Однако с того момента, как под часами в цеховом проходе стал клозетный полицай, в самовольном перерыве, который позволяли себе Инга и Кристин, появился вызов. Он усиливался, когда полицай повадился в женский

туалет. Я видел, как краснел Альфред, когда Инга проходила мимо. Она обходилась без слов, если он ругал ее; но, кажется, это еще больше раздражало его. Уклонявшийся от работы при малейшей возможности, я вообще поражался непрерывным спорам Альфреда с Ингой и Кристин. Лучших работниц в цехе у него не было. К тому же у полной и крупной Кристин было лицо человека, легко прощающего и забывающего обиды. Еще была в ней приятная беззлобная непонятливость. Точно не сразу решала, в ту сторону идти или в другую, с этой стороны крикнули или с той. И рукава на полных руках закатывала, будто не для фабричной, а для кухонной работы.

Трудно мне было разобраться, но, может, Альфреда в Инге раздражало чувство превосходства, которое каким-то образом связывалось с ее утренними синяками под глазами, а в Кристин то, что она словно не жила в мире, где надо очень быстро ориентироваться.

Несколько раз я видел, как он отчитывал их. Инга слушала все с тем же видом превосходства, который заставлял Альфреда напрягаться. А на пухлогубом лице Кристин нельзя было определить выражения. Она просто ждала, когда он закончит.

Клозетный полицейский все-таки вызвал всеобщее возбуждение. Хотя он как будто бы стоял для того, чтобы выгонять из уборной русских и других иностранцев, Инга и Кристин сразу же почувствовали желание доказать, что их это не касается. Звали с собой Христю — убеждались, что их покровительство чего-то стоит. Мимо полицейского беззлобная Кристин проходила вызывающе виляя бедрами. Если она забывала снять свой клеенчатый фартук, было особенно заметно, какая она полная женщина.

Но скоро вызову пришел конец. Как-то выждав несколько минут, полицейский двинулся за ними. Потом из-за дверей туалета показались возмущенная Кристин, веселящаяся Христя и спокойная Инга. Некоторое время нельзя было понять, кто кого конвоирует, женщины полицейский или он их.

Цеховой шум не давал услышать, что там говорилось. Но рот у Кристины был открыт так, будто она изумлялась: «О-о!» Казалось все-таки, что это женщины тащат полицейского к мастеру на расправу.

Несколько острых мгновений и я ждал справедливости. Эти мгновения мне уже приходилось переживать, я знал им цену. Но каждый раз почему-то надеялся, что

безграничная несправедливость сама себя где-то ограничит. К тому же случай особый. Не иностранок, а немка полицай оскорбил на глазах всей фабрики. Альфреду с его сдержанностью и склонностью к назидательности это должно было претить. Да и сам толстый усатый боров должен был быть ему противен.

Он приближался к Альфреду, и простым глазом было видно, какие они разные.

Женщины и полицай вошли в решетчатую конторку. Там начался крик, который постепенно был перекрыт скрипучим голосом Альфреда. Отчитывая женщин, Альфред багровел, как полицай.

— Немецкие женщины!.. — кричала на него Кристина.

— Немецкие женщины!.. — отвечал ей Альфред.

Инга высокомерно молчала. Христя пряталась за их спинами. Так они и пошли из конторки. И еще долго Кристина изумленно произносила: «О-о!»

Вскоре после этого Альфред отделался от меня, как от плохого рабочего. Новые события и переживания вытеснили из памяти цех, в котором я недолго возил тачку. Лишь иногда мне вспоминалось ужасное лицо мастера и неясное чувство благодарности, которую он вызывал своей сдержанностью. Но историю с клозетным полицаем и изумленное «О-о!» Кристины, которая как бы на секунду почувствовала себя русской на этой фабрике, я не забывал никогда. Немки и Христя были единственными женщинами, рядом с которыми мне пришлось работать. Инга и Кристина редко обращали на меня внимание. Но мне это и не нужно было. Если они заговаривали со мной, я сразу попадал в слишком освещенное пространство. Подходивший к крайнему истощению, я мог оценить прилежание, с которым работали эти две здоровые женщины. И был поражен, когда Альфред и полицай устроили на них охоту. Безграничная несправедливость была тех, кто был ей полезен, и смыкалась, казалось мне, с крайней глупостью. Последовательность, угадывавшаяся во всем этом, была ужасной, как эмблема, на которую было похоже лицо мастера.

И еще, эта история запомнилась мне потому, что Христя была из тех женщин, которых знал весь лагерь. Она и познакомила Стасика с той самой Соней, к которой он шел на свидание.

Вернулся со свидания Стасик загоревшим и как будто переболевшим. В воскресный день они с подружкой убегали из лагеря, прятались где-то на пустыре. Глаза его таращились нестерпимо. Был в них голодный и еще какой-то блеск. Стасик не курил, но у кого-то схватил окурочек и стал мусолить неумелыми мокрыми губами. Его сжигало возбуждение.

Подошли Блатыга, Сметана и вся компания. Впервые в жизни Стасик пытался совладать со своим глупым, громким голосом. Но возбуждение мешало рассказывать. Вначале это были обычные «блатные» междометия. То ли угрозы, то ли победные выкрики, то ли удивление, что все произошло именно с ним.

Компания сочувственно прислушивалась к привычным ругательствам.

Постепенно в голосе Стасика снова появилась громкость, он стал кричать, как всегда. Только оставался переболевшим и не исчезал из глаз блеск, который, казалось, изменил их выражение навсегда.

Запавшие щеки, голодный загар, болезнь в глазах говорили о том, что со Стасиком произошло нечто невероятно важное. О том же говорило его возбуждение. Но напрасно я ждал в словах Стасика соответствия тому, что с ним произошло. Свои блатные слова он выкрикивал, будто вернулся с нежданно победной драки и теперь жалел, что кого-то ударил не так, и обещал в следующий раз маху не дать.

Послушать, так он кого-то заманил, обманул и обобрал. И никакой жалости и благодарности! Только торжество после пережитого страха.

«Не о том говоришь!» — хотелось крикнуть ему.

Он был дурак, но не злодей же! Да и блатным его нельзя было считать. Это блатные говорят то, что положено, а не то, что чувствуют. А тут помимо обычного блатного предательства было покушение на какую-то главную надежду.

Да и не к этому Стасик готовился, когда шел на свидание. И не об этом говорили его переболевшие глаза.

— Забожись! — сказал Сметана.

Кажется, этого Стасик боялся больше всего.

— При ней скажешь?

— Да я!..

Больше всего Стасик опасался, что его невероятной

удаче не поверят другие. Он шел сюда с этим страхом. И теперь припоминал новые подробности и все хуже говорил о Соне, будто именно это должно было убедить Блатыгу и Сметану в его правдивости.

— Ну, сука! — кричал и тарасился он, показывая, как разговаривал с Соней.

У Блатыги лицо было выжидающим, у Сметаны — прицеливающимся. Кивком, сочувственной усмешкой, дружелюбным ругательством они могли показать всем, что разделяют чувства Стасика и тем самым признают его рассказ правдивым. Но они не делали этого. Сомневались они не в словах Стасика. Дело было в другом. Поверить Стасику — признать за ним какое-то преимущество. А этого они не хотели.

Их недоверие ожесточило Стасика против Сони. Теперь ему нужно было еще больше слушателей. Его возбуждение искало выход. Из дружеских чувств компании он отказывался от удачи, которой ни у Блатыги, ни у Сметаны не было. Никто не сомневался, что в женских бараках узнают о его рассказах. Но он шел на это, добиваясь, чтобы ему поверили. И, когда он повел себя как последний дурак, Блатыга кивнул, а Сметана засмеялся:

— Учти, — сказал он Стасику, — скажешь при ней.

Они обобрали его и успокоились.

Стасик еще два дня праздновал свою удачу. А когда его крики и рассказы всем надоели, он перехватил Соню по дороге из кухонного барака. Она вздрогнула, и я понял, что ей уже все известно, но она еще надеется.

— Что! — тарасься и бледнея, словно сам попал в ловушку, закричал Стасик. — Хочешь еще?! Тебе мало?! Мало?!

Она молча попятилась, потом быстро обошла его. Он еще кричал ей вслед, кривляясь и оглядываясь на Блатыгу и Сметану. Но они стояли с равнодушными лицами.

Стасик жертвовал собой ради них, ради всей компании. Но теперь он был обобран до нитки. А самопожертвование тут ничего не стоило. И Стасику это еще предстояло узнать.

Если в дело замешаны блатные, то, как бы оно ни начиналось, все равно оканчивалось злом. Но поражало даже не само зло, а то, что ругательства и угрозы никто вначале не мог принять за намерения, настолько даже опытным людям здесь не хватало смысла. Фокус был в том, что смысл, превращавший бессмысленные ругательства в намерения, был тут только для самих блатных. Но там,

где они его находили, нормальным людям просто в голову не пришло бы его искать. Того, над кем почему-либо нельзя было возобладать, надо было постараться сделать хуже себя. Это и было разыграно со Стасиком. Казалось, Блатыгу и Сметану вел инстинкт. Но к сделанному они относились сознательно. Когда через пару недель Стасик подошел к Блатыге и Сметане, мирно разговаривавшим с Соней, Блатыга лениво усмехнулся, а Сметана спросил:

— Чего тарацишься? Звали?

Историю со Стасиком они использовали по-своему. Стасика сделали «дурнее себя». Теперь пришло время защищать Соню от него. То, что Стасик так прямо истолковал и принял их подначки и ругательства, их не касалось. Когда Стасик в отчаянии сказал Блатыге: «Ты же говорил!...» — Колька несколько секунд не давал своему возмущению вылиться в нечто сокрушительное для Стасика, а потом неожиданно согласился:

— Говорил.

— Так как же? — растерялся Стасик.

— А у тебя своя голова есть?

И Стасик почувствовал, что погиб, что он это предчувствовал и ничего хуже Блатыга ему сказать не мог.

Ровесники, мы все переживали период замороженности словом. Видели, что между словом и делом есть разрыв, и думали, что с возмужанием он будет преодолен.

— Отвечаешь?! — ловили мы друг друга на слишком пылких клятвах, угрозах, обещаниях потому, что это был еще и период слишком пылких клятв, угроз, обещаний. То есть отвечаешь ли делом за слово. Вынуждали проговорившегося выполнить нечаянно брошенное обещание, но одновременно давали ему возможность отступить от него. Каждый по себе знал, какие тут бывают трудности.

Трудности, однако, казалось, шли из детства. С возрастом они должны были быть преодолены. Поэтому каждое слово, не соединившееся с действием, не забывалось, откладывалось огорчением.

Конечно, можно было не обещать, не клясться, не угрожать. Но сдержанность требовала больших сил, чем пылкость. Нас всегда можно было поймать: «Отвечаешь?!» Только у блатных, казалось, из принципа самое нелепое слово связывалось с делом. Это было страшновато и завидно, и, может быть, больше всего притягивало к Блатыге и Сметане ребят.

Стасик на этом и поймался.

Блатные прекрасные учителя. Уроки, которые они

дают, никогда не забываются. Дело даже не в жестокости. Попавший к блатным видит, чувствует, как его готовят в дураки, но, повязанный словом, ничего не может сделать. А над ним потом смеются: «Своя голова есть?!»

У Стасика своей головы не оказалось. Это не удивило меня. Со многими такое случалось, когда они сталкивались с блатными. Удивляло озлобление и напряжение, которым не должна была закончиться любовная история. Удивляло, что Соня с самого начала не разглядела в Стасике того, что в нем было видно с первого взгляда, с одного сказанного с ним слова. Я всегда думал, что женщины лучше и проницательнее нас. Они были добрее к нам, чем мы к ним. Они добровольно пошли ухаживать за тифозными. Среди них не было приблатненных, они не дрались между собой, как мы. С мыслями о них связывались такие важные надежды. От Стасика я ждал какого-то подтверждения этих надежд. Но его крики скорее закрывали все надежды. И нечего было возразить! Стасик побывал на любовном свидании, а я — нет. И только переболевшие глаза его противоречили крикам и рассказам.

Так закончилась эта единственная известная мне любовная история, которую лагерь пережил до освобождения. Другие любовные истории если и случались, то не с моими сверстниками, которые таких тайн не умели хранить. Да и невозможно было спрятать что-либо на глазах у сотен людей.

Большинство барачных секретов рано или поздно выплывало наружу. Известны были люди, укравшие картошку, известны шкафчики, в которых она хранится. Известны игроки в карты, симулянты, с помощью членовредительства уклоняющиеся от работы. Известны сами способы членовредительства. Когда я решил перейти на положение кранка, мне были даны подробные инструкции. Я даже узнал, где взять электролитной кислоты, чтобы сделать себе ожог, и, когда заглянул в цех, где ремонтировались электрокары и заряжались их батареи, работавший там русский с полным пониманием отлил мне в склянку кислоты. А потом в течение почти полутора месяцев я приходил на перевязку к швестер Матильде, и она ставила в моей рабочей карточке красный штампик «кранк».

— Юма, юма! — качала она головой, ледяными стерильными пальцами ощупывая припухлости вокруг раны. Ожог был во всю тыльную часть левой кисти. К швестер Матильде ходили несколько человек, сжегших себе

кислотой именно тыльную часть левой руки.

— Найди себе другое место, — говорили мне. — Зава-
лишься и нас засыпешь.

Но, чтобы получить освобождение, надо было обжечь
руку или ногу, и в самом рабочем месте. Выбор невелик,
я так ничего и не придумал. К тому же с ожогом
я перестарался. Кожа под тряпкой, ымоченной кислотой,
почернела, обуглилась. Показывать этот угольный ожог
было нельзя, трудно объяснить его происхождение. Но
и работать я не мог. Горела голова, рука болела. Как
температурный больной, я в первый раз и получил
больничное освобождение. В рабочей карточке появилось
три заветных красных штампика, означавших, что три дня
я могу не подниматься со всеми при криках: «Ауфштеен!»
Придя в барак, я взял заранее приготовленный кусок
резины, наложил на рану и плотно перевязал тряпкой. Дня
через два без доступа воздуха обуглившаяся корка
отгнила, отпала и образовалась та самая рана, которую,
покачивая головой, рассматривала швестер Матильда.
Укоризненное: «Юма, юма!» — я переводил для себя как
сокращенное от «юнга», «юноша». И относилось оно
к размерам и состоянию раны. На швестер был белый
халат, белая косынка, медпункт был фабричным, а не
лагерным. Тут были чистота, кафель и стекло. Фабричное
звяканье, вибрация и шум, доносившиеся несмотря на
отдаление, говорили о том, что мне грозит, если рану
сочтут недостаточно опасной.

Решение, конечно, зависело от врача, но я всматри-
вался в Матильду, прислушивался, с какой силой
придавливают ее пальцы мою руку. Врачи менялись,
а швестер при каждом новом враче оставалась неизменной.
Неизменными были ее худоба, стерильность, решитель-
ность, с которой она срывала с ран присохшие бинты.
Матильда словно не с нами имела дело, а с нашими
ожогами, ранами, ушибами. Ее нельзя было назвать
доброжелательной, но и недоброжелательности за ней не
замечали. Только, может, слишком быстро отворачивалась
от нас, когда рана была обработана, и слишком громким
был ее мужской голос, когда мы надеялись на доверитель-
ность.

Однако, судя по некоторой осторожности пальцев, мою
рану швестер находила достаточно серьезной. Она позвала
врача и, когда тот взглянул из-за ее спины, сказала:

— Совсем без руки можешь остаться! Понимаешь?
Это было понятно и без перевода.

— Где работаешь? — спросил врач.

— В механическом цехе.

— Откуда ожог?

Этого вопроса я и боялся. Ненадежность истории о том, как я попал в литейный цех, в котором недавно работал, и как там мне на руку упал раскаленный металл, я сам понимал прекрасно. Не на историю я надеялся, а на то, что обойдется вовсе без вопросов. У других обходилось. Но правы были те, кто предупреждал, чтобы я придумал себе что-нибудь другое. Лицо врача не менялось, когда он выслушивал мои объяснения. И, когда, не задав больше вопроса, он отвернулся, я так и не понял, поверил он или не поверил, обошлось или не обошлось. Руку мне перевязали, в карточке появилось три новых красных штампа, полицай отвел нас в барак, а часа через два меня позвали к коменданту. И я понял, что не обошлось.

Кабинет коменданта тоже чем-то напоминал медпункт. Солнечный свет проникал сквозь стерильную белую занавеску, закрывавшую нижнюю половину окна. И вообще здесь была та же стерильность. Стерильность стульев, стола, шкафчика со стеклянной дверцей, чисто вымытых рук коменданта, новеньких шелковых чулок его переводчицы. И, хотя от наших барачков было всего несколько шагов, это был мир дневного света, вольных поз, комнатного пространства, не вытесненного и не перегородженного двухэтажными койками. Судя по шелковым чулкам переводчицы, кому-то из русских тоже был сюда вход. Бог знает сколько времени я не видел шелковых чулок. Должно быть, столько же времени не замечал, чтобы русские девушки полнели. Я не поднимал глаза, потому что эта девушка, которую звали Светлана, в мыслях и мечтах моих давно занимала много места.

Мы с ней редко виделись, еще реже разговаривали, но и в эшелоне, где со мной заговорила ее мать, и в пересыльном, где мы подходили к проволоке, чтобы крикнуть друг другу, и здесь, на фабрике, у нас были общие несчастья. Но вот, пока я рыл подземелье, работал в литейном, пытался с помощью Костика обжечь о раскаленный бок печи ту же самую руку, которую теперь сжег кислотой, Светлана оказалась в кабинете коменданта, и ногти на ее руке блестели лаком, когда она потянулась за сигаретой. До войны я знал только двух курящих женщин. Это были наши дальние родственницы. Я всегда ждал, когда они сомнут по-мужски мундштук папиросы и, деликатно отвернувшись в сторону, зажгут спичку. На это хотелось

еще и еще раз взглянуть. Курящая женщина была чем-то вроде женщины-шофера. Шелковые чулки, из-за которых ноги казались пополневшими, и сигарета, за которой потянулась Светлана, произвели на меня одинаковое впечатление. К тому же потянулась она к сигаретам коменданта, а я знал, что немцы на фабрике табаком не делятся не только с иностранцами, но и друг с другом. И, когда комендант, опередив ее, взял со стола пачку, я подумал, что он отбирает сигареты. Но он протянул ей открытую пачку и поднес зажигалку.

И, пока все это происходило, пока я переступил порог и сделал еще шаг в комнату, я думал, как они сблизились друг с другом. Не только она с ним, но и он с ней. Как выделил из нескольких сот русских женщин и девушек, как увидел в ней то, что я не видел. Немецкой знала она плохо. Это сейчас и должно было обнаружиться и обнаружить то, во что не хотелось верить и что ей стыдно было бы мне показать. Я даже надеялся, что она свободно заговорит по-немецки и будет понятно, почему она в шелковых чулках и почему так свободно потянулась за сигаретой.

— Данке шен, — сказала она коменданту.

Она спасала от каторжной работы не только себя, но и свою мать. Это можно было понять, но это и ужасало меня. Едва переступив порог, я почувствовал: не избежать позора. Ничего особенного я не говорил ее матери или ей, но все, что говорил, теперь оказалось невпадом. И место в моих мечтах она занимала невпадом. Это сразу ударило в голову. А то, что в мыслях рядом с ней я отводил себе, теперь принадлежало лагерному коменданту.

В новом платье она сидела за небольшим столиком коменданта. А он в белой рубашке без пиджака на стуле у стены. И то, что они так вольно поменялись местами, было особенно неприятно.

Ни на мгновение я не забывал, зачем меня вызвали, но и страх, что они догадаются о моих мыслях, не оставлял меня. К этому прибавлялись сомнения, показывать коменданту, что мы знакомы, или нет, здороваться с ней или не надо.

Был и совсем глупый страх. Вдруг ей меня первого переводить, и я буду невольным виновником того, что она провалится и ее отправят на фабрику. Какие-то сомнения одолевали и ее, и комендант спросил:

— Знакомы?

— Да, — кивнула она. — Из одного города.

В том, как она подбирала немецкие слова, не было

свободы. Но больше перед предстоящим разговором меня напугала пронизательность коменданта. На секунду он словно отстранился, давая нам возможность поговорить. Я спросил:

— Давно ты?

— Уже два месяца, — сказала она.

— Довольна?

— Очень культурный человек.

Я замолчал. И комендант сразу же быстро заговорил. И в звучности и гибкости его голоса было, казалось, нечто подтверждающее слова Светланы о нем. Это было и в его рубашке, и в том, как он перехватил сигареты, чтобы подать ей, и в атмосфере прерванного разговора, которую я застал, перешагнув порог комнаты. Она не сразу истаяла, и я подумал, что Светлана хорошо понимает коменданта, если так оживлена и раскраснелась. Это оживление, атмосфера прерванного разговора были мне неприятней, чем новое платье и шелковые чулки. Но она же давала надежду, что Светлана научилась немецкому языку.

— Господин комендант спрашивает, — сказала она, — как ты обжег руку?

И я, почему-то решив, что здесь не годится история, которую я рассказал врачу в медпункте, сказал, что хотел сварить картошку на газовых горелках, которыми перед заливкой разогревают фаны. Пустил газ, чиркнул спичкой, и вот...

Пронизательности коменданта я делал уступку — картошка могла быть только ворванной.

— Картофель кохен, — сказала Светлана.

Это не было переводом. Так в лагере сказал бы каждый.

Комендант ответил длинной фразой, и я подумал, как же они разговаривали перед моим приходом и на что он рассчитывает, предлагая ей перевести так много слов.

— Как обжег руку? — перевела Светлана.

Тогда я сам попытался объяснить. Показал, как держал в левой руке спичку, как запоздал чиркнуть ею, и газ накопился. Я не левша, и все выглядело не очень правдоподобно. Со страхом я чувствовал, что после каждого его вопроса количество неправдоподобного будет накапливаться, пока не погубит меня.

— Господин комендант говорит, что ты уже не работаешь в литейном цеху. Что ты там делал и откуда у тебя картошка?

— Товарищ дал, — сказал я, отчаянно увеличивая количество опасной неправды.

— Камрад, — перевела Светлана.

— Я услышал крепнувший от раздражения голос коменданта:

— Какой камрад?

— Из литейного цеха, — сказал я, — не знаю, как зовут.

Светлана переводила «не знает», «литейный», а я надеялся, что ей станет страшно за меня, она скажет что-то вроде «он болен», «истощен» или «я его давно знаю». Но она вторила коменданту. Слова она перевести не могла — переводила мимику, интонацию. Это было особое переводческое щегольство. Вначале я невольно на нее рассчитывал, хотел все объяснить и попросить совета, но вовремя удержался.

— Господин комендант, — сказала она, — говорит, что у многих русских ожоги на руках и ногах. Он спрашивает, откуда так много ожогов?

— Не знаю, — сказал я. — У меня освобождение из-за температуры, а не из-за ожога.

— Температур, — перевела Светлана, и я почувствовал, что впервые соврал удачно.

— Какая температура? — спросил комендант.

Я сказал, что около тридцати девяти, и почувствовал, что вынырываю, что, кажется, на этот раз обошлось. Комендант, который до этого сидел, все более наклоняясь вперед, словно готовясь вскочить, откинулся на стуле назад. Повторяя его движение, Светлана закинула ногу за ногу, и я вочию увидел, как наполнили ее ноги. И тесный шелк, и обнажившаяся полнота, и забытая поза, в которой я давно не видел ни одной русской женщины, все было незнакомым, как оживление после разговора, который я прервал своим появлением. Никакого оживления не могло быть — для этого они слишком плохо понимали друг друга.

Светлана была года на три старше меня. Девчонкам в нашем классе классная руководительница делала замечание, если они садились, закинув ногу за ногу. Среди маминых знакомых, закинув ногу за ногу, садились обычно курящие родственницы. Об этом говорилось с таким же выражением, как и о том, что они курят. Поза Светланы показалась мне такой же вызывающей, как и сигареты и шелковые чулки. Все было не свое, как и должность переводчицы. Сменится комендант или ему надоест ее плохой немецкий язык, и ее тотчас отправят на фабрику. Ожог тогда останется у нее от шелковых чулок.

Но самым безнадежным было то, что она не одна,

а с матерью. Позор не делился на двоих, а стократно усиливался тем, что был семейным. О старшине Гришке можно было думать, что где-то у него добрая жена, мать или дети. Он их позорит, но тут нет безнадежности, потому что они ни при чем и за него не отвечают. О нем легче было думать, чем о Светлане и ее матери. Однако до всего этого мне не было бы никакого дела, если бы Светланин позор какой-то стороной не задевал меня. Это было первое, что я почувствовал, увидев ее за комендантским столиком. словно мне рассказали, что я во сне или в беспамятстве совершил что-то непоправимое. Или стал сообщником совершившего непоправимое. Мысли мои о Светлане никогда не были серьезны. Так же мечтательно, как о ней, я мог думать о других взрослых женщинах. Мне было бы стыдно, если бы они догадались, как я думаю о них. Но если бы об этом догадался Костик, стыдно не было бы. А тут я заледенел от страха, что кто-то в мужских бараках узнает о моих мыслях о Светлане. Коменданта и врача я боялся больше, но только потому, что разоблачения, которыми грозили они, были ближе.

— Господин комендант, — сказала Светлана, — отпускает тебя. Он говорит, чтобы ты шел в барак, быстрее выздоравливал и возвращался на фабрику.

Не глядя на меня, комендант кивал в такт ее словам. Потом коротко взглянул и, как бы закрепляя и подтверждая то, что сказала Светлана, спросил:

— Ну?

Я кивнул. Словечко было понятно и без перевода. Оно означало примерно: «Не так ли?»

Он отпустил меня не из-за ловкости моих ответов. Они казались мне такими неправдоподобными, что я ждал взрыва каждую секунду. Больше всего боялся быть избитым на глазах Светланы. Но, может, он не захотел бить именно на ее глазах. Может, запутался в плохом переводе или испугался заразности моей болезни. Блатыга отмахнулся бы: «Обошлось!» Я мог быть доволен собой. Лагерные уроки я усваивал — тянуть надо до последнего.

И не нужно доискиваться, почему обошлось. Надо отдыхать от страха. Потому что здесь страхи не отпускают тебя, а только перегруппировываются. Станешь искать — до настоящего страха докопаешься.

Я шел в барак и боялся, что кто-нибудь дознается о моих мыслях о Светлане. И через много лет этот страх не кажется мне смешным. Не было мыслей, которыми я не делился бы с Костилом. И, если меня посещали «нечи-

стые» мысли, делился и ими. Мысль являлась сама. Тут было много удивительного. Она приходила ко мне, но от меня как бы не зависела. Значит, и принадлежала не только мне.

Другими словами, я проговаривался и раскаивался в этом потому, что Костик высмеивал меня.

Узнавая мои мысли, он получал власть надо мной. Проговорившись, я тут же просил: «Никому не говори!» Он посмеивался: «Ладно!» Или дразнил: «Скажу!» Только в этот момент я понимал, что мысль — мое продолжение. Тут было противоречие, с которым я не справлялся. Мысль являлась незваной. Я не ждал ее, не добивался, чтобы она пришла. Она могла прийти в очереди к Гришкиному раздаточному окну, на работе, во сне — в самый неподходящий момент. И в первую секунду радовала, удивляла или поражала меня. Меньше всего в это время я думал, что отвечаю за нее. И только в тот момент, когда делился ею с Костилом, понимал, что отвечаю за нее так, как если бы она была моим продолжением.

То, что я думал о Светлане, на что надеялся, и было моим продолжением.

К тому времени я уже мучился тем, что совершенно не защищен от нечистых мыслей. И наказывал себя тем, что рассказывал о них Костику. Я, конечно, не мог заранее определить, какие мысли нечистые. Но, когда они являлись, я по страху, что этих догадаются другие, сразу их узнавал.

Со страхом и неприязнью к себе я заметил, что мне не по силам поступки, которые полностью соответствовали бы моим же мыслям и чувствам. Ярость и ненависть слишком часто подводили меня к самому главному, чтобы я мог этого не заметить. Я упустил десятки случаев достойно погибнуть и, значит, жил недостойной жизнью. Ни малейших сомнений в этом у меня не было. Я был обязан убить феоарбайтера Пауля, но удерживался, хотя не ярость это уже была, а наваждение. Словно ждал еще большей ярости и большего наваждения. И не для того, чтобы вернее направить их против Пауля, чтобы самому легче было умереть.

Мысль о гибели была мне известна в самых разных оттенках.

Чтобы выжить, не надо ставить себе цели. Я пытался справиться с инстинктом самосохранения.

Не имело значения то, что ночами я еще звал маму и плакал от жалости к себе. Слезы не залечивали ран,

которые я получал днем. °

Ужас состоял в том, что днем происходило то, чего не могло быть, а я не мог признать это тем, что есть и может быть. С этой болью нельзя было жить. Ярость была только наиболее яркой вспышкой этой боли. Против лагерных и фабричных полицаев она была бессильна, но давала надежду победить страх. Не сладость мести представлялась мне, а сладость освобождения от боли.

То, что другим было не лучше, чем мне, ничего не меняло. Боль была такой силы, что от нее нельзя было отвлечься. К тому же я не знал, что испытывали другие. Костик смеялся, когда я предлагал ему вместе бежать: «Как ты дорогу домой найдешь? По шпалам?»

Когда я боролся с желанием ударить Пауля киркой, я боролся с наваждением отделаться от боли. Удерживал меня страх темноты. Я ждал, что боль вот-вот его пересилит.

Ужас состоял еще и в том, что боль не была бессловесной. И самые страшные слова не надо было произносить, потому что они были обращены к самому себе.

Такую боль нельзя перетерпеть или завянуть. Когда отливала ярость, я не испытывал облегчения, потому что приходило чувство вины.

Только что я боялся, что комендант и Светлана догадаются, как я обжег руку, отвлекался страхами и помельче, а главная боль не отступала ни на секунду. Как голод, она накопилась в мышцах и мозгу, текла по сосудам. Излечиться от нее можно было, только убив коменданта, полицаев или Пауля. Это была единственная чистая мысль. Все остальные были нечистыми.

Никакого значения не имело то, что я сам изуродовал себе руку и избавился от работы. Надо было решиться, чтобы причинить себе даже такую боль. С теми, кто на это не шел, я не стал бы прибедняться. Но сам-то знал, что это мелкая уступка тому, на что действительно надо набраться сил.

Как рассказать о том, как почти ничего не знающий о таких болезнях подросток заболевает ненавистью, как поражается тому, что от нее нет отдыха и что самый жестокий приступ может настичь, например, за баландой, когда ненависть смешивается со слезами и жалостью к себе?

На что же рассчитывали те, кто не просто возбуждал в нас ненависть, а доводил ее до болезни и заботился о том, чтобы болезнь не ослабевала!

Однако нечистыми были не только те душевные движения, которые вызывались страхом полной темноты и помогали выжить в невозможных условиях. Нечистым был интерес к Матильде и Светлане. Нечистой — симпатия к Альфреду. И вообще все то, от чего бы я охотно избавился, не пустил бы в свои мысли. Но отвернуться от интереса к Матильде или Светлане, к Инге или Христе было так же трудно, как истребить в себе страх темноты.

И вообще оказывалось, что справиться с мыслями, которые я не звал, а потом долго отталкивал, не легче, чем преодолеть каторжную усталость или восторжествовать над голодом.

Нечистой была мысль, у которой не хватало силы заявить о своем появлении. Это было главным...

В бараке меня ждали кранки.

— Ну что? — спросили меня.

Я рассказал, и все вздохнули с облегчением. Здесь тоже не заглядывали далеко. Пронесло — и слава богу. О Светлане и не спросили. Ее никто и не знал.

В комнате кранков стоял сладковатый запах гниющей плоти. Сутки я не трогал повязку, которую наложила Матильда. Потом размотал бинт, снял марлю с мазью, а рану накрыл резиной. У всех таких кранков, как я, под бинтом была резина, а не марля с мазью. Под резиной рана не заживала. От этого и шел сильный запах гниения. Марлю с мазью возвращали на место, когда отправлялись на перевязку.

Гниющие раны — еще одна тайна, о которой знали многие.

В день освобождения вечером военнопленные позвали девушек за праздничный стол. Вспомнили, когда хлеб был нарезан, побежали в женский барак, кого-то привели, тут же познакомились. То есть все знали друг друга. Виделись на фабрике, в колонне, но все-таки познакомились в первый раз.

Соседка сказала:

— Тебя зовут Сергей.

Меня сжигали возбуждение и азарт этого дня, тревожила темнота за окнами барака, тревожила поллитровая кружка с ромом, которая по кругу приближалась ко мне. Я хотел рассказать Ванюше, как отбил от немцев, когда катил в лагерь добытую на фабрике пищевых концентратов бочку со смальцем, и не запомнил, как зовут соседку.

Стоя, как делали все, принял кружку и, выдохнув воздух, спешно пошел на улицу, чувствуя, что барачный пол с неприятной скоростью стал наклоняться. Но и проваливаясь с порога, испытывал недоверие к лагерной темноте. Слишком многое в ней накопилось, чтобы даже такое опьянение могло погасить тревогу.

А утром со страхом и стыдом узнал, что ночью в женском бараке побывали пьяные американцы. Ощущение было, как после разговора со Светланой, будто я во сне совершил что-то непоправимое. Недаром полицаи грозили: «Освобождения вам не будет!»

Солдаты знают или догадываются, за что с них не взыщут. Вот чем это обожгло. Их было человек десять, да и голландец не прятался. Не боялся быть узанным.

Мы навидались насильников, не боявшихся, что их завтра узнают, и знали, что это означает. Это значило, что завтрашнего дня надо бояться нам.

А ведь ничто, казалось, не предвещало этого налета. Вчера американская танковая разведка оставила нашим раненым двух санитаров. До подхода моточасти они провели в лагере несколько часов. Правда, и танкисты, и солдаты на «джипах» не проявляли особого радушия. Но ведь они ехали туда, где стреляют. И хотя холодок, идущий от вооруженных людей, замечается и запоминается, мы могли его понять. Нам не мешали толпиться вокруг открытых машин, удивляться белым пятиконечным звездам на дверцах, ветровым стеклам, откинутым на капот, тому, что из-за одинаковой формы нельзя понять, кто офицер; что солдатские каски как две капли воды похожи на наши, но самих касок две: металлическая и пластмассовая. И не поймешь, легкая нижняя каска на солдате или тяжелая верхняя.

Это были враги наших врагов. Нам не хватало ответа на наше ликование, радости одинакового понимания смысла войны. Но ведь нас самих и нашу войну они знали слишком мало. Достаточно было того, что с их приходом открылись лагерные ворота.

Конечно, нам пришло в голову, что ночью в лагере побывали американские блатяги и сметаны. Но слишком много угроз шло от недавнего прошлого, слишком густо было растворено в воздухе насилие и слишком много мы о нем знали, чтобы забыть другие возможные его причины.

На следующую ночь девушки выносили матрацы на улицу. Прятались и на третью ночь, не хотели почевать

в бараках. Не спали и мы.

Лицо у Костика было осунувшимся и загадочным, когда он спросил меня:

— Соньку знаешь?

— Да.

— Предлагала ночью лечь с ней.

— Сама?!

— «Будешь делать что хочешь...» — усмехнулся Костик. — Говорит, американцы не трогали тех, с кем на койке был парень. — И Костик повторил заставившие его осунуться слова: — «Будешь делать что хочешь, только ляг со мной».

— А ты?

Костик стал еще более осунувшимся и загадочным.

— Зачем она мне нужна? Стасик ее позорил...

Я понял его смущение. Он не решился принять предложение, которое никогда не повторится, потому что не повторятся эти события.

Мое сердце ухнуло. Предложили Костику — могут предложить и мне. Никто, однако, не предлагал

Следующие две или три ночи прошли тревожно. Но никто нас не трогал. Надо было привыкнуть к мысли, что и у американцев есть солдаты с уголовными наклонностями. Однако, когда в лагерь вдруг явился комендант, мы это невольно связали с ночным налетом. Нам труднее было поверить, что он просто выполнял американский приказ: «Всем явиться к месту работы».

Ночные дела правдивее дневных — вот о чем говорит наш опыт. Мы не сразу растерзали коменданта и даже помедлили, прежде чем его схватить. А когда американцы приехали его выручать, мы опять подумали о ночном налете.

И, когда нас из городского лагеря перевели на гору, в бараке бывшей эсэсовской охраны радиостанции, мы опять думали с опасением: удавая от города, не готовят ли нас к новой, куда более суровой ночи? Мы ведь знали, что может быть. Нет ничего, о чем с уверенностью можно было бы сказать: этого не будет просто потому, что не может быть.

Опасения тенью шли за опьянением свободой. И усиливали жажду расплаты, желание расквитаться, которое куда-то отодвинулось, пока у нас перед нашей совестью возникали новые долги.

— Ты когда-то работал в кракенхаузе, — сказал мне Ванюша. — Дорогу знаешь?

От волнения, нетерпелия и неуверенности у меня сразу пересохло во рту.

— Да, — сказал я.

Чтобы задать свой вопрос, Ванюша вывел меня из барака. Сердце мое ударило: наконец-то! А неуверенность был потому, что в Ванюшином вопросе было условие. В кранкенхауз я ходил не сам, меня туда водили, и конечно же, дорогу я помнил смутно.

— В темноте найдешь? — спросил Ванюша и успокоил: — Ладно, будем соображать вместе. Вчетвером пойдем. Мне сказали, что в доме врача прячется доктор Леер.

Захватить Геринга, Геббельса, Гимmlера было мечтой тех дней. Зло в каждом из них было так сконцентрировано, что захвативший их разом решал множество своих проблем. Доктор Леер тоже был из каких-то гитлеровских начальников. Но надо было напрячь память, чтобы вспомнить из каких.

— Кажется, министр труда, — сказал Ванюша.

До мечты это недотягивало. Но все равно было так прекрасно, что этого просто не могло быть.

— Министр или не министр, — сказал Ванюша, — прячется не прячется, узнаем. А пока молчи себе знай. Никому ни слова.

Если вам нет восемнадцати и жалостливые слова блатной песенки «И никто не узнает, где могилка моя...» трогают вас до глубины души, вам не расстаться с надеждой на какой-то случай, который все изменит. Я был слаб, жалостливые слова меня трогали, а надежда на какой-то поворот судьбы была со мной так давно, что я успел к ней присмотреться. Для дневных мыслей она не годилась. И я подумал, что никакого доктора Леера нет. Слухи разносят люди. Сколько же нужно людей, чтобы такой слух пришел к Ванюше, который даже не знает, как пройти к кранкенхаузу!

Но Ванюша что-то затевал, а я привык доверять Ванюше. К тому же, чтобы тебе не сказали «Боишься?», сомнения надо держать при себе.

И кто ж откажется от такого волнения! А вдруг на самом деле...

Конечно, можно сообщить американцам. Но мы-то тогда при чем! И неизвестно, как они поступят. Лагерфюрера они освободили. Может, и слухи так легко просачиваются, что доктор Леер не боится.

— Николай с нами, — сказал Ванюша, — и новичок один. А больше нельзя. Вчетвером и то заметно.

— Николай? — удивился я.

Ванюша засмеялся.

— Жена отпустила.

— А Петрович, Аркадий?

— Никто не хочет!

В рысьих глазах зажглись лампочки. Ванюша ждал, пока я переварю это «никто не хочет». Переваривать надо было не только то, что и у других оказались те же сомнения, что и у меня, но и главное, что не мне первому Ванюша делает это предложение. Он смотрел на меня, как бы испытывая меня ревностью. Потом усмехнулся.

— В кранкенхауз дорогу знаешь ты один.

Вызывая мое недовольство, Ванюша почти никогда не пытался его смягчить. «Решай как знаешь» — вот что в такие минуты говорили его глаза. А вспыхивавшие в них лампочки поддразнивали.

— Там все тихо надо делать, — сказал Ванюша, считая, что главные свои стадии моя ревность уже прошла. — Дом рядом с больницей. Из больничных окон свет на него падает.

— А если?..

— Я ж говорю: больница рядом, телефоны, комендатура.

13

Вышли из лагеря порознь. До темноты собрались у вокзала. Дорогу сюда знали все, и каждый мог прийти самостоятельно. Дальше должен был вести я. Однако в кранкенхауз меня водили из лагеря, а не от вокзала. А я помнил, как водили. То есть не то чтобы помнил, а надеялся, что, по мере того как будем проходить одну часть пути, я буду вспоминать другую.

По Ванюшину плану, к кранкенхаузу надо было подойти после полуночи, когда там все заснут. Комендантский час начинался в девять. Часов до одиннадцати надо было прятаться в привокзальных развалинах или на самом вокзале, который после девяти тоже переставал работать.

Часа два, прислушиваясь к тому, что делается на улице и в соседних купе, мы просидели в полуразбитом пассажирском вагоне, к которому нас привел Ванюша, а потом, не встретив патрулей и не слишком проплутав, подошли к тому месту, откуда дорога была уже ясна. Тут начиналась каменная лестница, выложенная по бокам

камнем-ракушечником. Такие неширокие декоративные лестницы с короткими маршами сооружаются в парках. Тут же было что-то вроде парка, который по скату холма поднимался к кранкенхаузу. Лестница переходила в аллею, которую я прекрасно помнил. Я здесь разравнивал граблями песок и мелкий ракушечник.

Стараясь не хрустеть ракушечником, мы подошли к больнице. Дальше повел Ванюша. Он вел так уверенно, будто недавно сам здесь побывал, а не знал это место по чьему-то описанию.

Свет из окна больницы на двухэтажный дом не падал. Да и не было его в больничных окнах. Зато во всех окнах двухэтажного дома горело праздничное электричество. При этом было видно, какой чистоты, плотности и прозрачности каждое стекло в окнах этого дома.

— Не спят! — поразился я.

— Может, не тот дом? — спросил Николай.

Словно сверившись с какими-то приметам, Ванюша сказал:

— Этот...

Пытаясь заглянуть в окно первого этажа, обошли вокруг дома. Окна были зашторены, и заглянуть не удавалось. Лишь кое-где сквозь щели в шторах можно было увидеть рисунок обоев на стенах, ножку стула или стола, часть паркета. Мы всматривались в щели, стараясь сквозь них уловить хоть какое-нибудь движение. Но в доме ничего не было видно или слышно.

— Подождем, пока погасят, — предложил Николай.

И мы еще некоторое время выжидали и прислушивались. Ванюша посмотрел на часы.

— Без десяти два. Будем ждать, назад не успеем вернуться.

— Может, у них гости, — сказал Николай.

— Боятся, — сказал Ванюша. — Спят при свете.

Ванюша попробовал открыть окно, но, как и остальные, оно было плотно закрыто. Ванюша натянул рукав пиджака на сжатый кулак.

Я открываю окно, подсаживаю Сергея. Он сразу на второй этаж, а мы с Николаем осматриваем первый.

Кулаком, на который был натянут рукав, Ванюша ударил по стеклу. Раздался звон. Ванюша ударил еще раз, просунул руку внутрь, нащупал задвижку и открыл окно. По тому, как он сморщился, я понял, что он порезался, но меня подтолкнули, я оказался на подоконнике, спрыгнул на хрустнувшее под ногами стекло, смутно увидел перед

собой пустую комнату, а сквозь открытую дверь лестницу на второй этаж, услышал за собой тяжелое дыхание Николая и побежал наверх.

Никто не крикнул, не спросил, что происходит. Комнату и лестницу освещали несильные лампочки. Внутри свет не казался таким праздничным, как снаружи. Но усилилось ощущение чужого богатого уклада, который на мгновение отразился в зеркальной глубине со всеми его обоями, черной деревянной лестницей и абажурами, смягчающими ночной свет.

На втором этаже я толкнул застекленную дверь, при молочном свете настольной лампы увидел большую спальню, повернутое ко мне бледное женское лицо, мужчину, наклонившегося к телефону.

— Руки! — крикнул я, а он, словно не слыша, продолжал крутить диск. Не решаясь приблизиться, я прицелился и крикнул еще раз, но в эту минуту пробежавший мимо меня Николай выхватил у мужчины телефон и швырнул его так, что оторвался провод.

— Успел дозвониться? — спросил он меня.

— Не знаю.

Немец был одет. Или, по крайней мере, не был раздет. Мы это тоже посчитали признаком того, что он давно нас услышал.

Он поднялся с кровати и оказался выше и шире Николая, который мне всегда казался рослым человеком. Николая это словно развеселило.

— Сядь! — толкнул он немца к кровати. — Сядь!

Немец упирался, показывая на разбитый телефон.

— Уходите! — говорил он и грозил: — Скоро приедут!

— Не бойся! — сказал Николай и вдруг боднул немца головой в живот. Тот сел, будто его срезали под коленки. Женщина закричала, а Николай сказал мне: — Напугай их! А я скажу Ванюше про телефон.

Он убежал, а я почувствовал уже испытанное бессилие. Немец не боялся пистолета. Показывая, что пистолет заряжен, я передернул затвор и выбросил на пол целый патрон. Но, должно быть, у хозяина дома была храбрость врача, привыкшего иметь дело с разными больными. Когда я поднимал пистолет, немка еще больше белела лицом и начинала кричать, а немец говорил:

— Уходите скорее! У нее большое сердце.

Три года я мечтал увидеть этих людей боящимися меня, а вот теперь ненависть немки была мне тяжела, а страх заражал чем-то нехорошим. Я хотел объясниться,

сказать, что ей бояться нечего, но немец опять поднялся с кровати и направился ко мне.

— Стреляю! — пригрозил я и позвал: — Ванюша!

Ванюша появился с лицом сморщенным, как при зубной боли. Сплюнул кровью — отсасывал порезанную руку. На кулак он намотал проступавшую красным белую тряпку. Этим же кулаком уперся немцу в грудь.

— Доктор Леер?

— Есть кто-нибудь внизу? — спросил я его.

— Пусто, — сказал Ванюша.

Я был уверен, что Ванюша немца испугает. Но тот опять сказал:

— Уходите! У нее больное сердце.

Ванюша толкнул раздвижную дверцу большого шкафа, в котором висело множество женских костюмов и платьев. Пошевелил их здоровой рукой. Немка закричала:

— Это мои последние вещи!

Не обращая на нее внимания, Ванюша еще шире раздвинул дверцы. Немец опять торопил:

— Уходите! Скоро приедут.

Ванюша подтолкнул его здоровой рукой к двери, вывел из спальни, показал на запертый шкаф.

— Может, там доктор Леер? Ключи!

Немец отрицательно покачал головой. Он относился к нам, как к больным. С этого его нельзя было сбить. Ванюша направлял пистолет, считал: раз... два... три! Николай замахивался. Немец твердил:

— Уходите!

— Черт с тобой! — сказал Ванюша. — Сломаем!

Немецким ножевым штыком попытался открыть дверцу. Она не поддавалась. Шкаф был из тех, которые называют встроенными. От удара штыком на фанере остался только слабый след. А главное, раздавался страшный грохот. На каждый удар немка из спальни отвечала криком.

— Больная! — спросил Ванюша. — Сердце болит?

Немец кивнул.

— Давай ключи, быстрее уйдем!

— Уходите!

Штык согнулся, но дверца не поддавалась. Сбегали в подвал, принесли кочергу и топор. Кочерга гнулась, топор не входил в узкую щель, а бить им по дверце не решались — опасались грохота.

Когда дверца открылась, поняли, почему согнулся штык. Запиралась она длинным металлическим стержнем, который входил в верхний и нижний пазы. В шкафу

в бумажных пакстах висели меховые шкурки. Они нам были ни к чему.

Дважды прибежал дежуривший на улице новичок.

— Скоро?

В темноте для него время шло медленнее, чем для нас в освещенном доме. Новичка звали Яшка Зотов. Он был из концлагерников. На немца смотрел с такой ненавистью, что я испытывал облегчение, когда Зотов возвращался на улицу. Услышав, как немец говорит: «Уходите, у нее большое сердце!» — он задохнулся. Будто у самого что-то с сердцем произошло. Схватился за грудь, зашарил в воздухе руками, потянулся ко мне, к моему пистолету.

— Сердце, говоришь? Фашистов прятать?!

Он один был без оружия. Ванюша поосторожничал. С самого начала договаривался: «Возле дома подежурить». Вспышке этой Ванюша не мешал, смотрел на немца, а когда Зотов вышел, сказал:

— Видел? Ключи давай!

Было еще два шкафа, и мы хотели их открыть. Но немец твердо сказал:

— Уходите!

Доктора Леера мы не пашли. Еды тоже.

Николай сказал мне:

— Внизу, на подзеркальнике, кое-что интересное для тебя.

Я спустился по лестнице, взглянул с надеждой: баночки, флакончики... и две губные гармоникки. Я догадался: Николай запомнил мой рассказ о том, что я окончил пять классов музыкальной школы. Такая нелепость! И где меня нашла! Эти-то пять лет и убедили, что музыкального слуха у меня нет.

— Будем уходить, возьму, — сказал я, решив гармоникки «забыть».

— Забудешь! — сказал Николай. Сразу в карман положи.

Ванюша сказал:

— Спустись в подвал. На куче кокса бутылки с вином. Поройся в коксе. Там что-то запрятано. Может, вино. Может, еще что-то.

Подвал был освещен. Справа за лестницей над нависающим потолком кокс. Сверху, прямо на коксе, две или три длинные бутылки.

— Вина не бери, — сказал Ванюша. — Найдешь покрепче, возьми пару бутылок.

Я взобрался по осыпающемуся коксу, сунул пистолет

в карман, сел на корточки и очень скоро нашел еще несколько бутылок. Я успокоился и даже не оглянулся, услышав за спиной шаги.

— Ванюша? — спросил я и замер, не услышав ответа. Тот, кто подошел, молчал. В неудобной своей позе — сверху давил потолок и не давал разогнуться — я обреченно повернулся. Но тот, кто подошел, был поражен не меньше меня и не мешал мне доставать пистолет. Кое-как я вытянул его из брючного кармана.

Человек поднял руки, и только теперь я разглядел его в смутном подвальном свете. Ему было лет под пятьдесят. Чтобы поднять руки, ему пришлось ссутулиться. Он был еще более рослым, чем хозяин дома.

— Ванюша! — крикнул я. — Он здесь! Сюда! — И командовал немцу: — Назад!

Я увидел дверь, из которой он вышел. То есть я и раньше видел ее. Но Ванюша и Николай побывали в подвале до меня, и я не ждал никаких неожиданностей. Немец пятился, а я, стараясь сохранить между нами шага два, шел за ним и звал:

— Ванюша! Николай! Он здесь!

Пятясь, немец прошел соседнее подвальное помещение и оказался в крохотной каморке, освещенной низкой лампочкой без абажура. Лампочка висела над железной кроватью, занимавшей почти всю каморку. С кровати на меня смотрела женщина примерно того же возраста, что и мужчина.

Я был заранее готов к тому, что никакого доктора Леера нет. В доме врача получил этому подтверждение. И вот оказалось, что кто-то все-таки прячется. Этот пожилой немец никак не мог быть работником хозяина дома. И никак не мог жить в глухой подземной каморке. Он мог здесь только прятаться.

Лампочка висела так низко, что я чувствовал от нее тепло. Свет отражался в глазах немца и немки. А я не знал, что делать дальше. Они сидели рядом и смотрели на меня.

— Гад! — сказал я и потряс пистолетом. Я разогревал себя, хотел, чтобы до появления Ванюши немца не оставил страх, который заставлял его так легко мне подчиняться.

Ванюша прибежал. Я пропустил его в каморку.

— Доктор Леер? — спросил он меня и наклонился к немцу: — Доктор Леер? Фрау Леер?

Немка и немец молчали, и я подумал, что их парализуют не только наши пистолеты, но и гробовая теснота каморки, и эта лампочка на длинном шнуре.

— Отвечай! — схватил Ванюша немца за грудь своей перевязанной рукой, тут же сморщился, но не отпустил. Я понимал, что перевязанной рукой Ванюша пугает немца. И гримасой боли тоже. Перевязанная рука чем-то страшнее здоровой. Ванюша тоже не знал, что дальше делать с немцем.

То есть мы, конечно, знали. Однако не было уверенности, что перед нами доктор Леер. То ли мы когда-то видели его портрет, то ли, собираясь сюда, каждый представлял его по-своему, но этот огромный старик не был похож на человека, которого мы ожидали увидеть. Несомненно, у него были важные причины прятаться от американцев. Гитлеровский министр или нет, но, должно быть, он был очень большим злодеем. И, скорее всего, чиновным. Ведь американцы защитили даже нашего лагерного коменданта.

Чутье говорило нам, что мы напали на что-то очень важное. Уж больно этот немец не помещался в подвальной каморке.

— Имя! — требовал Ванюша. — Документ!

А мне пришло в голову, что смелость хозяина дома не врачебная, а какая-то другая. И поступить с ним надо так, как с этим немцем. Однако времени, чтобы все это сообразить, оставалось слишком мало. А мысль была страшной.

Напряженное внимание в глазах немки и немца вдруг показалось мне лукавым. Будто своим профессиональным чутьем они в какой-то момент оценили нас с Ванюшей и уловили, что мы не решимся на то, чем угрожаем. Ощущение было обжигающим. Мешая мне, Ванюша наклонился к стулу, который стоял рядом с кроватью. А когда отклонился, в глазах немки и немца опять был тот же неживой электрический блеск.

На сиденье стула лежали сигареты и зажигалка. На спинке висел пиджак. Сигареты и зажигалку Ванюша отдал мне: «Возьми!» — а сам потянулся за пиджаком.

— Документ!

Однако немец с неожиданной решимостью ухватился за пиджак. Несколько мгновений длилась борьба. Она мне казалась нелепой. Дело не в документе, а в том, на что решимся. Ванюша боролся с немцем, а я стоял с пистолетом и прислушивался к накоплению решимости. Сейчас Ванюша отклонится...

Но тут застучали по лестнице шаги, и Яшка Зотов крикнул:

— Патрульная машина! Американцы!

Когда подбежали к выходу, прожектор освещал его в упор. Затем свет сместился. Патрульную машину от дома отделил поворот аллеи. Щекой ощущая ослепляющее, раздающееся давление света, я пробежал клубящееся открытое пространство. За домом нырнул в алюминиевую темноту и ориентировался по чьему-то топоту и дыханию. Бежали в глубину кустов, я невольно отклонял лицо, но ни одна ветка не задевала меня.

Тот, кого я все время догонял, вдруг опустился на землю...

— Не могу! Все!

Это был Яшка Зотов. Он дышал со свистом. Сердцу не хватало места в груди, и мне тоже казалось, что бежим невыносимо долго. Но только теперь прожекторная слепота вдруг рассосалась и я стал видеть.

Вернулись убежавшие вперед Ванюша и Николай.

— Сил нет? — спросил Ванюша. — Ну, ничего. Пересидим здесь. Они нас дальше искать будут.

Он опустился на землю, и мы стали всматриваться туда, где сквозь ветки кустов и деревьев светился всеми окнами дом и медленно двигался ищущий свет автомобильных фар. Я помнил, как он высветил всего меня, как клубился далеко впереди, как пригибались впереди спины Ванюши и Яшки Зотова. Я тоже гнулся, потому что чувствовал себя на линии чьего-то взгляда.

Они не могли нас не видеть, потому что не могли не смотреть туда, куда были направлены фары их машины. Так почему же ни крика, ни выстрела?

— Наверно, успел позвонить, — сказал Николай. Его не оставляла веселость, которую я заметил в нем еще в доме.

— Похоже, — согласился Ванюша.

— Что же не задержали?

— Зачем ребятам из-за фашистов рисковать, — сказал Ванюша. — Они же не знают, что мы не будем стрелять.

— Они нас видели, — сказал Яшка. — Тут не найдут, поедут в лагерь, там будут ждать.

Вернуться в лагерь можно было только после шести утра. В шесть американцы снимали посты.

Вначале лагерь вообще не охранялся. Потом за пределами лагеря в караулке поселилось десятка два солдат. В лагере они появлялись редко. Рядом было

футбольное поле. На нем они по правилам, которые мы не могли уловить, гоняли маленький мяч. Один подбрасывал, второй бил деревянной битой, третий чуть ли не на середине футбольного поля пытался поймать его во что-то, напоминающее огромную боксерскую перчатку. По сравнению с известными нам играми в мяч эта казалась нам громоздкой и малоподвижной. Однако американцы горячились, раздевались по пояс, азартно кричали.

Кто-то из наших нашел крышку от футбольного мяча, набил его тряпками и вынес на поле. На одной половине мы «в одни ворота» гоняли свой мяч, на другой американцы — свой. Потом стали переходить с одной половины на другую. В конце концов, на этом не просохшем от весенних дождей поле рядом со взорванной немцами радиостанцией состоялся футбольный матч между нами и американцами.

С обших сторон играло человек по десять. Американцам не хватало футбольной сноровки, нам расстояние от ворот до ворот казалось огромным, земля вязкой, а мяч тяжеленным. Он не прыгал, а «прилипал» к ноге, даже надевался на нее. Мы показывали игру американцам, это была не их игра, и нас вело самолюбие, но воздух спекался в наших легких.

Конечно, мы выздоравливали: были сыты и воздух был прекрасным. Но слишком глубоко в наших телах засело истощение.

И со стороны было видно: разномастная госпитальная команда гоняет мяч с солдатами из отборной части. Кто мог раздеться до трусов, разделся. Но у кого-то не было трусов или они так истлели, что совестно было их показывать. Кто-то бегал босиком, потому что у него не было ботинок или он их жалел, а кто-то не раздевался, потому что стеснялся своей изможденности.

Мы выиграли, а может, выжилили мяч. Мы объявляли правила, мы их и истолковывали, судья был наш и болел за нас. Но запомнилось не это, а неожиданно растревоженная в нас больничная изможденность, воздух, запекшийся в груди, потому что легкие не успевали добывать из него кислород. Открывшееся на бегу ощущение нездоровья и было тем, что сильнее всего запомнилось от этой игры,

Впечатление молодой, даже младенческой откормленности было вначале главным от американцев. Немецкие машины грузили под тяжестью газогенераторных печек, им не хватало бензина. У немецких водителей была привычка к скорости, при которой главное — доехать. Американцы

были озабочены самой ездой. В лагерь, сопровождаемый двумя или тремя машинами, часто приезжал американский комендант городка. Машины на такой скорости подлетали к бетонной стенке гаража, что на это страшно было смотреть. Конечно, водители машин были молодыми людьми. Война кончилась, а лихость осталась нерастроченной. Но одной молодостью эту лихость нельзя было объяснить.

Точно так же нельзя было не заметить вольные, неармейские позы, запах алкоголя и вообще отсутствие всего, что называется строевой подготовкой.

Немцы, французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, поляки должны были выработать у нас что-то вроде привычки к иностранцам. Но на американцев трудно было смотреть просто как на новых иностранцев. Нетронутыми они привезли свои машины, привычку к скоростной езде, незнание того, что стало общим для европейцев в эти годы. Это незнание тоже было молодым или даже младенческим. Оно мешало, но не отталкивало, потому что есть вещи, знание которых не красит и, уж во всяком случае, не прибавляет здоровья.

Нельзя было определить, кого привозил с собой американский комендант — помощников, подчиненных или приятелей, приглашенных на пирушку. Так они выпрыгивали из еще не остановившихся машин, такой смешной компанией шли по лагерю.

Комендант выступал перед нами в бараке, где была оборудована эстрада. Вернее, говорил переводчик, а рядом с ним на эстраде стояла компания жующих резинку американцев, и мы могли только гадать, кто из них комендант.

Разглядели мы его, когда американцы устроили для нас самодеятельный концерт. Переводчик объявил, что первым будет петь комендант. Комендант отделился от компании, принесли аккордеон, и комендант запел. Это был молодой верзила с обветренным от езды в открытой машине лицом. Пел он будто для аккордеониста, а не для нас. Комендант был неумелым певцом, аккордеонист — аккомпаниатором; на эстраде не прекращалось хождение, слов мы не понимали, но видели, что артисты не то чтобы стараются развеселить нас, но сами веселятся. Потом еще кто-то пел и играл на аккордеоне. Вызывали на эстраду нас. И я помню свое очень сильное желание, чтобы кто-то вышел и спел или сыграл, и смущение в зале, вызванное тем же ожиданием. Выталкивали меня: «Сыграй на аккордеоне! Те же клавиши, что и на пианино!» Я ждал,

418

что меня начнут выталкивать. Этот страх жил во мне с тех пор, как я рассказал, что учился в музыкальной школе. Всегда находился кто-то, кому хотелось уличить меня в хвастовстве. Но дело даже не в этом. Я ведь и перед школой два года занимался с учительницей, посещал уроки сольфеджио, носил черную папку с нотами, получал в школе на экзаменах переходные баллы и завидовал тому, кто, тыкая клавиши негнувшимся пальцем, мог на любом разболтанном пианино подобрать самый простенький мотив. Противоречие было многолетним, ежедневным и, в конце концов, превратилось в мечту, которую знают глухие и слепые и которая относится к мучительному разряду «в один прекрасный день». В один прекрасный день я возьму в руки любой музыкальный инструмент — губную гармошку или гитару — и легко воспроизведу то, что слышу. Потому что свои музыкальные занятия я ненавидел, а музыку любил.

Годы потребовались мне, чтобы заметить это противоречие и чтобы оно стало досажать. Вначале я просто ненавидел гаммы, этюды, многочисленные упражнения для пальцев и слуха и в музыкальную школу ходил, уступая родителям. Музыка была в патефонных пластинках, в концертных залах, но чаще на улице или во дворе в песенках под гитару. Она проникала в нашу квартиру с нижнего этажа, где прекрасно, как мне казалось, играли на фортепьяно братья Касьяновы. Она была со способными или талантливыми, кто ловкими или неловкими пальцами на знакомом или незнакомом инструменте мог подобрать любой мотив. В выученных мною наизусть пьесах она и не ночевала. И к музыкальной школе и моим занятиям в ней никакого отношения не имела.

Взрослого человека это, конечно, сразу стало бы удручать. Но взрослого родители не могли бы заставить жить не своей жизнью. С годами пальцы мои становились гибче, ноты я читал все более бегло, но от этого только чаще ударялся о ту перегородку, которая отделяла меня от музыки. Ничего тут обидного не было, если бы это не продолжалось годы. Война отменила мои ежедневные музыкальные занятия. Но досада на то, что «прекрасный день» и не наступил, не забылась. А в немецком лагере сделалась еще сильнее. Она стала обидной с тех пор, как я получил кличку «музыкант» и надо мной стали пошучивать.

Среди замкнутых кругов, по которым в лагере ходила

моя мечта, был и такой: я подхожу к фортепьяно (где оно и почему я к нему подхожу, придумывалось каждый раз заново), поднимаю крышку и, прежде чем мне успевают помешать, доказываю, что я не «русская свинья». У мечты были продолжения: мне дают сигарету, хлеба, разрешают приходить и играть. Соколик, Костик, Москвич обрадованы тем, что я так хорошо играю. Им тоже почему-то очень важно, чтобы в лагере кто-то оказался настоящим музыкантом.

У этой мечты было условие. «Прекрасный день» уже наступил, но я об этом догадываюсь, только когда подхожу к фортепьяно. Чем дальше заходила мечта, тем с большей досадой приходило отрезвление. Новый приступ мечты заводил еще дальше, досада усиливалась, и я понимал, что бьюсь о невозможность. Это была не единственная и не самая главная невозможность в моей жизни. Еще до войны у меня вдруг побелел левый сосок, на теле появилось несколько белых пятен. На пляже я позже всех снимал майку, потому что кто-нибудь обязательно тыкал мне пальцем в грудь и спрашивал:

— Ты чего разноцветный?

Я объяснял:

— Потеря пигмента.

Но спрашивающий хохотал.

— Цветной! — И звал других ребят: — Смотрите, пестрый!

— Кто-то догадывался:

— Лишай!

И я получал изолирующую меня от ребят кличку:

— Заразный!

Почему эта болезнь обрушилась на меня, почему выбрала на моем теле такое место, я думал, когда другим было особенно весело. На пляже, в конце концов, забывали о моих белых пятнах, но я-то не мог о них забыть! Они не загорали под солнцем, не проходили сами собой и были в моей жизни первой мучительнейшей невозможностью.

За немецкой лагерной проволокой у меня появились новые невозможности, но и старые не оставляли меня. Это может показаться удивительным, но и о пятнах своих я не забывал. Голод, холод, каторжная работа — ничто на них не действовало. Они были на месте. А однажды Костик, увидев меня в умывалке обнаженным по пояс, захохотал:

— Цветной!

И удивительно было то, что голодный, изможденный лагерными заботами Костик смеялся над тем, над чем когда-то смеялись ищущие забавы пацаны.

Я уже понимал, «прекрасные дни» не наступают. Если природа не наделила музыкальным слухом или посадила на неподобающее место белое пятно, все так и останется: и музыкальная глухота, и белое пятно. Но и смириться с этим все равно что смириться с лагерьной проволокой. По ту сторону мир! Семь лет ежедневных занятий обострили мое внимание к тому, без чего музыка не существовала, — к талантливости. Но только теперь я узнал ей цену. Талантливость насвистывала в бараках. Чтобы показать себя, ей достаточно было двух алюминиевых ложек, расчески, обернутой папиросной бумагой. Ее замечали сразу и сразу же тянулись к ней. Талантливому не надо было ничего объяснять или доказывать, его и так было видно. И не то чтобы ему каждый раз уступали лучшее место, но какие-то знаки внимания оказывали. Рассказав, что учился в музыкальной школе, я словно посягнул на чужое место. И сомневающиеся требовали от меня доказательств.

Меня выталкивали на эстраду. Я сопротивлялся:

— На аккордеоне не умею!

— Ты ж в музыкальной школе учился!

— Если бы ноты были, — оправдывался я

Кто-то запустил в меня немыслимым ругательством; я вздрогнул и догадался — Костик.

В конце концов я отбился. Но усилился страх, что подойдет момент, когда не отбиться. Усилился и интерес к тем, кому достаточно двух ложек, чтобы сразу было видно — артист.

Да не в этом дело! Может то, чего ты не можешь, слышит то, чего ты не слышишь. И не все показывает. То, что показал, можно перенять, выучить наизусть, как я свои музыкальные пьесы. Но где берет он, ты не возьмешь. Надо ждать, пока покажет.

И ждут, и радуются, когда показывает. Сожалеют, если пропустили момент, спрашивают тех, кто видел и слышал. Восхищаются:

— Во дал!

Пытаются изобразить, как «давал». И лишний раз убеждаются, что это по силам только тому, кто «давал».

Конечно, не только музыкальная талантливость была в цене. Меня угнетало и то, что ни срифмовать, ни отстучать чечетку, ни кого-то смешно переобезьянить я не мог. И не делалось легче оттого, что таких, как я, большинство, а умельцы все наперечет.

Завидовал я не только вниманию, которым они

пользовались в лагере, но и сопричастности их тому, чему я не научился за годы музыкальных занятий.

Я вырослел и понимал, что надо чем-то расплачиваться с жизнью. Просто расти уже недостаточно. Должно быть, не только для меня это было остро. Вдруг ко мне подходили ребята из соседнего барака.

— Это ты в музыкальной школе учился?

— Я.

— И только на пианино и только по нотам?

— Да.

— Я знал одного, он и на пианино, и на гитаре, и с нотами, и без нот.

— Ну и что?

— А то...

Рассматривают враждебно, не уходят.

— Вам-то что?

— А то!

Ловят мою интонацию, как перед дракой. А ведь мы почти незнакомы. Никаких взаимных обид. Было бы понятней, если бы они были.

— Говорить не надо... Понял?

Как когда-то на пляже кричали: «Цветной!», так теперь говорят друг другу: «Музыкант объявился!»

— Пошел ты! — склоняю я разговор как раз туда, куда его клонит самый настырный.

Я очень хорошо представляю себе: только что он пообещал напарникам наказать самозванца. Они подхватились: «Пошли!» И вначале шли быстро, но вспомнили, что идут к военнопленным, и отвернули бы, однако увидели меня. Отступать было некуда, но решительность настырный растерял, а когда из барака вышел Ванюша, разговор совсем прекратился.

Запомнилась недоброжелательность, накопившаяся там, где я ее не ждал. Неожиданность ее была особенно неприятна. И в очередной раз пришло ощущение вины. То ли раньше надо было подальше послать настырного, то ли не надо было никому говорить, что учился в музыкальной школе, если музыканта из меня не получилось. Ведь виноват не виноват, а все равно нехорошо, что после стольких лет занятий музыкой не могу спеть или сыграть на аккордеоне хотя бы так, как эти американцы, которые, судя по всему, учились этому не в школе. Все в бараке были смущены тем, что никто из наших не поднялся на эстраду, не спел в ответ на песни американцев свою, не сыграл на аккордеоне, а я особенно.

Все-таки с невозможностями, с их непоколебимостью было не все просто. Американский комендант немецкого городка, поющий для нас в бараке, где совсем недавно собирались эсэсовцы, был самым поразительным тому доказательством.

Он еще дважды созывал нас в этот барак, но уже не на самодеятельный концерт, а для того, чтобы объявить свое недовольство. Какие-то вооруженные люди нападали ночью на бауэрские дома, уносили еду и одежду. Ограбленные жаловались коменданту. Они считали, что это были русские. Комендант в первый раз просил нас учесть эти жалобы, во второй запретил выходить из лагеря после одиннадцати вечера.

Один или два американца давно уже дежурили возле лагеря. Они не мешали нам выходить из лагеря и возвращаться в него. По европейским меркам, они вообще не походили на часовых. Садились на траву, приносили с собой раскладной стульчик, надолго отлучались с поста. Вначале вокруг них собирались любопытные. Один из этих часовых делился с любопытными бутылочкой виски, к которой прикладывался сам, давал поддержать свою полуавтоматическую винтовку и даже стрелял из нее. Чтобы доказать, что это тяжелое оружие бьет без отдачи, он держал винтовку в вытянутой руке. Звали американца Курт, фамилия у него была немецкая, и сам он был по национальности немцем. Это мгновенно усилило наши подозрения, которые возникли с того момента, когда у входа в лагерь появился часовой.

Доступность часовых или их полное равнодушие несколько не смягчали подозрений. Три года назад я своими глазами видел в нашем городе *невооруженного* немецкого солдата перед воротами нашего школьного двора. Он не мешал не только входить во двор, но и *выходить* из него. Не отгонял и любопытных, близко подходивших к воротам, толпой стоявших на противоположной стороне улицы, переговаривавшихся с теми, кто во двор зашел. Двор был местом сбора евреев.

Невооруженный часовой мог оказаться предвестником событий более зловещих, чем крикливый полицай с винтовкой или автоматом, — вот что осело в нашей памяти. Вооружен часовой или не вооружен, важно, что он появился.

Среди американцев, живших рядом с лагерем, был русский по имени Алик. Родился он в Калифорнии, был сыном фермера, учился в американской школе с детьми

фермеров, но по-русски говорил, как мы. Родители до сих пор называли себя киевлянами, хотя в Америку перебрались в начале века.

— Возвращаться собираетесь? — спросили мы.

— Нет, — ответил Алик. — Но дома говорим по-русски. Мы спросили, зачем поставили часовых.

— Чтобы оградить вас от немцев.

— А этот Курт, он же немец?

— О! — сказал Алик. — Он герой войны.

Оказывается, Курт с ручным пулеметом первым перебрался через какую-то речку и скошил не то десять, не то пятнадцать немецких солдат. Чтобы уточнить, сколько их было, Алик обратился к другим американцам, и потому, как они взволновались, мы поняли, что это известная история.

Пускали нас к американцам свободно, и мы приходили поглазеть на удивившие нас с самого начала двойные каски, на тяжелые полуавтоматические винтовки, на ножи, лезвия которых полностью прятались в рукоятке и выбрасывались пружиной, на Алика, который у себя на ферме в Калифорнии вырос таким высоким и толстым, что рядом с ним в лагере некого было поставить.

Необычные размеры Алика нас очень занимали. Мы росли, и ширина грудных клеток, сила рук, рост было тем, в чем мы все время сравнивались. Мы спорили о том, вырос бы он точно так же, если бы его родители оставались в Киеве.

— Черта с два! — говорил Костик. — У них ни голода, ни войны!

Пытались мы наладить с американцами обмен. Они владели самой стойкой «валютой» тех дней. Костюм можно было купить за сто пятьдесят сигарет. Столько же примерно стоили часы. Но никто из моих знакомых не расстался бы с сигаретами в обмен на часы или костюм. Костюм на сигареты — было бы понятной лихостью. Презрительный вопрос «Домой повезешь?» показывал наше отношение к вещам и времени. Загадывать далеко значило дразнить судьбу.

Стоит ли, однако, говорить, что ни костюмов, ни часов, ни сигарет у нас не было.

Обычное человеческое желание чем-то гордиться было очень сильно в нас. Мы гордились несчастьями, которые свалились на нас, знанием жизни. Но, может, больше всего я гордился тем, что мог полпайки поменять на табак. Пустить жизнь дымом!

Непривязанность к вещам мы считали едва ли не главным уроком, который эта жизнь нам дала.

Хвастовство этой непривязанностью принимало формы дикие, амбиционные. Я, например, в вагоне, которым американцы перевезли нас в нашу демаркационную зону, бросил свое единственное одеяло, за что был наказан множеством ночей на голом полу или на одеяле Костика.

Костик не осудил меня за эту вспышку, которую и объяснить-то по-настоящему нельзя. Ведь трудно понять, почему собственное одеяло топчут ногой и про-износят: «Катись, откуда приехало!» Готовность к такой вспышке или способность ее понять была во многих из нас. Тут, повторяю, надо учесть, что речь шла не о вещах вообще, а о непривязанности к единственной вещи. По поговорке, к единственной рубашке, которую надо снять и отдать другу. Вот до какого состояния мы считали себя обязанными довести и, естественно, довести не могли. Это и давало редкие, дикие и не оправданные никакой целесообразностью вспышки.

В отсутствии целесообразности и был их блатной смысл. И в хлебе, обмененном на табак, тоже было что-то блатное. Жизнь во мне едва тлеет? Так я могу искурить ее сигаретой! Ведь главное блатное хвастовство — хвастовство непривязанностью к жизни.

В лагере естественно было бы бросить или хотя бы не начинать курить. Порвать, по крайней мере, с этой ложной зависимостью. Никто не бросал! Отказываться от табака я начал после войны. И все сокрушался — табачный дым перестал доставлять то поразительное удовольствие, которое я получал от него в лагере. Это была разница между целой сигаретой и «бычком».

У медиков могут найтись и другие объяснения того, почему истощенные люди так тянулись к никотину. «Вы психологизируете, — мог бы сказать мне врач, — а все дело в химии изнуренного организма». Мне же кажется, что химии мало, чтобы объяснить, почему самой стойкой валютой тех дней были сигареты и почему восторг и страх бессмысленного поступка был для нас в те дни привлекателен.

Какой же была та жизнь и какими в ней мы были сами, если белая сигаретная бумага вызывала у нас счастливые предчувствия, а цветом самого счастья был табак!

Когда пришли американцы, мы, конечно, захотели освободиться от наших каторжных лохмотьев. Но не переставали хвастать своей непривязанностью к вещам.

Напротив, только теперь у нас для этого появилась какая-то реальная возможность. Однако американцы снабжали нас едой, а не одеждой. Не снабжали и табаком. Менювую стоимость своих сигарет они поняли очень скоро. А сигареты, которые мы растащили с эссесовских складов, быстро кончились. Добыть одежду и что-либо для обмена на сигареты можно было только у немцев. Но еда, одежда, часы не интересовали американцев. Они покупали оружие. Мы об этом узнали не сразу. Пистолет — вещь тайная. Ее не покажешь тому, кто, по нашим представлениям, должен его у нас отобрать. Понятно, тайна эта лагерная. Мы знали тех, у кого есть оружие, и догадывались о тех, у кого оно может быть. И были встревожены и удивлены, когда узнали, что Сашка Эссенский продал американцу пистолет. Лагерной тайне был нанесен ущерб. К тому же было не очень понятно, зачем солдату, у которого есть казенное оружие, еще и собственный пистолет.

Однако постепенно все разъяснилось. Алик объяснил, что у солдата коммерческий интерес. Сигареты входят в армейский паек, а хороший бельгийский пистолет в Штатах можно продать. Сколько это будет стоить? На эти деньги можно прожить недели две. Алик говорил по-русски, а коммерсант кивал, словно соглашаясь с каждым словом. Многих американцев мы уже знали в лицо и по именам, а этого заметили впервые. У него было темноватое лицо мастерового. Будто он не только торговал пистолетами, но еще и починял и смазывал их.

Чем-то он был похож на немца парикмахера, который в вуппертальской тюрьме дал мне за хлеб ватные сигареты. И еще на Леву-кранка. Все томятся по дому, празднуют неожиданную безопасность и свободное время, говорят о том, что было, и уверяют друг друга, что не допустят этого вновь, а он ни на минуту не упускает своих целей. Из-за этого его вначале и не замечают. Но дом далеко, и наступает момент, когда такого человека не заметить нельзя. В этот момент почему-то чувствуешь себя дураком. Будто тебе вот-вот скажут: «Своя голова есть?»

Как бы то ни было, первый пистолет был продан. Вместе с этим обнаружилось, что американцы сочувственно относятся и к нашим пистолетам, и к тому, для чего мы их добываем.

Мы это помнили, когда шли ночью из кранкенхауза. Но понимали: прикажет комендант, и нас будут ловить. Раза два видели свет фар патрульной машины. Она петляла по коротким городским улочкам, а потом пошла по серпанти-

ну в гору, и свет ее прожекторов некоторое время мелькал среди деревьев.

— В лагерь пошла, — сказал Ванюша. — Поодиночке легче. И в лагерь не сразу идти. Пересидеть где-то часов до десяти.

У меня сердце сжалось, когда я представил себя одного на этих улицах или в лесу. Ванюше не ответили. Потом Николай сказал:

— Больше прошли, меньше осталось.

Я видел, Ванюшу это не убедило. Он посматривал по сторонам, словно готовился от нас уйти, но вновь об этом не заговаривал.

На гору мы поднялись без помех. До утра сидели в здании аппаратной взорванной радиостанции. Бетонное здание напоминало дот. Оно уцелело, несмотря на взрыв, такие толстые у него были стены. Из лагеря сюда ходили как в тир. Внутри поднимали стрельбу, пули с визгом рикошетировали от каких-то медных приборов, а снаружи ничего не было слышно. Бетонные стены и толстая металлическая дверь не пропускали звуков. Сейчас сидели тихо. К утру Николай затомился.

— Пойду разведая.

Когда дверь за ним закрылась, Ванюша усмехнулся.

— По Марусе соскучился.

И правда, минут через двадцать Николай вернулся с женой.

— Тихо, — сказал он. — И ночью шума не было.

— Я всю ночь прислушивалась, — сказала Маруся, — никакого шума не было.

По возбужденному припухшем лицу ее было видно, что она гордится ожиданием, выпавшим на ее долю, и тем, что Николай привел ее сюда.

— Хозяину дома, — сказал Николай, — не очень-то и хотелось, чтобы нас поймали. Доктора Леера — или кто у него в подвале прятался? — тоже вытянули бы на белый свет.

Он вытащил из кармана два блестящих предмета, при виде которых мне сразу стало нехорошо.

— Я же говорил, забудешь, — сказал он, протягивая мне губные гармоники. — Смело на них играй, никто за ними сюда не придет.

Это был не единственный мой ночной трофей. У немца, которого мы приняли за доктора Леера, Ванюша вырвал таки пиджак. Забрал и брюки. И все отдал мне, когда мы возвращались в лагерь.

— Ты первый немца увидел,— сказал мне Ванюша.

Пиджак я сразу же надел. Он висел на мне как халат. Но это только чуть уменьшало мою радость. Когда рассвело, на пиджаке и брюках рассмотрели ржавые пятна. Это была Ванюшина кровь. Пиджак и брюки он тянул порезанной рукой.

— Холодной водой замоешь,— советовал Ванюша.— Носи, не беспокойся.

15

Я и не беспокоился. Вопрос о таких трофеях не казался мне тогда щекотливым. Беспокоило то, что я не решился выстрелить в этого подвального немца, доктор Леер он или нет.

С начала войны все ощутили в воздухе добавочное давление. Я видел убитых бомбежкой, присыпанный песком асфальт в том месте, где они лежали. Видел беженцев, застреленных прямо в машине, и уже во мне самом усилилось давление и пережало какой-то важный сосуд. С каждым днем этих пережатых сосудов становилось все больше.

В конце концов, смерть стала постоянным измерением. Если вас было двое, она была третьей. Четверо — пятой. Десятеро — одиннадцатой. Если ты был один, она была второй. Она всегда была тут. Началось это даже не в лагере, а когда немцы вошли в наш город. Это было в их приказах, объявлениях, которые всегда кончались одинаково: за неявку на регистрацию, противодействие, саботаж; тем, кто помогает раненым красноармейцам, прячет евреев, укрывает еврейское имущество, расстрел, расстрел, расстрел...

С этим я засыпал, а просыпался, вспоминал о пайке, о работе, но непременно и об этом. Я помнил, как немец солдат праздно застрелил собаку и она выла, кусая ударенное пулей место. Смерть была беспричинной. Причинами от нее нельзя было отгородиться: это я сделаю, а этого не сделаю и останусь жив.

Растворенная в воздухе, она была неотступной, привязывала к себе мысль.

Она была в черном цвете эсэсовских мундиров, в их петлицах, в немецких воинских и государственных эмблемах, в кокардах, изображающих череп и скрещенные кости. Чтобы не забыли, вам непрерывно напоминали о ней.

И кто же поставит мне в вину, что, тысячу раз представляя себе свою гибель, я столько раз представлял себе гибель своих обидчиков. Тысячи раз думал я, как убью Пауля, коменданта или Пирека. Ночами клялся себе, что сделаю это.

Пауль умер сам. Случай выстрелить в коменданта я упустил. Это ведь только отговорка, что его увезли американцы. Пистолет-то был у меня в кармане!

Утешаясь мыслями о мести, я совсем недавно думал, что убить и быть убитым — самое противоположное. Противоположнее не бывает. А вот теперь чувствовал, что это чем-то похоже.

Что же другое помешало мне выстрелить, когда я, стоя в подвальной каморке, ощущал на лице тепло электрической лампочки и видел ее отражение в глазах немца и немки, сидевших на разворошенной постели? Боязнь ошибки? А за что убили беженцев в машине, мать, деда и бабушку Камерштейна? Я, конечно, ждал, что сделает Ванюша, чувствовал, что борьба, которую он затеял с немцем, нелепа — не за пиджаком же мы сюда шли! Но и Ванюша был тут ни при чем. Выстрелил он, все мое осталось бы со мной. Если ты жив, никто за тебя не отомстит. Мстят только за убитых.

Вину не раздобишь делением на всех. «Общая вина» — только говорится. Если бы ее можно было разделить даже не на четыре, а, скажем, на четыреста миллионов, моя доля несколько не уменьшилась бы. Я сам должен был выстрелить, а не ждать, пока это сделает Ванюша.

Конечно, и мне, и Ванюше пришло в голову, что этот немец — не доктор Леер. Однако недаром же он прятался. Увидев меня, он сильно испугался. Но потом страх его уменьшился. А когда он вцепился в пиджак, стало понятно, что он перестал нас бояться совсем. Словно раньше нас уверился в том, в чем мы до самого конца уверены не были.

Как увидел его и обнаружил каморку, в которой он прятался, как догадался, что он важный фашист, я рассказал Яшке Зотову и Николаю по дороге в лагерь.

— Что ж ты его не убил? — враждебно спросил Яшка.

Я подождал, не ответит ли Ванюша, но он шел молча, и я сказал:

— На лбу у него не написано, кто он такой!

— Ты хотел, чтобы на лбу?

Яшка был прав, но и потом, рассказывая, как меня

осенило, что немец — важный фашист, я добавлял:

— Но кто его знает! На лбу у него не написано.

Не рассказывал я о напряжении, которое испытывал, стоя перед этим немцем и готовя себя к выстрелу. А было оно таким, будто курок заклинило и я не сумею его нажать, даже если немец на меня бросится.

И мысли и чувства мои были тогда в разгоне. Сидя на корточках на куче угля и не имея возможности разогнуться, я чувствовал себя в западне. А когда достал пистолет и пошел за немцем, увидел в каморке немку. Тусклый отблеск сорокасвечовой лампочки в ее глазах чем-то меня поразило. Немка не кричала, не возмущалась, как жена хозяина дома наверху. Молча ждала, что я сделаю. В молчании этом я улавливал какое-то признание или даже согласие, но не со мной, а с кем-то или с чем-то другим. И тусклый отблеск в ее глазах был не от слабого электричества, а от ожидания. Я звал Ванюшу, но весь был захвачен усиливавшимся металлическим сопротивлением под моим указательным пальцем. Расстояние между выстрелом и невыстрелом короче движения указательного пальца. Я это помнил и пальцем и ушами, в которых выстрел всегда раздавался раньше, чем его ждешь, и кистью, которая не справлялась с движением отдачи. Нельзя уловить границу между выстрелом и невыстрелом. Но уже в который раз я застревал на этой несуществующей границе.

Судьба привела меня в подвал, заставила рыться в куче угля, и я это так и понял, увидел над собой доктора Леера или кто он такой. Чувство судьбы — вернее, ее потери — было у многих лагерников. У меня оно тоже было обострено. Большинство случаев расквитаться, которые я упустил, мне казались сомнительными. Этот же был несомненным. Но я не выдержал напряжения, которое возникает перед выстрелом. Не преодолел сопротивления спускового крючка. Все было за то, чтобы выстрелить: три лагерных года, пистолет, который я специально для этого добыл, почти полная уверенность что немец — тот самый фашист. Даже какое-то согласие в глазах немки. Чего же мне не хватало? Что показалось непереносимым? Звук, который ударит в каморке? То, что после него тут изменится? Перенесу ли это?

Я не задавал себе этих вопросов, я их избегал. Они приходили сами. Уж если ты по своей воле разминулся с судьбой, тебе есть о чем себя спросить.

И потом, эта возня с пиджаком, в который Ванюша

вцепился, будто в нем был какой-то выход! Должно быть, Ванюше тут тоже чего-то не хватало! Каких-то указаний судьбы. Иначе не стал бы он с таким усилием вырывать ненужный ему пиджак.

Это была какая-то постыдная отходчивость! Страшно сказать, мне не хватало гнева, памяти. Где я их растерял? И за какое время? За несколько недель при американцах? При такой памяти на зло, вооружен ты или нет, тебя возьмут голыми руками! Именно это я чувствовал, с заряженным пистолетом в руках наблюдая, как немец и Ванюша все с большим упорством тянули пиджак к себе. Чтобы сильнее дернуть, Ванюша уперся головой немцу в живот и оказался у него на коленях. Теперь трое были на развороченной постели. В озлоблении борьбы и Ванюша и немец будто одинаково забыли о моем и Ванюшином оружии. И в выражении глаз немки что-то изменилось, словно она догадалась, что мы не те, кого она с усталостью и согласием ждет. И еще в глазах ее было что-то. Будто она презирала нас за то, что мы упускаем такой случай. Презрение, казалось, шло из жуткой глубины, где никогда никаких случаев не упускают.

Дважды немцы брали мой родной город. В декабре сорок первого они продержались всего десять дней. Их было немного. Но, когда они откатились на своих мотоциклетах и автомобилях, город застонал потрясенный. У жестокости, которая после них осталась, не было названия, потому что у нее не было причин и границ. Хоронили несколько сот человек. Это были случайные прохожие или жители домов, около которых нашли мертвых немцев. Люди успокаивали детей, кипятили воду, а их выгнали на улицу и поставили к стене родного дома. Должно быть, переход от простейших домашних дел прямо к смерти особенно невыносим. Нелепа смерть у стены своего же дома. Наверно, они не верили до последней секунды. И тем, кто их хоронил, этот переход казался особенно ужасным. Ведь они тоже в этот момент что-то делали у себя дома или куда-то собирались идти.

Выгоняя людей из кухонь и подвалов, куда в эти дни переместилась жизнь, останавливая их на улице, убийцы показывали, что все горожане для них одинаковы. Это была какая-то новая смерть и новый страх, при котором стали опасны и домашние стены и улица, которой идешь. Было непонятно, как на все это могло хватить злобности. И осталось странное ощущение, что стреляли не серые фигурки в шинелях и плащах, а те мотоциклетки, на

которых они разъезжали по городу. Так мало во всем этом было человеческого.

В городских скверах немцы оставили несколько своих могил: крест и солдатский шлем на холмике. Мы ходили на них смотреть, будто похоронены там были не люди, а те же стреляющие мотоциклетки.

Некоторое время могилы стояли нетронутыми, но потом кто-то решил, что убийцы и убитые не могут лежать в одной земле, трупы вывезли за город, а могилы разровняли. Когда немцы захватили город второй раз, они стали разыскивать тех, кто принимал в этом участие. Понятно, тех, кто решал, они не нашли и расстреляли мобилизованных мальчишек-подводчиков.

Во второй раз немцы продержались дольше и убили гораздо больше людей. Так почему они могли убивать сто за одного, а я не решаюсь одного за сто? Разве есть другой способ расквитаться? И как иначе избавиться от памяти, которая давит меня? Может, неполноценность, о которой толковали эти стреляющие мотоциклетки, и есть отходчивость? Не за нее ли нас презирала немка в подвале?

Да что немка! Разве кому-нибудь в лагере расскажешь все как было? Разве не скривятся презрительно Костик или Блатыга? А я сам не презираю себя? Да и не в этом дело! Где найти еще один такой случай! Ведь не успокоишься же на презрении к самому себе!

В лагерь прошли без помех. Через некоторое время, чтобы увериться, что все спокойно, заглянули в казарму к американцам. Поздоровались с Аликом и торговцем пистолетами, спросили:

— Что нового?

Алик покосился на мой пиджак.

— Большой!

— Другого там не было, — нагло сказал я и показал блестящие никелированные гармоники. Одна была гнутой, полукруглой, вторая — прямой. Это были довольно большие инструменты со множеством ладов. — Какая больше нравится? — спросил я Алика, рассчитывая, однако, заинтересовать торговца пистолетами.

Но тот взглянул равнодушно. Алик же сказал с сожалением:

— Я не умею.

Ванюша отправился спать, а я двинулся по лагерю в распахнутом пиджаке, расстегнутой рубашке и брюках такой длины, что пояс я затянул у самой груди, а руки держал в карманах, чтобы все время подтягивать штанины.

Несмотря на это, штанины ложились гармошкой на туфли, попадали под каблуки. Хотя я в этом не разбирался, я понимал, что костюм из дорогой материи, а то, что я в нем похож на чучело, только усиливало мое торжество. Сразу было видно, что я его не выменял, не купил, а добыл достойным для мужчины способом. К тому же, куда бы я ни приходил, оказывалось, что слухи опередили меня. То ли раньше нас пришли прямо из кранкенхауза, то ли мы сами успели что-то кому-то сказать. Я и потом поражаюсь тому, как быстро приходили в лагерь такие слухи. Как бы там ни было, интерес в глазах тех, кто попадался мне навстречу, еще больше возбуждал меня. До полного, престижного, что ли, счастья мне не хватало только часов и сигарет. Я показал Костику гармоники.

— Концертные! — с уважением сказал Костик.

— Сколько сигарет дадут?

Мы никак не могли сложить цены, но подошел Блатыга, благодушно обнажил запенившуюся слюной фиксу, презрительно поцокал языком.

— Закинь подальше, если сам не умеешь играть. Кому они нужны? А на костюм я тебе покупателя найду. Сто сорок сигарет. Девяносто тебе, пятьдесят мне. Сигареты, как патроны: табак сухой, бумага трассирующая.

— Американские?

— Бельгийские!

— Тебе за что пятьдесят?

— Покупатель мой.

«Блатной» разговор как трясина. Вроде и не угрожает Колька, но за каждым наглым предложением угроза. Тянет с меня пиджак, хотя я и не думал соглашаться.

— Тебе все равно большой.

Это «блатная» игра: «И брюки велики! Да это не твой костюм! А пу снимай!»

Я давно смотрел, нет ли поблизости дружков Блатыги. Но нет, Блатыга не собирался заходить со мной так далеко. Просто пробовал свои привычные приемы. Может, какой и пройдет.

И я с новой силой пожалел, что не застрелил подвального немца. Было бы легче выстрелить в Блатыгу.

В Германию я попал с почти ненарушенным представлением о себе, людях, нормах бытия. То есть, конечно, с книжным представлением. Все оказалось не таким. И люди, и нормы, и я сам. Моя собственная слабость открылась мне так ясно, что не заметить ее было нельзя. Засомневался ли я в себе? Нормах? Людях? Было ли тут

душераздирающее противоречие? Замучило ли оно меня?

Вначале я надеялся на время. На некий заложенный в нем автоматизм, который даже помимо моей воли сделает меня таким, каким мечталось. Это была устойчивая надежда. Время у меня было. Подрасту—стану человеком.

Потом разочаровался во времени. Вернее, стал подозревать, что его автоматизмы не срабатывают. И собственное повзросление стал переносить со дня на день, как переносят на «понедельник» все неприятные дела.

Однако в нормах я не сомневался ни разу.

С тех пор как Блатыга на глазах у всех избил Шахтера, с тех пор как бросил в наше окно топор, я считал, что его надо убить, но не решался на это. А он, казалось мне, если бы ему понадобилось, не стал бы выжидать и церемониться.

По мере того как я упускал случай за случаем расквитаться с немцами, кое у кого в лагере укреплялось представление обо мне как о человеке, готовом пустить в ход оружие. Но Блатыга всегда смотрел на меня так, как те подвальные немец и немка, когда догадались, что мы не решимся на то, чем угрожаем. И вообще на меня и всех других он смотрел так, будто никаких слабостей за собой не знал и все свои мысли считал правильными.

Я уже рассказывал, как накапливается ненависть в мышцах, сосудах, мозгу, как течет по жилам вместо крови и, подобно голоду, не дает от себя отвернуться. Как хочется от нее освободиться, вздохнуть свободно и как понимаешь, что это невозможно, куда живы твои обидчики. Но я не знал еще, что злоба и мстительность обычных людей спадают, как спадает зубная боль. Они поддерживались насильно. И возбудить их в себе по желанию невозможно. А жалость, любопытство тут как тут!

Изо дня в день на протяжении многих лет мы видели бомбежки и убитых, читали и слышали о подорванных и подорвавших, застреленных и застреливших и четко делили жизнь на тыл и фронт. Вернее, фронт — это и была жизнь. Для нас тут и никакой метафоры не было. От того, что делалось на фронте, зависело, будем мы живы или нет. А если на фронте умирали и убивали, то и я считал себя обязанным убить.

Это была главная проверка. Все остальное рядом с этим не имело значения.

Я, конечно, участвовал в Ванюшиных предприятиях. И, возможно, Костик или какой-нибудь другой ровесник мне завидовал. Но я-то видел себя не со стороны. Я показывал

губные гармоника, хвастал костюмом, который сидел на мне как на чучеле, рассказывал, как целился из пистолета в хозяина дома и в того, кто мог оказаться доктором Леером, как, сидя на куче кокса, почувствовал кого-то у себя за спиной, как понял, что это не Ванюша, и подумал, что пропал, но все-таки справился с растерянностью и лишь по глупости задержался с выстрелом, а потом стрелять было поздно, потому что прибежал Яшка Зотов и крикнул, что к дому подъезжают американцы. Никелированные губные гармошки, костюм говорили сами за себя. Костик впервые слушал жадно, и я сам верил, о чем рассказывал, но подошел Блатыга, и я смутился так, будто каждое мое слово было враньем. И Костик неизвестно почему стал иронически поглядывать. И чем независимее я держался, тем безоружнее чувствовал себя и перед Блатыгой и даже перед Костилом. И это при том, что Блатыга не мог похвастать таким же приключением, как я. Он вообще мог отказаться от рискованного поступка: «Что я, на мусорной свалке голову нашел?»

Колька и в десятой степени не был так смел, как Ванюша, но как-то я заметил, что Ванюша уклоняется от столкновений с ним. Я не решился сознаться себе в этом, но это повторилось.

— Блатные! — объяснил Ванюша, когда я не удержался и спросил его об этом.

— Ты его боишься? — оскорбился я.

— Не в этом дело, — сказал Ванюша.

— Убить его надо.

— За что?

— Фашисты! — сказал я. — Как не русские. Шахтера избили, людей обижают, топор в барак бросили.

— Сам же говоришь, у Шахтера пистолет был в руках... Я ведь тоже в детстве беспризорничал, — вдруг сказал он. — На поездах ездил.

И рассказал, как ездил с ребятами по какому-то замкнутому маршруту на товарных и пассажирских поездах. Пересаживались с поезда на поезд и к концу дня попадали на ту же станцию, с которой уезжали. Дразнили кондукторов, прыгали с вагона на вагон, пугали пассажиров, воровали еду на станционных базарчиках.

— Я же донбасский, — сказал он. — Я и плавать учился не в реке, а в градирне. Ты небось не знаешь, что это такое. Вода техническая остывает. Льется в бассейн из трубы, скатывается по ровчаку. Мы в такой ровчак, как в водопад, прыгали. Прыгнешь и катишься. Начинали снизу. А потом

осмелеешь — с середины^о и сверху. Туда, как в баню, ходили после работы. Там я и голых баб в первый раз в жизни видел. Они разденутся, полезут в воду, а мы подкрадемся, одежду их спрячем.

Неожиданным для меня было и то, что обиженных «блатными» Ванюша тоже не очень жалел.

— Наказали,— сказал он к полному моему недоумению, когда я рассказал ему историю Ивана Шахтера.

— За что?! — возмутился я.

— Наверно, заслужил.

Казалось, он меня дурачит. В первый раз я готов был сам с собой поссориться.

— Ты как блатной,— сказал я,— за что же?

— За испуг,— не сразу ответил Ванюша.

Эту игру я помнил: растопыренными пальцами тебе неожиданно тычут в глаза и, если ты сморгнешь, говорят: «За испуг!» На школьных переменах мы ходили, тарашась, учились не моргать.

Это была неприятная и утомительная забава. Никто не спрашивал, играешь ты или нет, и глаза всегда были в опасности. На переменах нельзя было отвлечься ни на минуту.

— Глупости! — сказал я. — За испуг не наказывают.

— Наказывают,— сказал Ванюша. — Еще как!

Яшка Зотов появился в лагере, когда к новичкам относились уже с подозрением. Зачем пришел в лагерь, в котором тебя не знает никто? Почему ушел оттуда, где знают все? Он сразу поразил меня своей историей. О концлагерях мы много слышали, но живого концлагерника видели в первый раз.

— Оттуда не выходили живыми,— сказал Яшка.

Еще поразил меня настойчивостью, с которой добывал оружие. Пистолет в то время уже трудно было раздобыть: найти, купить, на что-то обменять. Яшка притащил из прилагерного леса винтовку и стал выпиливать обрез.

Пистолет владельцу приятно щекочет нервы, в кармане он почти не заметен и ни к чему не обязывает. Обрез груб, неудобен и пригоден только для того, чтобы из него стрелять.

К военнопленным Яшка прибился потому, что сам был из военнопленных. Мне сказал:

— Меня поздно мобилизовали. В первый раз медицин-

ская комиссия забракowała. Стыдно было.

— Почему? — удивился я.

— Все ребята здоровые, а я больной! С девушкой дружил. Выходит, обманывал. Она пришла провожать, а я выхожу и говорю: «По здоровью отложили».

— Почему обманывал? — опять не понял я.

— Жениться обещал, а сам больной!

— Ну и что? — сказал я.

— Ну, как... На улице стали говорить: «Наших взяли, а Зотов больной!» Из клуба выйдешь, спрашивают: «Ты чем болен?» В клуб пойдешь — то же самое. У Клавы — мою девушку Клава зовут, она меня и сейчас ждет — спрашивают: «Чем Яшка болен?» Или предупреждают: «Он туберкулезный». Она со слезами ко мне: «Давай поженимся, чтобы болтать перестали». Я ей говорю: «Вернусь после войны, поженимся».

— Ты знал, что возьмут?

— Уверен был.

— А почему ты думаешь, что она тебя и сейчас ждет?

— Уверен.

Эта жившая в нем уверенность притягивала меня к нему. Он рассказывал, как Клава плакала, когда его взяли в армию: «Не хочешь жениться, пусть все так будет. Мне все равно. женишься или бросишь меня, а я буду тебе верна». У него была потребность говорить, а у меня расспрашивать его о ней. Я хотел знать о ней все: какого она роста, какого цвета волосы, глаза. Я хотел понять загадку Яшкиной уверенности и загадку Клавиной верности и любви. Я ведь тоже мечтал, что кто-то мне вот так скажет, но в глубине души считал, что это невозможно.

Яшка был всего года на три старше, но как бы на много лет взрослее меня или даже Ванюши. И это было тем неожиданным, что лицом, ростом и сложением он был подростком. И еще он удивлял тем, что был из далекого волжского поселка, где все эти годы не знали даже затемнения и обижались на военкоматовскую медкомиссию за то, что она перед девушкой позорит. Понятнее было бы, если бы к тому, что с ним случилось потом, его готовила жизнь в большом городе. Переход же от вялой поселковой жизни прямо на фронт, в окружение, в лагерь военнопленных, а потом в концентрационный лагерь сам по себе должен был оказаться для него смертельным. Но он не только выжил, но и нисколько не растерял уверенности, что жизненные правила, которые он усвоил у себя дома, самые лучшие. Обиду на медкомиссию, разговоры с Кла-

вой и вообще все, что было перед войной и перед мобилизацией, он помнил так хорошо, словно это было вчера. Помнил звания и фамилии военкома и председателя медицинской комиссии, свои разговоры с ними, их обещания и свои требования и просьбы.

— У нас красиво,— говорил он.— Места лесные. За Волгой луга.

— Лес рядом с поселком?

— Километрах в пятнадцати,— говорил он.— А есть в десяти.

Я старался представить себе это «лесное место», рядом с которым нет леса.

Все это он рассказывал мне потому, что это имело какое-то отношение к Клаве. Иначе мне было бы неинтересно слушать, а ему рассказывать.

Постепенно я не то чтобы поверил, а ощутил, что Клава действительно ждет. Я завидовал этому, не на меня направленному ожиданию, зависел от него, от ежедневных разговоров о нем.

— Но дома тебя считают погибшим или пропавшим без вести,— говорил я.

— Мы договорились, что она не поверит, пока после войны два года не пройдет

Он стал взрослым не на войне, а еще перед нею, вот что было удивительно. Жениться он собирался, когда ему еще не было восемнадцати. То есть столько же, сколько мне сейчас. И ни одну из своих взрослых забот он не забыл.

А забыть было из-за чего. На руке его была синяя татуировка — четырехзначный концлагерный номер. В концлагерь он попал за побег из лагеря военнопленных.

— Два треугольника носил,— сказал он,— на груди и спине. До сих пор в этих местах притронуться больно.

— Почему? — спрашивал я.

— Треугольники — мишень. Чтоб стрелять в тебя было удобней. Все время их чувствуешь. Кожу обжигает.

— Чем? — не понимал я.

— Ну, ожиданием,— говорил он.— Ждешь все время.

Казнили в концлагере почти каждый день.

— Немцев дезертиров последнее время часто привозили,— сказал Яшка.— Привезут, выпустят, они по двору ходят, но мы понимаем, долго в лагере не пробудут.

— Увезут?

— Убьют. День-два походят, на работу вместе со всеми выгонят, а потом казнь. Нас всех в бараки загоняют — это мы уж знаем, немцев казнить. Если русского, поляка,

бельгийца или француза убивают, наоборот, всех выгоняют на плац.

— Почему?

— Ну, высшая раса. Чтобы мы не видели, как немцев убивают. И чтобы видели, как наших казнят.

Эти Яшкины рассказы вызывали мучительнейшее любопытство. На плацу я не стоял, но ведь все время был где-то рядом. Хотелось знать, на что решался в последние минуты человек, как вел себя, как выглядел. О чем в мучительнейшие мгновения жалел. Мне хотелось, чтобы Яшка еще и еще раз вызывал из памяти лица этих людей, вспоминал их слова, жесты. Он был рядом, смотрел в глаза жертвам и палачам, сам в любую секунду мог стать жертвой. Но он не мог понять, чего я хочу. Да я и сам не мог. Просто я не в состоянии был уйти с этого плаца перед виселицей, ведь все мы, выжившие, перед ней стояли. Не мог забыть, что это была не шеренга, не каре, а очереди и каждый из нас занимал в ней свое место.

— Кто ругался, а кто молчал,— говорил Яшка.— Забьют человека, он и перед смертью неживой.

Но меня интересовали те, кто ругался. Я догадывался об их ярости и горчайших сожалениях. Все, стоявшие в этой очереди, в момент, делавший их ярость бессильной, должны были жалеть о том, что не доверились ей, пока руки были свободны. Вот что должно было отравлять их последние минуты больше, чем последняя боль и последний страх. Все знаки были нам даны. Все до одного. И все-таки каждый медлил, выбирая более удобный для себя момент.

А может, последние сожаления уходили в большую глубину. Кто знает, за какую оплошность или ошибку упрекнул себя человек в последний свой момент. Отчего последним криком предостерегал стоявших на плацу. Цепь какого страха хотел разорвать.

Этим страхом стоявшие на плацу были скованы. Голос человека, измерившего, какой ценой он платит за свои и чужие ошибки, проникал в их сознание. Это ведь был и их голос, и их крик, но, обессиленные страхом, голодом, безоружные, они стояли неподвижно.

И позор этой неподвижности я тоже знал прекрасно. Своим последним криком погибающий пытался искупить этот позор. Вот почему я хотел знать все, почему добивался от Яшки, чтобы он еще и еще раз вспоминал слова, жесты, лицо, имя. Страстным воспоминанием, казалось мне, мы удерживаем от окончательной гибели не самого человека,

а его мысль, которая в последний момент открылась ему так ясно. Он сам уже не мог ею воспользоваться. За ослепительную ясность он заплатил всей жизнью без остатка. Тем большим был наш долг. Равнодушие памяти было бы ужасно. Но Яшкина память было обожжена страшной моей. Стоило к ней прикоснуться, как Яшка становился сам не свой.

Двадцать пятого апреля, всего за несколько дней до конца войны, их выгнали из бараков, посадили в товарные вагоны, привезли в гамбургский порт и начали грузить в старые, ржавые сухогрузы, стоявшие у причала.

Сухогрузов было три. У крупных трапов стояли эсэсовцы, в ответ на вопрос «куда?» замахивались, подгоняли: «Скорей!» Или отвечали неопределенно: «На остров!» Об этом острове, на который свозят заключенных, было объявлено еще в лагере. И зловещая неопределенность была уловлена сразу.

Эсэсовцы стояли у трапа и на палубе, а внутри действовали капо. Дубинками гнали заключенных вниз. Корабль был большим, многопалубным.

— Палубы четыре или пять, — сказал Яшка. — Не знаю точно. Снизу, с причала, как многоэтажный дом.

Трап, ведущий вниз, был узким, непривычные ноги срывались с коротких ступенек, руки судорожно хватались за перильца, от ударов капо нечем было защищаться. И люди поспешно спускались дальше вниз.

— Я сразу понял, терять нечего, — сказал Яшка. — Со мной друг был, Зинченко Толя. Акробат. Цирковой или любитель, не знаю. Но сила у него и в лагере еще оставалась. Паниковал, однако, быстро. А ко мне страх только потом приходит. Я ему говорю: «Снизу никому не выбраться. Надо наверху остаться».

Они попытались оттолкнуть капо.

— Вот порода! — сказал мне Яшка. — Ведь в поту, гад! Сам в могиле, а бьет — никак не насытится. И не как-нибудь, а насмерть.

Зинченко схватил руку капо с дубинкой, тот стал звать на помощь охранника. Немец, приглядываясь, наклонился над люком, поискал автоматом, в кого выстрелить, и капо, и Зинченко шарахнулись друг от друга. Яшка и Зинченко бросились в темноту. За ними не погнались. Корабль доверху набивался людьми.

— В лагере все жили отдельно, — сказал Яшка, — французы, поляки, русские. А тут в темноте слышишь: по-польски, по-голландски, по-французски говорят. Все

перемешалось. По одному этому видно, к концу идет.

Те, кто оказался внизу, это почувствовали раньше всех. Стали рваться назад, наверх. Их заперли, и корабельное железо гудело от крика и стуков.

Почти неделю не давали воды и еды. Охранники несколько раз спускали по трапу ведра с водой, и у трапа делалось что-то страшное. Яшка сказал Зинченко:

— Когда все начнется, там самая гибель будет.

По затхлому трюмному запаху было слышно, как дряхл сухогруз. Бортовая обшивка истлела. Зинченко отдирает доски. За обшивкой находили остатки сахарной пудры, сохранившейся от каких-то давних перевозок.

Расположились подальше от трапа, к которому инстинктивно жались все. Над головой был грузовой люк, который они надеялись открыть в решающий момент.

Утром третьего мая слышали возню на палубе, топот каблуков по железу, какие-то команды, визг деревянных кранцев — их терло между бортом сухогруза и причальной стенкой. И капо, дежуривший у трапа, выглянул наверх. Маленький буксирный пароход тянул сухогруз к выходу из порта.

В путь двинулся еще один сухогруз. В трюме слегка посвежело. От притока свежего воздуха, движения усилился страх, но оживилась и надежда.

Все напряженно вслушивались в поскрипывание обшивки, в покачивание, начавшееся, когда корабль вышел в море, но, главное, в непривычную тишину на палубе. У капо, стоявшего на трапе, спросили:

— Где охрана?

Но капо заорал на тех, кто приблизился к трапу:

— Назад!

Ему крикнули:

— Как крыса потонешь, а лаешь как собака!

И тут все услышали то, что давно готов был уловить напряженный слух, — шум приближающихся самолетных моторов. В той стороне, где шел соседний сухогруз, раздалось несколько взрывов, пулеметный стрекот. Грубое лицо капо, за которым все следили, исказилось. «Горит!» — крикнул он, бросился по трапу вниз, и тут же сухогруз накрыло самолетным ревом. Звук был такой, будто летчик сажал машину на палубу. Рядом с сухогрузом ударило так, что, казалось, лопнули ушные перепонки и раздалось корабельные переборки. Сухогруз как будто перестал двигаться. Еще два взрыва сотрясли его. Кто-то выглянул наружу.

— Уходит! — крикнул он о буксире и показал в сторону соседнего корабля. — Горит!

В тишине, установившейся на секунду, были слышны крики запертых на нижних палубах, пулеметные очереди над соседним кораблем и паровозный шум свежеющего моря. После взрывов авиационных бомб он почему-то стал яснее. Люк открыли, и снизу хлынули наверх. Но тут же все втянули головы. Самолет опять шел на корабль. Когда звук стал таким, что столкновение казалось неизбежным, корабль вдруг на что-то наткнулся. Все услышали жуткий хруст, увидели вспышку, и по тому, как разом сместился центр тяжести и все куда-то покатились, словно в неожиданно остановившемся автобусе, почувствовали — попал!

— Это не немцы! — закричал тот, кто стоял на верхней ступеньке трапа. — Круги на крыльях! Англичане! Что вы делаете! — замахал он руками на вновь приближающийся самолет. — Что вы делаете!

Увлекая несколько человек, он вдруг рухнул на тех, кто стоял ниже, а по верхней палубе прогрехотала пулеметная очередь. На освободившийся трап хлынула толпа. Казалось, ее бросило туда образовавшимся креном, а крен еще больше увеличился от прилива толпы. Зинченко тоже кинулся со всеми, но Яшка удержал его:

— С ума сошел! Делай, как решили!

Зинченко смотрел сумасшедшими глазами, но подставил плечи. Яшка влез ему на спину и попытался открыть люк.

— Стой на месте! — кричал он на Зинченко.

Ему казалось, тот гнется от нетерпения. Но сам с такой силой давал ему ногами на спину, что Зинченко гнулся невольно. Люк не поддавался. Рядом в разошедшейся от взрыва обшивке «дышала» какая-то доска, и Яшка пытался раскатать ее. Сил не хватало, и он сказал Зинченко:

— Попробуй ты!

Им не сразу удалось поменяться местами. Яшка едва удерживался на ногах, когда Зинченко взбирался ему на спину. Наконец тот сумел поймать момент и ухватиться за отставшую доску. Он ее сломал, и Яшка почувствовал, ноги Зинченко покачались и исчезли в проломе. Секунды тянулись, у Яшки сжало сердце, когда Зинченко свесился вниз и протянул руку.

Первое, что Яшка увидел, выбираясь наверх, был самолет, идущий прямо на него. Крылья с опознавательными английскими знаками едва не срезали корабельную мачту. Видна было сверкающая пулеметная струя, уго-

дившая в люк, из которого лезли люди. Виден пилот в прозрачном колпаке. Казалось, он сейчас разберется и чудовищное недоразумение прекратится. Но самолет опять заходил на сухогруз.

Палуба стояла наклонно. Доска, которую Зинченко бросил в воду, летела невероятно долго. Он прыгнул вслед за ней и тоже, казалось, долго летел и еще дольше не выныривал на поверхность. Потом выплыл, нашел доску, уцепился за нее и крикнул Яшке:

— Прыгай!

Голоса Яшка не слышал, видел, как тот приглашающе машет рукой. Самолет приближался стремительно, палуба наклонялась все больше, и Яшка прыгнул. Однажды он провалился в Волге в прорубь. Ощущение было еще страшнее. Вода в Северном море весной не теплее, чем в Волге зимой. А над головой сомкнулась такая толща, что, казалось, ее никогда не пробить. На секунду не захотелось и возвращаться. Но он выплыл и схватился за доску. Из подводной глухоты он выплывал так, что это должны были услышать и летчики. Берег, который был хорошо виден с палубы корабля, теперь отодвинулся безнадежно далеко. Дыхание, перехваченное ледяной водой, не восстанавливалось. Оно должно было совсем оборваться, когда они увидели ржаво-зеленое днище своего корабля. Он опрокидывался все быстрее, а их с Зинченко понесло на доске по какому-то кругу. Когда они оказались спиной к берегу, сухогруз исчез под водой.

Невозможно было в это поверить, но они были одни на воде. Когда волна поднимала их, они вглядывались, но видели только бесконечное движение холодной воды. Они перестали видеть горящий сухогруз — час, два или двадцать минут их относило от него, Яшка не знал. Потом услышали стук мотора и увидели идущий на них катер. Что за катер, зачем к ним идет, старались понять по людям, стоящим на палубе. Но было уже почти все равно. Когда с борта спустили багор, Зинченко ухватился за него. Его вытащили наверх и протянули багор Яшке. Он тоже схватился, но, едва его приподняли, руки его разжались, и он, как ему показалось, ушел под воду глубже, чем когда прыгнул с корабля. Подумал: «Все, конец». Выплыл и не увидел рядом с собой ни доски, ни катера. Потом услышал стук мотора — катер подрабатывал к нему. Опять опустили багор, и Зинченко перегнулся, чтобы подхватить Яшку под руки.

На рубке, спасательных кругах, пожарных ведрах

можно было прочесть, что это гамбургский портовый катер. В тесном помещении, куда их молча отвели, Яшка и Зинченко дрожали в своих мокрых нижних рубашках и кальсонах — одежду с лагерными метками они выбросили в море — и пытались телом обогреть и обсушить друг друга. Им не предлагали сухой одежды, не несли чаю или хотя бы горячей воды. Никто не входил, не задавал вопросов. Так продолжалось довольно долго. Потом по каким-то звукам уловили, что катер причаливает. К ним заглянули и поторопили:

— Лос!

Они вышли на палубу и увидели, что катер причалил к малоллюдному месту. Вблизи железная дорога и служебная дорожная будка. Не зная, что думать о своих спасителях, они в тех же кальсонах и нижних рубашках побежали к ней. В будке нашли дорожные инструменты и старую рабочую одежду, в которую кое-как переоделись. Утром голод заставил их выйти на улицу. На улице встретили ликующих русских, освобожденных из лагеря военнопленных. В городе уже были англичане. Англичанам они так же боялись попадаться на глаза, как и немцам. Однако пошли в лагерь с русскими. Там их накормили, английский комендант расспрашивал о том, что с ними произошло третьего мая. Сам он ничего объяснить не мог.

В этот страшный день Яшка и Зинченко не одни добрались до берега. Однако тех, кто чудом доплывал, встречали эсэсовцы. Уже у берега было убито более ста человек. Эсэсовцы оставили заслон, дежурили на берегу несколько часов и ушли перед самым приходом англичан.

— Сговорились, это ж ясно, — сказал Яшка.

Несколько дней по городу в мундирах со всеми орденами и знаками различия маршировали и просто ходили группами бесконвойные эсэсовцы и немецкие военные моряки. Непонятно было, кому принадлежит город сегодня и кому будет принадлежать завтра. Яшка предложил Зинченко уйти. Перебраться хотя бы в американскую зону оккупации. Зинченко отказался, и Яшка ушел. Так он оказался у нас.

Война заканчивалась, как и начиналась, чудовищной жестокостью. Вот что было ясно. Не изменились те, кто ее начинал. Отдавший главный приказ ни к чему не мог принудить эсэсовцев. Его, возможно, уже не было в живых. Они сами убили безоружных людей.

Это была не только месть победителям, но и вызов всему миру. Так я чувствовал. Жестокость не начиналась

и не кончалась войной. Она была делом эсэсовцев, и они стремились успеть как можно больше.

Загадочной была наглость, с которой они маршировали по занятому англичанами Гамбургу. Загадочно участие английских самолетов в этой истории.

Было множество загадок поменьше, мучавших меня. Почему моряки портового катера, вытащившие Яшку и Зинченко из воды, не сделали чуть больше? Почему не дали им сухой одежды? Не принесли горячей воды? Как странно здесь сочувствие походит на равнодушие, а равнодушие на жестокость! Как мог капо бить заключенных, понимая, что тоже приговорен? Как жить, сознавая, что за гибель стольких людей невозможно отомстить?

В их смерти не было ничего военного. Сдались эсэсовцы без единого выстрела. Значит, убийство и капитуляцию планировали одновременно.

Но было в этой истории нечто, возбуждавшее надежду, заставлявшее смотреть на Яшку с восхищением. Все было предусмотрено, чтобы не спасся никто. Но и из этих гибельных обстоятельств нашелся выход!

17

Глядя на Яшку, мало кто сомневался, что все, рассказанное им, так и было. Яшка для этого не давал повода. Главное тут, пожалуй, то, что он сам был человеком без сомнений. Его трудно, например, было убедить, что кто-то о себе врет.

— Зачем? — не понимал он. И враждебно настроивался к убеждавшему.

Еще меньше сомнений или колебаний было в его поступках. Очень быстро в нашей компании к нему перешла роль человека, который первым открывает опасную дверь, решает, куда идти, или затевает опасный разговор. Это случилось само собой, потому что Яшка выходил вперед как раз тогда, когда остальными овладевали сомнения или колебания. И даже Ванюша скоро уступил ему это право.

Я спрашивал у Яшки:

— Когда корабль перевернулся, что ты подумал? Конец?

Яшка смотрел, припоминая.

— Нет,— сказал он,— почему-то другое чувство было. Теперь выживу!

— Но ведь вода ледяная,— настаивал я.— До берега далеко.

— Не знаю, — сказал Яшка. — Ты спрашиваешь, а я и сам удивляюсь, но чувство было такое: главное позади.

— А эсэсовцы на берегу?

— Мы же о них не знали.

— А когда катер увидели, что решили?

— Да ничего. Просто ждали. Вода-то такая, все равно концы вот-вот отдашь!

Эти вопросы я готов был задавать бесконечно.

— Что ж, на катере вам совсем ничего не дали: ни обсушиться, ни обтереться, ни водки, ни горячего чаю?

— Они к нам не подходили совсем, — говорил Яшка. — Они еще долго ходили по морю. Мы уж и ждать устали. А получилось, повезло. За это время эсэсовцы сняли заслон.

Я с восхищением смотрел на него. Только для двух человек случайности сложились так, что они сумели спастись и выбраться. Кого же из многих тысяч такие случайности выбирают?

И когда Яшка предлагал: «Я тут одно дельце придумал. Надо сходить», — я соглашался без колебаний.

Страх, сомнения, жалость, конечно, были. Но, я уже объяснил, у них не было слов. Слово сомнения или жалости показалось бы кощунственным. А Яшка говорил:

— Я разведал один дом. У хозяина четыре работника. Форму не снимают. Сразу видно — притон эсэсовский. Не боятся, гады. И в доме, наверно, ничего не прячут.

Тут было важно то, что в доме много мужчин. Значит, не боятся нашего налета и не прячут, как стали делать другие бауэра, одежду и еду в какие-нибудь тайники.

Собрались впятером: Ванюша, Николай, Яшка, я и пожилой дядечка, которого привел Яшка и которого никто не знал. Дядечке дали пистолет без патронов. Это был парабеллум времен первой мировой войны, выглядел он, как современный, но патронов к нему не было. Дядечка не возражал. Идти он соглашался, но надеялся, что все обойдется вовсе без выстрелов.

Выходили из лагеря задолго до комендантского часа, чтобы не привлекать к себе внимания и чтобы засветло пройти по лесу большую часть пути.

Фамилия дядечки была Никаноркин. Ванюша вместе с ним вышел из лагеря первым. Потом пошли Николай и Яшка. Я шел последним. Когда проходил мимо барака блатных, из торцовой выглянул Блатыга и дружелюбно подмигнул.

Я сделал вид, что не понял. Тогда он и позвал:

— Айн момент!

Отступая от двери вглубь комнаты, он гримасничал, показывая, что я зачем-то очень нужен. Нет ничего хуже, когда тебе дружелюбно подмигивает Блатыга. Я сразу почувствовал свое одиночество и пожалел, что не вошел с Ванюшей или Яшкой.

— Не могу, — сказал я. — Ванюша и Яшка ждут.

Я называл тех, кто мог за меня заступиться.

— Да чего ты боишься! — сказал Блатыга. — Я тут один.

Торцовая комната, из которой выглядывал Блатыга, была попросту барачным тамбуром. В комнатку его переделали еще немцы. Помещалась в ней только одна койка. Тот, кто занимал тамбур, жил один. Добивались этого преимущества Блатыга, Сметана и еще кто-то из той же компании. Страсти горели сильно, и некоторое время у комнаты не было постоянного хозяина. Но потом ее без споров уступили новичку. Звали его Шура Мимик, и было это прозвищем или фамилией, я не знал. Это был широкоплечий малый лет двадцати пяти с красивым и даже приятным лицом. Одевался он, не придерживаясь блатной моды, не имел наколок или коронки на здоровом зубе, говорил, не употребляя блатные словечки, и было не очень понятно, по каким признакам Блатыга, Сметана и вся остальная компания его так безоговорочно признала. У него были какие-то дела в Эссене и Вупертале. Для наших лагерных приблатненных это было непостижимо далеко. Привозил он оттуда вино, сигареты и какие-то вещи. Тогда в комнатке пили и шумели. Но голоса Мимика в этом шуме не было слышно.

Окна в тамбуре не было. Дверь держали открытой, чтобы свет проникал, а когда пили, — и для куражу. Заглядывающему на шум, на выкрики можно было сказать: «Тебя сюда звали? Иди, иди!»

Проходя мимо, я тоже, как всегда, покосился, и получилось, сам взглядом напросился на приглашение Блатыги. В общем, я дрогнул и поднялся по ступеням. Уже на первой почувствовал — Блатыга не один. С порожка увидел сидящих на койке Сметану и Мимика. Они не глядели на меня. На секунду появилась надежда, что Блатыга сам по себе. Им до него нет дела. Я даже хотел упрекнуть Кольку: «Чего же ты врешь!» Но по его смеющемуся лицу и по их нарочито отрешенному виду понял, что поймался. Надо было повернуться и уйти, но и этого я уже не мог. Что-то мешало оторваться от дверного стояка, о который я...

СОДЕРЖАНИЕ

Нагрудный знак «OST»	3
Плотина. Часть 1	318

Виталий Николаевич СЕМИН

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «OST»

Романы

Редактор *В. В. Безбожный*

Художественный редактор *В. С. Тер-Варганян*

Технические редакторы *Л. М. Криволапова, С. В. Волкова*

Корректоры *Т. А. Чеснокова, Н. В. Пустовойтова, Л. Г. Мирная*

ИБ № 2189

Сдано в набор 23.10.90. Подписано в печать 19.07.91. Формат 84x108/32.
Бум. тип. № 2. Гарнитура обычн. новая. Фотонабор. Высокая печать.
Усл. п. л. 23,52. Уч.-изд. л. 25,62. Тираж 30000 экз. Заказ 175. Це-
на 2 руб. 80 коп.

Ростовское книжное издательство. 344706, Ростов-на-Дону, Красно-
армейская, 23. Малое арендное предприятие «Книга» Ростовского
управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
344081, Ростов-на-Дону, Советская, 57.